

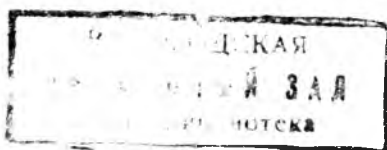
# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПЕРВАЯ  
КНИГА

ЯНВАРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА

1941

171560

# Содержание

К новым вершинам . . . . .	3
----------------------------	---

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТИХИ

М. ГОЛУБКОВА — На большой, на Красной площади, <i>стихи</i> (записал и обработал Ник. Леонтьев) . . . . .	11
Анна КАРАВАЕВА — Вечер воспоминаний . . . . .	13
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Горный мед, <i>рассказ</i> . . . . .	47
И. Ф. ПОПОВ — Потерянная и возвращенная родина, <i>роман</i> . . . . .	61
ТЕУЧЕЖ-ЦУГ — Восстание бжедугов, <i>поэма</i> (перевод с адыгейского А. Гатоза). . . . .	101
Валентин ЛОЗИН — Балтийское море, <i>стихи</i> . . . . .	111
Лев ЧЕРНОМОРЦЕВ — * * * <i>стихи</i> . . . . .	111
Б. ИВАНТЕР — Аварийная ночь, <i>рассказ</i> . . . . .	112
Б. ПОЛЕВОЙ — Победа, <i>рассказ</i> . . . . .	127
А. ФЛЯГИН — Егор Кошелев, <i>рассказ</i> . . . . .	135

### Писатели Западной Украины

Эльжбета ШЕМПЛИНСКАЯ — Мать, <i>рассказ</i> (перевод с украинского Л. Скорино) . . . . .	144
Владимир ШАЯН — Камера «106», <i>рассказ</i> (перевод с украинского Л. Скорино) . . . . .	148

## ПУБЛИЦИСТИКА

О. ЛЕВИТСКИЙ — Фронт и тыл . . . . .	150
В. СМИРНОВ — Академик большевик В. Р. Вильямс, <i>очерк</i> . . . . .	156
Лев ТОЛСТОЙ — Рабство нашего времени (неопубликованный вариант статьи) . . . . .	179

## КРИТИКА

М. ШКАПСКАЯ — Рассказы о Ленине . . . . .	185
З. КЕДРИНА — Начало поэтической зрелости (о стихах М. Алигер) . . . . .	194
Виктор ГОЛЬЦЕВ — О творчестве Алио Машашвили . . . . .	200
С. МСТИСЛАВСКИЙ — Айни — основоположник таджикской прозы . . . . .	207

## БИБЛИОГРАФИЯ

Н. ПЛИСКО — Рассказы о Маяковском . . . . .	218
Н. ПЛИСКО — Две книги для детей о Маяковском . . . . .	219
Н. ПАВЛОВИЧ — Книга о труде и мужестве . . . . .	221
Н. ПАВЛОВИЧ — Биографические рассказы . . . . .	223
Н. ПАНОВ — «Санаторий Арктур» . . . . .	225
Н. ЗАМОТИН — «Военные записки» Дениса Давыдова . . . . .	227
М. ЧАРНЫЙ — Наступление . . . . .	229
Ж. ГАУЗNER — Книга для болеющих . . . . .	231

## К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Со спокойной гордостью оглянулась наша страна в новогодний день на прошлое. Прошедший 1940 год был годом блестящих международных успехов, рождения новых советских республик, годом величественного труда и созидания, годом напряженной учебы. На всем гигантском пространстве от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от Карпат до Тихого океана господствует разумная человеческая воля, организованная социалистическим сознанием. Создаются города, возникают корпуса новых предприятий, вырастают кварталы новых зданий, сквозь дикие степи и азиатскую тайгу пробиваются железнодорожные пути, каналы орошают вековые пустыни.

Остальной мир — капиталистический — в кровавой путанице безвыходных противоречий. Мы — единственная страна мирного труда, культуры, ясного пути в будущее. Нет таких цифр, при помощи которых можно в точности измерить огромные сдвиги в массовой культуре двухсотмиллионного народа. Но известно, что количество массовых библиотек дошло у нас до девяноста тысяч, что за один только истекший год прибавилось новых две тысячи клубов, что в 1939 году вышло у нас огромное количество книг (свыше сорока тысяч названий), а в 1940 году еще больше.

Известна неоспоримая роль художественной литературы в этом изумительном процессе создания новой культуры, в воспитании масс. Но велики и растут с каждым днем культурные запросы, потребности народа, сокрушившего старый мир и предпринявшего строительство нового, — грандиозную работу, за которой следит с надеждой измученное человечество.

Литература отстает. Миллионы читателей рвутся к книге, желая найти в ней художественное выражение своих мыслей и чувств, своей мечты. Ищут в литературе художественное выражение величайшего в мире опыта. Но не всегда находят. Анатолий Серов, прославленный летчик и герой, писал незадолго до своей трагической смерти: «В книгах мы искали любимых героев, которым можно было бы подражать, но книги не давали нам ответов на волнующие вопросы». А Марина Раскова, взволнованная проявлением солидарности и героизма советских людей в самых глухих уголках нашей родины, восклицает: «Как мало еще мы знаем своих людей, как мало о них рассказывают... простые, милые советские люди!»

Мало рассказывают... Это упрек, который художественная литература имеет достаточно оснований принять на свой счет.

Новая жизнь, резкое изменение всего строя общественной жизни, новый человек, вырастающий в борьбе и труде, в грохоте ломки старого и пафосе создания нового требуют нового искусства. Навыки, выработанные долгим и

часто блестящим опытом старого искусства, оказываются в лучшем случае недостаточными. Ибо появились иные люди, новые герои и новые отношения.

В одном из своих писем в Сергееву-Ценскому Алексей Максимович Горький говорит, в связи с романом Гладкова «Цемент»: «в нем взята дорогая мне тема — труд... наша литература эту тему не любит, не трогала...» Тема труда во всем ее пафосе и величии могла появиться только у социалистического художника. Читатель вспомнит изумительные описания вдохновляющей силы коллективного труда, данные Горьким еще в «Фоме Гордееве». Но после победы социалистического строя жизни Горький говорит о теме труда в литературе, о необходимости дать почувствовать «изумительнейшую красоту деяния», как о задаче исторического и всенародного значения.

Горький не дожил и не смог насладиться замечательными образцами вдохновенного коллективного труда, народной инициативы, которыми так богат был истекший год. В сознание наших людей уже глубоко вошло, что они хозяева жизни, что земля, ее плоды, все, что на ней есть, принадлежит им, работникам социалистического общества. И поэтому так легко поднимаются десятки и сотни тысяч людей для того, чтобы провести канал, дать воду земле, века и тысячелетия изнывающей от засухи, чтобы создать многокилометровую дамбу и оградить от бушующего половодья другую землю, где вода систематически угрожала уничтожением обработанным полям. Что может быть радостнее и величественнее этой наглядной картины труда, изменяющего природу, преобразующего жизнь, приносящего богатые плоды самим работникам. Что может быть благодарнее этих творческих усилий, освобожденных от всех пут купли-продажи, частной собственности и социального неравенства?

Поэтому такой широкий всенародный отклик получает плодотворная инициатива, проявленная пусть в самом далеком углу Союза. По всей стране прозвучала слава узбекских и таджикских колхозников, великодушным порывом творческого труда создавших Большой Ферганский канал. Единая воля, одновременные согласованные усилия десятков тысяч социалистических работников создают поистине чудеса. Опрокинуты все прежние представления о сроках, время сгущается с поразительной экспрессией, жизнь человеческая как бы стремительно удлиняется.

Любой ферганский колхозник видел, как в кратчайший срок возник гигантский канал (160 километров Северный Ферганский и 109 километров Южный) и потекла вода, поистине живая вода, потому что она несет жизнь и расцвет погибавшим от зноя полям.

Ферганский опыт вызвал всеобщее восхищение и немедленное подражание. В течение года-полутора в результате такого же массового одновременного сочетания усилий десятков тысяч людей, принеших свой труд родине, появились в разных концах страны десятки каналов, плотин, водохранилищ, дорог, 17 тысяч новых колхозных водоемов. Помимо Ферганского, каналы Ташкентский, Келифский, Палван-Шават (Туркмения), Самур-Дивичинский (Азербайджан), Цалыкский (Северная Осетия), Дзержинский (Дагестан), Самур-Дербентский (Дагестан), Налбантский (Армения), Невинномыский (Орджоникидзевский край), многие другие. Прекрасный список географических названий, звучащий как самая увлекательная поэзия.

Эта «изумительная красота деяния», проникнутая большим историческим смыслом, одна из самых характерных черт нового мира, должна стать одной из центральных тем нашей литературы. Только вульгаризатор и тупица может подумать, что речь идет о более или менее распространенных текстах в фотогра-



фиям новостроек (мы видели такие тексты, распространенные до объема романа). об иллюстрации политико-экономических отчетов некоторыми образами. Проблема значительно сложнее. Речь идет о новом ощущении мира, о новом сознании, о новой человеческой радости.

Задача, поставленная Горьким, стоит во всей своей полноте. Мы не можем, к сожалению, сказать, что все работники нашей литературы в достаточной степени прониклись сознанием грандиозности и ответственности этой задачи. Нет у нас недостатка в людях, вяло твердящих о пресловутом «пафосе дистанции», о неизбежном будто бы некотором историческом отходе от большого события для того, чтобы художник мог найти для него объективное художественное воплощение. Хорошо было Толстому — говорят эти скучные «мудрецы» — писать о Наполеоне и Кутузове через добрых полвека после войны 1812 года... А вот попробовал бы он не в Ясной поляне, а под грохот пушек, когда земля под тобой ходуном ходит.

«Мудрецы» забывают, однако, многочисленные примеры из истории искусств, не знают или не хотят знать, что историческая эпопея «Война и мир» была очень злободневной, даже полемической именно в шестидесятые годы. Забывают, что молодая советская литература уже имеет блестящие образцы отличного художественного вмешательства в жизнь в самый разгар событий. Достаточно напомнить о «Поднятой целине» Шолохова, романе о коллективизации, написанном в 1932 году по свежим следам событий. Еще не отшумели в Гремячем Логе бурные организационные собрания относительно колхоза, а роман о Давыдове, о Нагульном, Майданникове уже читался на сельских сходах, по всей стране, помогая выявлять негодяев Островных и сплачивать вокруг идеи нового колхозного строя миллионы крестьян, идущих к социализму.

Нет, дело не в якобы необходимой исторической дистанции, а в том, что некоторые литераторы сами находятся на основательной дистанции от живой действительности. Иные полагают, что при нашей любви к классикам прошлого, достаточно проникнуться системой образов, мироощущением, стилем какого-нибудь классика, чтобы самому сделать что-либо значительное в литературе. Но такое эпигонское понимание учебы у классиков ни к чему другому, как к тяжелому разочарованию, привести не может. Учиться у классиков — это значит прежде всего учиться их чуткости к жизни, их умению сегодняшнее во всей его злободневной конкретности превратить в вечное. В то время когда творчество такого изысканного мастера стиля, как Тургенев, находилось в зените, Добролюбов писал: «Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях обыкновенно обращал (только позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество. ...Этому чутко автору к живым струнам общества, этому умению тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев у русской публики».

А некоторые современные лбомудры думают, что достаточно приблизиться к ритму тургеневской прозы, или применить психологический анализ Достоевского к советскому интеллигенту, или накинуть кафтан Каратаева на колхозника и — готово произведение большого искусства. А на деле получается фальшь, искажение действительности, иногда клевета на нее. Формалистско-эстетское недомыслие можно встретить среди наших литераторов не так уж редко. Ведь вот в 1940 году догадался В. Шкловский опубликовать книжку

{«О Маяковском»), в которой заявляет, что «ход мыслей» писателя определают, видите ли, «ритмико-синтаксические фигуры». Вся книжка Шеловского в ее теоретической части является недостойной попыткой реабилитировать уже неоднократно разоблаченные формалистские «теории».

Но рядом с формалистскими тенденциями соседствует безыдейность, обывательщина, эстетский уход от важнейших проблем действительности. Примеры такой обывательщины и искажения действительности мы уже не раз приводили на страницах нашего журнала. Печальную известность приобрела в последнее время группа некоторых молодых поэтов в Ленинграде. Давно ли великий город Ленина находился всего в нескольких десятках километров от фронта, где лучшие сыны народа бились с ожесточенным врагом, охраняя колыбель революции, защищая важнейшие советские рубежи. А группа поэтов заполняла журналы унылыми стихиками, мелочность которых может сравниться только с их удивительной бесцветностью. Один из последних номеров «Литературного современника» открывается как бы программно-философским произведением, которое названо «Трактат о бессмертии».

Быть может, мы не умираем вовсе,  
А выдумана смерть гробовщиками,  
А мы, простые люди, верим им.  
Быть может, смерть — болезнь такая просто:  
Ну, ляжешь, полежишь — и отлежишься,  
А встанешь — все по-старому пойдет.

Автор этого «Трактата» Вадим Шефнер мечтает о бессмертии, найденном в результате... химико-лабораторных опытов. Только очень непривередливые редакторы могут выдержать потрясающее глубокомыслие этого трактата, изложенного скучной прозой, разбитой на стихообразные строчки. Чтобы читатель мог отдохнуть немного от «философской» поэзии Шефнера, «Литературный современник» помещает в этом же номере стихотворение Михаила Троицкого, проникнутое «высоким пафосом». Это почти ода, посвященная... калганной настойке.

Портвейн, мадеру иль малагу  
Мне горько видеть за столом —  
Но мы иную знаем влагу —  
То ль зверобой, то ль костолом,  
Калган, как бури завыванье,  
Зубровка, добрый русский ром.  
Тут много значит и название...

Может быть, это реклама ликерно-водочного треста? Реклама плохо делается, потому что вирши эти — юрковые, плохие. Но нужна ли нам подобная реклама и почему литературный журнал печатает ее среди текста?

В конце прошлого года Союз советских писателей организовал в московском писательском клубе дискуссию о книжках, посвященных Маяковскому, в связи с десятилетием смерти поэта. Казалось бы, серьезный разговор о Маяковском не может не быть связан с обсуждением традиций Маяковского в современной поэзии. Казалось, голос лучшего поэта советской эпохи снова загремит в зале, напоминая «запутавшимся в паутине рифм» о назначении советского поэта. «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс».

Они, как и большинство авторов книжек о Маяковском, некоторые ораторы горно возвращались к футуристскому периоду, к формалистским экспериментам Бурлюка и Хлебникова, оставляя в тени традицию Маяковского, традицию острейшей общественной целеустремленности, традицию высшего чувства революционной ответственности. Другие сосредоточили весь пафос своего выступления на разоблачении некоторых плохих строчек отдельных поэтов, на доказательстве той достаточно очевидной истины, что без совершенной формы нет высокого искусства.

Кто дал в наше время более высокий образец работы над словом, чем Маяковский? Маяковский, революционер русского стиха, создатель новых ритмов, чудесник рифмы, титан, ворочавший глыбы новых слов с несравненным искусством?

Но если игра со словом, какой бы изысканной она ни была, превращалась для кого-нибудь в самоцель, то Маяковский называл это «низведением поэзии до технической работы». Маяковский относился к форме, как к подчиненному, отлично понимая, что душу большого искусства составляет содержание.

Всю жизнь Маяковский боролся с эстетиками, с безыдейными жонглерами слова, с чистоплюями, с теми, кто уводил искусство от большой дороги общественной борьбы. Еще до революции он писал в поэме «Облако в штанах»:

Пока выкипачивают, рифмами пиллякая,  
из любвей и соловьев какое-то варево,  
улица корчится безъязыкая,—  
ей нечем кричать и разговаривать.

Юный Маяковский уже тогда ставил себе отчетливую задачу создавать поэзию для «улицы», то-есть для масс, выражая их боль, надежды и будущее, которое придет «в терновом венке революций». Потом, через несколько лет после того, как революция победила, как бы предвидя, что найдутся еще охотники сводить его роль к роли преобразователя формы (по Шкловскому все, что происходило в дореволюционной литературе, это не что иное, как «гражданская война формы»), Маяковский записал:

Теперь  
для меня  
равнодушная честь,  
что чудные  
рифмы рожу я.  
Мне  
как бы  
только  
почище уесть,  
уесть покрупнее буржуя.

Традиция Маяковского — это прежде всего традиция боевого неустанного вдохновенного служения народу, революции. Это служение он понимал как непосредственное ежедневное участие своим поэтическим словом в революционной работе, на том участке, который сегодня наиболее важен. Народ воюет — Маяковский пишет боевые марши, призывные плакаты и лозунги. Начался НЭП, и Ленин говорит о необходимости учиться торговать — Маяковский, презрительно отмахнувшись от хихикающих эстетиков, будет писать даже рекламные стихи для Моссельпрома. Маяковский откликается на каждую очередную

задачу революции, на каждый партийный лозунг, как на призыв собственного сердца.

Я с теми,  
кто вышел  
строить  
и месть  
в сплошной лихорадке буден.  
Отечество славлю,  
которое есть,  
но трижды —  
которое будет.  
Я планов наших  
люблю громадьё,  
размах —  
шаги саженьи.  
Я радуюсь  
маршу,  
которым идем  
в работу  
и в сраженья.

И в будни, и в дни торжеств, и в дни глубочайшей печали Маяковский, его поэтическая мысль и взволнованное чувство всегда с народом. Было бы дико слышать: «Маяковский и современная тема». Маяковский — это и есть современная тема, всегда, в любой его странице; современность, злободневность в полном и лучшем смысле этого слова.

Пропаганда традиций Маяковского — одно из лучших средств идейного воздействия на нашу литературу, борьбы с обывательщиной во всех ее видах — под видом ли оттачивания формы, лирики ли, или обывательщины просто.

Но критика наша, как показал опыт последних месяцев, далеко не всегда и не во-время умела разглядеть факты формалистско-эстетских извращений и даже прямой клеветы на нашу действительность. Не разглядела во-время ни идеологически враждебной, злостно клеветнической пьесы Леонова «Метель», ни вредной пьесы Катаева «Домик». Грубейшие ошибки допустили не только отдельные критики, но и руководство союза писателей, важнейшей функцией которого, по существу, является функция воспитательно-критическая. Мы уже отмечали однажды, что в союзе писателей было некоторое пренебрежение к критике, недооценка ее значения. Дело дошло до того, что в литературно-художественных журналах (в большинстве — органы союза писателей) отдельные критики владели жалкое существование, библиография в некоторых журналах исчезла вовсе, даже списки новых книг — и то перестали печатать. Как может журнал руководить читательским вкусом и отбором, как может он воздействовать на самую литературу, если из тысяч выходящих книг он откликнется едва на один-два десятка, да и то обычно с большим опозданием. Даже специально-критический журнал «Литературный критик» из 177 статей, напечатанных в 1939 году, советской литературе посвятил... 8 небольших статей (подсчет «Большевистской печати»).

Центральный комитет партии принял недавно специальное постановление, в котором говорит о критике и библиографии, как о серьезном орудии пропаганды и коммунистического воспитания, как о задаче всенародного культурного

~~значения~~. У нас выходят ежегодно десятки тысяч книг по разным областям ~~знания~~ науки и искусства. Но если книга остается достоянием только узкого круга лиц — это убитая книга, замороженная, ценность, зарытая в землю. Наша культура — массовая народная, в этом одно из ее самых замечательных качеств. Известно, что редкая книга остается лежать в советских магазинах нераспроданной в течение нескольких недель, а то и дней. Но дело не в этом. Дело в культуре труда, в наиболее рациональном и быстром процессе накопления и обогащения культурой миллионными массами. Ведь чуть ли не треть всего населения Советского союза систематически учится. Дело в организации всенародной школы образования и самообразования.

Проблема организации — одна из важнейших проблем культуры в самом широком смысле слова. Большевики всегда придавали огромное значение организации и организационным вопросам. Сколько сил потратил Ленин в борьбе с либеральными слонтяями, с меньшешевистскими оппортунистами, с проповедниками анархистской развинченности и старомиништерской болтовни, чтобы внедрить в сознание и в жизнь масс начала строгой организованности. Организованность — это наиболее экономная, правильная, последовательная затрата сил для достижения наибольших результатов.

В истекшем году партия и правительство предприняли ряд мер для наиболее четкой организации нашего труда, учебы, всей нашей жизни. Сюда относятся новые законы о рабочем дне, о специалистах, о трудовых резервах и другие. В наше время величайшей исторической ответственности необходима наибольшая собранность, слаженность, организованность.

Организованность необходима везде — на заводе, в школе, в научном кабинете, в любой области человеческого творчества. Но, может быть, ничто не имеет такого значения, как организованность в самой культуре, в учебе, в воспитании. Приучить человека (особенно в юные годы) к систематическому накоплению и расширению опыта, к умению учиться, к умению отобрать в данный момент наиболее нужную книгу, к умению использовать ее критически и с максимальной пользой, приучить к организованности мышления — значит оказать неоценимую услугу народу. Это будет неоценимая работа, которая скажется во всех без исключения областях нашей жизни и борьбы, ибо речь идет о быстрейшем формировании характера нового человека, человека социализма. «Под руководством партии Ленина — Сталина наш народ станет самым организованным, самым культурным, самым цивилизованным народом в мире!» (передовая «Правды» от 1/1—41 г.).

Постановление ЦК предусматривает широкую организацию критики и библиографии по всем отраслям знания. Особое внимание уделено наиболее слабому сейчас звену — критике художественной литературы. Надо поднять идейный уровень критики, надо не только декларировать, но каждый день в своей литературной практике исходить из того, что литературное дело «не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетарского дела» (Ленин «Партийная организация и партийная литература»).

Постановление ЦК напоминает о традициях русской литературы, об огромном значении критики в классической русской литературе. Для формалистских последышей само слово «публицистическая критика» является бранным словом. Но Белинский, Чернышевский, Добролюбов были блестящими представителями именно публицистической критики. Наша критика должна быть публицистической, она прежде всего должна интересоваться общественным характером искусства, анализом его идей, что совершенно не означает пренебрежения к во-

просам формы. Только подлинно марксистская критика может дать образцы статистического анализа художественного произведения как со стороны содержания, так и формы.

«К оценке литературных произведений надо подходить прежде всего с точки зрения великих задач строительства коммунизма, с точки зрения интересов нашей социалистической родины» (передовая «Правды» от 22/ХІІ 1940 г.).

Великие русские писатели всегда придавали большое значение критике, ее воздействию на читателя и на самую литературу. Пушкин советовал Гоголю написать историю русской критики, сам следил за критикой и с сожалением отмечал, когда критика не выступала там, где она «могла бы сказать много поучительного и любопытного». Чернышевский говорил, что «критика должна играть важную роль в литературе». Салтыков-Щедрин отмечал, что одно время воспитательное значение русской критики было «едва ли не решительнее», чем беллетристики. Вот почему почти все крупнейшие писатели-художники выступали и с критическими высказываниями, статьями, иногда целыми теоретическими работами об искусстве. Отказ писателя от работы в качестве критика — это отказ от осмысливания искусства вообще и своей работы в искусстве. Такой отказ немыслим для творческой личности.

Идейное воздействие критики особенно важно сейчас в нашей стране, где десятки миллионов людей стремительно и жадно осваивают блага культуры, в стране, совершившей величайший в истории переворот. и в труде и борьбе создающей новый мир. Приближается знаменательная дата — 25 лет Октябрьской Социалистической Революции, четверть века, отделяющая старый уходящий мир от социалистического человечества. К этой дате советская литература должна прийти с новыми произведениями, достойными этих незабываемых величественных 25 лет. Создать такие произведения могут только писатели, которые «с теми, кто вышел строить и мечь в сплошной лихорадке буден». Писатели, оторванные от живой действительности, питающиеся одними дачными впечатлениями и литературными реминисценциями, не могут создать ничего значительного. Белинский различал талант и направление таланта. Без непосредственной активной связи с жизнью, без правильного направления талант неизбежно гибнет. Обладатель такого замкнутого в себе комнатного таланта питается обычно не соками жизни, а, по слову Ромэн Роллана, «экстрактами ощущений в склянках».

Советский писатель не может никогда забывать ленинские слова: «...если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» (т. XII, ст. 331).

Нам нужны произведения, художественно обобщающие гигантский опыт социалистической страны, произведения о героях нашего времени, произведения патристические, вдохновляющие, мобилизующие чувства читателя для дальнейшей борьбы и новых побед. Такие произведения будут. Поручкой этому наш народ, поразивший мир чудесами своей энергии, воли и таланта.

## На большой, на Красной площади

Во прекрасной да Москве-матушке,  
Как на той-ли широкой улице,  
Что на Красной да большой площади,  
Полна улица людей дыблется.  
Не на пир они, не на беседушку,  
Не на торги они, не на ярманьку,  
Не на гульбу они, не на весельице —  
Как сошлись они съехались  
С вождем Лениным повидатися,  
Повидатися да посмотретися.  
Как на той-ли широкой улице,  
На большой-ли на Красной площади,  
Возле башни с часами верными,  
С караульщиками со надежными  
Небольшой стоит домик мраморный.  
В этом домике не семьей живет,  
Не семьей живет, а одинешенёк  
Дорогой наш вождь — Владимир Ильич.  
Призадумалось и мне повидатися,  
Повидатися да посмотретися  
С дорогим вождем светом — Лениным.  
Из холодных мест из северных,  
Я от моря Ледовитого,  
Со прекрасной со Печорушки реки  
Собралася я поехала.  
Не конем я не лошадушкой,  
Не пешá шла по дорожечке —  
Я летела да птицей вольною  
Я на хитрости — на мудрости,  
На машине самолетной,  
Уж дошла я уж доехала  
До Москвы до самой, матушки,  
До широкой большой улицы,  
Как до той ли Красной площади.  
Там стоит народу много множество.  
Та же дума всех привела сюда.  
Я примкнулася — съединилася,  
Всем низешенько поклонилася,  
Я в черед с има становилася.  
В домик мраморный я спускалася  
Как по тем ли да крутым лесенкам,  
По гладким ли да по ступеничкам,

По частым — мелким перекладкам.  
Мысли-думушки возмутились,  
Ретиво сердце разболелося.  
К свету-Ленину приближались —  
На глазах у нас слезы показались,  
Во грудях вздохи подымались.  
Воздохнула я тяжелехонько,  
Как увидела света-Ленина:  
Он не сном ведь спит, как живой лежит,  
Как живой лежит, а ничего не говорит.  
Всем смотреть-то нам его хочется,  
Говорить-то с ним нам охотушка.  
Да лежит молчит дорогой Ильич,  
Слово ласково не вспромоливтися:  
Очи ясные призакрылися,  
Уста сахарные призамкнулися,  
Дороги слова приумолкнулися.  
Он не сном ведь спит, а лежит замертво,  
Не живой лежит, а веселешенёк:  
Верно знает он, как дела идут  
По родной земле — нашей родине.  
Все дела идут по его пути,  
По его пути по налаженной,  
Светом-Сталиным приустроенной.  
Все дела во глазах его,  
Слух со всей страны во ушах его.  
Сквозь стекольмишко хрустальное  
Смотрит он — не насмотритися,  
Слушат он — не наслушатися.  
Он во домике не один живет,  
Вся семья его каждый день идет.  
Каждый день несут вести радостны,  
Вести радостны, слухи приятливы:  
Что во всех концах да во всех краях  
Наша родина разрастаетися.  
Не мала она стала — превеликая!  
Хлебородные поля новые,  
Зелены сады с виноградами,  
Города наприбавок с пригородками,  
Моря новые со приморьями,  
Разливные озера с приозерьями  
Не на деньги купим — не вымениваем:





## Вечер воспоминаний<sup>1</sup>

Солнце купалось в большой зеркальной луже после ночного проливного дождя. Белоголубое облако плыло в водном зеркале, пушась и кудрявась. И все вокруг казалось мягким, легким и пушистым, потому что на заре развернулись наконец листья, которые торчали на ветках дерзкими и веселыми ярко-зелеными пучками.

Молодой тополек всеми своими зелеными ветвями засветился в левом крыле машины, которая подкатила к подъезду.

Елена, держась за дверцу и улыбаясь отражению тополя, оглянулась еще раз на раннюю умытую улицу и захлопнула дверцу.

— На Северный вокзал!

Поезд ожидался без опоздания — в половине седьмого. Точность всегда радовала Елену, а краткость ожидания делала его еще более приятным.

Из окна мягкого вагона выглянула Ольга Мальцева.

— Батюшки! — вспомнив прошлые годы, привычно испугалась Елена, — опять какая-то немыслимая шляпа!

— Ленк-а! — пропело грудное контрольно Ольги, и ее огненно-оранжевая шляпа качнулась, как дикий цветочек.

— Ольга!

Подруги крепко обнялись.

— Ну, как? Жизнь-то как? — и смуглое лицо Ольги, толстогубое с горячими янтаричевыми глазами, широко и сияюще улыбнулось, как всегда улыбалось оно тем, кого она любила. Выпалив еще с десятка вопросов: как здоровье Сергея, мужа Елены, в котором классе учится

Саша, сильно ли вырос, попрежнему ли у него «большущие серые глаза», — Ольга спохватилась:

— Ой, да что же мы стоим? И ты тоже умна, Ленка! Зачем так послушно отвечаешь?

— Попробуй-ка не ответить тебе! — засмеялась Елена. — В самом деле, пойдем скорей, машина ждет.

— Машина? Чудно!.. Увижу Москву, как на ладони — подумать только... двенадцать лет не видела Москвы!..

Едва машина отъехала от вокзала, Ольга увидела станцию метро.

— Стойте, стойте!.. Вот она милая буковка «М» — по вечерам ведь она красная, да?.. Слушай, Ленка, я хочу сейчас же поехать на метро, сейчас же!.. Чемодан пусть едет в машине, а мы с тобой сядем здесь на Комсомольской и доедем... Какая самая красивая станция метро, Леночка?

— На мой взгляд — площадь Маяковского.

— Доедем до площади Маяковского! Чудно! Великолечно!.. Это ведь Горьковский радиус? Должна быть пересадка под землей?

— Да, на Свердловской.

— Вели-колечно!.. Пересядем!.. Доедем до площади Маяковского... А оттуда пешком до Пушкинской.

— Там нас будет ждать машина!

— Прекрасно придумано, Ленка!

На эскалаторе Ольга не однажды восторженно взвизгивала:

— Прелесть-то какая! Роскошь!

Ничуть не смущаясь тем, что на нее обращают внимание, она всем кивала, детски довольная, и ее «немыслимая» яркая шляпка качалась, как клочок огня.

<sup>1</sup> Первая глава из II книги «Лена из Журавлиной рощи».

— Нет, я еще должна подняться по этой лестнице-чудеснице!

— Тогда, смотри, опять придется спускаться.

— И спущусь, даже — с превеликим удовольствием!.. У-у, Ленка, какая ты стала серьезная!.. Ну, стой здесь, я сейчас!

И Ольга стала подниматься. «Немыслимая» шляпка выражала еще более яростное увлечение, а когда Ольга вновь спустилась вниз, ее горячие глаза сверкали восторженным смехом.

— Это просто блаженство!.. Я страшно довольна! Сейчас, когда я поднималась, маленький человек, лет четырех-пяти, смотрел-смотрел на меня, да как захохочет! «Тети, ты — негра?» Нет, говорю, только около того, я мулатка... видишь, я почти коричневая?

— И он поверил? — рассмеялась Елена.

— Конечно. Это же редко бывает, чтобы ребята мне да не поверили. Помнишь, как профессор Сенежский прозвал меня мулаткой? Где он, что делает?

— Жив-здоров, скоро сможешь увидеть его.

— Очень интересно... Ленка, поезд подходит! Скорей!

Она заставила Елену выходить на всех станциях метро, осматривала все с хозяйским придирчивым вниманием и на станции «Площадь Маяковского» энергично заявила:

— Вот что! Я, конечно, знала, что все это замечательное хозяйство, но, оказывается, действительное может быть во сто крат прекраснее воображаемого!..

Она нежно провела рукой по стальной жиле, врезанной в темнорозовый мрамор.

— Ну! Мастер и все вместе с ним, кто сотворил это, не на словах, а на деле любили Владимира Маяковского!

Выйдя на площадь, Ольга всплеснула руками:

— Милые!.. Пятачка-то как не было!.. Ленка, помнишь, как весной мы сюда бегали мороженое есть?

— А зато площадь какая просторная стала!

Очутившись на площади Пушкина, Ольга опять восхитилась:

— Фу ты, как здорово! Наконец-то снесли эту каменную черепаху — Страстной монастырь!.. Какая огромная площадь получилась! Ленка, твоя архитектурская душа должна радоваться такому простору... Слушай, давай пробежимся по ней, а?

— Нет уж, хватит с тебя! — решительно сказала Елена и потащила Ольгу к машине. Там Ольга притихла и даже стала оправдываться. Елена, конечно, понимает, как после двенадцати лет отсутствия оспаривает человека Москва — расстаться с ней в 1927 и вновь увидеть в 1939 году! У себя в лесной школе для слабых детей директор Ольга Мальцева в заботах и хлопотах, которых у ней каждый день «во до каких пор» (Ольга выразительно провела рукой по своей крепкой высокой шее), не замечает, как несется время. Там у ней свой «малый план», а здесь в Москве чувствуешь «биенье всеобщего сердца». Возможно, директор Мальцева иногда способна расчувствоваться, но старые друзья встречаются не каждый день, и не всякому выпадает такая удача — увидеть вновь Москву в майский день!

Ольга было опять забушевала: ей вдруг захотелось «этаких пышных тюльпанов», которые промелькнули в витрине цветочного магазина, но Елена еще решительнее сказала:

— Нет, нет, только домой!

— Ой, Ленка, ты что-то строга стала! — заворчала Ольга. — Это неспроста, девушка, неспроста! А ну, покажи глаза, покажи... ну!

Ольга быстро взяла лицо Елены в свои теплые мясистые ладони, но уловила в сероглубых глазах подруги только искорки смеха.

— Ладно, потом дознаюсь!.. Ты мне кофе дашь?

— Уже наверняка готов!

Выпив чашку кофе, Ольга подошла к широкому распахнутому окну, села, сказала было: «а откуда очень богатый...» — но, не договорив, зевнула и положила голову на подоконник.

— Иди-ка спать, — ласково подняла ее Елена.

— Да, да... — сонно и послушно пробормотала Ольга. — Я, понимаешь, ведь совсем забыла, что встала еще в четыре часа... все боялась, что просплю...

Она зарылась головой в подушку, тихо улыбнулась и сразу заснула.

Обедали в восемь, решив дожидаться Сергея Петровича. Когда сели за стол, началось, как выразилась Елена, «узнавание вновь». Ольга заявила, что Сергея Петро-

«звать можно» с одного взгляда, **сталью** очкастый стал».

— Но утешься, комиссар,— добавила Ольга, обращаясь к нему так по привычке **учебных лет**,— в очках ты даже по-своему «классичен», помнишь, как ты напутствовал нас, когда мы с Леной уезжали на Третий съезд комсомола?

— Хо!.. Еще бы не помнить!.. Даже теплушка, в которой Лена, Маша и ты уехали в Москву, так и стоит у меня перед глазами.

Да, то была старая фронтовая теплушка, испелканная пулями, которые во многих местах пробили ее краснобурную обшивку. Ключья плакатов и воззваний, облепившие ее ребра, шуршали, шумели на ветру, как почетные остатки брони, уцелевшие после многих схваток. Острые и беспокойные запахи боевой жизни еще не выветрились из ее обшарпанных стен. Да и печка в теплушке тоже «видала виды»: труба была измятая, искривленная, словно чья-то спасенная хирургией нога; железные печные бока, изъеденные многими яростными топками, сквозили огненным румянцем, рассыпая колючие искры. Она скрипела и немилосердно дымила, она отказывалась служить, эта печка, но делегаты комсомольского съезда, подстегивая ее как боевого коня, заставляли обогреть их до самой Москвы.

В Курске в теплушку влез Валька Меден, тощий парень в длинной кавалерийской шинели. Он носил ее, как отметила Елена, «с невыносимым шиком» и самоуверенностью.

— Не на копе сидишь, в теплушке едешь! — насмешливо говорила Елена. — Шинель для тепла, а не для того, чтобы шиковать. Да и сними ты ее, ведь уж жарко стало, от печки искры летят — еще прожжешь казенное сукно.

Ольга Мальцева, которая влезла в делегатскую теплушку на два дня раньше и уже успела со всеми по душам сойтись, тоже изводила Вальку Медена своими насмешками:

— Франтик-модник, а ну, покажись нам в натуральном виде, дай бедной шинельке от тебя отдохнуть!

Но Валька Меден отшучивался и зубоскалил — он был остер и на язык находчив. Его выпуклые черные глаза на худом лице с тонким горбатым носом всегда горели, заговорщически подмигивали и шурлились, словно он хранил тайну или обладал многими сведениями, другим не доступ-

ными. Сын многосемейного учителя гимназии, Валька Меден, по собственному признанию, «убежал на фронт из побуждений чистойшей романтики». Но вместо боев ему в течение нескольких месяцев пришлось «кочевать» из одного агитвагона в другой. Валька «бешено рвался в бой, в огонь, чорт возьми!», но комиссар части, открыв в нем талант декламатора, рисовальщика и актера, направил его «по агитационно-просветительной части». Меден «презирал» свое интеллигентское происхождение, а отца своего называл: «мой учительшко», из-за чего сразу же поссорился с Ольгой. Она тоже вышла из учительской семьи, гордилась своими «стариками» и упрекала Медена за пренебрежение «к честной профессии», а кроме того уличала его, как «притворяжку»: кто поверит, что такой «молокосос» уже совсем забыл родителей и свою семью!

— Ты хоть лопни, а из песни слова не выкинешь, — родился ты интеллигентом, а не рабочим, — сердито выговаривала Ольга Медену, вступая с ним в спор, тем более смело, что всегда чувствовала единомыслие и поддержку подруг. Но Меден упорно называл себя «паршивым интеллигентщишкой» и проповедывал им изобретенную «теорию», которую Лена с возмущением назвала «несусветным бредом». «Главный смысл» этой меденовской «теории» был очень прост: каждый, кто не рабочий и не крестьянин, должен «отрясти с ног своих прах класса, в котором родился» и предложить себя «на усыновление» трудовым классам — рабочим или крестьянам, но предпочтительнее — рабочим, «ибо это класс — гегемон», как важно добавлял Валька Меден. А чтобы Медена, со всей его «гнилой интеллигентщиной», какой-нибудь рабочий согласился «усыновить», надо обязательно «совершить подвиг», который «прогремел бы на весь мир».

— Выдумщик ты! — возмущалась Елена. — В голове у тебя все выверты как niente... Зачем все это?.. Что нам ученые образованные люди не нужны?.. Только они часто против нас — вот в чем досада. Нашему брату при старом режиме не очень то давали учиться, а вот, погодя, отвоюемся — и все учиться пойдем... Уж это — да!

— Ладно тебе, — завистливо говорил Меден, — ты рабочая, тебе о чем беспокоиться, тебя никто не упрекнет...

— Чудной ты, право! — Маша удивлялась и пожимала плечиками с видом край-

зего недоумения.— Конечно, лучше рабочего класса на свете нету, но ежели ты будешь честно работать для революции, кто тебя станет попрекать?

Но Меден, «как всякий великий романтик», продолжал мечтать о «громовом подвиге», которого, как оказалось, жаждали и еще некоторые «малообстрелянные ребята» в потертых кожанках с отцовского плеча, в пальтишках из солдатского сукна четырнадцатого года, в шинельках, еще недавно получивших боевое крещение.

От Третьего съезда комсомола Меден ждал «чрезвычайных событий».

— Как только все соберемся — выйдет к нам Ленин и скажет: «Берите винтовки и пашки — и все на фронт! Ваша задача — разрушить старый мир до основания!» — тут Меден делал паузу, взмахивая рукой над головой, будто крутя лихой пашкой, а потом с дикой энергией ударял кулаками о худое колено.— Разрушить до основания, чтобы костей не осталось от этого проклятого старого мира, от всех этих царизмов и капитализмов!.. Как знать, друзья, может быть, мы с первого же заседания опять попадем вот в эту же теплушку — и прямехонько в бой, — за мировую революцию, за коммунизм!

Ему хлопали, порой даже отбивая ладоши, — он умел, как говорили ребята, «зажигать кровь». В длинной кавалерийской шинели, всегда застегнутой, он казался очень высоким и самым худым из всех, как будто порыв к подвигу иссушил его своим неугасимым огнем.

— Мы совершим подвиг! Мы — поколение, которое должно драться, как львы! Жизнь наша — почетная битва за коммунизм во всем мире! — декламировал Меден.

Только песней можно было остановить его — и Лена, подмигнув Ольге, затягивала «Смело, товарищи, в ногу».

В Москву теплушка притадилась рано утром второго октября.

Меден был так уверен, что с заседания пойдут «прямехонько на фронт», что даже убедил большинство теплушки «предпринять кое-какие меры». Он повел всех в комендатуру и заручился согласием вокзального начальства — до утра следующего дня задержать теплушку в распоряжении «междугородной группы делегатов».

— Нам, видите ли, товарищи, именно эта теплушка дорога, мы ее уже обжили, привыкли к ней, — объяснила Лена общее

желание, — в конце концов и она заразилась уверенностью Медена и была только озабочена одной мыслью: как-то они с Сергеем найдут потом друг друга?..

Множество делегатов уже толпилось в просторном вестибюле дома № 6 по Малой Дмитровке...

— Помнишь, Ленка, огромного детинушку с «Авроры»?

— Еще бы!.. Чтобы поскорее согреться, он предлагал всем побороть его, но мало кто решался на это! — А помнишь, Оля, курносенького парнишку с завода Михельсона?

— А, того самого, что чудесно пел вместе с дивчиной из Киева?.. У него был бас, а у киевлянки просто соловьиное горло...

— А помнишь, как железнодорожник с Сортировочной сцепился с Валькой Меденом?

— Да так сцепился, Леночка, что наш чтец-декламатор не знал, каким образом спастись от него...

— А мы все трое скоро прибились к фронтовикам... Совсем зеленые ребята смотрели на нас с завистью и ловили каждое слово.

— Ох, Ленка, а мы, старше их на три-четыре года, уже воображали себя многоопытными... — и даже посматривали чуть свысока на каких-нибудь пятнадцатилетних: куда, мол, вам — зелень вы, зелень!

Пасмурный день тревожной осени двадцатого года вставал перед этими двумя крепкими женщинами, сначала как далекое неясно-нежных очертаний марево среди степных просторов. Но, приближаясь, оно как бы приобретало плоть, звук, запах, цвет. Из-под сложных, уже кое-где отвердевших и обесцвеченных в памяти годов поднимался день второго октября тысяча девятьсот двадцатого года, раздвигая время своими гибкими юными плечами, неуязвимый, неповторимый день...

Дом на Малой Дмитровке уже был полон. Молодежь безраздельно завладела вестибюлем, беломраморной лестницей, фойе, залом, коридорами, большими окнами, в которых синел московский вечер, безлунный, холодный, с тревожными перхлестами ветра и дождя.

Но в доме было тепло от тесноты бушлатов, кожанок, шинелей, от песен, споров и смеха, а больше всего — от самой молодости!

Известно из телегатов-москвичей начал рассказывать, что в доме № 6 по Дмитровке до революции помещался игорный клуб. Здесь за игорными столами вечно просиживали московские «артисты»: Елисейев, Рябушинский, тот самый, который хотел задушить революцию «постыльной рукой голода». Но слушать рассказы о «недавнем проклятом прошлом» никто особенной охоты не обнаружил — какое кому было дело до этого прошлого, Рябушинского и прочих, когда в таком близком будущем «через каких-нибудь четверть часика» произойдет чрезвычайной важности событие: на съезде выступит Ленин!

Но уже не однажды были отсчитаны эти «зот-вот еще четверть часика», а Владимира Ильича все еще не было.

Уже был переполнен зал, сильно наполненный видом своим корабль, который в попутный ветер с надутыми парусами несется по волнам. На широких подоконниках стояли и сидели, как на корабельных релках, и как у бортов, подставляя спину зольному ветру, стояли вдоль стен, теснились около сцены и наконец сидели прямо на сцене, напротив стола президиума. Уже дважды спели «Интернационал», а Владимира Ильича все еще не было.

В президиуме посовещались и открыли съезд.

Пока шли приветственные речи, короткие, «без всякого разбега», как оценил их Валька Меден, пока ораторы сменяли друг друга на трибуне, — Лена и Ольга из зала перебрались на сцену: ближе, как можно ближе увидеть Ленина!

Все перебравшись на сцену сидели и стояли около кулис, то и дело засматривая в пролеты между ними, чтобы ничего не пропустить — ни одного шага, ни одного движения Ленина. И члены президиума минутно оборачивались назад, — но Владимира Ильича все еще не было.

Ленин появился как раз в тот миг, когда раскаленные ожиданием взгляды только что оторвались от кулис. Он неожиданно вышел из-за левой кулисы и быстрой, легкой походкой, чуть нагнув голову вперед, направился к столу президиума.

Зал взорвался рукоплесканиями. Все встали, передние ряды смешались.

— Лени-и-ин!.. Ур-ра-а!..

— Да здравствует Лени-ин!

— Вождю мировой революции... Ур-ра-а!

Высокий прибор молодых голосов, сотрясая воздух, стены, лепной потолок, гремел певучей весенней бурей.

Лена и Ольга кричали во всю ширь груди, во всю силу легких, но все им было мало, чтобы выразить безграничную любовь и доверие к тому, что сейчас скажет Ленин, к тому, о чем он сейчас думает... Все, что делали в ту минуту Лена, Ольга, Маша и сотни других девушек и юношей, их голоса, слова, взмахи рук, взгляды — все казалось им самым слабым и бледным, не могло выразить благодарность Ленину за то, что он, знающий жизнь миллионов людей, пришел сюда к ним, великий, простой и бесконечно родной человек.

Ленин постоял немного, потом чуть улыбнулся и сел за стол.

— Лени-ин!.. Владимир Ильич! — кричала Лена, чувствуя, как слезы застилают ей глаза. Она смахивала их — и все яснее видела профиль Ленина. На высоком обширном лбу сияло белое пятно света, голова поражала чистотой и законченностью своих линий, как изображение на медали.

Зал бушевал, а Ленин сидел за столом и рассматривал небольшой листочек бумаги в руке.

Лена вдруг увидела этот листочек совсем близко — через плечо Ленина. Ей показалось, что она заглянула в его мысли — и все в ней задрожало: да как это она посмела?.. Но Ленин сидел, чуть сутулясь и наклонив голову совершенно так, как это делал отец Лены, когда читал газету. Небольшая плотная рука Ленина что-то рисовала или дорисовывала.

И Лена вдруг перестала бояться, а даже напротив обрадовалась, поняв смысл того, что ей посчастливилось увидеть: ведь это были приготовления Ленина к тому, что сейчас молодежь услышит от него и унесет отсюда в своей памяти, нерушимо на всю жизнь.

Затаив дыхание, Лена следила за каждым движением руки Владимира Ильича. Над несколькими строчками, написанными его стремительным и убористым почерком, Ленин, словно завершая все содержащееся в них, нарисовал домик.

Лена и Ольга переглянулись: что означал этот домик?

А рука Владимира Ильича уже нарисовала на домике вывеску: «школа».

Девушки опять переглянулись: школа? При чем же здесь школа?

В эту минуту Владимир Ильич встал, взял свой листочек и вышел на сцену, слегка им помахивая.

Но, радуясь тому, что Ленин сейчас очутился еще ближе ко всем, зал забурлил еще сильнее. Около сцены уже сгрудилась толпа делегатов, и все проходы были забиты. Сотни молодых неутомимых глоток пели «Интернационал», кричали «ура». Многие, вскочив на стулья, махали шапками и так поднимали руки, будто держали в них развевающиеся знамена.

Ленин опять помахал листочком, как бы говоря: ну, хорошо, хорошо, а теперь давайте работать.

Но зал все не унимался. Ленин несколько раз прошелся по сцене, потом опять остановился, качнул головой и вынул часы из жилетного кармана. Подняв часы на уровень головы, Ленин показал пальцем на циферблат: время, время!

Но, взглянув на упоенно-веселые румяные лица, на восторженные от радости и тоскы молодые вихры и кудри,— Ленин не мог удержаться от улыбки. По тому, как дрогнули его крупноватые губы, как лукаво блеснули его глаза, как разбежались морщинки по лицу,— Лена вдруг безошибочно почувствовала, что Ленин любит смеяться, звонко, заразительно, как ребенок, как человек несокрушимого душевного здоровья. И весь зал, словно вызывая Ленина засмеяться, ответил на его улыбку вспышкой смеха, которая уже грозила перейти в овацию. Тогда Ленин строго выпрямился и погрозил пальцем, а потом, подойдя к самому краю сцены, слегка наклонил голову, весь устремясь вперед, навстречу работе, которая предстояла сегодня ему и всему съезду комсомола. И съезд понял это, чутко затихая, рассаживаясь на места, входя в русло.

Лена и Ольга теперь перебрались ближе к краю сцены, где стоял Владимир Ильич. Сознание, что в их жизни происходило что-то неизмеримо важное, пришло позже, а в тот момент обеим девушкам жадно хотелось «ничего не пропустить» и как можно полнее видеть и слышать Ленина.

В наклоне его головы Лена опять увидела знакомое, отцовское, бесконечно-милое. Глаза Ленина поблескивали, скуластое лицо, словно сдерживая свою способность играть каждой черточкой, выражало доброту и серьезность — да ведь он и был вождем-отцом всей этой молодежи, которая съехала сюда из множества городов и сел и со всех фронтов.

Ленин заговорил негромко и отчетливо

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим — каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще.

На лице Ольги Лена прочла то же, что в первые секунды почувствовала сама. Да сегодняшнего дня обе представляли себе что голос Ленина зазвучит могуче, необычайно. А он говорил негромко, спокойно, картавил, его «р» звучало мягко, почти бархатно.

— ...эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.

Ольга и Лена опять удивленно переглянулись. Незнакомый вихрастый парень в залатанной грязной шинельке, тараша давно не спавшие глаза, шепнул Лене:

— Учиться?.. А белополяки? А баров Врангель?

Ленин, дойдя до конца сцены, повернул обратно и, смотря прямо в сторону вихрастого парня в шинельке, спросил отчетливо и живо, словно обращался именно к нему:

— ...Чему учиться и как учиться?

Это слово «учиться» Ленин и дальше в своей речи произносил так, будто лепил его, любуясь его звучанием и смыслом. Ленин поднял голову и сквозь прищур сверкнул живыми глазами на затихшие ряды темноволосых и светлых голов, а потом пристально посмотрел поверх их, будто сквозь стены озирает ему одному ведомые дали.

— ...союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.

Вихрастый парень подтолкнул Лену локтем и страстно зашептал, беззвучно ударяя себе кулаком в грудь:

— Да ведь коммунизм-то вот он где у меня, во-о!.. Чему тут учиться-то?

Лена даже слегка растерялась, не зная, что ответить ему. Вдруг она увидела черноволосую голову Вальки Медена, который стоял, положив локти на край сцены и неотрывно глядя на Ленина. В горящих валькиных глазах Лена прочла еще более сильное нетерпение, чем у вихрастого парня. Валька Меден нетерпеливо ждал, когда Владимир Ильич позовет всех «на по-

и скажет, на какой фронт больше  
комсомольцев.

А Ленин продолжал говорить все так же  
и неспеша, только в голосе его  
появились чуть звенящие нотки  
заботы, а вместе с тем и озабоченности  
человека, который обязан все учесть и  
привести.

— Если бы только изучение коммунизма  
сводилось в усвоении того, что изложено  
в коммунистических трудах, книжках и  
брошюрах, то тогда слишком легко мы  
могли бы получить коммунистических на-  
ставников или хвастунов, а это сплошь и  
рядом приносило бы нам вред и ущерб, так  
как эти люди, научившись и начитавшись  
того, что изложено в коммунистических  
книгах и брошюрах, оказались бы неумею-  
щими соединить все эти знания и не су-  
дели бы действовать так, как того дейст-  
вительно коммунизм требует.

П Ленин потряс листочком, зажатым в  
руке, словно предостерегая всех от опас-  
ности походить на «хвастунов» и «пачет-  
чиков». Листочек в руке Владимира Ильича  
белел теперь узкой полоской, так как  
был сложен вдвое, но Лена увидела нари-  
сованный на листочке домик с вывеской  
«школа».

Меден встретился глазами с Леной,  
сморщился и покрутил головой, худое лицо  
его выразило разочарование. Вихрастый  
парень сидел, недоуменно помаргивая крас-  
ными от бессонницы веками. Меден пой-  
мал его взгляд и отчаянно развел руками.

Недалеке от Медена, в группе девчат,  
стоящих на приставной к самой сцене  
скамье, Лена увидела порозовевшее от со-  
средоточенного внимания лицо Маши Де-  
миной.

Лена кивнула ей и пожалела, что Маша  
не видела листочка с нарисованным на  
нем домиком «школа» — и тогда бы Маше  
еще яснее было все происходящее.

Все, что в первые минуты показалось в  
речи Ленина неожиданным, теперь становил-  
ось ясным и понятным. Более того, —  
иной речи, как эта, уже и представить  
было невозможно.

Вместе со всей партией Ленин вызвал  
несколько сот комсомольцев для того, что-  
бы сказать им всем, что надеется на них,  
на союз молодежи, как на строителей ком-  
мунистического общества. — Да, Ленин и  
партия надеются на комсомольцев, как на  
продолжателей дела партии. Но можно ли  
надеяться на таких, как этот парнишка с  
красными веками, который, как видно,

живет убогими, раз навсегда завершённы-  
ми мыслями и потому, растерянный и  
жалкий, сидит здесь и ничего не понима-  
ет... Вот он думает, что коммунизм уме-  
стился под его грязной фронтовой ши-  
нелькой.

— ...взять себе всю сумму человеческих  
знаний, и взять так, — Ленин неспешно и  
энергично собрал пальцы в кулак, —  
чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то  
таким, что заучено, а был бы тем, что вами  
самими продумано, был бы теми выводами,  
которые являются неизбежными с точки  
зрения современного образования.

— Понял? — шепнула Лена и слегка  
толкнула плечом вихрастого парня. — Всю  
сумму знаний взять... понял?

Ей хотелось добавить: «и чтобы самим  
все продумать!» Но она не посмела ска-  
зать об этом; она еще очень туманно себе  
представляла, как она будет «продумывать  
коммунизм».

Временами Лене казалось, что вот опять  
и опять она настолько хорошо схватила  
«самую суть» в речи Владимира Ильича,  
что хоть сейчас все готова повторить. Но  
минуту спустя Лена уличила себя в са-  
момнении: это было совсем не так просто,  
как казалось на первый взгляд. Слово Вла-  
димира Ильича звучало, светилось в па-  
мяти Лены, прозрачно, зеркально, как чист-  
ый глаз водоема на поверхности земли.  
Но глубинный смысл слова ускользал от  
нее, как неведомое дно водоема, — и на-  
конец Лена поняла, отчего это происходит:  
впервые в жизни она слышала слово, та-  
кое точное и скупое и столь обильное  
мыслью. «Гений!» — подумала она, и  
вспомнила все, что рассказывал ей муж о  
встрече с Лениным. «Слово Ленина орлом  
летит, за собой тысячи думок ведет!»

Да, оно вызывало мысли, рождая их,  
как солнце восходы. От их острой, пронзи-  
тельной новизны и свежести даже захва-  
тывало дух, как при быстрой езде. Так  
именно и неслись эти новые мысли, то  
сталкиваясь на бегу, то обгоняя друг дру-  
га, неожиданные, стремительные.

А она, Лена Гребнева, как и все прочие  
в этом зале, просто бедные знанием люди,  
неподготовленные, необразованные!.. Вот в  
чем дело!.. «Сумма человеческих зна-  
ний»... — вот этого-то и нет, вот это и  
надо приобрести, иначе жизнь обратится в  
бесплодный пустырь.

Широкоскулое лицо Ленина разгорелось,  
стало тверже и моложе. Из-под зоркого  
прищура его небольшие карие глаза все





еще полчаса, еще минутку... Дня ~~остаток~~ — так украдем два-три часа у ~~вечера~~. Потом оторвем кусочек утра... Ах, ~~невозвратимое~~ время!

— Ленка, почему такой минор?

— Ах, Оленька, это просто запоздалое ~~замечание~~, что я в свое время не приобрел дара — учитывать всех этих «прошлых»...

— Ну, милая, каждому из нас приходится иметь дело также и с неприятными ~~людьми~~.

— Нет, Оля, это все гораздо глубже, ~~чем~~ ты думаешь... Да еще в нашей среде... ~~художники~~, скульпторы, архитекторы... ~~Больше~~ муз в одном доме...

— Все-таки я что-то не совсем тебя ~~понимаю~~, Лена...

— Ну и ладно — потом поймешь!.. А сейчас я не хочу омрачать нашего вечера ~~вспоминаний~~ — он так хорошо начался у ~~нас~~!.. Давайте лучше вспоминать о всяких ~~забавных~~ и смешных приключениях... ну!..

И Елена звонко хлопнула в ладоши. Ее ~~длинные~~ пологие брови морщились и ~~шевелились~~, гибкие, как травинки.

Вспоминали добрым словом первый раб-~~фак~~ в Колотовске, отъезд в Москву осенью ~~двадцать~~ второго года.

— Ох, ну и тошный был день — помнишь, Ленка?.. Но все нам было смешно, ~~мы~~ хохотали, как сумасшедшие, над каким пустяком, а Сергей все утешал нас. А нас бесило, что ты, Сергей, смотришь на нас, как на девочек...

— Ну да, — укоризненно поблескивая ~~очками~~, сказал Сергей Петрович, — если бы я тогда заливался вместе с вами, беззаботные головки, кто бы все охлопотал для переезда?

— О несравненный наш Virgiliy Публий Марон! — насмешливо умилилась Ольга, — так и хочется опять пригласить тебя в третейские судьи! Ты ведь во всех наших вузовских и житейских распрях всегда был в третейских наставниках.

— Да, пришлось мне потрудиться и на этом фронте. — сказал Сергей Петрович и потер переносицу.

Вспоминали, как в 1922 году все они — Елена, Сергей, Маша и Ольга и десятки других вузовцев, — кто откуда — после разных вытарств «отвоевали» себе второй этаж бывшего дворянского особняка екатерининских времен.

— Помнишь, Сергей, первое хозяйственное заседание, когда мы всем коллективом соображали, каким образом нам «омеблировать» наши огромные комнаты?

Мы с Ленкой и Машей, выполняя постановление собрания, пошли обследовать чердаки, чуланы и прочие закоулки...

— ...времен Очакова и покорения Крыма! — рассмеялся Сергей. — И сразу — какая находка привалила!

— Маша нашла целую серию чубуков! — расхохоталась Елена. Ее подвижное лицо вытянулось, она слегка скосила глаза к носу, сжала губы в ниточку — и всем вспомнилась изумленная и разгневанная Маша.

— Это-то что за билиберда? — тоненьким машинным голоском заговорила Елена. — Какая-то, понимаете, длинноногая чертовщина... и не то коробка, не то чашка на конце...

— Прямо удивительно, — переходя на то же высокое дрожащее сопрано, подхватила Ольга, — что такое тут делали: не то кипя-ти-ли, не то коптили!.. Ха... ха...

— Курили, Машенька, курили! — расхохотался Сергей. — А она мне сначала не поверила и даже вспыхнула по моему адресу: комиссару-де не полагается над людьми издеваться!..

— А помнишь, Сережа, как мы придумывали названия для разных коридоров? Наш женский коридор Ольга предложила назвать «Лысой горой». К нам именно вела лесенка и, хотя в ней было десять ступенек, она была очень неудобная, крутая, скрипучая... и ты все ворчал, что к нам подниматься надо как в гору.

— Да еще в крошечной тьме...

— А потом, Лена, ты еще забыла, что в закоулке возле дверей стояли метлы, которые мы воровали у дворников, так как мести-то ведь было печем. Вот я однажды и говорю девочкам: живем на самой верхушке... метлами след метем-заметаем... ну, чем не Лысая гора?

Вспомнили, как на первых порах, пока в общегиттии все «утрясалось», то там, то здесь возникали раздоры «из-за житейского», споры и расхождения «на принципиальной и морально-этической основе», стычки, ссоры, недоразумения. Эти крупные и мелкие случаи прозвали «мошкаррой», «комарами» или просто «комарятиной».

— Сергей, помнишь, тебя, как бывшего комиссара, чаще всего выбирали в третейские судьи, чтобы разгонять «комарятину»... Как комиссар скажет, так тому и быть!

— Что говорить, вы здорово моим комиссарством злоупотребляли!.. Я, помнится, потом уже бастовать начал.

— Но потом все мало-помалу действительно утряслось, дорогой многотерпеливый Вергилий!.. Да, помнишь, Ленка? Ох, зелень, зелень мы были тогда, а пришло время — и брызнула из нас сила: вот что мы можем из себя сотворить!..

— Конечно, Маше было легче: она еще в гражданскую назначила себе, что будет врачом, — так и пошла по этой дороге... Ах, расскажи, пожалуйста, как живет она, Машенька наша?.. Давно уж от нее писем не было.

— Занята Маша просто во как! — и Ольга энергически провела ребром руки под уже обозначившимся двойным подбородком. — Кстати, она вам обоим горячий привет посылает... Мы ведь с ней соседи. Как за нашу школьную ограду выйдешь — дорожка тебя выведет на шоссе. А там всего километр до нашего районного центра — большое село — колхоз Скоблино. Больница там — самая лучшая из всех районных больниц нашей области. Правда, до прихода туда Маши эта больница считалась плохой, несмотря на то, что была новой — в 1925 году построена. Порядка там никакого не было, воровство — потрясающее, грязь — кошмарная. Маша взялась за все это — ну, знаете, как она за все берется: на нее кричат, шипят, ей бревна под ноги подкатывают, а она идет себе, тихонькая, упорная, глазком не моргнет, наступают, отвоевывает себе позиции по вершку в день и точит препятствия, как вода камень — терпение у ней совершенно поразительное, просто даже умерительно!.. Какое-нибудь областное или районное начальство рвет и мечет: «да на каком вы основании требуете, да что вам еще нужно, да я не разрешу!». И так далее и тому подобное. А Машенька переждет, когда человек вконец израсходуется, так, что ему даже неловко станет перед женщиной, — и опять спокойно и методично примется наша тихоня за свои выкладки. Так и отвоевала все, что было нужно. А про больничный внутренний распорядок и говорить нечего: все сверху донизу перевернула. Одним категорически показала от ворот-поворот, а других поставила на ноги. Так «по гвоздышку», как Маша выражается, все и переделала.

— Когда четыре года назад Маша приезжала к нам в Москву на курсы усовершенствования врачей, она все мечтала, чтобы и в их районной больнице было переливание крови.

— Помнишь, Леночка, сколько беготни у ней было по клиникам и больницам?

— Да, да... Ты, говорю, совсем уходишься, Машенька, — уж только носик на личике торчит. «Не беда, комиссар, были бы кости, а мякоть наживу, мне нужно здорово подучиться».

— И как еще подучилась!.. У ней в больнице уже два года, как организовано переливание крови. Маша сама переливание делает, а когда она ездит по своей районной периферии, двое младших врачей успешно переливание производят.

— Вот молодчина, Машка! Четыре года назад, как она у нас во время курсов жила, я ее спросила: наверно, авторитет у тебя в районе большой? «Да, ничего, говорит, особенного».

— Скрытничает, тихоня! Авторитет у ней дай бог каждому. К ней в больницу из других районов приезжают. Недавно был и забавный и характерный случай. Вырезала она одному старику какую-то застарелую шишку на шее. Старик потом долго вертел головой — помеха исчезла, а под конец умилится и сказал Маше: «прежде я все богородице молился, а теперь жизни подательница, выходит, ты, Марья Семеновна, золотые твои руки, светлая голова!».. Да, с Машей не пропадешь. Недаром я была рада-радешенька, когда узнала, что лесная школа, куда я еду, находится по соседству с Машей. Ведь наша лесная школа находится под постоянным машинным наблюдением, и, можете себе представить: за двенадцать лет с машиной помощью не один десяток наших слабых ребят мы смогли вернуть к нормальной школьной жизни.

Разговор опять перекинулся на случай из жизни в екатерининском особняке в одном из тихих переулков на Арбате. Вспомнили первые «академические преграды», страхи перед зачетами, когда многие обитатели, как во владениях «Лысой горы», так и в других коридорах, обнаружили, что знания у них в лучшем случае пестры, как лоскутное одеяло, а чаще всего — они просто «ужасно малы, просто ноги поставить не на что», как в отчаянии выразилась однажды Елена. Она оказалась одной из самых беспокойных и «жадных»; над ее страстью к книгам некоторые даже посмеивались. В стенновке ее изображали в карикатурах «женщиной-книгоглотом». Потом стали изображать ее «ученой совой», потом «без пяти минут профессором», с отросшими до пят волосами, в огромных очках, уткнувшейся крючковатым носом в груды книг. Елена

огрызнулась и чаще всего мрачнела: «... вы смеетесь, дураки!»

Ее возмущало «разгильдяйское отношение к науке», когда некоторые слушатели «шли через пень-колоду», чем унижали себя в глазах разных «старорежимных интеллигентов», как называла Елена некоторых реакционных профессоров.

— Они ведь о нас как воображают? Стрелять-то вы, голубчики, умеете, а вот культуру строить, науку вперед двигать — тут вы и сели в дужу, тут у вас руки вялые!.. Вот как они думают о нас, о рабочей молодежи! — говорила она с резкой и злой иронией. — А вот мы завоеем все это богатство, всю эту культуру, как государства завоевали, да ка-ак начнем к ней своего подбрасывать, своего, что наши руки сделали!.. Как, бывало, в гражданскую, выжишь, у костров в походе грелись?.. Сначала палые деревья горят, огонь по ним идет, потом молодых елочек, бывало, палочками нарубаем, подбросим и... глядишь — вот они уже занялись, пылают, жар дают, а старые давно сгорели! Верно, так? — и ее глаза вспыхивали упрямым огнем.

Сергею часто случалось наблюдать Елену в жаркие, прокуренные часы спора в общежитской кухне, где споры обычно и возникали.

На большой плите кипели чайники и зарилась картошка. Молодые голоса заглушали треск огня. Первое время в таких спорах Сергею приходилось хитро искать разные способы, чтобы поддержать Елену, помочь ей ухватиться за такой довод, которым верней всего разбивались построения другой спорящей стороны. Но прошло несколько месяцев, и он стал замечать, что Елена все чаще справляется сама. Она становилась все настойчивей и смелей, а однажды, после того как положила «на обе лопатки» одного из своих противников, сказала мужу: «Ничего, в другой раз я его еще сильнее прижму!» Она запомнила множество ранее незнакомых ей имен, схватывала на-лету, как птица добычу, содержание самых разнообразных книг. У ней появилась привычка рассказывать о прочитанном. Обняв Сергея за шею и временами прижимаясь щекой к его плечу, Елена принималась подробно рассказывать, в чем она видела «зерно» книги, что в ней готова была «заставить», или что отвергала. Книги возбуждали в ней самые разнообразные чувства — «ну, совершенно как люди!» Так именно она передавала их смысл и те их особенности, которые пора-

жали ее воображение. «Вот, послушай, как об этом говорится»... — и Елена, подняв голову и глядя на мужа восторженно моргающими глазами, передавала «в лицах» какой-нибудь особенно понравившийся ей диалог, почти дословно цитировала страницы, где ее неутомимые глаза вычитали интересную мысль. Иногда это рассказывание прочитанного превращалось у нее в нескончаемый ряд вопросов о том, чего она не поняла. Если Сергей не мог на них ответить (а такие вопросы попадались все чаще), она огорченно смотрела на него: «Ох, мало же еще мы с тобой оба знаем!» Эти восклицания сначала смущали, а потом уже прямо заставляли его страдать. В такие минуты ему казалось, что она его презирает и даже перестает любить. В ее больших черносиних зрачках он видел свое крохотное отражение и вздрагивал от смутных предчувствий: если дело так будет продолжаться, в один ужасный день обнаружится, что в душе ее он занимает такое же ничтожно малое место. Только спустя довольно долгое время, он понял, что она, открывая в нем те слабости, которых прежде не замечала, любила его, как сама однажды выразилась, «без всяких выдумок», то есть реально, таким, как он есть.

Но, взрослея, она еще сохраняла в себе много детски-наивной порывистости, над которой кое-кто вместе с Валерьяном Меденом и явно, и исподтишка посмеивались. Сергей про себя гордился тем, что понимал, отчего в ней сохранились эти черты: ее детство, скупое на радости, было грубо укорочено жизнью, как укорачивают цветок, оторвав его от стебля, ее юность неслась на коне, раскаленная земля звенела под его копытами, и горячий ветер перемен бил в лицо. Теперь, когда под ногами у ней была твердая отвоеванная и ею также земля, силы, задержавшиеся в своем развитии, вызревали в ней бурно и весело. Сергей чувствовал, как теперь все в ней особенно сильно и кипит, и играет и уже не удивлялся никаким неожиданностям с ее стороны. Непосредственность и прямота детства проявлялась в ней просто и безбоязненно. Она так откровенно высказывала свою симпатию, доверие или презрение, что Сергей порой даже сдерживал ее: «ну, зачем зря гусей дразнить?» Она смешливо отмахивалась: «а кто на них прямо идет, того они щипать боятся!» И хотя часто ее первую и «щипали», она упрямо продолжала делать и говорить так, как думала и чувствовала.

«Много ты себе крови портишь!» — замечали ей осторожные люди. — «Ну и пусть — возражала она, — зато мне все ясно, и я ни в ком не обманываюсь. Очень я люблю, чтобы все как есть для меня было ясно и определено!» — за эту любовь к ясности всегда ей приходилось расплачиваться: те, которые, напротив, не любили никаких «прояснений», не упускали случая уколоть ее, подсадить и высмеять.

Увидев ее на площадке, нахмуренную, с крепко сплетенными на груди пальцами, Сергей безошибочно знал, что она огорчена. Чем сильнее было огорчение, тем сердитее казалось ее лицо.

— Можно подумать, что ты невыносимая злючка, — однажды сказал Сергей, но она упрямо отмахнулась.

— Ну и пусть... ненавижу всякие жалконькие выражения.

Когда при встрече она, оглянувшись по сторонам, подбегала к нему и нежно-угловатым движением обнимала его, он также безошибочно знал, что сейчас она спокойна и довольна.

В такие минуты они любили сидеть в конце длинного коридора у большого сводчатого окна, в котором при вечернем солнце пламенили краски старинного витража. На радужном фоне верхних его стекол, изображающих знойный закат, возвышались сине-зеленые пики горных лесов. По тропинке среди бурно играющих бирюзовых речек и водопада, шел юноша в красном камзоле, высоких оранжевых сапогах, в коротком желтом плаще, брошенном на левое плечо. На пышных кудрявых льняных волосах юноши была надеята маленькая шапочка, красная как мак, а ее длинное и узкое перо вилось по ветру, словно золотистая змейка. Он шел вверх, в горы, опираясь на толстую палку с загнутым концом, как у пастухов. Вонзив конец ее в зеленую мураву, он готовился перескочить через сумасшедшую реченку, чтобы подниматься все выше и выше, туда, где густые сосновые леса вздымают свои пики к радужному предзакатному небу. Может быть, за этим перевалом, оцепившимся лесами, находился тот желанный город и те люди, куда юноша так настойчиво стремился?.. У него было простодушное румяное лицо с угольно-черными круглыми бровями. Он смотрел вполборота на Елену и Сергея, и черные как смородина глаза его улыбались, словно говоря: «вот, видите, иду и непременно дойду!» Обоня он очень нравился, а Елена

в веселую минуту даже дала ему имя: Ваня. — «Так ведь он иностранец, — шутиливо настаивал Сергей, — лучше назовем его Джоном!»...

И под улыбчивым взглядом Вани-Джона Елена принималась рассказывать, как прошел день.

Но скоро Сергей сделал открытие, которое задело его еще сильнее, чем некоторые замечания его жены: оказалось, что мыслями о прочитанном и виденном она делилась не только с ним, но и с другими.

— Как же ты могла это делать? — спросил он, еле сдерживая ревнивую дрожь в голосе, он чувствовал себя так, словно она тихом стацила у него что-то кровное и легковерно отдала другим.

— Как же это можно? — повторял он, уже почти ужасаясь этому открытию.

— А почему же нельзя? — вместо ответа спросила она, смотря на него ясными глазами. — Мне еще, знаешь, почему это важно, не всегда только тебе рассказывать, знаешь, почему? Тебе-то все кажется интересным, что я говорю. А чужой человек только тогда меня будет слушать, если я действительно интересно все передаю — для меня очень важно таким образом свои знания проверять. Ведь верно, комиссар, я это неплохо придумала?

И комиссару только оставалось похвалить ее... и втихомолку отказаться от привычного и милого сердцу отношения к ней, как к «своему созданию». В ней расправлялась молодая требовательная сила, которая жаждала испытывать себя сама. «Личность! Да, самостоятельная личность», — говорил себе комиссар и с невольной горечью посмеивался: «Тоже, Пигмалион выискался!.. Не очень-то, друг, попадайся ей на глаза, не очень-то пылко допытывайся, как она свои богатства добывает, а то, чего доброго, разгневется наша Афина-Паллада!». Так и стал делать: ни о чем не допытывался, а если и спрашивал, то очень сдержанно, ожидая, когда она сама захочет открыть перед ним, как она называла, «свою мастерскую». Скоро он убедился, что Елена этой «перемены тактики» даже не заметила: такое понимание со стороны мужа всего, что она делала, казалось ей совершенно естественным. Именно такого отношения к себе она теперь и хотела — это он тоже очень четко понял.

С каждым днем все ярче открывалась ему внутренняя жизнь Елены, которую она недаром называла: «моя мастерская». Теперь прежде всего работой этой «мастер-

Сергей объяснял каждую перемену в ее лице, походке, манере говорить. В слове ее глаз, в новой привычке поднимать брови, в раздумчивой дрожи ее губ — он теперь видел уже не столько отражение ее любви к нему, но прежде всего отражение работы и движения ее «мастерской». Сергей видел, как многие заглядывались на нее, а некоторые даже встали, как она смеясь говорила, «плезент» ее. Нашлись и просто назойливые, которые увязывались провожать ее домой. Одному такому, который непременно хотел «посмотреть», как она живет, Елена разрешила подняться с ней в общежитие, вызвала Сергея и непринужденно представила его: «познакомьтесь — мой муж».

Сергей был уверен, что никакой «дешевкой» ее не подкупить, и все-таки смутное беспокойство не оставляло его. Кроме того приходилось жить, хотя и в одном доме, а все же разъединенно. В екатерининском особняке, который пропустил сквозь себя множество эпох, почти не осталось перегородок. В его огромных комнатах, которые все называли «вокзалами», легче было разместить сотню молодых ребят со всем их нехитрым имуществом — топчанами, сундуками, колчатогами столами, чем принять десять супружеских пар. Жены жили в общем женском «вокзале» или на «Лысой горе», а мужья — отдельно. Не каждый день удавалось найти уголок, где можно было бы чувствовать себя хоть «относительно вдвоем». Сергей и Елена особенно любили круглую нишу в конце коридора, напротив которой неутомимый Джон-Валя шел по крутой горной тропе. Можно было встречаться на площадках, прячась за массивными, как слоны, исцарапанными надписями колоннами, но зимой там гулял ветер и слышно было, как внизу в подъезде голодным волком взывает никогда не запирающаяся дверь.

Иногда, увидя, что в полутемном коридоре пусто, Сергей быстро обнимал Елену. Она прижималась к нему, целуя его как попало — в щеку, в глаза. Больше всего они боялись «попасться», но ни разу не попались.

Зато весна вознаграждала за все. Они брали лодку и ехали на Воробьевы горы. В тихой прозрачной воде рядом с ними плыли белоголубые пышные скопища облаков, плыла нежная, еще сквозистая зелень опрокинувшихся берегов. Елена сидела у руля, а Сергей на веслах. «Правь прямее, Леночка», — говорил он, уже без помехи любуясь ее лицом, поворотом го-

ловы, разбитыми волосами, гибкой линией плеч и груди, обтянутой полосатой кофточкой.

— Правь прямее! — говорил Сергей, а это значило: «милая, красота моя, люблю тебя!» Она посматривала на него исподлобья, ее ресницы бросали тонкие лучистые тени на щеки, а губы улыбочиво морщились: «Я и не сворачиваю никуда!», а это значило: «и я тебя люблю, никогда не сомневайся, люблю!»

Они выходили на берег, привязывали лодку, поднимались по тропинке. Наверху земля была уже просохшей и чернорыжими плешинками виднелась то здесь, то там. Трава цветинилась и блестела так, что хотелось жмуриться. Птицы хлопотливо и благожелательно щебетали, а деревья простирали навстречу ветки, одетые курчавыми листочками, мелкими, пахучими, как тот нежный клей, который еще покрывал их тонкие завитки.

Вперед открывался бархатно-зеленый бугор, за которым начиналась маленькая зеленая полянка, окруженная кустами. Там Сергей расстилал свою старую комиссарскую шинель. Елена ложилась на нее, закинув руки за голову, смотрела в голубое, бездонное небо. Оно голубело совсем близко, пронзая ее своим теплом и светом. Здесь никто не видел их и не слышал. Даже птицы редко залетали сюда...

— Комиссар, эй, комиссар! О чем это ты так замечтался? — и Ольга, раскатило смеясь, дернула Сергея за рукав.

— А? Да... да... ну, что? — смущенно вскинулся Сергей, прерывая свой тайный вечер воспоминаний.

Теперь и Елена сама вспоминала о своей «мастерской», как раз о той ее поре, когда, ступаясь и проваливаясь, как по всеяней дороге, студентка института искусств, Елена Гребнева искала себя.

— Я иду от звезд, которые я рисовала на бортах тачанок, — с некоторого времени любила повторять Елена. Тогда она уверила себя, что будет художником-графиком.

— Звезда на тачанке указала мне путь! — шутила Елена.

Графика увлекала Елену четкостью, строгостью линий, подвижностью композиции, которая «в малом может показать большое».

Сначала Елена увлекалась советскими графиками — Соколовым, Павловым, Фалилеевым, Фаворским. Ее восхищала мысль «пером и карандашом изобразить московскую жизнь — улицы, театры, заводы, людей, все, все»... Она бегала по музеям

и выставкам, увлекаясь то гравюрами Джамбаттисты Пиранези, то гравюрами Жака Жюлло, то Дюрером, то Брэнгвином, то Мазерелем, то Гаварни. То ее увлекали старинные русские мастера: Чесский, Орловский, Зубов, Ефимов. То она вдруг бросалась изучать кубизм, футуризм, импрессионизм и прочие «измы», как шутил Сергей.

— Художник должен знать, как работают тысячи других художников! — говорила Елена, усталая, румяная после беготни по очередной выставке, или просмотра «целой горы» альбомов, книг, гравюрных листов.

— Я все хочу знать! — повторяла она, шаркая жесткой щеткой по запыленным пальцам.

— Ты жадная, ты просто обжора! — опасался Сергей. — Так надорваться можно!

— Нет, уж ты меня, пожалуйста, не устрашай! — упрямо возражала Елена. — Я до семнадцати лет неуч-неучем прожила, — столько лет упущено, это все наверстать надо.

— Подумаешь! Тебе же всего двадцать второй год — сколько времени впереди, — пытался образумить ее Сергей.

— Все равно — упущено, упущено!.. Да ведь ты же сам сколько раз жалел, что мы росли «без садов». Вот я хочу создать, наконец, этот сад!

— Но, Леночка, для растений нужен грунт, а его ты готовишь слишком спешно...

— Я удобряю грунт все новыми и новыми знаниями!

— Без разбора, Леночка, без разбора! Не все тебе нужно и полезно.

— Все! — отрезала Елена — и тут они даже поссорились.

— Помню, помню! — рассмеялась Ольга. — Я же вас мирила!.. Ленка вспылела страшно: — «Ты (это было по твоему адресу, комиссар), кричит, везде и всюду готов насадить лаборатории да все по колбам, по колбам рассовать»... Словом — принципиальная ссора по всем правилам искусства!

.....

Но «грунт», как вскоре обнаружилось, у Елены действительно не был подготовлен: серия ее рисунков и гравюр «Москва сегодняшнего дня» ожидаемого одобрения не получила. «Исполнение, как писали в газетах, в разрыве с замыслом».

Утешая ее, мрачную и сразу осунувшуюся, Сергей напал на эклектизм некоторых рабфаковских руководителей: они проповедуют слишком «безудержную широту исканий» и сбивают с толку увлекающихся и еще далеко не окрепших в мастерстве молодых художников.

Но Елена винила прежде собственное неумение и жаждала «расправиться» с собой. Она жестоко раскритиковала свои вещи в большой статье, которую даже Ольга, ее верная единомышленница, назвала «самообличением».

— Так мне и надо, так и надо расправиться с неумением! — с мрачной страстностью утверждала Елена. Однако ее «мастерская» не заглохла, несмотря на эту «беспощадную расправу»: значит, найдено было не то!

Через некоторое время Елена объявила, что ее влечет монументальное, простор, густое полнокровие красок: не графиком ей быть, а художником-декоратором.

Потом все трое вспомнили, как Елена опять убедилась и Ольгу, что и в той заложено все, что нужно художнику-декоратору. Подруги увлекались поочередно манерой Сомова, Бенуа, Добужинского, Головина. Потом, побывав на выставке скульптуры, принялись лепить.

— Само собой разумеется, крепость мы любим брать одним приступом: желаю сразу лепить лицо! — и Елена с насмешливой решимостью сделала в воздухе округлый жест, словно в руке у ней был скребок для глины.

— Желаю вылепить лицо! Оленька соглашается, но глазищи ее до того смеются, что я смущаюсь. Выбхраю Машу. Она тоже соглашается, но с условием, что во время сеанса будет зудить свои медицинские науки... Леплю. Дело подвигается слабо...

— А Машенька, чудный наш реалист, однажды во время сеанса бросает задумчивую реплику: «И-да, кто чем болеет...» Наша скульпторша прерывает работу: «о каких ты болезнях говоришь?» А Маша невозмутимо разъясняет: «нас на медицинском, как до терапевтики дойдут, так у всех вузовцев обнаруживается множество болезней: рак, аппендицит, желтуха, воспаление печени и почек, миокардит... «Вот и я, — добавляет Маша, — недавно прощывала у себя аппендицит, потом тряслась, пет ли у меня рака желудка»... Скоро со скульптурой было все кончено!

Летом двадцать четвертого года все поехали в Колоотовск, — «с почетом», как

Елена. В Колотовске уездный политпросвет, который в 1922 году отправил «способную девочку» учиться, теперь пригласил «москowsкую художницу» «способную украсить город», как напыщенно было сказано в приглашении.

Идею эту подал Василий Ласточка, бывший председатель уездного исполкома, уезжавший из Колотовска за месяц до приезда Елены. Весной он потерял жену и сына. Мальчик заболел скарлатиной, и Груша, ухаживая за ним, заразилась тоже. Оба умерли почти в один день. Василий затосковал. «Черный даже стал, — рассказывала мать Елены, — прямо будто обуглился весь, как из огня вынули. Вот и нет, говорит, подружки моей верной, сына милого!..» Непереносно ему было на Колотовск глядеть — везде Грушенька виделась!

В домике, где когда-то раздавался грудной смех Груши, теперь жили какие-то незнакомые люди. Василий, убегающий от горя, бросил квартиру со всем, что в ней было. На ореховом диване спал пятнистый лагавый пес, и, конечно, его лапы изорвали в клочья желтый штоф, который когда-то Груша так бережно обметала пловым венчиком. Пол посеред, как мостовая. За столом, голым, словно неубранное мертвое тело, сидел толстый мальчик лет семи в скорбительно-розовой новешенькой рубашке и с тупым прилежаньем кромсал перочинным ножом старое добротное дерево. Елене от боли и обиды хотелось затопать, закричать, согнать пса с дивана и так испугать цекастого мальчишку, чтобы он больше никогда в жизни не резал столов.

Выйдя на пыльную улицу, Елена побежала прочь от этого теперь ей чужого, кошунственного дома.

«Милая Груша, закрылись, закрылись твои черные, цыганские глаза! Грушенька ты моя, золотое сердце, белые руки!.. Как быстро стерся след твоей горячей, как песня, жизни!..» При мысли, что незнакомые жильцы, неряшливые и беспечные люди, и не подозревают даже, что нанесли ей рану, потеря Груши показалась Елене еще ужаснее. Ей впервые пришла в голову мысль, что еще долго-долго придется ждать, пока люди научатся понимать и ценить друг друга, когда люди будут бояться не только незаслуженно оскорбить, но даже случайным словом поранить человека.

«Но как для этого работать надо!» — подумала она опять, невольно следя за тем, как у водокачки две женщины, про-

стоволосые, в грязных капотах, разъяренно спорили, которая из них раньше поставит ведро под струю. Ведра, сталкиваясь, жалобно и злобно скрежетали, как и голоса их хозяек. Сторожиха водокачки, выставив в оконце сердитое старушечье лицо, безуспешно пыталась перекричать спорящих. Ребятишки хохотали и свистели. Лохматая собачонка брехала от скуки.

Елена с ненавистью подумала о житейской обыденности, которая унижает и обкрадывает дух человека. Ей вдруг захотелось чем-то поразить нелюбопытные глаза обывателей, заставить их смеяться, ахать от радости перед еще неожиданными красками и формами, которые она «москowsкая художница» открыла бы им.

Колотовский уездный политпросвет заказал ей «расписать по своему усмотрению» занавес и зрительный зал клуба железнодорожников. Это было низкое, бревенчатое здание с невытравимыми пятнами сырости на стенах.

Отвергая житейскую обыденность и утверждая «монументальность и стремительность современности», Елена расписала клуб во вкусе своей тогдашней «веры».

В день «прjemки-сдачи» Елена долго обозревала свою работу, «москowsкой художнице» казалось, что краски и линии отчетливо передают «смысл пейзажа».

Но члены комиссии, похоже было, совсем ничего не поняли.

— Как же это... того... называется?

— Это индустриальный пейзаж, — гордо ответила Елена и сама разъяснила комиссии, в чем заключается «идея и целевая установка», добавив при этом:

— Мы строим новый мир, и все вокруг должно быть новое, необычайное.

— Да, конечно... — сказал заведующий политпросветом. Остальные члены комиссии согласно вздохнули.

Работу приняли, заплатили условленную сумму, даже выразили благодарность. Елена была на открытии клуба — ей прежде всего хотелось видеть «как реагируют». Она услышала оценки вслух.

— Это что же такое намалевано? Как понять?

— А как хочешь — ныне мода такая.

— Батюшки, что ж чему — вообразить невозможно! Аж в глазах свербят!..

— Да брось, не гляди.

Елена не стала смотреть спектакль, пришла домой и зашлакала.

В Колотовске она украсила еще один клуб, написала несколько плакатов, но на



душе было беспокойно и уныло. Вообще родной городок все время раздражал ее, хотя в ее личной жизни все было благополучно: матери выхлопотали пенсию, как «вдове героя труда», братья учились хорошо. Мать пополнила, совершенно бросила пить и даже будто помолодела. Она работала мастеляншей в городской больнице и жила в двухкомнатном домике среди старого липового сада. «Никогда так не жила», говорила она, порываясь перекреститься, но каждый раз сдерживалась, боясь насмешек дочери. «Вот теперь бы отцу-то здесь жить, уж то-то подышал бы он, голубчик мой!» Теперь ни о матери, ни о братьях нечего было беспокоиться. Кроме того, она была матерью Елены Гребневой, во всей губернии первой девушки, получившей орден. Да и сама Елена была для Колотовска «своя», и «наша» и «московская художница». И все-таки раздражение не проходило, уверенность в себе сменялась унынием и безнадежной вялостью «все не то делаю, не то»...

— Помню, принесет, бывало, домой набросок плаката,— вмешался в рассказ Сергей Петрович.— Ну, как, хорошо? «Да, шут его знает, право... ей богу, Леночка, я что-то не пойму». Смотрю: наверху коробочка — завод с двумя рядами окошечек, внизу рабочий — лицо у него... геометрическое. Она меня спрашивает, а я только раздумываю вслух.

— Но все это было очень хорошо, очень! — и Елена, обняв рукой его голову, поцеловала в лоб.— Если бы ты тогда меня хвалил, искать пришлось бы еще дальше... Ах, искренность и правда всегда и все проясняют!

Так и вспоминалось теперь это, полное внутреннего раздражения, лето в родном Колотовске — Елена уже начала «прояснять» себя, но все в ней тогда двигалось, как она считала, нестерпимо медленно, по ломаной, а не по прямой, как ей хотелось...

Колотовск казался ей серым, как пыль, неуклюжим, как горбун. Однажды Елена вместе с председателем колотовского Собнархоза шла мимо бывшего дома купцов Губайных.

— Вот,— торжественно сказал председатель, поклонив ладошкой по желтым мордам каменных львов у крыльца.— Прежде у нас был один такой прекрасный дом, а теперь построили таких не один десяток!

— Подумаешь «прекрасный» дом! — сердито вспыхнула Елена.— Отвратительная купеческая копиялка!..

— А вы сначала постройте такую, а потом критикуйте! — почему-то обиделся предсовнархоза.

— И построю! — сказала Елена, вдруг почувствовав в себе упрямую уверенность.— Построю, да!.. И вы увидите, как в ней будет выражена идея диктатуры пролетариата! — в те дни еще многие студенты их курса страдали чрезмерной любовью к формулировкам и всяким «закруглениям мысли».

Но Елена кроме того еще с фронтовых времен привыкла отвечать за свои слова. «Обещала дом построить, значит,— хочу стать архитектором?» Эта мысль вдруг показалась ей долгожданным решением и единственно-возможным выходом из томительного состояния недовольства собой, которое всегда заявляло о себе: «не то делаю, не то!»

— Ты помнишь, Ольга, что за этим последовало?.. Как одержимые мы всю ночь не спали. Я выпытывал у Лены, хорошо ли она все обдумала на сей раз — ведь два года ушли на поиски: рисовала, лепила, опять рисовала... может быть вообще оставить Институт искусств, ведь кроме него много есть другого, чему она может учиться... Так что тут было-о!.. Лена чуть на задушила меня: да неужели же я, «еще называется, бывший комиссар», не могу уразуметь, что все бывшее до этого — «не то», а вот, наконец, пришло самое настоящее «то»!

Последние недели этого раздражающе-унылого лета прошли хорошо,— как смеялся Сергей,— под знаком «эврика» Елена даже посвежела и повеселела.

Сергей Петрович, возвращаясь с лекций на учительских курсах, уже издали видел, как платье Елены светлело у ворот.

Обедали под старой раскидистой липой. За обедом не засиживались — Елена утверждала, что от горьковато-сладкого запаха липовых сережек у ней кружится голова. Сергей улыбался — он знал, что Елена лукавит, чтобы скорей отправиться с ним бродить по улицам Колотовска. Раздражение теперь сменилось в ней неубывающим интересом к родному городу.

Со свойственной ей горячностью воображения она плавила вместе привычные с детства впечатления с повизной своей московской жизни. Она смотрела на бывшую соборную, теперь Площадь Горсовета, на столетней давности приземистый горсоветский дом с облупившимся балконом — и повелительно водила рукой вокруг себя:

— Здесь будет новое здание — бетон и



Большой балкон, обязательно газон с фонтаном... Памятник Ленину будет здесь, а внизу под ним — трибуна.

В моем воображении она уже сносила старые улицы и переулки кособоких трущобных домов, с их подвалами, которые вытесняло осенними дождями и внешней тьмой зной. Ей виделись огромные «домашние кварталы» почти сплошь из одного стекла, сияющие, как небо... Однажды, не выдержав наплыва новых чувств и планов, она явилась к секретарю уездного комитета партии, который был товарищем ее покойного отца по заводу, Андрею Семеновичу Мельникову, чтобы перед ним «раскрыть широкий план всестороннего изменения города». Кроме планов новостроек в центральной части Колотовска Елена предлагала «снести эти проклятые переулки» — Гнилой, Болотный, Подгорный, Молодежный и застроить новыми домами, а ржаво-зеленые бугры над рекой «поднять, сбить в камень»...

— Помнится мне, Леночка, он тебя похвалил кое-чему...

— Ох, Оленька, он меня учил, как зеленую девчонку... Я-то воображала, что он скажет широте моих планов... а он, чувствуя, смеется про себя, его толстый, загорелый, словно лаковый нос... ну просто сиял от смеха!

Елена присела к столу, вжала голову в плечи, сутулилась, и, передразнивая Андрея Семеновича, сказала басистым голосом:

— В нынешнем году, художница милая, должны мы построить ха-аронскую коммунальную баню и ха-аронскую хлебопекарню. Это-то, знаешь, первостепенные нужды населения нашего Колотовска.

— Это был урок реальности,— добавил Сергей в рассказу Елены.

— Ну, а вторым уроком он меня просто в самое сердце поразил!..— подхватила Елена.

Осенью двадцать четвертого года Елена перешла на Архитектурный факультет, а летом двадцать седьмого года Андрей Семенович предложил ей построить здание Горсовета.

В двадцать восьмом году Елена приехала в Колотовск достраивать здание.

— Помню, помню твои письма об этом здании, правда — уже лет пять-шесть спустя,— сказала Ольга.— Мы с Машей читали письма и говорили: «Ну, Ленка жаждет отмежеваться от своего творения, да уж теперь ничего не поделаешь».

— Ах! — сердито ударив себя по лбу, сразу помрачнела Елена,— ведь вот уже

больше десяти лет прошло с тех пор, а как вспомню об этом доме, так на сердце станет нехорошо. Это, знаешь, как следы болезни, например, рябины после оспы. Как жестоко мы тогда все болели этой путанной болезнью — конструктивизмом со всеми его примесями. Правда, Оля?

— Ого-го! Только, бывало, тронь нас — тут все и вспыхнуло!.. А ведь мы, коммунисты, еще и принципиальную нашу базу защищали: «Пусть мертвые хоронят своих мертвых, а мы сделали социалистическую революцию, мы строим новый мир».

— Вот это же самое я заявила Андрею Семеновичу, когда начала строить дом Горсовета. И вот... дом был готов...

Елена вздохнула и сердито покрутила головой.

— Вот тут-то старик меня так проучил, что на всю жизнь запомнилось! Да... Комиссия приняла здание и даже премировала меня. Вскоре Андрей Семенович вернулся из командировки... Вызвал меня к себе. Обошли мы дом дважды, трижды. Старик молчит: Я: «Ну, как, Андрей Семенович?» Он молчит, трубой пошыхивает.— «Ну, как, Андрей Семенович, не томите!»... Смотрю, глазки у него потускнели.— «Неужто ты думаешь, Елена Гребнева, что мы, рабочие, не должны здравый смысл иметь?». Я ему: «Я строила под девизом»... Он без церемонии прервал меня: «Ты меня девизом не убедишь, если дело не вышло».— И тут же, не щадя меня, пошел и пошел: такая-де мрачная, темносая громадина получилась, наполовину, стеклянный ящик, в котором зимой все будет мерзнуть, а летом от жары дохнуть»... Я вспыхнула: «это у вас узкий практицизм, делячество!»... А он только усмехнулся. «Эх, говорит, уважаемые вы мастера архитектуры, о самом главном-то вы и забываете!.. Вам только бы свою веру доказать, а хлебно ли (у него было такое словцо) это для людей будет, о том забота не ваша». Тогда я с ним бешено спорила: «как, разве моя творческая «вера» не заодно с желаниями людей, для которых я строю,— быть этого не может!» Он мне опять: «да пойми ты простую вещь — эта черносая коробка будет нагонять робость на людей. Неприятливый домик, что и говорить. Дело-то исправлять надо, давай хоть перекрасим его... Ну, например, в светлосерый цвет...» На это я согласилась, но по общим условиям продолжала спор... Но пришел момент,— и он меня сразил!

Андрей Семенович вдруг напомнил Лене ее отчет на общегородском комсомольском

собрании по возвращении со съезда осенью 1920 года. Она, конечно, не забыла, с каким волнением и подъемом передавала слова Ленина о том, что коммунизм не должен быть «чем-то таким, что заучено», а должен быть тем, что «самими продумано». Конечно, Елена Гребнева помнит и о том, как все воодушевленно обещали «продумывать коммунизм» на практике, то есть каждый в своей работе. «А в работе вашей, друзья,— закончил Андрей Семеныч,— много того самого начетничества, от которого вас предостерегал товарищ Ленин. Не на земле вы стоите, друзья, а на подпорках... А уж как от земли оторвался,— твердости не будет: тут все под тобой скрипит, качается, тут тебя и всякими вредными ветрами обдувает, а в голове у тебя будет сумятица»... Андрей Семеныч считал, что «вредные ветры» и «сумятица» идут от чуждых установок, которые «насылают буржуазия».

— Иной молодой строитель почитает заграничный журнал, прельстится разными «новинками»,— и ну торопиться, без оглядки — скорей, незамедлительно перенести все к нам. А, глядь, «новинка»-то только снаружи блестят, а внутри убогость мысли и ненависть к трудовому человеку. А вся ваша работа — для кого? Для трудового человека, хозяина страны. Вот меня возьми: не будь Советской власти, так и сошел бы я в могилу, не зная, что такое полная человеческая жизнь. А вот теперь знаю и говорю тебе, архитектуру: построй для меня и подобных мне, рядовых советских людей, такой дом, чтобы там я был здоров и крепок, чтобы дом радовал меня своей конструкцией, красивой и рациональной... Думайте, дорогие строители, не о борьбе ваших творческих «вер», а прежде всего о том, как ваше создание людям будет служить.

Разговор этот возобновлялся несколько раз, и Елена получила еще один «урок реальности». Прежде она считала Андрея Семеновича хорошим человеком и коммунистом, но, откровенно говоря, — серым и малокультурным. Он любил употреблять в разговоре поговорки и шутки, все больше деревенские, словно пропахшие парным молоком и навозом: у него были свои любимые словечки: «потрафить», «непереносить», «это дело не твое», «это дело хлебное», «огромный», — и оттого его речь иногда казалась слишком простецкой и непритязательной. Костюм на нем сидел мешковато, походка с молодости была неуклюжая, стариковская. Летом его толстый нос смешно загорал и блестел, туск-

ловатые карие глаза слезились от солнца... Но до чего же внешними и неверными оказались все эти впечатления!

В те памятные дни Елена всматривалась и вслушивалась в личность Андрея Семеновича, как в реальность самой жизни. Оказалось, что этот пожилой провинциал, бывший литейщик, чувствовал дыхание жизни и понимал ее требования глубже и разнообразнее, чем некоторые московские знакомые Елены по институту. Про него Елене рассказывали, что он «самый начитанный» из всех колотовских коммунистов. Он не был «глотателем» книг, но все, что он читал, оказывалось интересным и нужным для работы и общения с людьми. Внешне-медлительный, он умел быстро, но вполне спокойно, ознакомиться с новой областью знания — так, из-за начавшегося оживления в городском строительстве, он изучил разные «течения» в советской архитектуре. О некоторых из них он сказал просто: «не жизненно это и... уж на ладан дышит».

Широкоплечий, с крупной головой, обросшей густым сивым бобриком, положив на стол большие умелые руки литейщика, он смотрел на собеседника внимательным взглядом умных (и совсем не тусклых!) глаз, — и веяло от него спокойствием и уверенностью большого опыта, глубокого и понятного, как сама земля.

Его пророчество обо всем, что не жизненно, дышит на ладан — скоро сбылось. В тот учебный год кончала свои дни самая шумливая «никола чистой формы» профессора Клеонского.

— Того самого, что какую-то особенную комнату выдумал? — спросил Сергей.

— Он выдумал «черную комнату»! — расхохоталась Ольга.

— Вообрази, Сережа, комнату, с черными стенами и потолком, а на них белыми, как в склепе, буквами были написаны «законы»: «пространство, объем, масса, вес». Далее, помнится, висело такое гробовое изречение: «форма должна быть вскрыта в своей сущности», «основная цель архитектуры — динамизм и лаконизм».

Слово «искусство» Клеонский глубоко презирал и вместо этого говорил: «восприятие формы». Архитектуру он называл «всеобщим измерителем», при помощи которого «форма поверяется ею же самой».

Ученики профессора Клеонского поспрашивали на всех свора, гордясь своей принадлежностью к «самой оригинальной и философской школе».

— Понимать. Елена, как Виктор Сыропятов восторгался всей этой черной мистикой! «Чертовски-ново, остро!»

— Сыропятов потом сделал проект вокзала на основании этой самой динамики и магии. Помнишь, Сереженька, я тебе тогда пародовала его: это железобетонно-стальной шар, который как чугунок на колесах был поставлен на этакие консоли, а по ним машины бегают. Двери, конечно, вверху, в шаре. Я спросила: «как же выйти на такой вокзал, если еще, например, с чемоданами?» А Сыропятов: «неужели не понимаешь, что основной ход под землей, а тот наверху просто условный!»

— Умора! — прыснула Ольга. — А помнишь, как Валечка Меден сделал проект «санатория»?.. Это был очень лаконичный проект, а в каждую его стенку было воткнуто вот в таком наклонном положении, вынесено вперед несколько сквозистых выгнутых лестниц, которые вели на балкончики, вообще, бред какой-то!..

— А всем этим балкончикам и лестницам дал такой девиз: «милая, здесь нашей любви позавидуют даже голуби»... а вторая надпись совсем бредовая: «Хватайте природу руками!» Ха... ха!.. — и Елена залилась хохотом.

«Школы» постоянно пикировались между собой, объединяясь временами для совместного нападения на «классиков», которыми руководил академик Сенежский. К «классикам» близко примыкали «реалисты», которых временами тоже травили и высмеивали.

Но для окончательной дискредитации «классиков» и «реалистов» их противники выбрали, как им казалось, самый благоприятный момент, который совпал с приездом в Москву «знаменитейшего» Марбье.

Огюст Марбье в те годы возглавлял за границей направление урбанистов-манипуляторов. Его пригласили посетить очередную выставку учебных проектов. Прославленный «мэтр» приехал на выставку с целой свитой учеников. Студенты потом долго вспоминали сверх-современные расцветки и рисунки пуловеров этих молодых людей и их мордастые ботинки на толстых подошвах, похожие на утюги.

Переводчиком вызвался быть Валерьян Меден.

«Мэтр» держал в руках круглую палочку, похожую на жезл фокусника. Этим жезлом «мэтр» мапьянизма и урбанизма водил по линиям чертежей и проектов, описывал какие-то фигуры в воздухе. Ученики, как посвященные, понимали его

с полслова, кивали в такт напроборенными головами и шаркали утюгами.

Огюст Марбье, сухонький, бритый, в клетчатом костюме, юркий и легкий, как мальчишка, ходил быстро, словно прыгал, и спрашивал обо всем воркующим картавым голосом.

Валерьян Меден отвечал ему с почти-тельностью ученика и, вообще, как многие заметили, он все больше старался походить на молодых людей из свиты Марбье. Из всех проектов самой горячей похвалы «мэтра» удостоились: «вокзал» Виктора Сыропятова и «санаторий» Валерьяна Медена. Марбье даже весело сделал им ручкой.

Узнав, что рядом с ним стоит автор «санатория», знаменитый «мэтр» восторженно заворковал и осчастливил Медена крепким рукопожатием. Ученики шаркнули своими утюгами и поочередно пожали руки Медену. Валечка подозвал Сыропятова и после церемонии Виктор уже ходил тоже вместе с «мэтром» и его свитой. И Меден, и Сыропятов как герои дня сияли. Под конец Марбье пожелал познакомиться с Сенежским, которого он назвал: «мой неукротимый противник». Тут Меден презрительно фыркнул: «Подумаешь, Сенежский-то «неукротимый противник»!.. Этот живой труп!»

Мастерская Сенежского никогда в счет не шла. Несколько лет назад, когда все факультетские направления «самоопределились», Сенежскому предъявили требование «примкнуть» к одному из них. Он заявил, что ни с одним не согласен и желает работать, как всегда работал. После этого на Сенежского посыпались беды одна за другой. Делегация всего архитектурного факультета убедила деканат — передать помещение его мастерской (самое лучшее на факультете) «подлинно передовым творческим направлениям», а его мастерскую перевести в самые маленькие и неудобные комнаты. Так и сделали. Целая группа его студентов ушла к другим профессорам. Ему «посвятили» один за другим несколько номеров стенгазет, с нем написали целую серию статей в газетах и журналах.

Брызлатые выражения о нем ходили по всему Институту искусства: «мертвый хватает живого», «школка ретроградов», «стоптаный котурн», «живой труп». «Завсегда без грома» и множество других прозвищ и сравнений.

На общепрофсоюзное собрание по итогам учебного года группа студентов архитектурного факультета пришла с большим

желтым флагом, на котором было написано: «Долой классику! Долой Сенежского!»

После того как в центральной партийной печати появился ряд статей Сенежского о равных правах на развитие всех творческих направлений, напор сразу ослабел, волна прибой рассыпалась по песку. Сенежского оставили в покое, как безнадежно-больного, который зажился на свете, занимает скрипучую койку, которая хотя и стоит где-то в углу, за печкой, все-таки, всем мешает, чертовски мешает!..

Желание именитого гостя познакомиться с «неукротимым противником» Метен воспринял как калрыз, который волей-неволей пришлось исполнить.

Сенежский принял Марбе и его свиту не у себя в мастерской, а в просторном кабинете декана. Студентов собралось много — все ожидали «побойща». Но беседа двух противников шла вполне благопристойно. Академик Сенежский хорошим и непринужденным французским языком спокойно и любезно отвечал на вопросы Огюста Марбе. Метен и Сыропятов сидели с лениво-торжественными лицами героев, которые вынуждены присутствовать при каком-то суетном, чуждом им деле.

Потом в кабинет пришли другие профессора. Длинный неврастеник Клеонский, создатель пресловутой «черной комнаты», спросил у Марбе, как он относится к спорам об архитектуре Москвы? «Мэтр» снисходительно улыбнулся и быстро проворковал что-то.

— Что, что он сказал? — зашептали Метену. Тот, не меняя выражения лица, перевел:

— Он говорит, что архитектурный спор о Москве совершенно бесполезен.

— Почему же бесполезен? — попытался у «мэтра» Клеонский.

«Мэтр» надменно пожал плечиками, улыбнулся одним глазом в сторону Сенежского и небрежно прокартавил что-то.

— Что, что он сказал?

Метен, будто он все заранее знал, перевел с улыбкой:

— Он сказал, что Москву надо просто сломать.

Косматые брови академика Сенежского взметнулись.

— Москву... сломать? — даже выдумщик Клеонский не ожидал такого ответа. По комнате пошел шумок, начались шепотки. Только герои дня, Метен и Сыропятов, рассеянно улыбались, как посвященные.

— Нет, серьезно, он именно так и вы-

разился? — со всех сторон спрашивали у Медена.

Он пожимал плечами.

— Ну да, да, именно так: сломать и сломать... Что тут особенного? Это его мнение.

Академик Сенежский вдруг встал, глубоко вздохнул и быстрым взглядом окинул собрание. Светлые глаза его сыпали искры гнева. Он бегло взглянул на часы и поклонился гостям: очень просит извинить его, но он должен сейчас ехать по неотложному делу.

Когда все ушли, Сенежский залпом выпил стакан воды и, шумно дыша, упал в кресло. Секретарь, как многие ее называли «пятнистая чернявка», Соня Белавина даже испуганно засмотрелась на него. У ней было кругленькое матовое личико, на котором бисерно чернели родимые пятнышки, ее слабые очерченные брови, черные, тоже слабо выющиеся волосы и вся ее полудетская плоская фигурка казалась такой хрупкой и беспомощной, что двадцатисемилетняя Елена почувствовала себя сильной и многоопытной. Она ободряюще кивнула Соне и прошептала:

— Какие возмутительные типы!

— То ли еще случается! — и Соня вдруг упругим движением вскинула головой и уже не показала Елене такой слабенькой.

— Что? — густым басом сказал Сенежский и встал, сердито расправляя широкие плечи. — Видали сию вылазку буржуазии? «Сломать Москву»?.. Вы слышали? Эти буржуа, проповедники машинизма, хотели бы сделать нас Иванами Непомнящими, голыми бродягами на дорогах истории... «Сломать Москву»!.. Вы знаете, что сей «мэтр-рр» писал про наш Кремль: это-де «старомодное сооружение» не представляет «никакой архитектурной ценности»... Вы слышали? Вы понимаете, к чему они подбираются? Эти апостолы буржуазии хотят нас поймать в сети ура-современности: эй, мол, голубчики, есть у вас щи наварные к обеду — и значит, пшой на все! Они, как всегда, только и хотят пограть трудовой народ, отнять кровное, заработанное... Да знают ли они, что наш Кремль это мы — трудовой народ?.. Наши с вами прапрадеды на спинах своих кирпичи носили, по кирпичику эти стены возводили... Мы знаем, что следует ломать, что сохранить, будьте спокойны, без вас обойдемся, варяги-машинизаторы!.. А, чорт! Кабы не эти колодки — международная вежливость к гостю, — уж я бы его от-

— Вот тогда бы настоящий вышел у  
— с ним разговор!..

— Важно, что знаменитого «мэтра» не  
в комнате — Сенежский полемизи-  
его мыслями. Страницы иностран-  
ежемесичников со свистом и шумом  
под его стремительными пальцами.  
смуглые щеки пылали медно-красным  
красным. От бабушки-грузинки Сенежский  
пределов красивый костистый нос с  
подвижными ноздрями и велико-  
разрез глаз; пепельно-голубые,  
ладожское небо над родными местами  
деда и отца, эти глаза в минуты гне-  
на смуглом лице горели, искрились  
стали, из которой куют клинки.

— Они хотят облагодетельствовать че-  
щество, они делают «машины для  
завья», «города-башни» по пятьдесят и  
шестьдесят этажей. А рабочие, учителя,  
не желают жить в этих долговя-  
казармах!..

Он тут же перевел вслух из иностран-  
журнала письмо рабочего и клерка и,  
щелкая толстыми пальцами по  
гласной журнальной бумаге.

— Жизнь, люди не хотят их. Ученые  
обьяны, лупоглазые разносчики «все-  
ельного стандарта», мы ломаем вам хре-  
бет... мы, да!

— Да! — опять прогремел он во всю си-  
могучих легких, и, вдруг задохнувшись  
от бурного напора чувств, грузно сел в  
кресло.

Большой вздрагивающей рукой он при-  
жал платок к пылающему лбу и, смежно  
стопырив мягкие толстоватые губы, так  
широко и широко выдохнул воздух, словно  
жизнь в его груди достигло крайней  
точки. Он отпил глоток воды из стакана —  
и тут только заметил Елену. Он, припо-  
извая, взгляделся в лицо молодой женщины  
в черном костюме. Сенежскому показалось,  
что она случайно застряла здесь и не  
жест, как себя держать.

— Вы наша, факультетская?

— Да, — ответила она смущенно. Ему  
понравилось, что она не пытается казать-  
ся независимой — и, желая помочь ей  
выйти из положения, он сам невольно  
усложнил его.

— Мне как будто очень знакомо ваше  
лицо, — сказал Сенежский, добродушно  
замыгивая.

Молодая женщина вдруг залилась жар-  
гим румянцем.

— Я... я знаю почему мое лицо вам так  
знакомо, — выговорила она немеющими гу-  
бами. — Я ведь была среди тех, кто... ко-  
торые ходили с флагом... «долой Сенеж...»

Она окончательно потерялась и опусти-  
ла голову — вот сейчас он ее выгонит!

— Вот оно какое дело! — сказал он в  
нос. Елена услышала в его голосе смеш-  
ливое удивление...

— Подумать только... гм... гм... и вы,  
значит, с флагом бегали... ах, ах!.. Это  
что же было... по озорству или убежде-  
нию?

— По самому твердому убеждению, —  
уже смелее вымолвила Елена, решив про  
себя — будь что будет.

— Чудесно! — фыркнул он уже совсем  
весело. — И что же ваше убеждение вам  
приказывало?

— Нападать на вас.

— Ха!.. Час от часу не легче!.. А за  
что нападать?

— Но вы же знаете — за что, вы —  
классик.

И, совсем осмелев — уж лучше выло-  
жить все до конца! — добавила:

— Ну, а если классик, то и ретроград.

Он со старомодной галантностью рас-  
шаркался перед Еленой.

— Консерватор, мракобес... благодарю  
вас, нежно тронут...

— Однако, прошу!..

Вдруг согнул руку калачиком и, еще  
настойчивее приглашая, повторил:

— Прощу!

Елена робко положила руку на его твер-  
дый локоть. Светлые как зимнее небо  
глаза насмешливо и ласково глянули на  
нее — этот человек несказанно изумлял  
ее и в то же время чем-то очень напоми-  
нал Андрея Семеныча.

— А если я совсем и не классик? —  
спросил он, обойдя с ней под ручку про-  
сторную комнату. — А если я никакой не  
классик?

— Но... как же это так? — даже воз-  
мутилась Елена. — Должны же вы принадле-  
жать какому-нибудь творческому на-  
правлению!.. Если ни то, ни другое, так  
третье!

— И не третье! — расхохотался он и  
весело топнул ногой о пол.

— Поймите же вы, схематизаторы мои,  
есть немало людей, которые ищут... вот и  
я — искатель, да!.. Почему вы представ-  
ляете творческую мысль нашего времени  
такой узкой, такой стиснутой, такой раз-  
линованной?.. А! Всех бы вас встряхнуть  
за шиворот: вы застряли в своих оранже-  
реях, в вашем искусственном свете и теп-  
ле! Выходите на свежий ветер, на жару,  
на мороз — чорт вас подери!.. Вглядитесь  
же, взгляните же в свой труд, молодой

товарищ!.. В труде — главный смысл и радость нашей жизни, верно?

— Верно!.. Но нельзя же так!

Елена уже не боялась его: он возбуждал в ней неведомое волнение и любопытство.

— Нельзя же так! — еще настойчивее повторила она. — Такие разговоры ведутся не на шутку!.. Вы упрекаете нас, что мы толчемся на месте, живем в искусственном воздухе и ничего не ищем. Извольте же сказать, чего вы ищете?.. Чего вы хотите?.. Я военная женщина и приучена к точности. Я хочу знать ваши желания, и вы должны мне их выложить... да!

Сенежский радостно захохотал, ничуть не смущаясь тем, что она следит за ним большими строгими глазами. Он откинул со лба густые волосы.

— Вот я вам сейчас выложу!.. Слушайте, во-первых, мне уже шестьдесят пять лет, я вам распрекрасно в деды рожусь... Вам, простите, сколько?

— Двадцать семь.

— Ну на вид вам, самое большое двадцать. Уже строили что-нибудь?

— Строила. Дом Советов в моем родном городе.

— Так вот, я рассматриваю годы, которые мне осталось прожить, под знаком одной главной цели — передать вам все богатство, какое я знаю, совершенно так же, как старый рабочий передает молодому свой станок со всеми его секретами. Слушайте, девушка, знаете ли вы, что такое архитектура?

— Ну-ну... что за вопрос?

— Ах и не знаете, не чувствуете!.. Я ведь все вижу-у! Она ведь у вас прежде всего здесь... на языке! Она, архитектура, в вас вся в словопрениях, в головной лихорадке... А что она есть, архитектура? Она — самое могучее, самое обаятельное из всех искусств! Она — запечатлевшая след веков. Она — их разговор, их спор между собою, она — музыка пропорций и пространства. Она — жизнь, насущное, сегодняшнее, она — тепло очагов, не для счастливых только, а для миллионов людей. Она — светлые окна, распахнутые на широкий мир, она — внешне осязаемое утверждение всего нашего социалистического на глазах всего мира. — Вот она что такое наша советская архитектура! Наши друзья смотрят, трогают стены наших домов — о, как высоко, просторно, прочно, красиво... Красиво, черт возьми!.. Хорошо живут, уверенно, дружно живут! Пусть враг глядит, ошущивает стены наших домов...

Тут Елена, будто несясь в теплом сонном потоке, не выдержала:

— И враг скажет, обжегши пальцы «ой, крепко живут, не так-то просто с ним подобраться»!

— Именно, девушка, именно! — и Сенежский бурно и осторожно сжал ее плечи. — Слушайте дальше! Архитектура великий камень, слившийся с мечтателем это армия работников — создателей новых городов... И вот, создательница, желая вам от всей души строить хорошо, обязан я вам передать и показать все богатства, накопленные вот в этой старческой голове, испытанные вот этими руками. Уверю вас, я веками поворочал немало и вам обязательно нужно развить в себе эту мускулатуру. Наследники веков — мы вы, советские строители, других не можете быть. Для того, чтобы искать и найти, — он властно топнул и сжал кулак, — нам все передать! Берете, принимаете? — грозно спросил он.

— Принимаю! — сказала Елена. — Принимаю!

Он с торжественным лицом пожал ей руку.

— Спасибо. Впрочем...

Его пепельные глаза лукаво вспыхнули.

— Впрочем, вы не воображайте, что от этой передачи я опустошусь. Даже наоборот! Запомните, что у скупцов все гниет и разлагается, а раздающий — богатеет. погодите, мы, вместе с вами, как говорит Маяковский, еще потопаем по пятилетке!.. Однако, условие помню: вы любите точность. Прекрасно, храните это качество. Итак, передача будет происходить точно, конкретно, по пунктам. Пункт первый...

Он, важно выпятив мягкие губы, загнул большой палец.

— Площадь Урицкого в Ленинграде перед бывшим Зимним дворцом. Вы были в Ленинграде?

— Нет, ни разу.

— Тем лучше. Через пятнадцатку у нас начнутся каникулы. Наша мастерская устраивает экскурсию в Ленинград. По едете?

— Обязательно! — воскликнула Елена.

Предчувствие повизны, как призывный ветер, ворвалось в нее, зашумело в ушах. Она шла домой, жадно раздувая нос, жмурясь и мурлыкая, как молодая кошка. Она шла, распахнувшись, полная внутреннею неистощимого жара, ее румянец среди бедных столичных снегов цвел, как лесная брусника...

— Если бы ты видела ее тогда, Ольга! — рассмеялся Сергей Петрович. — Она чуть ли не задушила меня!

Действительно, жалко, что не видела я ведь к тому времени убедилась, что не зодчий, и уехала в лесную школу...

Ну, и что же, в Ленинград вы тогда поехали?

— Поехали, но не тогда, как все хотелось.

— Почему же не сразу поехали?

— Меден и Сыропятов помешали.

Да, увлекшись доверием к Сенежскому и предчувствием необычайности «передачи» богатств, Елена совершенно забыла, что Меден и Сыропятов ведь только-что прошли в «герои дня». Кроме того, визит Ююста Марбье к Сенежскому и слух о том, как резко прервал разговор академик после пресловутой фразы «мэтра» — уже стали предметом обсуждения и сплетен. Стрословы всего института уже «обсасывали» этот случай со всех сторон. Но больше всех разъярены были «герои дня».

Меден, как главный переводчик и гид, кроме того, должен был всячески изворачиваться, чтобы загладить неловкость перед именитым гостем: ох, уж эти старые академики — избалованные люди и так далеко... Но француз был бестия и попал вее.

В ответ на излияния Валерьяна он только отмахивался. А когда Меден назвал Сенежского «живым трупом», француз просто погрозил ему пальцем как мальчишке: «О, это вы оставьте — старик умнее и злее всех вас!» — Об этой фразе «мэтра» тоже стало всем известно, что прибавило бешенства обоем «героям дня».

— Собственно их же божок им же и напортил! — хохотала Ольга.

— А это все им приходилось держать в гармане и кричать всюду о «бестактности» Сенежского. И вообще это дело они стали раздувать чуть ли не как конфликт в международном масштабе.

— И как это для них вышло некстати!

— Еще бы! Ведь уж все дело было, что называется, на-мази: единомышленники и друзья уже развозили повсюду о «высокой оценке», о «громдном успехе» проектов Медена и Сыропятова...

— Тоже в международном масштабе!

На другой день почти во всех газетах появились статьи о визите мэтра. Гвоздем всех статей был хвалебный отзыв Марбье о проектах Медена и Сыропятова. Упомянута была вскользь как «парадкс», и пресловутая фраза насчет слома всей Москвы, но при каких обстоятельствах она

была произнесена и что после этого последовало — об этом ничего сказано не было.

— Словом, Сенежский из отчета, как говорят, выпал! — И Елена выразительно развела руками.

— Что же он, обиделся?

— Ты его не знаешь, Оля — ни капельки! Соня Белавина, возмущившись, попыталась было обратить его внимание на то, что он де «выпал», а он только фыркнул: «собаки брешут, ветер носит, а во мне самом ничего не выпало, все на месте».

В этот момент в его мастерской находилась уборщица. Она, как водится, унесла слово в своем фартуке — и в тот же день оно пошло гулять по всему институту.

— Понятно, это портит впечатление от интервью. Нашему черноглазому красавчику приходилось действовать.

— А ты здорово помнишь его, Оленька?

— Ну-ну!.. Гуся, который уцлинул тебя за икру, держишь в памяти больше чем соловья, что пел на заре.

Прошло еще два дня — и на третий вечер было созвано «экстренное факультетское собрание», которое должно было «вынести выговор академику Сенежскому с опубликованием в печати».

Валерьян Меден с каменно-скорбным лицом доложил обо всем собранию, и закончил свою речь призывом, вернее — последними строками уже заготовленной резолюции. Его встретили и проводили аплодисментами. Сенежский стоял высокий, кудлатый, медленно расправляя широкие, чуть сутулые плечи. Елене понравилось, что его пепельные глаза смотрели спокойно, что он даже не повысил голоса. Его краткое объяснение представляло собой предельно сухие выжимки того, что он говорил ей два дня назад. Он добавил, что находится в здравом уме и твердой памяти и свою точку зрения намерен защищать до конца.

За резолюцию голосовало большинство. Студенты мастерской Сенежского подняли руки «против». Елена из первого ряда подняла руку вместе с ними.

Бархатно-черные глаза Валерьяна Медена предостерегали ее: «Да неужели ты «против»? Подумай прежде!»

«Да, да, да, я против, против!» тоже взглядом ответила она, чувствуя, как в ней словно пружина поднимается непреклонное упрямство и раздраженное желание во что бы то ни стало противодействовать. Но это желание, кипя и переливаясь через край, как в переполненной чаше, помешало ей во-время подумать, что мо-



жет из этого получиться. Просто она невыносила, чтобы ее запугивали,— и уже совсем ожесточенно упрямым взглядом ответила на немое предостережение Сыропятова.

После собрания Сыропятов подошел к Елене. Его зеленовато-карие глаза поблескивали.

— Ну, Елена Гребнева... такого предательства с твоей стороны мы никогда не ожидали!

Она не удивилась — теперь к ней подбирались с другого хода.

— Вот как!.. А разве у меня с вами договор, что всю жизнь я должна делать и смотреть, как вы?

— Ты в коллективе передовых, самых революционных строителей.

— А если я недовольна тем, что я делаю, если мне это кажется слабым, мне мало сознания того, что я в коллективе... Коллектив не собрание нищих и убогих.

— Та-ак... Богатство ты надеешься получить от Сенежского?

— Этого я не знаю, но он мне любопытнее больше, чем все другие, и мне хочется ему доверять.

— Ну, поищи, поищи.

— Да, постараюсь.

— Значит, ты решила довериться Сенежскому, живому трупу, ретрограду?

— А вот я поближе и присмотрюсь к нему, какой он ретроград.

Уехать в Ленинград в назначенный день, конечно, не пришлось. Во-первых, в ряде газет был опубликован выговор Сенежскому. Меден радушно развернул перед Еленой газету.

— Вот какому типу доверяют некоторые наши коммунисты, подобные Елене Гребневой.

— По твоей логике, не худо бы мне сейчас спрятаться в кусты?— холодно спросила Елена.

— Это значит — просто учесть сигнал.

— Пусть его прежде всего сам Сенежский учтет.

— А ты считаешь, что мы зря вцепились ему?

— Будь я на его месте, я тоже не потерпела бы, чтобы всякий заезжий — издевался над нашей Москвой.

— Эткий квасной патриотизм, подумаешь!.. Но...

Меден вдруг задумался, глянув исподлобья — бархат его глаз потускнел.

— Конечно, это будет потеха, если старик встанет в позу оскорбленного благородства!

— Он чувствует себя правым — и, ясное дело, не будет спускать!

— Едва ли только это ему удастся.

— Но Сенежскому это удалось и даже очень скоро: через несколько дней в тех же газетах была опубликована в защиту Сенежского статья крупного партийного работника. Теперь уж Елена прошумела газетой перед недавними героями.

— А что теперь думают некоторые наши коммунисты?

Потом она спохватилась, что напрасно она так «созорничала», только зря «раздразнила гусей», но поправить дело уже не смогла.

Надо было ехать в Ленинград.

А там она забыла об этой стычке с «героями дня», как умела забывать о том, что казалось ей малоинтересным. Ее память ненасытно вбирала в себя острую новизну впечатлений. Экскурсантов пронизывало розовое морозное солнце, невский ветер и четко, как бленье собственного сердца, ощущаемое движение.

«Передача богатств» началась перед бывшим Зимним Дворцом. Как ни обычны группы экскурсантов на улицах Ленинграда, многие прохожие с любопытством оглядывались на высокую фигуру Сенежского.

В старомодной шапке из камчатского бобра, в небрежно застегнутой на одну чужовицу тяжелой шубе, он шагал большой, массивный, мимо монументальных фронтонов, как хозяин и повелитель, знающий все их тайны.

От властных взмахов его крупной толстопалой руки будто заговорила вся бывшая Дворцовая площадь. От барочной живописности Зимнего Дворца Бартоломео Растрелли до тяжелой роскоши арок Карла Росси перед Еленой прошла, залеченная в каменной гармонии, история целого века.

— Вот, кланяюсь тебе, гениальное творение Росси!— сказал Сенежский, останавливаясь перед аркой. Седина его серебристо залобубела.

— Но...— он хитро усмехнулся и надел шапку, — будем говорить о пропорциях и овладении пространством, но...

Его рука красноречивым движением отвергла чужовицу римлянина с копьём, стоящего между колоннами.

— «Ave Caesaro» Росси сказал всем этим...— и Сенежский слегка ударил концом массивной трости по мрачно-пышной арматуре легионерского вооружения, навечно пристывшего к нарядному доколю.—



«Бойся, боготвори цезаря, безгласный народ!» — вот что он хотел сказать. Что ж, в императорской России он видел второй Рим — нам не приходится упрекать его за это — время было другое. Но мускулатуру этого силача мы не оставим без внимания.

Только здесь, под Невским ветром, в ходьбе с утра до сумерок, в страстно-внимательном смотре с этим неутомимым стариком — труд, избранный Еленой, раскинулся во всем своем смысле и престоле. Она погрузилась в него, почувствовала его силу, подвидность его линий, его скрытую непрерывную жизнь.

Здание Государственного университета, бывшие двенадцать петровских коллегий, построенные Доминико Презани и на том же Невском берегу здание Академии Наук, построенное Джакомо Кваренги, — представлялись Елене как два характера, как неповторимые явления, между которыми легко время, явственное событиями и поисками их выражения. Следя за объяснениями Сенежского, Елена за те десять дней постигла такие вещи, о которых за все предыдущие годы даже не задумывалась. Сенежский неизменно обращал внимание, как он называл — «маленького войска искателей» — на характерную для каждого мастера манеру разрешения им пристрастных задач, на обработку стен, расположение дверей, окон, балконов, на характер и расположение орнамента, на узор решеток.

Чем дальше, тем больше перед Еленой открывались сокровенные глубины архитектурского труда, интимность первых мечтаний и поисков, первые трудности выбора, расчетов, наметок — и наконец появление все более крепнущей уверенности, когда мастер, просветленный и счастливый, говорит: «нашел».

Последним пунктом незабываемой экскурсии было Детское Село. Когда среди сизоголубой изморози деревьев и кустов забелелась двойная колоннада Кваренги, все восторженно ахнули. Елена побежала первая, стремясь скорей ощутить, обнять это лебедино-белое, легкое, стройное создание человеческих рук и человеческой мечты. Когда Елена приблизилась к дворцу, колоннада надвинулась на нее, как могучий строй белоснежных великанов. Елена взбежала по ступенькам и припала всем телом к колонне, к округлости холодного камня, словно внутри его все пело и звало ее. Она закинула голову и увидела сверху каменные узорные листья капителей, которые осенили ее, как сад, как завитки мудрей Афины-Паллады.

Еленой овладела безудержная ребячливая и страстная веселость. Распахнув шубу, она понеслась по этому сквозному, пронизанному солнцем царственному коридору, потом, добежав до стены, повернула назад и врезалась в живую кучу других бегущих экскурсантов. Потом все, задышающиеся, сгрудились вокруг Сенежского. Он повел всех вокруг дворца, а потом опять привел к колоннаде.

— Ну, — сказал он, обводя молодые лица строгим взглядом светлых глаз, которые сверкали, как изморозь. — Ну, друзья мой, старался для вас, как только мог и умел!.. Все передал вам, ничего не утаил!..

— Да, да! — раздался голоса. — Спасибо, Василий Константинович!

— Спасибо! Все было так прекрасно, так интересно!

Сенежский с разочарованным видом выпятил мягкие бритые губы.

— Удивили!.. Они все это одобряют!.. Хо... мне самому было интересно изобразить перед вами ходячую энциклопедию... Но вы, кажется, воображаете, что отдаетесь от меня одной вашей благодарностью?.. Нет, мои красавцы, я не дам вам жить столь беспечно!.. Вот, видите сами!..

Он отошел на несколько шагов, обернулся лицом к колоннаде.

— Вот, видите: фаворитам дарили крестьян тысячами, в военные поселения загоняли, а сами мечтали о Пестуме, Пергаме и Риме, воображали себя латинянами и греками!.. — и сумели, черт возьми, выразить парадную сторону своей жизни!.. После этого, подумайте, как же мы, государство свободного труда, мы, хозяева и строители, должны выразить и прославить наше время, могучее и естественное, как океан, как лес и земля?.. Да, вот именно: прославить эпоху Ленина и Сталина!.. Понимаете ли вы, что все построенное вами должно не только давать свет, тепло и простор, но и петь! И, помните — мы ищем, не как безродные, а как богатые наследники с полными руками! Согласны ли вы со мной?

— Согласны! Согласны!.. Верно!.. Мы будем драться за это! — взнеслись к небу дружные голоса.

— Так! — сказал Сенежский с забавной торжественностью. — Первое обещание есть. Перейдем ко второму.

По дороге к Камероновскому портику Сенежский напомнил своей маленькой мастерской историей вызревания архитектурных стилей: тяжеловесному египетско-

му стилю понадобилось для этого более четырех тысяч лет, античной классике — более тысячи лет, готике — около шестисот, барокко — около двухсот лет...

— Замечаете, как укорачиваются сроки этого вызревания?.. У нас есть основание полагать, что поиски и вызревание нашей социалистической классики требуют еще более коротких сроков... Ну, что вы все на меня уставились? Да, социалистическая классика... а как же иначе?.. Классичность, то есть совершенная чистота, полнота и неповторимость каждой линии, которая говорит: такое здание может быть создано только в СССР!.. Пленяет вас это второе здание?

Теперь Камероновский портик огласился воодушевленными криками согласия...

— Наконец, последнее, чего вы не должны забывать... Не все ищут одинаково: некоторые, — впрочем, таких пока что большинство, — думают, что в искусстве... можно найти сразу, ищут умозрительно, отрываясь от земли...

— А мы будем ходить по земле! — не выдержав радостно крикнула Елена и, крепко ставя ноги, прошла по запыленной снегом площадке.

На тонком снежном слое остались узорчатые следы. Елене почему-то приятно было смотреть, как четко отпечатался на снегу каждый шаг и рубчик каблучка и подошвы.

— Да! — и Сенежский громко хлопнул в ладоши. — Мы будем держаться земли, ее гор и дорог, ее воздуха.

Его пепельные глаза строго и предостерегающе посверкивали из-под нависших бровей.

— Быть мужественным в нашей с вами работе это не только пропускать мимо ушей насмешки и панику, но прежде всего не поддаваться мнимой легкости и простоте решений.

И с этим все согласились.

Потом обедали в туристской столовке и полными стаканами горячего золотистого чая почтили память русских зодчих: Земцова, Старова, Кокоринова, Воронихина, Баженова и Казакова.

Новый учебный год Елена начала уже в мастерской Сенежского.

Виктор Сыропятов, председатель студенческого комитета, послал ей приглашение «немедленно явиться». Понимает ли она, коммунистка, что делает? Итти на выучку к «реставратору», к классику-ретрограду,

к «живому трупу»? — Вся эта патетика и произвела на Елену ни малейшего впечатления.

Тогда ее вызвали в партийное бюро факультета. Там повторилось то же самое. А когда Валерьян Меден, член бюро, начал перед ней «развертывать картину совсем неприглядного будущего», она потеряла терпение и оборвала его, назвав «оракулом»...

— Но были в бюро и разумные люди. Помнишь Ваню Скирлова, Оленька?

— Ну как же? Бывший моряк-балтиец. Красавец, во-какие плечи, прекрасный рост... Он вместе с нами на III съезде делегатом был... помнишь, его еще тогда Спартаком прозвали. Кстати, что с ним потом было?

— О Ване Скирлове еще речь впереди... Так вот этот наш Спартак слушал, слушал Медена и наконец хлопнул руками по столу: «Да, ты и впрямь, оракул. Меден: подумай здраво, за что нам, собственно, человеку кости ломать? Она хочет учиться, испытать свои силы у другого руководителя, ну и пусть ее, на здоровье! Да ведь и мастерские мы выбираем свободно, каждому свой корабль!»

— Кстати, он везде и всюду любил припутывать морские словечки, милый Ваня Скирлов!..

— Да, была у него такая манера. «Ну, Елена, сказал он, не дрейфь, желаю тебе удачи. Но уж если ты взбралась на реи, держись крепче!» В общем наш Меден из этого дела ничего не выиграл, кроме прозвища «оракул». Все, кто хоть что-нибудь имел против него, теперь говорили о нем: «оракул вещает», «оракул сказал»...

— Воображаю, как он злился на тебя — ведь с твоей легкой руки это прозвище пошло! — рассмеялась Ольга.

— А кроме того, он ведь всегда любил влиять, поучать. Столько людей слушались и боялись его и вдруг ты презрела его силу и осмелилась пойти своей дорогой. Он, конечно, воспринял это как ущерб и оскорбление — и запомнил.

— А я обо всем этом забыла!.. Ну, просто вчистую забыла! — и Елена всплеснула руками, словно только теперь поняла, какое это было ущущение с ее стороны. — Жизнь была так полна, что мне было совершенно не до них.

Действительно, Елена, увлекшись работой в новой мастерской, выкинула из памяти все, что непроизводительно обременяло ее. С Меденом и Сыропятовым она встречалась, главным образом, на факуль-

тебеших собраниях, равнодушно жила в ответ на любезно-иронические приветствия обонх и тут же забывала о них.

После разговора в бюро партачейки Елиза считала, что ее оставят в покое. Но вскоре ей пришлось сознаться, что она плохо знала некоторых старых товарищей: ее совсем не думали оставлять в покое. В газете «Искусство революции» начали появляться статьи и статейки о «греко-римской опасности» в стенах архитектурного факультета, о «реставраторском гнезде академика Сенежского», к которому «идут в адепты изнутри-гнилые, отравленные ядами прошлого студенты, среди которых есть, к сожалению, коммунисты». Когда к Сенежскому перешло еще несколько человек, его мастерская оказалась уже в центре внимания, именно этой мастерской постоянно интересовались какие-то шустрые молодые люди с мандами хроникеров, именно ее нужно было постоянно обследовать. Фото-репортеры посылались к Сенежскому «в сверх-потребном количестве», как шутил он.

Елена, Соня Белавина, появившись «механику» этих вторжений, часто раздражались и советовали Сенежскому «не пускать никого — и все!» Он презрительно посмеивался: да, пожалуйста пусть ходят, он никаких осмотров не боится: «У нас ничего засекреченного нет! Пусть их! Работа всего сильнее и убедительнее. Мы трудимся не во славу схемы, а во славу жизни!.. Плушье и ищущие — победят!»

Однажды, встретившись с Меденом на факультетском собрании, Елена, не скрывая раздражения, спросила его:

— Кто эти псевдонимы: Тверской, Ставовский, Трудовой, Зарницин?

Меден пожал плечами.

— А для чего тебе это знать? Какая выгода?

— Хотя бы та, что я буду знать, один грузеник или несколько занимают, например, моей скромной особой.

— Тебе что важнее: чтобы это был один, или — несколько?

— Если только один, мне меньше хлопот — придется только однажды сказать, чтобы обо мне перестали беспокоиться.

— Значит, тебя не волнует, что целая группа людей хочет тебе открыть глаза?

— Никогда еще не работала с такими открытыми глазами, как теперь, — гордо сказала Елена.

Меден грустно вздохнул. В черной бархатной тьме его глаз сверкнула искорка и тут же сгасла.

— Ну... что ж. Мои доводы исчерпаны. Делай, как знаешь.

«Да он все помнит, у него все сосчитано», подумала Елена с легким холодком в груди. — Но как же мне быть? Если я буду заботиться о том, что мне еще преподнесут, пострадает работа. Нет, меня не хватит на то, чтобы работать и отбодриваться от нападков Световых и Зарнициных. Смысл жизни прежде всего в работе, в работе!..

Некая кавалерийская часть заказала мастерской академика Сенежского проект санатория.

К обычному профессиональному чувству ответственности у Елены прибавилось еще страстное стремление «отдать долг», как она говорила, полновесной монетой. При воспоминании о днях гражданской войны Елена всегда будто чувствовала на плечах твердую и ласковую руку Красной Армии, которая вывела ее в большевистские люди. В этой кавалерийской части ее никто не знал, но Елена была уверена, что, если проект удастся, старые боевые товарищи рано или поздно узнают об этом. «А!» — скажет Василий Ласточка, — ничего, образовалась наша Ленка!»

Командование части заявило, что «никаких конструктивных зубов и цилиндров» не примут.

Мастерская Сенежского в том году получила заказ первая. А вскоре Наркомпрос заказал мастерской проект студенческого общежития.

В противовес кавалеристам наркомпросовцы требовали, чтобы проект был выражен «в самом современном стиле».

Об этом тоже очень скоро стало известно всему архитектурному факультету. Вопрос приобретал тем большее значение, что проекты, заказанные в начале последнего года, считались выпускными.

В институтской многоэтажке появились карикатуры. Сенежского, Елену, Соню Белавину и ряд других архитекторов изобразили раздираемыми надвое: половина их тела была одета в греко-римские тоги, за которые их тянул бравый кавалерист, а другая половина была одета в современный пиджак, за который изо всей силы их тянули к себе наркомпросовцы.

Меден и Сыропятов встретились Елене в коридоре.

— А ведь остроумно? — спросил Сыропятов, показывая ей газету.

— Ты о другом ее спроси, Виктор, — подзадоривая, сказал Меден, — как-то она

теперь поступит? Одно — по душе, другое — по обстоятельствам.

— Выбираю по душе, — ответила Елена. — Только на том условии и буду строить.

— А как же с требованием Наркомпроса насчет «самого современного стиля»?

— Я постараюсь доказать наркомпросовцам, что то, что они считают «самым современным», — уже пройденный этап.

Елена предостерегла Сенежскому устроить встречу мастерской с заказчиками, чтобы убедить наркомпросовцев отменить их проектные условия. Сенежский согласился. Он любил все делать открыто, всенародно. Все в мастерской считали, что соотношение сил складывается в их пользу: у них была немаловажная поддержка в лице первого заказчика — кавалерийской части.

На вечер встречи собралось столько гостей, что пришлось перейти в зал факультетских собраний.

Елена первая попросила слова. Пока она раскладывала на пюпитре свои записи, в памяти вихрем пронеслись последние два года накопления знаний, поисков и находок. Блаженно-беспокойная наполненность, которую дает пропикновение в жизнь искусства, задела в груди Елены страстной широкой мелодией, которая нетерпеливо рвалась наружу. Все, заранее заготовленные ею, тезисы, вдруг не стали ей нужны. Она начала совсем иначе — не с работы мастерской, а — с работы всей страны, собирающей могучие урожаи многолетних посевов. Виделась ширь родины, от моря до моря, стремительно меняющая свое лицо. Этому богатью, расправившему плечи, нужно было впредь одежду заготовлять по росту. Как единственно плодотворный путь работы Елена защищала путь исканий, по «исканий на земле».

— Эмпири-изм! — крикнул кто-то угрожающе-трубным голосом.

Но Елена уже приготовилась слушать привычные заклинания. На живых примерах «угасания» у всех на глазах знаменитых «кабинетов» профессоров Клеонского и Роксанова Елена доказывала, что люди, считающие себя «диалектиками-материалистами», на деле являются «типичными идеалистами, которые только напрокат пользуются материалистическим словарем».

Она видела перед собой широчайшую дорогу реализма, вернее которой нет ничего. Она предлагала черпать из мировой сокровищницы богатств, входить в ее двери уверенно и гордо, как наследник, покрытый славой. На верном огне опыта он проверяет ценность всех частей, нужных

ему для высококачественного сплава. В огне социалистического опыта выдерживают испытания те части сплава, которые рождались при решающих поворотах жизни общества.

И другие архитекторы из мастерской Сенежского не утверждали, что будто бы «уже найдено», что сплав новой архитектурной истории уже заполнил излохоты и затвердел на веки вечные. Огонь исканий и проверок всегда поддерживал в этом сплаве гибкость и восприимчивость к изменениям. Дело чести каждого мастера сообщать этому процессу полноту и разноеобразие, рожденное движениями жизни.

Выступления других мастерских успехов не имели.

Кавалеристы-заказчики, поддерживая Елену и всех остальных архитекторов из мастерской Сенежского, похвалили их за то, что «крепко сидят в седле», что ставят перед собой обширные и серьезные задачи.

Наркомпросовцы признались, что были «слабо ориентированы» и что после разъяснений они присоединяются к стилевым требованиям первого заказчика.

Победа была бесспорной.

Через несколько дней, лениво просматривая свежий номер газеты, почти целиком посвященный этому собранию, Виктор Сыропятов сказал Елене:

— Ну да... ваша взяла. А, собственно, почему? Вы все здорово смелись, распределили роли...

— Так, так... все куда как просто!.. Нет, знаешь ли, если бы мы все были внутри пусты, никакие хитрости не помогли бы.

— Ох, какая святость! — сказал он. Недоверчиво смеясь зеленовато-желтыми глазами.

Мастерская Сенежского вскоре после этой победной встречи получила еще несколько заказов. Так неожиданно для всех мастерская «живого трупа» дала наибольшее количество выпускных проектов, разработанных более чем по десятку конкретных заданий. Первую премию — проект красноармейского санатория и студенческого городка разделили Елена Гребнева и Соня Белавина. Вторую премию — за те же проекты получил Ваня Скирлов, который немного позже тоже перешел в мастерскую Сенежского.

Мастерские Клеонского и Роксанова вышли с жиденькими проектами «на вольные темы».

Елена сдавала санаторий под «свисты и ветры» статей, в которых с напористым

усердием обсуждалась ее «экспериментальная постройка». Но проект санатория был принят, и Елену премировали, как и Сою. Та все не могла успокоиться и толкала Елену ответить на статьи: «Ну зачем же этой ложкой дегтя портить себе настроение?»

Елена отмахивалась.

— Брось! Стоит ли тратить силы, отражать эти бутафорские кипжалы?

— Лентяйка! Беспечная! — сердилась Сося и ее темнокоричневая чолка вздрагивала как петуший гребешок...

Елене же стала известна «механика» этих ударов.

Во-первых, и Трудовой, Станковский и Зарпичин были одно лицо — «незадавшийся» художник Модест Бобряков. Под псевдонимом Светова и Раздольного писал «сам» Валерьян Меден, редактировал журнал Клеонский, но фактически руководил всем Меден.

В 1935 году журнал был закрыт.

— И вот, вообрази себе, Оля, обоим нашим «героям дня» пришлось-таки строить совсем не так, как они проповедывали!..

— Да, да... Сложное положение, что говорить.

Вошла домашняя работница Юля и со звоном поставила электрический чайник на поднос.

— Уж один чайник холодным я унесла, а в стаканах-то у вас прямо льдинки плавают! Что же вы чай-то не пьете, товарищи? — настойчиво спросила Юля с веселой строгостью и подняла тоненькие, в ниточку сиеватые бровки.

— Юля, дружок, что вы с собой сделали? — ахнула Елена.

— Ну что... что особенного? — заворковала Юля. — Ну, побывала у парикмахера в Гранд-отеле.

— Да он же вам брови выщипал, чудачка!

— Они ж у меня, Елена Николаевна, такие были лохматки, глядеть противно!.. Зато теперь брови, как у всех!.. Настоящие московские брови!

И девушка гордо удалилась.

— Вот, возьми ее, — сказала Елена, — девушка сняла с лица такие приятные, густые курчавенькие брови, — и радуется. А они-то как раз и придавали ее лицу такую оригинальность, что я недавно даже сделала с нее набросок.

Случай с Юлиными бровями, смешной и наивный, как веточка, переброшенная через ручей, нарушил течение воспоминаний.

Все трое почувствовали себя утомленными, будто и действительно просидели несколько часов на веслах и будто глаза и впрямь устали смотреть на мелькание бегущих струй, пестрых от солнечных пятен.

— Чаю, горячего чаю, хозяйка! — жадно сказала Ольга. — У меня от нашей болтовни во рту пересохло!

Она поднесла к губам белоснежную дувлевскую чашку с ультрамариновым ободком, и, жмурясь от удовольствия, стала пить мелкими глотками. Сквозь тонкий как яйцо фарфор густо светился медно-оранжевый чай.

Вошла Юля, поставила на стол холодную телятину и фрукты, а потом заявила, что уходит «по неотложному делу».

— Стандартные брови пошла показывать, дурочка! — сказала Ольга.

Елена, стоя у окна, повернулась к свету. Держа тонкие руки на спинке стула и слегка его качая, она говорила с иронической усмешкой.

— Когда мне рассказывают: «ах, оригинальность! Это делается просто, интуитивно!» — я не верю в эту «простоту». Что значит быть оригинальным в наше время? О, сколько это значит!.. Прежде всего ты обязан быть абсолютно понятным, если не всем, то многим, многим... Ведь только такое искусство вполне человечно!.. Далее... я хочу выразить...

Она оставила стул и быстро пересекла комнату, будто затосковав о просторе, потом остановилась, широко взмахнув руками перед собой.

— Я хочу выразить в линиях не только одни технологические особенности моей работы или повторять отдельные мои удачи — нет, я хочу добиться, чтобы то впечатление от жизни, какое есть у меня, передалось людям, которые будут жить в этом доме... Ах, Сергей! Помнишь, как я сдавала санаторий?

— Ну еще бы! Приходит Леночка домой, а у нас гости. Конечно, поздравления: с победой, с премией!.. Уж вот, мол, рады-то вы и так далее. А Леночка этак раздумчиво: «Нет, самое главное вот что: комиссар все прочел почти дословно. Начались расспросы: что, где прочел? А она отвечает...

— Да, да... оживленно прервала Елена, и глаза ее заискрились. — Когда командир дивизии вышел на веранду южной стороны, вскрикнул: «Да, уже многое от нас зависит, чтобы жизнь служила нам дальше!» — я тоже вскрикнула и захлопала в ладоши. Он удивился: «Что вы?»

«Ах, как вы верно все прочли!» И я повела его к нижней веранде. Там среди узоров мозаики можно было прочесть: «Мы завоевали жизнь, чтобы люди жили дольше».

— Великолепно! — и Ольга даже приотпнула от удовольствия.

— Ну! Совпадение наших мыслей было так радостно, что мы даже обнялись.

Она прошла из угла в угол, тихонько посмеиваясь, но вдруг подвижное лицо ее прогнуло — какая-то тревожная мысль опять прорвалась в ней.

— И вот, когда мне говорят о том, что все это так легко и просто... — во мне все начинает кипеть, словно меня незаслуженно уличили в чем-то дурном!.. «Просто»... искать, находить, проверять, испытывать, отчаиваться... как говорил Моцарт: *Immer zwischen Angst und Hoffnung*<sup>1</sup>. Сколько всего этого мучительного до тех пор, пока ты сможешь сказать как Бетховен: *Es muss sein!*<sup>2</sup> Вот почему я ненавижу всякую плоскую уверенность!

— Ленка! — строго сказала Ольга, — слушай, я теряю терпенье. Какая то чертова иголка подкалывает тебе сердце... Может быть, это оттого, что ты вспоминаешь об этих неприятных людях. Так запрещаю тебе произносить их имена!

— Благодарю тебя, Оленька!.. Если бы только за этим дело стало — ведь мне же приходится ежедневно видеть их, говорить с ними...

— Как?!

— Больше того: Валерьян Меден теперь является нашим руководителем.

— Постой, постой! — и Ольга даже схватилась за голову. — Да где же, да где же это происходит?..

— Где? У нас в содружестве АРС.

— Это что такое?

— Это смешанное содружество, название которого означает: архитекторы, рисовальщики-художники и скульпторы... Инициатором этого содружества был наш Спартак, Ваня Скирлов. Мы быстро подхватили его мысль, которая нам показалась великолепной: архитектор, художник и скульптор с самого начала, с первой наметки мысли работают вместе. В произведении ими созданном, не будет ничего случайного, приставного, а все будет органично, спаяно одно с другим, как в дружном концерте. Сенежский с великим удовольствием вошел в нашу инициативную

группу и затащил туда и академика Иртегова.

— Двое академиков в инициативной группе, — это здорово выглядело!

— Еще бы. Содружество стало подниматься, как на дрожжах. Наш Василий Константинович любил повторять: «У нас не просто некое составное Арс, а шире «арс пуова», новое искусство». Ваню Скирлова, конечно, избрали председателем. Этот бывший моряк балтфлота не только был самородком, но вообще какая-то счастливая натура, органический талант в жизни.

— Когда сорганизовался ваш Арс?

— В 1933 году. Мы успели построить на таких принципах содружества трех искусств несколько капитальных сооружений. Мы жили дружно... и я сказала бы даже восторженно.

— Расскажи, что вам сказал один из знаменитых стариков МХАТа, — напомнил Сергей Петрович.

— Да, да!.. — и Елена даже вспыхнула при этом воспоминании.

— Однажды Иртегов и Сенежский затащили к нам на совещание их общего друга, одного из мхатовских стариков. Тот просидел у нас целый вечер и, прощаясь, сказал, что мы многим напоминаем ему молодые годы МХАТа. Да, вот как мы тогда жили!

— Но как же, как же все-таки Меден и Сыропятов очутились среди вашей арг пуова? — волновалась Ольга.

— Как?.. Ну, например, как объявляется плесень или червь-древоточец. Войдут тихо, незаметно, начнут распространяться — и все разрушается.

— Должно быть, в чем-то вы все, восторженные, вели себя как дураки! — сердилась Ольга...

— Мы чувствовали себя здоровыми, сильными, полными творческого жара...

— А своих слабых мест вы, конечно, не замечали, это была для вас скучная житейская материя, — укорил Сергей Петрович. — Вы, как плохие батарейцы, оставляли замки орудий без примотра.

— Словом, эти двое вошли к вам в распахнутые ворота! — сердилась Ольга.

— Так оно фактически и получилось. Будничная организация работы у нас была совершенно не налажена. Наш Спартак однажды доверчиво поделился чисто организационными нашими затруднениями с Меденом.

— Фу! Чтобы доверить козлу капусту! — и Ольга от досады даже вскочила с места.

<sup>1</sup> «Всегда между страхом и надеждой».

<sup>2</sup> «Так должно быть».





Квартира еще спала. Ольга подошла к огню — и засмотрелась на Москву.

Далеко впереди в изумрудно-золотой дымке вылали свежее-зеленые массивы Ленинских гор. Их курчавые отроги неприметно терялись среди железных гребней высоких крыш. Старые двухэтажные домики, кое-где вкрапленные в это сборище великанов с многоглазыми фасадами, показывали воочию, как смело устремилась вширь и вверх Москва.

Смотря из окна углового дома, Ольга видела улицу в длину — от молодого сквозистого скверика до двенадцатипэтажного дома со множеством балконов, будто висящих в воздухе. Новые дома, светлосерые, беложелтые, просто белые, почти все были с балконами, которые в безмолвном разговоре будто тянулись навстречу друг другу.

Улица еще спала сочным рассветным сном, как будто она всегда была такой плечистой, рослой, как будто уже давно привыкла быть такой крепкой и здоровой.

Ольга подумала, что для этой силы и здоровья не мало сделали люди той идейно-творческой и нравственной закалки, к какой принадлежали Елена, Сенежский, Соня и покойный Ваня Скирлов.

Ольге вдруг стало совестно за свою вчерашнюю резкость. «Этакий характер! Как вспылю, так зеленые круги в глазах пойдут и ничего не помню». Ей уже было жаль Елены. Вспомнился усталый вид ее, нервическое подергивание плеч, горькая усмешка. «Это все не так просто произошло», сказала она. Конечно, так оно и было — этому можно поверить. Ведь Ольга сама несколько лет провела в среде художников и уж должна знать, как сложно иногда переплетаются между собой разные события.

Среди этих размышлений Ольга вдруг услышала звонок. Резко позвонили еще раз со стороны черного хода. Ольга пробежала мимо сладко спящей Юли и открыла дверь.

— Спасибо... большое спасибо, — прошептал Ольге юный верзила в клетчатом костюме для гольфа. Короткий пиджачок был распахнут, а под ним голубела нитяная майка. выпачканная лесной зеленью. В руке верзила качалось легкое байдарочное весло.

— Тетя Оля... это вы? — прошептал он, почему-то растерявшись.

— Я... я... — смешливо фыркнула Ольга. — Да иди же ты сюда, дай я на тебя

посмотрю! — и она потащила его в столовую.

— Слушай, да неужели ты... Сашка?.. Ну, и вымахал ты, Сашенька!... Ну, дай ж тебя поцелую, чертенок!

Саша наклонился, и они расцеловались.

— Батюшки, ну и дылда!.. то есть некогда бы не подумала, что ты нас всех перерастешь! — изумлялась Ольга. — Двенадцать лет назад я тебя вот этак, вверх подбрасывала.

— А что вы думаете? — сказал Саша. лукаво тараща темносерые глаза. Я маму на руки поднимаю, честное слово!

— Ну тебя, хвостун!.. Куда это вы на байдарках ездите?

— По Москве-реке, смешанной командой, но понимаете...

Он огорченно развел руками.

— Мы напрасно с собой девчат взяли... Маршрут мы выполнили, но с обратным возвращением просто чистая беда!.. у девчат руки совсем не натренированные, да и сердечики тоже... обратно мы плыли с перевалами, тащились еле-еле да еще вверх по реке.

«У всякого свои осложнения», смешливо подумала Ольга, любуясь его озабоченно усталым лицом и забавным пучком коротко стриженных желтовато-русых волос на макушке.

— Сейчас я тебе кофе сварю.

— Не беспокойтесь, тетя Оля, я и сам...

— Полно, что за счеты?.. Значит, ты спортсмен?

— Да — все, кроме бокса. Это мордобитие мне совсем не нравится.

— Наверно, уже значок имеешь?

— Вот и нет еще, представьте! Пана находит, что у меня грудная клетка еще узковата, — он выпятил грудь и критически оглядел себя, — значит, по его, я могу заниматься спортом в любительском порядке, без награждения.

— А мама что говорит? — улыбаясь, спросила Ольга.

— Конечно, солидарна с ним. Но... хватит, хватит!

Он тайно подмигнул и тихонько щелкнул пальцами.

— Нынешним летом я обязательно сдам все нормы! У нас в девятом классе есть один парень, зовут его Борька Чайников. Такой карапузик, мне ниже плеча — и, представьте, ГТО сдал, на Ворошиловского сдал и даже однажды с парашютом прыгнул! Что же, мне от Борьки Чайникова отставать?



— Нет, конечно, тебе надо его перекрыть,— поддержала Ольга.— Только сначала изволь в десятый класс перейти.

— Ясно, это само собой.

— Какой у тебя самый любимый предмет, Саша?

— Математика, черчение... Ну, языки ничего, полезное дополнение. Я не решил еще: на машиностроительный мне пойти или в авиапромышленность. Сам еще не знаю, куда меня больше тянет.

— Ну, из двух, как-нибудь выберешь. Ай... кофе кипят!.. Давай чашку.

Делая ему бутерброды, Ольга рассказывала:

— Когда тебе было три-четыре года, твоя мама приводила иногда тебя ко мне. Мама уходила на очередные драки и схватки...

— А вы? — пробурчал он, аппетитно жуя, и глаза его смешливо блеснули.

— А я уже тогда отходила от архитектуры, к которой пристала было совсем случайно...

— Мм... угу! — и Саша, жуя, удовлетворенно мотнул головой.

— Даже трудно теперь вообразить, что это ты был страшным ревуном. Ты ревел буквально по всякому поводу, ты всех боялся...

— Не может быть! — убежденно сказал Саша, выбирая бутерброд побольше.— Кого же это боялся? Наверно, все же были серьезные основания для этого?

— Конечно. Потом мы, занятые люди, поняли, тебе не хватало детворы. Ты же родился в студенческом общежитии.

— Угу... Знаю, в районе Арбата. Только, тетя Оля, особняк тот уже снесли, он был совсем барахло... Да, да... ну и что же? Потом я все-таки выровнялся?

— Еще как!.. Потом, когда я жила на Малой Дмитровке в доме, где было много ребят, мы вместе выходили во двор, потом часто гуляли у памятника Пушкину. И день ото дня ты становился бойчее — я уже лез драться.

— А папа говорит...

— Потом, бывало, набегаешься, иногда и заночуешь у меня. «Тетя Оля, казку, казку!» — и любил страшные, обязательно страшные сказки.

— Какие же, например?

— Чтобы лес был, чтобы ветер, медведи... и прочая чепуха. Я выдумываю новость что... вдруг ты вот этак тарачишь

глазенки и начинаешь меня лугать: «У-у-у»... я беру тебя на руки и говорю: «Ой, спрячемся скорее, спрячемся!» — и уложу спать.

— Ничего себе, был молодец!.. А, знаете, тетя Оля, все-таки из этого периода я кое-что смутно помню. Будто меня укачивает потихоньку, а вы где-то близко, но такая маленькая, малюсенькая...

— А, это ты помнишь, как засышал иногда у меня на коленях...

Ей хотелось прижать к себе эту юношескую голову с желторусым хохолком на макушке, но этот милый верзила как раз был в том возрасте, который до ненависти стыдится всяких нежностей. Едва ли ему было известно, что его мать аккуратно посылала Ольге все его снимки, от пяти лет и до последней фотографии вот в этом самом костюме для гольфа. Он, конечно, не помнил, как часто звал ее «мама Оля», в отличие от Елены, которая была просто «мама». Когда многие изумлялись крепкому здоровью этого маленького неутомимого крикуна, Елена с улыбкой говорила: «Ну, еще бы,— он же у нас сын двух матерей». И только она одна знала, почему Ольга смотрела на него, как на своего сына.

Он родился в декабре 1924 года среди спешки и схваток сумбурно-учебной жизни того времени. Отец и мать не сообразили ничего лучшего, как купить для младенца ивовую бельевую корзину. Ребенок спал в ней, как в плетеном суденышке, которое отважно отправилось в свой первый путь по волнам жизни. Пока этот путешественник спал почти полные сутки, он даже забавлял всю женскую спальню, мягкий, теплый, как котенок, с мутноглубыми глазами. Но он рос и все заметнее требовал от жизни свое. Кроме того на нем отзывались волнения матери. Она, как выбившийся на поверхность земли ручей, искала свое русло, проверяла, металась, нервничала, мешая мужество с малодушием. Сашка, питаясь этой смесью, буйствовал в своем ивовом суденышке и мешал всем. Теперь он уже никого не забавлял, а напротив все, не стесняясь присутствием матери, шикали на него и брали в волух. Самым ярким его врагом была Ольга Мальцева. Среди десятков таких же как она, среди жадно-любопытствующей в поисках себя молодежи, Ольга попала в Институт искусств. Оглядевшись, она все чаще стала замечать, что все ей дается с напряжением. Ее злило, что над каждым штри-

хом и мазком ей приходилось, как она гонимая, потеть семью потами. Ольга, ревниво следя за всеми, не могла не видеть, что, работая больше многих, она успевает очень мало. Она часто ходила взвинченная от собственных неудач, а тут еще этот мальчишка, расположившийся в бельевой корзине, мешал ей сосредоточиться. Оставшись в комнате одна и слыша плач Сашки, Ольга подбегала к бедному ивовому кораблику и злобно толкала его: «у-у, мерзкий мальчишка, ты что тут торчишь, всем жить мешаешь?» Сашка захлебывался от рева, и, наконец, совершенно изнемогши от усталости и страха, засыпал.

Однажды, в сентябре 1925 года, Ольге с утра ни в чем не везло, все выходило шиворот-навыворот, она казалась самой себе тупой, несчастной, неуклюжей. Делать ничего не хотелось, читать тоже — хотя бы заснуть!

Глаза ее уже начали слипаться, как вдруг испуганный детский плач заставил Ольгу вскочить на ноги.

— Опять этот сатаненок орет! — жалобно простонала она и подбежала к койке Елены. Восьмимесячный Сашка, потный, взъерошенный, плакал альтом и дрожал всем телом, испугавшись какого-то страшного сна. Но Ольге до этого мало было дела. Она тряхнула изо всех сил младенческое ложе и приблизила к Сашке грозное, злое лицо.

— У-у, вот как шлепну тебя, дрянная, покоя от тебя нет.

Ей вдруг действительно захотелось шлепнуть его — и Ольга занесла руку... И вдруг — ребенок замолчал. Его большие глаза смотрели на Ольгу с безмолвным вопросом разумного существа: «Послушай, чего тебе от меня надо?»... Рука Ольги бессильно упала. Ребенок взмахнул ресницами, словно проследив это движение, и еще несколько секунд разглядывал Ольгу, будто припоминая: «А ведь я тебя хорошо знаю, как же!» Потом, будто поняв, что больше ему ничего не угрожает, он вдруг вскинул ручки и улыбался, обнажив два сверкающих жемчужных зубочка. На щеках у него засияли ямки, а настойчиво устремленные к Ольге глаза излучали самое чистое непобедимое доверие.

Ольга совершенно не помнит, что она

подумала тогда и как ее руки сомкнулись под теплой детской спинкой. Ее пальцы ощутили нежный пушок его кожи — и уже не могли разомкнуться. Потом Сашка очутился у ней на руках, ее грудь почувствовала блаженную тяжесть его плотного тельца. Его шелковистые пальчики с любопытством и лаской ощупывали ее лицо, она ловила их губами, как ягодные гроздья. Сашке это понравилось, он стал мошенничать: дотронется пальцем до щеки Ольги и откинется назад, заливаясь смехом. А Ольге уже стало почти нестерпимо не чувствовать его совсем близко, она прижимала его к себе все крепче и целовала в глаза, щеки и налившуюся смехом розовую шею. В Ольге словно прорвались силы, о которых раньше она не подозревала.

Тогда, в свои двадцать три года Ольга успела хлебнуть жизни. Дочь земского учителя, Ольга уже подростком начала есть свой хлеб. Четыре года она учительствовала в деревне, еще застала там пона, урядника, пьяницу-волостного писаря. Привычка надеяться только на себя, готовность в любую минуту дать отпор сделали ее смелой и острой на язык. Насмешливая, не быстро доверяющаяся людям, она все «никак не могла влюбитья». Она боялась увидеть себя смешной, ослабленной от счастья. А тут, прижимая к себе Сашку, теплое и подвижное как мячик, Ольга чувствовала себя богатой, чистой, счастливой. Сашка, казалось, понимая все, что переливалось в ее душе, вдруг заворковал что-то. Два жемчужных зубка и улыбающиеся губы вдруг выговорили коротенькое двухсложное слово, что-то вроде: «тата, дада, лала» — или этому подобной волшебной бессмыслицы.

Ольга вскрикнула и с подлинно материнским восторгом приняла одно из важнейших событий человеческой жизни — рождение речи. Так Сашка покорил Ольгу, прочно на всю жизнь.

Сейчас он, милый верзила, незрелым баском рассказывал, о каких специальностях больше всего говорят у них в девятом классе.

Вечер воспоминаний остался позади. Московское майское утро уже шумело за окном. И в темносерых глазах Саши горело это высокое утреннее солнце.

# Горный мед

Р а с с к а з

1

Два молодых инженера, оба — горняки, один — Белогуров, из Соликамска, другой — Кудактин, из Криворожья, только что устроившись в доме отдыха горняков на южном берегу Крыма и всего только раз десять-двенадцать искупавшись в море, вздумали пойти в горы, в здешние леса, кудряво и густо зеленевшие по всем отрогам и скатам горного кряжа.

Вышли утром, после купанья и завтрака, и пошли сразу во всю неумную прыть молодых ног. Криворожец Кудактин был повыше и шаг делал крупнее, но все время впереди его держался Белогуров, который и затеял эту прогулку и уговорил Кудактина, с первого же дня с ним подружившись, идти вместе.

Мускулистый и широкоплечий, успевший уже загореть до желанной для всех курортников черноты зулуса, коротконосый, круглолицый, несколько излишне толстогубый, Белогуров не отводил черных блестящих глаз от крутых лесистых и каменных вершин; он то и дело вскрикивал возбужденно:

— Вот они!.. Вот они, брат, мои горы!.. Шестнадцать лет их не видал! Шестнадцать, брат, лет, пойми!

— Ничего тут хитрого нет, — понять можно, — отзывался Кудактин, куда более спокойный. — И сосчитать нетрудно, сколько тебе лет тогда было, если теперь тебе тридцать три.

— А что же, брат, самый боевой возраст для партизана — семнадцать лет! Ничего трудного для подобного возраста не бывает, и для меня тогда не было. Куда пошлют, — пожалуйста, сколько угодно! Не иду, а лечу!.. Э-эх, леса мои! Ты же — не

барап, ты посмотри кругом, — ведь такую местность для партизанской войны — ее можно только по особому заказу получить, да еще и огромные деньги за нее дать, а нам она была брошена белыми за наши прекрасные глаза, — поселяйтесь и размножайтесь и колотите нас в тыл, сколько влезет...

И врангелевцев мы, брат, в большом почтении к себе держали, — ты не думай!.. Где нас было каких-нибудь двести человек всего, им казалось, что нас тысячи три-четыре! Ведь они в эти леса соваться глубоко боялись, а мы отсюда в любое время куда угодно могли двинуть.

Вон какого радиуса крепость у нас была, — ты погляди, брат, туда, насколько тебе видно, — и в эту сторону таким же образом, — все — наша крепость природная, а мы вылазки из нее могли делать в любом направлении...

Вот это самое шоссе, по которому ты ехал сюда в автобусе, оно ведь всегда могло быть у нас под обстрелом: захотим — и затыкнем его пробкой и оттянем на себя тогда с белого фронта полк или целых два.

Однако, сколько они карательных экспедиций ни сочиняли в наши леса, — ни черта у них не вышло, пока самих их не погнали из Крыма на суда грузиться, — да в Константинополь!

— Как же все-таки ты за шестнадцать лет ни разу не вырвался в эти места? — удивился Кудактин.

— Да вот так же все... То учился, то на практике работал, потом в Сибири на Анжерские копи попал, потом уж в Соликамск... В домах отдыха бывал, только на Кавказе, а сюда, действительно, не

приходилось... Зато уж теперь дорвался! Везде, кругом побываю, все свои старые места облажаю! Теперь держись!

Был июль на исходе,— время тех сплошных жаров, когда хватают они землю крепкой хваткой, ревниво не выпускают ни одного облака в разомлевшее небо.

От жары в дубовых кустах, по которым напрямик к матерому лесу вел Кудактина Белогуров, даже желтели и падали кое-где листья. А трава уже вся сгорела, и коровы в стороне, залезшие в кусты, не паслись, а только беспокойно отмахивались головами и хвостами от оводов.

— Вот видишь, какое теперь тут стадище — ликовал Белогуров.— А в двадцатом разве такую картину можно было здесь увидеть! Нипочем! Тогда если и была у кого еще коровенка, так он ее прятал за семью замками, как клад, а сам траву и ветки для нее резал, в мешках ей таскал. А что касается оленей, какие тут в лесах от царской охоты еще оставались недобитые, то мы их, брат, несколько штук тогда застрелили.

— Так что досталось тебе, значит, счастье — оленьки попробовать?

— А как же! Сам даже и жарил, только, брат, на подсолнечном масле,— это я помню; никакого больше не было, кроме подсолнечного, а своего сала у оленей, должно быть, и не бывает.

— Что же, вкусная оказалась оленья?

— Как тебе сказать... Я уж забыл, конечно, какой вкус, помню только, что очень твердая была. Такое жесткое оказалось мясо, что даже моим волчьим зубам чувствительно. Конечно, ведь дичь, она, говорят, дня два, не меньше, лежать должна, ну, а нам ее некогда было выдерживать. Мы были люди негордые: застрелили,— свежуй, режь ножами да жарь на костре.

А вот ты ведь, пожалуй, даже и не знаешь, кто водился в этих лесах — тоже от царской охоты остаток — зубр!

Однако зубрятины так и не пришлось мне попробовать: перед нами за год или два, его, говорят, здешние татары-охотники из винтовок ухлопали. Конечно, ухлопать ничего и не стоило: очень высоко куда-нибудь в голые горы он не забирался,— что ему там жевать? Это, одним словом, не коза и не олень, а громадина.

Интересно, куда потом эта зубровая шкура делась? А из оленьих шкур татары постолы себе шили, шерстью наружу, вроде таких кожаных лаптей. Очень удобная, конечно, обувь и легкая, только не

по таким лесам и горам в ней ходить: кожа тонкая, через неделю стиралась. Олени, ведь они здесь небольшие, вроде телят годовалых. Да, не больше теленка олени были, даже и старые. А рога у них красивые, помню...

— Так что тебе пришлось тут в оленьих постолах щеголять?

— Нет, партизаны до этого не доходили. У всех были ботинки, если не сапоги. Однако по таким тропкам, как здесь в лесах, и хорошие ботинки недолго держались: камни везде, корни дубовые...

Когда готовились мы в двадцатом году зимовать в своей крепости, то вот приблизительно там,— Белогуров показал рукой,— устроили мы себе шалаши, а где было можно, даже землянки копали, штаб же наш поместился в пещере. И что же знаешь,— вот говорится: «пещерный быт»... то есть диче уж некуда: не-ет, брат, в пещере этой не так плохо нашему штабу было. Две железные печки топилась там, на них чайники все время грелись, баранина жарилась с картошкой... Ковры даже в этой пещере на полу лежали и по стенкам висели,— из помещичьих имений мы их вывели на тачанках,— огромные, красивые ковры,— не знаю уж, куда они в конце концов девались...

Когда отдыхали, брат, то мы вообще жили себе привольно: рубахи стирали, сушили, обувь чинили дротом, то есть, проволокой жженой, и, конечно, «журавля» хором пели.

«Журавель» этот был бесконечный. Две строчки в рифму на всякие там, как говорится, злыбы дня, это ведь всегда и всякий мог сложить.

Как-то Врангеля мы здорово напугали, так что он ради нас даже дроздовцев своих с фронта снял. А дроздовцы ведь считались у белых из самых лучших. Однако мы этим дроздовцам в лесу засаду сделали, да так их огрели залпами и пулеметом, что они драли кто куда со всех ног! Конечно, после этого «Журавель» наш стал на один куплет длиннее... Так, кажется:

Разбежались, точно овцы,  
Ваши храбрые дроздовцы,—  
Журавель мой, журавель,  
Журавушка, молодой!

И Белогуров не сказал, а пропел этот куплет именно так, как певал, должно быть, тогда, шестнадцать лет назад: пол шаг себе, браво поднимая голову, широко

раскрывая рот, и голосом, хотя весьма необработанным, горловым, но громким.

— А дикие козы были в этих лесах? — спросил Кухахтин.

— На диких коз тоже как-то охотились, только я, признаюсь, ни одной убитой дикой козы не помню, а вот такую охоту припоминаю: пошли за козами трое из нашей головки, а вернулись назад только двое, — третий же где-то остался, как потом говорили, с пулей в голове.

— Что? На белых наткнулись? — живо спросил Кухахтин.

— Нет, ни на кого не наткнулись, а подозрение было, что этот, тогда убитый, — он был дезертир из врангелевской армии, поручик, — так подозрение было веское, что он провокатор, — вот его и хлопнули.

— Провокаторы у вас, значит, были все-таки?

— Ну, еще бы! И провокаторы, и утоловники тоже. Вообще партийному руководству дела было довольно, чтобы ряды наши чистить. Дезертирам из армии Врангеля куда было тогда бежать? Разумеется, одна только дорога к нам, в леса. Однако не всякого же дезертира в красные примешь. Ведь на гауптвахтах у белых, откуда и бежали, сидела часто и всякая шпана — тыловая сволочь. Грозит ей полевой суд и расстрел, — она и бежит в лес. А в лесу что-нибудь кушать же надо, — не буковки же орешки есть и не жолуди, как свины ели, какие тогда тоже в лесу пахлись. Вот дезертиры, разумеется, валят к нам, потому что у нас и котлы с горячим, и хлеба хватало. Однако, если ты к нам... го, борись за советскую власть, а не знаешь, что советская власть с собою несет, — учись. Ясно, политическая работа с такими велась. Да ведь тогда и крымский комитет партии вынужден был уйти в подполье, то есть опять-таки в эти вот леса — к нам, к партизанам. У нас поэтому тогда дисциплина, брат, строгая была... Так что, если во время какой экспедиции дорвался кто до спрятанного где у людей самогона и враз, сволочь, пьян надрызгался, — у нас такому вытрезвляться даже и не давали, а сейчас же на месте хлопали: не позорь красных партизан!

Белогуров мог бы повести Кухахтина к лесу по долине, по которой разлеглись сады и виноградники колхоза и садвинтреста и виднелись белые красивые дома бывших владельцев этих садов, теперь занятые рабочими. По долине прихотливо извивалась почти пересохшая речонка, а рядом с нею так же изгибисто вилась дорога между шлетней и оград из колючей про-

волоки на кольях. Но Белогурову хотелось идти напрямиком, чтобы сократить путь до мест близких и памятных.

Бывает так, что прошлое вспыхивает вдруг настолько ярко, что темнит и глушит настоящее. Так было теперь с Белогуровым.

Он как будто на глазах Кухахтина сбросил с себя шестнадцать лет; он смотрел на уходящую вправо цепь гор, чем дальше, тем более мреющую, тающую постепенно, теряющую свою вещественность, — нежнейшие акварельные тона рядом с утихающей голубизной бесцвечного далью моря, — и говорил восторженно:

— Судакская цепь!.. Всю насквозь мы ее прошли, пешком! И даже, если ты хочешь знать, захватили городок Судак!.. Вон как раскачивали врангельский тыл партизаны! Только что перед этим, заметь, взорвали мы Бешуйские угольные копи, — это вот сюда смотри, за теми вон горами, — и вдруг — новое дело, — Судак взяли! А Судак от Бешуйских копей — сто километров! Всякий бы так и подумал, что действует несколько сильных отрядов. А отряд был один, и в нем всего-навсего человек полтораста! Конечно, по случаю такой okazji Врангель должен был несколько тысяч отовсюду с фронта снять, что и требовалось доказать. А мы свою роль вытяжного пластыря сыграли, да от Судака опять в леса, — ищи нас тут! Соваться в леса охотников было немного, мы поэтому хозяйничали в них, как хотели.

— А как же именно вы могли там хозяйничать?

— Как? Лесное хозяйство — это что такое? — Дрова и, конечно, материал для построек. Строиться тогда даже и белые не строились, но вот шпалы им было нужно менять на железных дорогах, да к стати еще от Бешуйских копей они узкоколейку вели. Но главное — дрова. Топить ведь надо и в казармах, и в лазаретах, и в учреждениях, также и в офицерских квартирах, да и у всех прочих обывателей, — а тогда в Крым сбегались обыватели из всей России, да все такие обыватели, что ниже действительного статского советника и не было. И все воют: дро-ов!.. А мы вывозить дрова из леса не даем. Ни дров, ни шпал — ничего решительно. Ведь тогда здесь, в Крыму, и паровозы на дрова перешли за неимением угля. Везде в лесу заготовлено дров было тысячи кубических сажен. Мы эти заготовленные дрова жгли, — можешь вообразить, какие костры у нас были! А новых заготовок делать не позволяли. Поди-ка к нам сунься! Устано-

ви-ка, попробуй, лесопилку! Мы сейчас же тут как тут и ставим точку...

Потом была при Врангеле введена по деревьям и большим именным государственныйная, так называемая, стража. Эта стража, конечно, что из себя представляла? Человек не больше как тридцать, во главе с приставом. Конечно, от нас зависело, быть ей или не быть.

За счет этой стражи мы оделись в английские шинели и френчи и ботинки. У многих даже погоны на шинелях остались офицерские, в целых, как говорится, маскировки. Часто это нам пригожалось.

А по деревьям татарским везде наш политотдел комячейки основывал,— свои, значит, люди сидели...

Вообще бароново дело было швах, а мы как на дрожжах росли. Та же государственная стража нам жаловалась, что на врангельское жалованье прожить было никак нельзя даже и холостым, и неминуемо им оставалось одно: народ грабить. Понятно, мы им сначала не верили, а потом оказалось — сущая правда: не ограбим, с голоду подыхай! Мы же между прочим строго держались правила: крестьянам за все платить, да еще не какими-нибудь там «колокольчиками» или «жеренками», а настоящими «николаевками»! Хотя и предупреждали, впрочем, чтобы этих денег не берегли, потому что, как только займет Крым наша Красная Армия, мы все эти деньги аннулируем к черту, чтоб их и званья не было. Но, конечно, привычка, брат, ничего не поделаешь! Слушать нас слушали, даже и верить нам верили, а... «николаевские» все-таки на всякий случай прятали в сундук!..

## 2

Кудахтину сильно хотелось пить,— с собой они ничего не взяли,— но Белогуров уверял его, что в лесу воды будет сколько угодно, и чем выше и дальше в лес, тем она будет чище и безопаснее для здоровья, а главное — холоднее.

Сам же он все оглядывался кругом и соображал, куда ли он идет, куда хотелось бы ему пойти. Наконец, он уверенно взял влево и скоро вышел на какую-то очень крутую, но несомненно обезженную дорогу, на которой видны были между белыми камнями свежие следы подков. Он сказал весело:

— Ну, вот, значит, действительно, по памяти, как по грамоте! Эту дорогу я отлично оказываюсь, помню даже и через шестнадцать лет!

Кудахтин ударил каблуком в один из белых камней и заметил:

— Да ведь это же известняк,— смотри ка!

— Конечно, известняк! И даже помню я — жил где-то в этих местах какой-то мужичок с рыжей бородой,— ходил в багряной поддевке,— он пахнул известью и этого камня и возил ее продавать на своей лошаденке на берег. Покупали же ее для побелки комнат, так как строить тогда ничего уж никто не строил.

Шагов двадцать вверх по этой дороге Белогуров сделал нетерпеливо и возбужденно, оставив позади Кудахтина; когда же за крутым изгибом дороги перед ним матово засеребрили вдруг вычурные бетонные стены с мавританскими амбразурами окон и дверей, но с провалившимися уже кое-где тоже бетонными потолками, Белогуров радостно вскрикнул:

— Ага! Вот он! Я не ошибся, значит Здорово!

Подожел Кудахтин, сузил глаза, сморщил лицо, спросил устало и недовольно:

— Это что такое за остатки роскоши Замок какой-то бывший?

— В этом замке,— торжественно ответил Белогуров,— меня, если ты хочешь знать, едва не убили! Спасся только тем, что шаркнул в лес, а пулю в левой руке с собою понес,— хорошо, впрочем, что ружейная была пуля и выплала она боком неглубоко, а то, может быть, ходил бы теперь без руки.

Вид всяких развалин вообще печалел, однако кажутся более печальными из разрушенных зданий те, в которых никто не успел еще прожить и одного дня, которые не были даже доведены до полного воплощения замысла строителя, но вот уж рухнули потолки и висят те там, то здесь на прочном проволочном каркасе, пока не перержавеет железо. В середине развалин этих, на кучах мусора выросла трава, успевшая уже пожелтеть от зноя, а между тем мавританские арки вверху все еще были строги и четки в линиях.

Белогуров быстро обошел серые стены нагибаясь и приглядываясь внимательно потом показал Кудахтину:

— Вот! Видишь? Это от пули след! И вот тоже!.. И вот... Была тут маленькая наша засада,— пять человек нас сидело, а конный отряд белых с сотником во главе подымался по этой дороге. Нам ну и было их, по приказу командира нашей полка,— у нас уж полки тогда были только каждый гораздо меньше роты в белой армии,— нужно было, одним словом

встретить как следует. Мы их и встретили... Стены, видишь, бетон,—та же крепость. Это, брат, какой-то адвокат по бракоразводным делам купил себе здесь кусок земли и дворец начал строить, только опоздал немного,—перед самой войной мировой,—начал и бросил, а потом пришлось за границу бежать.

Отдыхавшись, Кудяхтин осмотрелся и сказал тоном старого военного:

— Это место такое, что тут не пять человек, а сорок пять могли бы сидеть в засаде, и могли бы они больших дел натворить!

Но Белогуров покачал головой отрицательно:

— Нет! Мы сами так думали,—оказалось, нет. Очень много дверей: со всех сторон двери. И если бы еще пулемет был у нас, а не у них, а то как раз наоборот... И ведь их — человек шестьдесят, а нас только пятеро. Однако мы их первыми тремя залпами ошарашили здорово. Главное, они такой наглости от нас не ожидали, чтобы мы как у себя дома расположились у них под носом! Они если и думали нас встретить, то гораздо дальше от берега, а тут они ехали себе совсем беспечно — и попались! Не сообразили того, что нам-то с горы их отлично было видно в бинокль, а они что в лесу могли увидеть? Мы их, чуть только первые показали на дороге, вот здесь, и жажнули! Три залпа, потом «пачки».

Представляешь, что мы там у них натворили? Вообще могли мы, конечно, рассчитывать, что помчатся они вниз, сломя голову — души спасать.

Однако, надо отдать справедливость этому сотнику, — боевой был, и бравый отряд у него оказался. Спешились там вниз и на нас пешим строем с пулеметом. Сообразили, конечно, по залпам, что нас — кот наплакал, и давай окружать. Слышим — отсюда выстрелы, отсюда выстрелы, а у нас патронов было немного, — надо отступать! Кинулись вот таким образом сюда, назад, сначала кучкою, потом врассыпную, и то вдогонку нам несколько пуль засветило винтовочных. Мы, конечно, вот сюда, прямо в падь, к речке, потом в лес, без тропок.

Трое тогда из нас были ранены и все легко, — удача. Могли бы все пятеро лечь. Зато у них из строя мы вывели, я уверен, не меньше как человек двенадцать, да столько же, пожалуй, кошей. Вскорости в этом месте быть потом не пришлось, а через месяц, разумеется, и конские туши тут не валялись, — все было убрано.

После этого случая грозились они, — так нам передавали татары, — до нашего лагеря дойти по лесу облавой, хотя бы целую дивизию на это пришлось кинуть, однако понимали, что не так-то это легко и просто; так все одной угрозой и кончилось.

И, говоря это, Белогуров, может быть даже незаметно для самого себя, обогнув развалины, пошел в лес дальше, а может быть бессознательно хотелось ему восстановить в памяти те тропинки и лазы в чащобе, по которым «шаркнули» отсюда вниз они пятеро шестнадцать лет назад.

Кудяхтин едва поспевал за ним, недоболько лова и отводя от себя раскачавшиеся ветки густого черноклена и лещины, но вдруг Белогуров остановился изумленно: перед ним стояли в почти непроницаемой чаще двое маленьких ребят: мальчик лет шести и девочка приблизительно на год моложе.

В руках у мальчика был кусок старой бечевки средней толщины; волосы у обоих белые, глаза светлые, отнюдь не испуганные, только внимательные, как бывают вбирающе-внимательные детские глаза. Оба были только в кумачевых трусиках и туфлях и совершенно бронзовые от загара.

Для Белогурова же так неожиданно было встретить этих двух маленьких белоголовых здесь, где воскресла для него подавляюще яркая картина перестрелки с конным отрядом, что он даже отступил на юшкага, оглянувшись на Кудяхтина, и сказал совершенно безулыбно:

— Та-ак! А теперь, как ты и сам видишь, в этих трагических местах живет племя каких-то карликов! Карликов, да, — это ясно!

Ребятишки смотрели на него безмолвно и серьезно, очень серьезно; он же, вытерев вспотевшую шею платком, продолжал:

— Я не сомневаюсь, конечно, что советским ученым известен язык, на котором говорят между собою эти карлы, — но русского языка, я вижу, они совершенно не понимают.

При этих словах девочка вопросительно посмотрела на мальчика, но мальчик нетерпеливо продолжал изучать глазами толстогобое, широкое лицо Белогурова. Правда, для этого ему все время нужно было держать беловолосую головку весьма приподнятой, поглядывая, насупись и заложив за спину руки.

Белогуров же продолжал, попрежнему обращаясь к Кудяхтину:

— Однако, поскольку карлики эти представляют несомненно научный интерес с точки зрения, понимаешь, антропологии,

то я думаю, нам надобно сделать вот что: мы сейчас их свяжем обоих и отправим в город, а оттуда уж их переправят, конечно, в Москву... Как ты полагаешь, а?

Но не успел еще ничего придумать для ответа Кудяхтин, как мальчик радостно подхватил:

— На веревку!— и тут же протянул Белогурову и свою бечевку и руки, неотмывво испачканные зеленой ореховой скорлупой.

Белогуров заметил около развалин некрупное деревцо грецкого ореха и на земле под ним недозрелые еще, сбитые вместе с перистыми листьями орехи с развороченной скорлупой.

Тем временем девочка, посмотрев на братишку внимательно и широко открыв рот, вдруг взвизгнула восторженно и так и бросилась к Белогурову, сложив руки кисть с кистью над головой и проговорив без затруднения:

— Сначала Ваводьку, потом мне!

Такого порыва Белогуров не мог уже выдержать спокойно; он громко расхохотался, схватил девочку и высоко поднял ее на вытянутых крепких руках. Кудяхтин же притянул к себе мальчика и сказал:

— Так ты, значит, Володька? Как же ты, Володька, сюда попал, в такой лес дремучий?

— Как по-па-ал!— протянул уже насмешливо Володька.

— Ну да: как попал? Откуда вы тут могли взяться, такие прыщи?

— «От-ку-да»!— хихикнул мальчик.— Когда мы и вовсе тут и живем!

— Как тут живете? Где же вы тут живете?— оживленно оглянулся кругом Белогуров, чтобы увидеть где-то тут поблизости торчавшую приземистую хатку того самого русского мужичка с рыжей бородкой, который палил известь (внезапно он вспомнил при этом, что мужика того звали Севастьяном).

— В сов-хозе мы живем,— отчетливо ответила ему девочка.

— Как так? В совхозе?— удивился Кудяхтин.

— Какой та-кой совхоз может быть в этом лесу?— еще более удивился Белогуров, ожидаяе глядя на девочку, которую забывчиво не опускал наземь.

Но Володька не захотел уже уступить соседке честь назвать этим двум неизвестным дядям свой совхоз. Он насулил пока еще отсутствующие брови, выпятил губы и с заметным уважением к длинному и звучному слову ответил:

— Лавандовый,— вот какой!

Кудяхтин посмотрел на Белогурова недоуменно: он никогда не слышал про подобные совхозы; Белогуров же, только теперь опустив девочку, глядел на нее, припоминая, что это может быть за совхоз, однако девочка тоже сказала без затруднения:

— Вавандовый, да.

— Где же этот совхоз?— спросил Кудяхтин.

— Вот там плантация,— показал пучком бечевки Володька и вдруг проворно юркнул в том направлении в кусты, девочка за ним. Белогуров и Кудяхтин молчаливо решили не отставать от ребятинек, однако шагов сто путались они в густо заросшем лесу, отгибая и отпуская ветки, пока не вышли на расчищенное место.

Зато, когда вышли, оба ахнули изумленно: точно оставленное ими позади море захлестнуло сюда затейливым заливом, и вот медленно движутся перед глазами иззелена-лилово-лазоревые крупные волны,— направо, налево, вперед,— повсюду!

Местность была ровная,— она и не могла быть ровной здесь, в горах,— и вот, то взбираясь на бугры, то скатываясь в балочки, потом подымаясь снова и падая вновь, рассеившись хозяйственно и важно, безупречно правильными рядами, низенькие, но пышные кустики цвели миллионными прямо к солнцу вытянувшимися голубовато-лиловых султанов.

Сначала Белогуров был просто ослеплен этим неожиданным великолепием, но потом, осмотревшись, увидел среди цветочных рядов дорогу. Неподдалеку от дороги сверкали на солнце в руках несколько женщин кривые ножи, похожие на серпы,— может быть, это и были серпы,— проворно срезающие султаны цветов, а на дороге стояла подвода с запряженной и нее гнедою лошадкой. И кто-то в лиловой розовой рубаше, в кепке, нагнутой на самые глаза от яркого солнца, уминал руками в подводе срезаемые цветы.

— Что это?— спросил Белогуров.

— Лаванда,— несколько торжественно ответил Володька, сорвал с ближайшего куста две-три лиловых кисти на тонких цветоножках, поднял их, насколько мог выше перед Белогуровым: — На, понюхай как пахнет!

— Да-а, вот штука! Посмотри-ка, брат, какая история: цветочки совсем мелкие, а запах сильный!— передал цветки Кудяхтину Белогуров.

Кудяхтин потер цветки пальцами, понюхал, пожал плечами и спросил Володьку:



— В какое же все-таки место их отправляют, эти цветы? В город, что ли?

— На завод к нам,—быстренько ответила за брата девочка, а мальчик только качнул бедовой головенкой, добавив:

— Вот не знают! Масло из них делают, из цветов!

Белогуров толкнул Кудактина в бок:

— Видал, какие профессора у нас завелись, карликовой породы! Ясно, что это — эфирно-масляный совхоз. И даже запах этот мне как будто с детства еще знаком.

Кудактин же отозвался, задумчиво растирая на ладони цветки в труху и нюхая их усиленно:

— Вспоминаю, признаться, и я что-то... Кажется, у моей бабушки за иконами такой букет лиловенький стоял,—только сухой уж, конечно... Лаванда, да... кажется, так это и называли. Именно вот подобный запах. А я, признаться тебе, даже и не думал никогда над таким вопросом: долго ли в нас живет память на чепуху на эту,— на запахи... Оказывается,—долго.

Белогуров же посмотрел на него изнутри светившимися изумленными глазами и проговорил негромко, но выразительно:

— Вот, видишь ты, за что боролись тут мы, партизаны? Соображай, брат!...— И, подбросив голову и крикнув, добавил:— Эх, я бы здесь пчел развел при такой взятке ульев сто!

— А может, тут и без тебя развели... Пасеки нет тут у вас,—пчельника, а?—спросил мальчика Кудактин.

— О-о, пчельника!—усмехнулся, играя бечевкой Володька.—Есть пчельник.

— Эх, чорт! Да от таких цветов мед-то какой должен быть душистый!—Даже глаза зажмурил, покрутив головой, Белогуров и спросил Володьку:—Большой пчельник, не знаешь? Сколько ульев?

— Ну, почему же он знает?—сказал Кудактин.

— Не-ет, брат, это, видать, такой профессор, что все здесь отлично знает!

— Сказать?—хитровато прищурился Володька.

— Скажи, пожалуйста, будь настолько добрый.

— Двести, вот сколько.

И тут же девочка, вздохнув, повторила, как эхо:

— Двести,—вот сколько!

### 3

Черный локомотив с толстой вертикальной трубой стоял посредине обширно-

го двора и пыхтел через эту трубу деловито-ритмически; другая же, тонкая и обернутая парусиной, коленчатая труба шла от него в неболой, высокой, всего шагов десять в длину балаган, наскоро сколоченный из досок. С задней стороны этого балагана, совершенно открытой, стояла подвода, запряженная парой некрупных пестрых бычков, у которых белые прямые рога однообразно торчали в стороны.

С подводы вилами ухватистая широкая женщина с пышущим лицом сбрасывала лиловую лаванду на площадку из вершковых досок, делавшую этот балаган как бы двухэтажным. На этой площадке рабочие взвешивали лежавшие плотными умятыми кучами цветы на десятичных весах и потом валили куда-то вниз, в три широких железных куба, окрашенных сваружи суриком. За котлами увидели Белогуров и Кудактин дощатую перегородку. Это и был завод.

Сбоку его дымилась большая, теплая на вид, куча как бы свежесброшенной из конюшни перепревшей подстилки, в которой нельзя уж было узнать лаванду, отдающую только что весь свой густой и терпкий запах, все свое лилово-голубое очарование этим вот людям.

Две белые козы, рогатая и безрогая с палевой шеей, подошли к дымящейся рыжей куче и вдумчиво глядели зелеными глазами на двух совершенно новых для них людей, в то время как те высказывали друг другу догадку, что три холодильника, соответствующие трем перегонным кубам, должны быть расположены за перегородкой.

Никакого пола завод не имел, кроме той земли, на какой стоял.

Со всех четырех сторон двор замыкался одноэтажными домиками самой незатейливой архитектуры. Один дом, подлиннее других, еще строился, и около него гасили в яме известь для штукатурки деревянных стен, и кто-то в фартуке поверх кубовой рубахи то и дело взмахивал и прищелпывал сочно ярко белой лопатой.

К Володьке и его сестренке подошли еще двое ребят, постарше: один с заржавленным и погнутом стволом охотничьего куркового ружья, другой с сеткой, в которой лежала небольшая зеленоватая черепаха. Очевидно, у них были какие-то далеко идущие замыслы,—остаток ружья и черепаха в сетке были при них недаром,—и они задержались ненадолго и исчезли.

Когда же из дверей завода вышел с бумажкой в руке молодой и самого беззаботного вида русый человек в белой выш-

той рубахе под пояс и цветистой тибетейке, Белогуров обратился к нему:

— Товарищ! Нельзя ли нам посмотреть на вашу тут работу? Мы — инженеры-горняки, из дома отдыха.

— Приехали к нам?— весело спросил тот, здороваясь.

— Пришли пешком!

— Да что вы говорите? Напрасно! От нас часто грузовик ходит в город, такие и линейки, могли бы вас подвезти. А работа у нас простейшая: три перегонных куба — и все.

— Три куба это мы видели сзади, а где же холодильники?— с усилием, как всегда, спросил Кудактин.

— Сзади три куба, а спереди три холодильника, и по змеевикам бежит вниз масло с водой. Работаем паром,— давленные две атмосферы, в среднем. Вместе с паром подымается эфирное масло, потом по трубке идет в холодильники, а из холодильников капает в миски вместе с водою...

— А там масло всплывает кверху,— продолжил Белогуров,— и извлекается...

— И все!— довольно закончил беззаботный и весьма приветливо улыбнулся.

В это время невдалеке, между прекраснейших длинноиглых, синих на фоне зеленого леса сосен, посаженных в виде небольшой аллеи сосен, завезенных сюда из еще более южных стран, поэтому показавшихся сказочными со своими огромными, как у ведра, шишками и изгибистыми, как змеи в желтой чешуе, сучьями, появился обыкновенный дымчато-фиолетовый осел с черным ремешком вдоль спины и зарыдал надрывно, с перехватами.

— Ослы, значит, у вас тоже есть?— сказал, морщась от дикого крика, Кудактин.

Беззаботный молодой человек улыбнулся еще приветливее, развел руками в знак сожаления и ответил неопределенно:

— А где же их нет, скажите?

Но тут же добавил:

— Иногда все-таки ослы наши,— у нас их пара,— корзины кое с чем таскают: польза не ахти какая, но вреда от них тоже нет. Но есть возле нас (к вам только заходят иногда) животные очень вредные,— называются они олени.

— Как олени? Олени? Вы не шутите?— как-то даже на носки поднялся Белогуров.

— Зачем шучу? Олени самые настоящие... Приходят вот отсюда, из заповедника,— и молодой человек махнул рукой в сторону лесов на горах.

Эти леса могуче темнели всюду. Только одна каменная розовая с голубыми бликами круглая верхушка вырывалась из их курчавой томящей овчины, да на одном уступе белела не то этернитовая, не те из оцинкованного железа крыша какого-то строения.

— Эти вот леса — заповедник теперь?

— Заповедник, а как же?

— Ты слышишь?— широко глянул на Кудактина Белогуров.

— А в заповеднике этом несколько сот оленей, считая с молотьяком.

— Несколько сот?

— Что же: им стоит разводить потомство, когда их никто не бьет? Они к нам из заповедника являются по почам, стадами голов по двадцать,— и прямо на огороды. Тогда уж держись, фасоль и кукуруза! А картошку они выгребают всю под итог — факт! Явные вредители. А в сентябре у них гоны начнутся,— тогда уж они и днем не стесняются стадами к нам забегать. А как дерутся рогами,— картина! Аж только стук стоит, точно палкой об палку бьют.

— Однако, если они вредительствуют...— начал было Кудактин.

— Что? Жаловаться на них? Пробовали,— бесполезно. Раз они из заповедника, значит, неприкосновенные личности.

Белогуров между тем неотрывно оглядывал леса и повторял:

— Вот как! Заповедник!.. И оленей уж несколько сот!.. А там ведь еще и дикие козы были!

— И диких коз сколько угодно... И диких баранов считают уж тысячи две...

— Баранов?

— Да, муфлонов... Ну, я извиняюсь. мне надо по делу,— а вот наш агроном этого участка идет, она вас информирует по всем вопросам...— и он отошел, улыбаясь, и зашагал к тому строящемуся дому, в котором начали стучать плотники, приколачивая доски к балкам: блин сильно, сразу в несколько молотков и с оттолочкой.

— Вот как, брат, а? Может быть, уже штук четыреста теперь стало там оленей, а оставалось к концу двадцатого года так самая малость, может, десять голов... Вот что значит заповедник!— лижовал Белогуров.

— Однако огромный кусок лесов заняли! Надо как-нибудь нам и туда сходить.

— Хочешь? Сходим! Непременно сходим!— похлопал Кудактина по плечу Белогуров.

Между тем подошла к ним с той стороны, куда двинулся беззаботный техник, женщина в белой кофточке и серой клетчатой юбке, приземистая, немолодая, уже с проседью в редких волосах, с морщинами около карих глаз, с рыхлой полнотой пожилых женщин. Она сказала с педантом, без интонаций и ударений:

— Вы — инженеры, товарищи? Из дома отдыха горячков? Любители путешествий? А я — агроном Хромцова, агроном этого участка.

— Значит, кроме этой, есть еще плантации лаванды? — спросил Белогуров.

— Разумеется. Всего три участка, и все в разных местах. Здесь только сто гектаров лаванды, а в других двух участках около четырехсот.

— Ого! Да вы, значит, тут море масла выжимаете?

— Все-таки не море. Вот мы закладываем в три наших куба тонну сырья, а через два с половиной часа получаем с тонны всего только восемьдесят кило масла. А с гектара добывается от двух до пяти тонн сырья.

— Почему же все-таки такая разница: то две тонны, то пять? — удивился Кудактин. — От почвы это, что ли, зависит?

— Нет, от возраста этой самой лаванды. Молодая лаванда цветет не густо, дает мало сырья: чем старше, тем больше, но... до известного предела! Старше восьми лет она дает уже все меньше и меньше, а в двенадцать совсем перестает цвести, тогда ее надо выбрасывать и заменить новой. У нас это дело совсем молодое, старше пятилетних кустов нет, и пятилетние самые доходные.

— Черенками сажаете?

— И черенками, и делением кустов, однако и семенами не брезгаем сажать, хотя семена эти совсем крошечные, меньше маковых зерен.

— Хорошо, но сюда-то именно, на эти горы, зачем вы забрались с лавандой? — спросил Белогуров.

— Да ведь наша лаванда — французская *lavandula vera*, лаванда настоящая... Есть еще несколько видов лаванды, но те менее выгодны. А на опыте Франции, — очень между прочим давнем, — доказано, что самые лучшие выходы масла дает лаванда, если разбивать плантации на такой вот высоте — на высоте трехсот-четырехсот метров над морем. И второй участок наш тоже на такой высоте, я третий. Кроме трех наших есть в Крыму еще плантации лаванды, всего до семисот пятидесяти гектаров, и в прошлом году выгнали всего

до шести тонн масла, а это уж не шуточка, это — на два миллиона рублей. А главное, что мы уже на восемьдесят процентов покрываем общесоюзную нужду в лавандовом масле. А в будущем году дойдем до ста.

— А куда же все-таки ваше масло идет? Мы, невежды, этого не знаем, — сказал Кудактин.

— Не вы одни не знаете; дело новое... Куда идет? На душистые туалетные мыла, на духи, на конфеты... Даже есть у нас требование на лавандовое масло от керамических и от фарфоровых заводов.

— Гм, — очень трудно представить, зачем для посуды лавандовое масло, — посмотрел на Белогурова Кудактин.

— Какой-нибудь секрет производства, — выпятил недоуменно губы Белогуров.

— Повидимому, да, — продолжала Хромцова. — Но пока на все наши потребности, говорят, нам хватает восемь тонн масла. А вот во Франции добывают его ежегодно от ста до ста двадцати тонн!

Кудактин качнул головой и бормотнул:

— Ка-ки-е душистые!

— Погодите, и у нас дело восемью тоннами не кончится. Через некоторое время и мы до ста двадцати тонн дойдем! Чем у нас хуже лаванде расти? Да у нас теперь даже и на Кубани начали разводить лаванду.

— Ну, хорошо, а как качество масла? Дело не в количестве, а в качестве, — сказал Белогуров. — Должно быть, похуже французского?

— Ничуть не хуже. Мы в Москву посылем свое масло на фабрику в красивых запаянных жестянках, по девять кило масла входит в жестянку, — соответственно тонне сырья. А в Москве на фабрике сидит дегустатор француз...

— Человек с носом? — проворно вставил Белогуров.

— Вот именно, человек-нос, — единственный, незаменимый спец... У него на столе пробирки, он соединяет разные масла и нюхает, — вся его работа! Так получают наши советские духи. Говорят, до семнадцати компонентов иногда входит в те или иные духи, а потребителицы их, конечно, не знают подобных обстоятельств...

— А если у этого незаменимого спеца будет насморк? — спросил Кудактин.

— Тогда — стоп, машина! Тогда всей алхимии до его выздоровления отдых... Так вот этот спец признал наше масло вполне хорошим. Оно и не может быть, конечно, ни каким-нибудь посредственным, ни тем более плохим. Лаванда любит юж-

ные склоны, — пожалуйста, у нас здесь их сколько угодно. Любит шиферную почву, — здесь везде шиферная почва... Но она не любит дождливой весны, какая в этом году, например, была, поэтому выход масла у нас теперь меньше, чем девять кило с тонны. Зато в прошлом году было почти десять! Это и во Франции считается рекордом. Так что большое значение в нашем деле имеет погода... А цвет масла меняется несколько в зависимости — от чего бы вы думали? — От спелости сырья. Когда лаванда в полном цвету, масло бывает зеленое, а теперь, например, она уже частью отцвела, — теперь масло желтое.

— Хорошо, — вот вы сейчас, конечно, заняты, — собираете свой урожай, а что же вы делаете здесь зимой? — живо спросил Белогуров.

— Зимой? Делаем перекопку плантаций. — Как перекопку? Вручную?.. А трактор?

— Что вы, трактор? Это вам не степь, товарищ! У нас, увы, копают по-старинке, лопатами. А копать зимой можно далеко не каждый день. Когда идут дожди, перекопку бросаем. А то еще хуже — вздумает вдруг нас засыпать снегом, — тогда мы, конечно, только существуем и усиленно топим печки.

— Небо коптите?

— Небо коптим... Да, я еще не сказала вам, что у нас, кроме лаванды, есть розмарин и несколько гектаров казанлыкской розы. Но роза у нас дело еще более молодое, чем лаванда, так что розовое масло мы хотя и гнали в этом году, но, так сказать, в порядке пробы.

Локомотив между тем однообразно фукал, пар по заматапной в парусину трубе тек в перегонные кубы, а невдалеке от изнывающих от жажды инженеров падала струйкой из трубы водопровода чистейшая вода, направляясь потом по узкой канавке к яме, в которой гасили известь.

— Ох, не могу терпеть! Очень здесь горит! — дернул ладонью по калыку Кудактин и пошел к этой замачивой струйке.

— Напейся и мне скажи, какая вода! — крикнул ему влогодку Белогуров. Хромцова предложила участливо:

— Да вы бы, товарищи, зашли на пчельник, там наши пасечники Покоеры — муж и жена — угостили бы вас лавандовым медом... А может быть, даже и чаю для вас согрели бы, они люди добрые. Вот их детишки, кстати, Володя и Катя, — они вас и доведут.

— Так это с пчельника, значит, ребяташки?.. Ва-во-дя! — крикнул Белогуров

именно так, как называла мальчика его сестренка.

— Вы, стало быть, с ними уже познакомились? — улыбнулась Хромцова.

— Ну, еще бы! Мы с ними — старые приятели! — шутливо отозвался Белогуров.

#### 4

Ульи были расставлены очень аккуратно такими же правильными, безупречно по веревочке, протянутыми рядами, как росли на плантации кусты лаванды. Пчельник был устроен в яблоневом саду, разбитом еще тем самым адвокатом по бракоразводным делам, фамилию которого забыл Белогуров.

Ульи были приземистые, широкие, на четырех дубовых чурбачках каждый, с крышами односкатными, крытыми где железом, где фанерой, но однообразно окрашенными золотистой охрой, веселой на вид.

Яблочки на яблонях висели густо, — год для них был урожайный, — но все они были одного сорта, мелкий и жесткий, хотя и румяный, красивый синап.

Сарай стоял сзади за пчельником, а прямо против пчельника, через дорогу, — небольшой домок, куда и привели инженеров Володя с Катей.

По дороге Володя успел задать Белогурову, совершенно для него неожиданно, один из тех вопросов, которые приходят в голову только детям. Он сначала насупив невинные брови над голубыми глазами, пригляделся к этому черному, толстогубому дяде, потом спросил совершенно серьезно и даже как будто хриповато:

— Дядя, а дельфины, — они чихают?

Дельфинов в Черном море много. Белогуров видел, купаясь, как они выскакивают из воды, как они гоняются за стаями мелкой рыбешки — чуларки или султанки, видел с берега, как далеко в море охотятся за ними флотилии дельфинников с алломанами, но чихают ли дельфины, он не знал и ответил:

— Охота тебе, Володька, задаваться такими роковыми вопросами.

Однако Володька посмотрел так же насупленно-серьезно на Кудактина и к нему обратился так же басисто:

— А ты, дядя, не знаешь?

У крыльца домика безмятежно лежала и нежилась в тени крупная чернорыжая свинья; каштановая лохматая собака на цепи, когда-то от излишнего усердия сорвавшая себе голос, выскочила свирепо из конуры с придуренным рыком, и на

крыльце, вышиною всего в две ступеньки, показался обеспокоенно глядевший человек, которому Володька крикнул, показав на Белогурова:

— Па-ап, а пап! Вот!

Пчеловод Покоев подтянул брюки, в которые забрана была синяя рубаша, перепрыгнул через непроходимо лежащую свинью, прикрикнул на собаку и стал перед гостями, небольшой, подстриженный ежиком, красный с лица, с пытливыми соколаетными серыми глазами в набрякших веках и с протянутой, неслабой на вид ручкой.

Белогуров объяснил ему, как и откуда они сюда попали, и он сразу же стал благодушен и говорлив.

— Пчельник наш хотите посмотреть? Могу показать, вполне могу, — только если вы курящие, не ручаюсь тогда, что какая-нибудь сердитая вас не покусает. Курильщики и длинноволосых пчелы не любят, — впрочем, вы оба стрижены лучше не надо... Сетку могу вынести, только сетка у меня всего-навсего одна...

— А зачем же, собственно, нам надо ходить по пчельнику? — сказал Кудактин. — Мы его и отсюда отлично видим, — все ваши двести ульев.

— Двести двадцать, — скромно поправил Покоев, а Белогуров, чтобы быть ближе к цели, воодушевленно щелкнул пальцами:

— Говорят, у вас мед замечательный, из лавандовых цветов!

— А вы уж это слышали?

— Еще бы! Слухом земля полнится!

— Так что вы, товарищи, может, желаете проверить, так ли оно на самом деле? — понял его Покоев. — Что же, зачем дело стало? Заходите в комнату, могу вас попотчевать, только будет сотовый, зато первой свежести: нынче утром вырезал.

И он начал расталкивать ногою свинью, которая, впрочем, сочла это за хозяйскую ласку и не встала, только хрюкала блаженно, покачиваясь, но отнюдь не открывая глаз.

Инженеры остановили его:

— Бросьте, переступим! — и когда поднялись на ступеньку, Покоев проворно юркнул в комнату, и вот прямо перед собой Белогуров увидел на пороге высокую, тонкую, русоволосую женщину в просторном синем (из той же материи, как и рубаша ее мужа) платье, перехваченном поясом, и с широкими, короткими, только до локтей рукавами.

И хотя в комнате с одним и то небольшим окном, к тому же заставленным от солнца банкой сочного бальзамина, было

темновато, Белогурову показалось вдруг, что где-то и когда-то видел он подобную высокую женщину с русыми волосами.

Это мелькнуло мгновенно, и тут же память сочла это обычной ошибкой, тем более, что женщина, усадив гостей за стол, покрытый клеенкой, легонько повернулась и вышла куда-то, а следом за нею вышел и сам Покоев, предоставив неожиданным гостям оглядеться.

Комната была маловата, — только стол, три стула и кровати. Должно быть, на одном из стульев лежала гармонь-двухрядка, теперь валявшаяся под одной из кроватей; зеркало на стене, около него веером прищипленные кнопками несколько выпцветших фотографий; на кроватях — покрывала из кисейки, на наволочках красные буквы «П», и вот — домашний очаг и семейный уют.

— Ого! Ка-кой красивый! — ударил в ладоши Белогуров, когда Покоев внес и поставил на стол большое блюдо с сотовым медом.

— А соты какие чистые, а? Никогда я таких не видал за всю свою жизнь! — поддержал товарища Кудактин. — Только нельзя ли к такому меду стаканчик водички похолоднее?

— Чего другого, а воды у нас хватит: полный колодезь! — радушно отозвался пчеловод, и Кудактин, сказав: «Вот это здорово, брат!» — сильно хлопнул по спине Белогурова.

Высокая женщина в синем топкими голыми руками расставила и разложила на столе тарелки, ножи и вилки. Белогуров присмотрелся к ее продолговатому лицу, на котором не было никаких следов загара, и к этим подстриженным вровень с узким подбородком, подвитым домашним способом волосам, и опять ему показалось вдруг: «где-то видел».

Она сказала:

— Ну вот, теперь все, кажется, в порядке... Ах, да, еще воды вам холодненькой. Хорошо, сейчас будет вода.

Но воду вносил уже сам Покоев в белом с цветочками кувшинчике, воду и два граненых стакана, а Белогурову и самый этот голос, грудной и негромкий, какой он слышал, и растяжка слова «холодной» показались настолько знакомыми, как будто слышал это совсем недавно.

Между тем Кудактин отрезал кусок сот, еще не пробовал его, только держал перед собой на вилке, отправляя в рот глоток за глотком холодную воду, а уж на потном огненном лице его сияло блаженство.

Потом наперебой оба гостя начали хвалить мед:

— Вот так лаванда! Тут ради одного только меда такого еще бы тысяч десять га лаванды надо развести!

Покоевы сидели рядом около двери — она на стуле, он на табуретке, откуда-то внесенной: Белогуров приходился к ним беком.

Мед действительно был изумительного запаха и вкуса, вода казалась единственной по своим достоинствам водой, но даже и увлеченный этим небывалым соединением такого меда с такой водой, он вдруг быстро повернул голову к женщине, почувствовав на себе ее слишком внимательный, изучающий взгляд.

Бесспорным показалось вдруг, что он не только видел ее где-то, но даже часто видел, ее или не ее, но что-то было очень знакомое даже в этих тонких руках с угловатыми девичьими локтями, хотя женщина было на вид уже за тридцать лет... Но самое знакомое было почему-то в очертаниях губ ее, прикрывавшихся как-то неплотно.

Покоев же между тем говорил:

— Пчеловодом сюда поступила сначала моя жена... Потянуло ее почему-то в эти места, а до того мы, хотя тоже в Крыму, но в степной части жили. Потом, конечно, и меня суда же перетаскала. Она училась пчеловодству в техникуме, а я — пчеловод-практик с самого детства. Так мы тут всего хотя один только год, а пасаку увеличили почти вдвое... И у нас все ульи чистенькие, и гнильца, как в других тут в окрестности пчельниках, у нас и в заводе нет... Все ульи окурены... С будущего года, одним словом, пчельник наш серьезный доход совхозу давать будет, а потом год от году больше и больше.

Высасывая мед из сот и заливая его щедро водою, Белогуров не столько слушал Покоева, сколько усиленно думал, где и когда это было, что он встречал, и как будто даже часто, его жену.

Когда он взглядывал на нее, то неизменно встречал пристрастный взгляд ее голубых, правда, уже выцветавших, но насупленных, как у Володьки, будто тоже вспоминающих глаз.

И вдруг она сказала ему:

— Послушайте, товарищ, а вы, часом, не из этих ли мест родом?

— Гм... Вот видите, — заулыбался Белогуров, — а я тоже смотрю на вас и думаю: где-то, кажется, мы встречались с вами! Только в этих местах я был лет шестнадцать только назад, а после уже не приходилось.

— Шестнадцать лет?.. В двадцатом, значит?.. Ну, тогда так и есть! Мы с тобой в одном отряде партизанами были!.. Я тебя по твоим толстым губам узнала!

И женщина вдруг покраснелась, просияв, и стала девически молодою.

— Катя! — вскрикнул Белогуров и, едва успев выплюнуть на тарелку воск, который жевал, вскочил и протянул обе руки женщине.

Он хотел поцеловать ее крепко в эти неплотно сходящиеся, увядшие уже губы, но она наклонила голову, как под ударом, и губами он коснулся только белого ряда среди волос на ее затылке, а руки его охватили ее узкие покатые плечи.

— Сестрой милосердия была в нашем отряде, — сказал он Кудяхтину. — Их было у нас две... Другую звали, кажется, Паша. И если бы ты, Катя, не ходила тогда в галифе и френче, я бы, конечно, тебя сразу узнал. У меня ведь есть все-таки память на лица и ты ведь очень мало изменилась в лице и решительно ничего в фигуре... Но в женском платье мне ведь тебя никогда не приходилось видеть, припомни сама!

— Конечно, я тогда не носила платья, — сказала она, — раз я была тогда партизанкой.

— Это она возилась с моей раной, Катя! — возбужденно говорил Кудяхтину Белогуров. — Она бинтовала мне руку, когда пулю вырезал мне врач наш... Не знаю уж, был ли он действительно врач или только фельдшер, но хирург он был все-таки отличный...

— Он давно уже умер, — я справлялась о нем, — вставила Катя, мать маленькой Кати. — А ради такой встречи я сейчас самовар поставлю, напою вас обоих чаем.

И она поднялась вдруг и выскочила в дверь, изгибисто мелькнув широким синим платьем. Кудяхтин успел было бросить ей вслед: — Нам уж идти домой пора! — но она захлопнула за собою дверь; притом водою, хотя он успел уже выгнать ее три стакана, он все как-то не мог напиться, и чай представлялся ему заманчивым. Сказал же он, что надо идти, потому только, что присматривался к лицу Покоева в то время, как Белогуров как будто совсем не хотел замечать мужа Кати, небребрасывая через него разгоряченные взгляды.

Между тем Покоев, — это заметил Кудяхтин, — очень озадачен был тем, что какой-то чужой человек, откуда-то вдруг пришедший, зовет его жену «ты» «Катя»,

обнимает ее плечи и целует ее в пробор; ее открыл рот, неестественно часто замигал веками,—загар на его лице потускнел.

Он оправился только тогда, когда жена вышла. Раза два кашлянув, чтобы обрести голос, для себя обычный, он, с запинками, сосредоточенно глядя на Белогурова, заговорил:

— Да-а... вот так вы, значит... Поэтому есть у вас память на местности. Шестнадцать лет не были в этих местах, а вот... сразу нас нашли... Ко мне, знаете ли, не так давно брат родной вздумал приехать с женой своей, из Карасубазара.— он там работает. И вот он кружил, кружил по горам тут целый день, и пешком, и на извозчике,— всячески, так ничего не добился, где этот самый лавандовый совхоз... То есть именно наш участок... Осерчал и уехал ни с чем... Потом уже мне написал сердитое письмо из Карасубазара... А вы вот сразу попали, куда вам захотелось попасть... Впрочем, что же я: если уж самовар, то тут уж мне надо жене моей помочь... А вы, разумеется, продолжайте, товарищи, мед кушать...

И он, вскочив, вышел поспешно, а Кухахин после его ухода сморщился весь, как только он умел это делать.

— Я потом тебе скажу, в чем тут дело,— на ухо ему пешнул Белогуров.

За самоваром вспоминали.

Самовар меланхоличен по самой натуре своей. Самоварное пение мелодично и, пожалуй, несколько грустно, как мурлыканье злостных дармоедов-котов. Самовар как будто и создавался для того, чтобы, сидя около него, бесконечно вспоминали.

За самоваром здесь, в небольшой комнате Покоевых, вспоминали Белогуров и Катя, кто из партизан был убит в перестрелках, кто был ранен легко, кто, напротив, умер от ран или стал инвалидом.

Как бывшая сестра отряда, Катя Покоева больше всего помнила это. Помнила, как нехватало пода, бинтов, ксероформенной марли, сулемы, борной кислоты, перекиси водорода.

Перебрали потом имена партизан, им обом известные и еще не исчезнувшие из памяти, как не могли не исчезнуть, конечно, Папанин и Мокроусов, и кто где теперь и на какой работе. Белогуров рассказал между прочим и о том, что из себя представляют, столь же недавно основанные, как лавандовый совхоз, калийные копи в Соликамске, на которых он завел свой участок.

К чаю пришли и Володька с маленькой

Катей. Мать еще раньше с заметной гордостью сообщила о своем сыне, что он никогда не скажет, о чем бы то ни было, о чем его спросят, «не знаю»,—этого не позволяют ему его самолюбие; он насупится и ответит: «Забыл!..» Забыть, это он, конечно, может, забывают ведь часто и взрослые, но чтобы он не знал,—нет, это недопустимо!.. И, чтобы показать гостям, что она не выдумала и не пошутила, она, подмигнув Белогурову, спросила сынишку:

— Володя, а ты знаешь, где Абиссиния?

Мальчик посмотрел на мать исподлобья и пробурчал, отвернувшись: «Забыл я...»—потом ушел из комнаты, захватив с собою сдобный сухарь.

— Вот видите!— смеялась мать.— Ему ведь никто никогда и не говорил ничего об Абиссинии; на карте, конечно, тоже не показывал,—но вот усвоил себе привычку такую: «забыть» он может, а «не знать»—это уж вы оставьте! Возили его с Катюшей в город в фотографию сниматься, и вот теперь, чуть только увидит у меня в руках или у отца газету, сейчас же спросит: «А что, мой портрет напечатали?» Откуда он взял, что непременно его портрет должны поместить в газете, а вот взял же! И теперь конечно: вынь-положь газету с его портретом!

Хоть и видел Кухахин, что его товарищ тотов уже был забыть о доме отдыха горняков, все-таки через час заспешил он итти обратно.

Простились, наконец. Поблагодарили за удивительный мед, и чай, и сухари. Белогуров крепко жал руку Кате, глядя в ее выцветающие, но теперь вдруг снова ярко заголубевшие глаза и переводя взгляд на нежелающие плотно смыкаться, как это было и прежде, губы.

Провожать гостей пошел только один Покоев. Он скинул с себя неловкость еще за чаем и теперь хлопотливо справился на конюшне, нет ли свободной лошади, не едет ли кто в город. Но все лошади,—их было четыре—оказались в работе, грузовик же не приходил из города, и неизвестно было, когда придет.

Полюбовавшись еще раз красивейшей картиной огромной плантации лаванды, горняки решили итти пешком, только теперь уже по той самой дороге в долине, которую утром сознательно обошли стороной.

— На дороге, разумеется, всегда вас может какая-нибудь попутная машина нагнать, или даже линейка чья-нибудь,—вот вы и сядете,—говорил им Покоев, прощаясь и радостно пожимая руки.



Шли мимо виноградников садвинтреста, за оградой которых маршировали сторожа-девичата, с ружьями за плечами.

— Вот видишь ты, брат, что такое женщина в нашей стране?— говорил Белогуров.— Она ходит с ружьем,— охраняет народное достояние. Разве можно было представить это при старом режиме?

— Да, а в случае, если стрелять придется, конечно, в воздух, она, пожалуй, и курка не спустит,— бормотнул Кудактин.— И почему это у садвинтреста больше доверия к ним, чем к мужчинам?

— Во-первых, у мужчин и тяжелых дел хватит, а во-вторых, что касается доверия, то и я бы в подобной работе к женщине больше доверия нитал... Но это между прочим, а теперь, как мы уже два километра отошли, я тебе скажу, кем была для меня в свое время Катя.

Белогуров посмотрел на кроткое небо, пронизанное зноем, на пыльные кипарисы и черешни по границам виноградников и спросил вдруг с подъемом:

— Знаешь ли ты, что такое так называемая первая любовь, или тебе не приходилось этого испытывать?

— Ну, ладно, махай дальше,— отозвался Кудактин.

— Так вот, эта самая Катя и была моей первой любовью!.. Может быть, был ее первой любовью и я... по ее-то словам тогда выходило как будто так.— но этого вопроса касаться уже мы не будем... Никого и никогда не целовал я так нежно и крепко потом, как ее, даром что была она в галифе и френче! Никого, да и... никогда! Но вот раскидало нас в разные стороны, когда Красная Армия вошла в Крым. Стряд наш влили в дивизию в Феодосию... Я уехал учиться в Москву... Катя тоже демобилизовалась... Словом, обстоятельства так сложились, что я ее потерял из виду, она меня тоже... Однако я тебе скажу — долго я не женился: все как-то не забывалась Катя. Если и обращал внимание, то только на высоких и волосы русые... Вот ты улыбаешься, конечно... И я бы, пожалуй, улыбался, если бы ты мне это говорил, а не я тебе. Так что, разумеется, о подобных вещах лучше про себя молчать... Ты ведь и того не знаешь, пожалуй, как это поражает, не хуже цули, ко-

гда тебе в семнадцать лет красивая девушка перевязывает рану! Это потрясающе действует!

— Ну, ладно, ладно, а теперь-то ты женат или холост, я что-то от тебя не слышал?— спросил Кудактин.

— Да уж почти два года женат,— что из этого?

— На высокой?

— Н-нет, она обыкновенного женского роста. Лаборантка на заводе у нас.

— Блондировка?

— Н-ет, она скорее шатенка.

— Ну вот, брат, видишь?

— Что вижу? Ничего особенного не вижу,— недовольно ответил Белогуров, но тут же остановился, заметив в ограде дерево с широкими блестящими яркзелеными листьями и колючими ветками.— Вот ты на это лучше погляди: ты, конечно, в своем Кривом Роге такого дерева никогда не видал и не увидишь, а на подобном дереве, только в другом месте, я брат, тогда, в двадцатом году, видел и плоды вроде апельсина, и даже припомню сейчас, как оно называется...

Он сорвал лист, помял его в руке, понюхал, пристально поглядел на Кудактина, потом опять на дерево, наконец выкрикнул радостно:

— Маклюра! Вспомнил!.. Вот как называли мне это дерево, если ты хочешь знать! Маклюра! А запомнил я это тогда при помощи мнемоники: это название на слово «маклер» похоже; если мужчина маклерством занимается, то он маклер, а если женщина, то неплохо назвать ее «маклюрой». Но как женское имя это некрасиво, конечно, а между прочим в одной стране, я читал, женщинам дают имена цветов. Как ты себе там хочешь, брат, но это — милый обычай... И если жена моя,— она теперь на девятый месяц беременности переходит, так что к родам ее я поспею,— если родит она девочку, я, брат, знаешь, что сделаю? Назову свою дочку Лавандой!

Белогуров пытливо поглядел на Кудактина и добавил:

— По-моему, брат, это очень красивое, очень круглое какое-то имя, а? Ты согласен? Впрочем, если даже и не согласен, назову непременно так!

Алушта, сентябрь 1936 г.



# Потерянная и возвращенная родина

Р о м а н

## ГЛАВА I

### 1

**М**ой побег из ссылки, после ожиданий и откладываний, однажды решился внезапно.

Час был утренний, а северная ночь стояла неподвижно. Во дворе под навесом тюкал топорик. На небе, застывшем от холода, лучились звезды. В их свете я с крыльца уже разглядел как только вышел из избы, что мой хозяин ладит сани.

— Слава тебе, за сани взялся!

Хозяин заулыбался.

— Как, смилостивился надо мной, Тимофей Потапыч? — спросил я.

— И что ты опять одно и одно, будто я не хотел, — сказал Потапыч, — это мороз над тобой смилвался. Думать надо, — тайбола теперь закрепла.

— Когда же едем-то, Тимофей Потапыч?

Тимофей Потапыч потомил меня. Не сразу ответил.

— А хоть нынче. В полночь и потекем. Не попятиться?

«Попятиться-то» следовало бы. Дела всякого житейского на ходу было не мало. Верить в близкий отъезд я уж и перестал: все Тимофей Потапыч откладывал. И вот разные неотложные случаи и нелегко отрубаемые повинности облепили меня как репейник. Но хоть и следовало на денек, на два отложить, а нельзя никак «пятиться». Надо было Потапыча ловить на слове. Месяца два тому назад мы с ним сговорились, что он вывезет меня верст за пятьдесят от Мезени и сдаст там своему свату, тот провезет кратчайшим из двух возможных путей на Пинегу, там сдаст свояку, свояк под Архангельском куму, а кум уж доставит в Архангельск.

Сговорились, а потом начались отговорки: то «подожди, вот санный путь станет в аккурат», то «стреской, сем, управлюсь», то «семгу, погоди, посолою», то «дай вот престольный праздник отгуляем, введение богородицы», то, наконец, пришла от свата весть: «Малая тайбола не крепка». Против тайболы я не мог спорить. Тут решали знатоки.

Широкий пояс тайги и болот (тайбола) отделяет Мезень с суши ото всего мира. В этом поясе лесов и болот — две просеки.

Одна — длинной верст в двести; это — Большая тайбола. По ней идет казенный тракт, по ней возят почту, скачут из Архангельска и в Архангельск ямщицкие тройки, перекладные для казенных и вольных людей. По тракту в особо болотистых местах проложен мощный путь на сваях. Большая тайбола обитаема: каждые двадцать-тридцать верст вас встречают станционные поселения, — две-три казенных избы.

Другая просека — длинной верст в сто с небольшим; это — Малая тайбола, дикая, брошенная, без мостов, сплошь необитаемая, узенький коридорчик среди сосен и елей; она проходима только со середины зимы, и то когда морозы очень крепки, — среднему морозу не под силу сковать ее болота.

Когда мы летом, сразу по моем приезде в ссылку, подружился с Тимофеем Потапычем, бывало сживали с ним в июльские ночи у бережка близ устья реки Мезени на днеще опрокинутого карбаса (так зовут здесь баркасы), любовались незаходящим солнышком и беседовали в светлой молчащей полночи, он меня учил:

«Удумал бежать, беги той путей, как сюда тебя привезли, — морской путей. Су-

хопутьем обязательно быть бегуну в силах. Большой тайболой стражники снуют как челноки в сновальной; Малой тайболой короче, но лучше и не думай, там пробраться можно только зимой; жуткое дело: и волк, и болота, и от стужи укрыться негде, жилья никакого, это уже если на отчаянность решиться. А морской жутей: вот привезут казенку — водку, пароход зайдет в устье, разгружать с тобой наймемся, паренъ ты ничего себе, ящик осилишь, ну, а я сговорю солдата, ты только знай не мешайся, за красненькую эи ты заихниет куда вниз к крысам, там и сиди до Архангельска, жуй сухари. Да чего я? За красненькую! Десять целковых это по-нашему семги полтора пуда,— и за пятерку, за синенькую, пихнет в трюм, а из вахлячков поадает — за зелененькую, за тройак сдelaет. Так-то вот, милячок-землячок».

Потапыч меня милячком-землячком звал: «я ведь тоже как ты из России, ярославский сам, женился на здешней, занесло рыбацким делом на устье при лососьем лове».

Вышло же не по-нашему с Потапычем. Когда пришел пароход, исправник запретил нанимать ссыльных на разгрузку водки. Кружили мы с Потапычем на баркасе неподалеку от парохода, стражники «турнули» нас прочь. Но пароход заходил к нам два раза в лето. Ко второму пароходу подговорили мы двух екатеринославских мужичков, которые возвращались на родину «по отбытии срока», чтоб они взяли меня с собой до Архангельска в большой корзине, под видом багажа. Потапыч возражал: «Головой играешь, испугаются мужики, надсматривать не будут, не углядят, забросят тебя куда между другой кладью, и поминай, как звали». Все-таки купили корзину, произвели пробу — уложили меня, закрыли, заперли, понесли по квартире. Мужички сказали: «хорошо выходит», я сказал: «терпеть можно». Товарищи ссыльные, мои друзья, благословили: «рискуй». Но рискнуть не пришлось. Мужички перед самой отправкой на пароход «спужались». А дальше наступила осенняя распутица. И пришлось ждать, когда замерзнет Малая тайбола. «Так, значит, тебе судьба на отчаянность итти», приговорил Тимофей Потапыч. Приговорить приговорил, но не одобрял. И вот теперь, хоть только что взялся отвезти нынче ночью, вижу что-то мнется, покашливает:

— А может, зимку отмахнешь здесь, с нами? Чего тебе уж так приспичило ска-

кать не ближний свет? Табак у нас с тобой есть, девки ваши ссыльные, смотрю, наперебой к тебе ластятся,— пироги с визигой едим,— семушка нынче пятнадцать копеек фунт, а после крещенья северное сиянье увидишь,— глядеть вместе, любоваться будем. Ей-богу! Чего тебе! А? Останься.

— Нет уж, Тимофей Потапыч, не паяться, так и тебе не паяться!

— Коль на то, я и не пачусь. Слово — олово. Справляй свое, а я к полуночи буду наизготове.

## 2

Действовать надо было быстро. Хороши мгновенья, часы, дни, когда по собственной воле и решению надо обрывать весь заведенный ход, весь привычный уклад своего повседневья и менять его на предстоящее неизвестное, которое и манит и тревожит. Хорошо ощущать, что хоть и в твоей власти еще передумать, отменить решенное, а ты ни за что не передумаешь, не отменишь, не отступишь, не повернешь назад. И вот в этой-то верности самому себе, в этой-то связанности собственным решением и узнаешь острую сладость настоящей свободы. Мне двадцать лет всего, а как мне знакомо мучительное и горькое наслаждение, которое испытываешь при внезапных крутых отрывах от нажитых привязанностей.

Я отправился к Марии Федоровне раздобывать партийную явку на Архангельск. Мария Федоровна была в ссылке для нас, как говорил Потапыч, «ума и опыта чистое зеркало»: к ней сходились все нити общих наших дел и замыслов.

На улице свет шел снизу, от белого снега. И небо казалось темней, чем когда я смотрел на него из-под навеса во дворе. Я увидел: по дощатому узенькому тротуару спешила кучка ссыльных. Они теснились около одного, который шел в середине.

Ссылка делает либо равнодушным, либо повышенно любопытным. Я лобезал на встречу и узнал, что товарищи ведут к Марии Федоровне приезжего ссыльного большевика.

В городок только что «пригнали» этап и привезли несколько новичков. Формальности в полицейском управлении были недолгие. Сверяли наружность с фотографической карточкой, записали что-то, куда-то, и иди на все четыре стороны, благо итти некуда,— с трех сторон тайга и болота,

а с четвертой устье большой реки, и дальше безлюдное Белое море.

Новичков тут же при выходе из полиции разбирали старожилы-ссылные. Свои узнавали своих сразу. Правда, никто не спрашивал, «какой партии», — считалось, что при первой встрече это нехорошо. Первая отличительная замечательная по ответу новичка на вопрос, самый глупчий для всех ссыльных: «Как там, в России? Живем? Не задавили?» — «Живем! — крикнет торжествующе новичок. — В Гжатске исправника убили»; глядишь, к этому приезжему уже шрлаживаются эсеры. А другой пустится рассказывать, как чайную ограбил; этого уведут к себе анархисты. Третий заговорит учено о германских социал-демократах при Бисмарке, — быть ему в гостях у меньшевиков.

И на этот раз большевика повели к себе большевики, анархисты анархиста, эсера эсеры, сиониста сионисты, дашнака дашнаки, пепеэсовца поляки. Только беспартийный мужичок, сосланный за «аграрные беспорядки», соблюдая осторожность, ни с кем не пошел; подозрительно ему, видно, показалось, что его к себе звали все: «Мне не к спеху, я раскурю, поспеваю, как обдумать свою голову, сторона не своя — чужая, в Вологодской пересыльной от односельчан отбился, скажи, пожалуйста, как не повезло».

Перед крыльчком избы, где жила Мария Федоровна, шествие с новичком остановилось, все как-то задумалось. Свой человек Мария Федоровна — разговаривать с нею было легко, как с родною сестрой. Но лиха беда начать разговор. Перед началом робели самые бойкие. Войти, потревожить, занять собой ее внимание мешала какалято особенная к ней почтительность. Группа наша сразу растаяла. Вошли только трое — приезжий, я и мой сожитель по избе, москвич Лефортовский.

Мария Федоровна отложила, не торопясь, книгу в сторону. Чинно встала, чинно одернулась и каждому тряхнула сильно руку. В комнате ни намека на уют: какалято смесь непоправимого ничем беспорядка и мелкой прибранности. Марии Федоровне было не более тридцати пяти лет. Но, наверное, она была такою же и пятнадцать лет тому назад и будет такою же через двадцать лет: сухая, тонкая, с молодым блеском в глазах, одетая всегда одинаково, без каких-либо отмет возраста, сезона или душевного состояния. С холодной ласковостью, с приветливой отчужденностью

трудолюбивого, занятого человека Мария Федоровна пригласила нас сесть.

Мария Федоровна спросила приезжего: — Как и чем вам надо, товарищ, поможь? Мы вам сделаем все, что можем.

Приезжий с хитрецою сощурился.

— Это вы бросьте, официальную часть. Вы человек чудный. Слышал про вас много. Давайте чай пить. Я — Дроздов Иван, из Москвы. Но товарищи меня зовут Сундук. На это откликаюсь, так и кличьте. — Он засмеялся, и мы тоже.

Мария Федоровна потрепала приезжего по плечу.

— Ну, Сундук, снимайте-ка с себя ваш рыбий мех. — А потом обратилась ко мне: — Вот вам, Павел, чайник — принесите воды из ушата в коридоре. Будем чай пить. Я затоплю сейчас печурку.

Это уж была другая Мария Федоровна. Вот оно, это трудное в разговоре с нею начало, перед которым все робели. Она мне когда-то жаловалась, как тяготится этой чертой в себе.

«Это у нее бельмо на языке, наследство от французских и английских хозяек», сказал о ней потом однажды Сундук: отец Марии Федоровны был француз, а мать — англичанка, сама же она с малых лет жила в России.

За чаем стали расспрашивать Сундука. Он отвечал вроде без ответа.

— Ну, как ехали?

— Что ж, — ехали.

— Кто с вами приехал?

— Приехали-то? Разные приехали.

— А как конвой был? Придирчив? Строг?

— Конвой-то? Да, как полагается конвою: со всячинкой.

И не то, чтобы Сундук не хотел отвечать. Видно, ему просто не нужно было все это. В настроении, однако, он был преотличном. Как мы живем, он не спрашивал. Только пристально, внимательно в каждого из нас троих всматривался, каждого из нас взвешивал взглядом, подмечал самое мелкое движение, включал все в какой-то свой счет. Недаром его Сундуком прозвали: все кладет в себя и кладет, запирает в себе, и нелегко из него вынешь.

А сбалагурит, так скрытничает, прячется за балагурство.

С детской живостью и любопытством он поглощен был всякими ничтожными мелочами за столом; берет кусок сахара, подержит, повертит. «Пиленый? Не колотый?» Бросит сахар в чай: «Ишь, как заненил-

ся». Лефортовский стал ему объяснять: «материальное положение сыльных в этом краю...» Сундук вдруг на чем-то сосредоточился, ушел весь в себя, взял Лефортовского за локоть и сказал:

— Солнце здесь с утра тихое какое-то, холодно ему.

Сундук часто кашлял. По виду у него была чахотка. Мария Федоровна спросила:

— Как здоровье у вас? Не большой приехали?

Этот вопрос очень его развеселил. Сундук молодецки покрутил усы, заулыбался: — Это бросьте, это уж опять часть официальная.

Раньше я слышал в Москве от рабочих, что Ваня Дроздов слыл рассказчиком и оратором. Не верилось теперь.

Мы попросили Сундука рассказать о России. Он попробовал отшутиться. Но Мария Федоровна настояла. В голосе появилась сухая повелительность:

— Сундук, товарищи вас просят рассказать о том, что нам важнее всего. Рассказывайте, как рабочее движение, как в партии.

— Ну, давайте.— Сундук начал свой рассказ. И я понял, почему у него слава рассказчика. Пошли какие-то разрозненные мелочи, которые на лету схватила его детская, пристальная, любопытствующая наблюдательность; замелькали несвязанные один с другим житейские штришки, обрывки слышанных разговоров, прочитанных мыслей, передуманных дум. А затем все собиралось в одно ощущение, в одну мысль, в одно страданное. И Сундук сам стал другой, правда, как раньше неторопливый, внешне прохладный, но весь настороженный, ничего зря не бросающий, Сундук, делающий дело, исполняющий свою революционную работу. Потому-то он, может быть, и был неразговорчив, что всегда берег себя для разговора о деле.

— Прихожу я к сапожникам в Москве, хлебают щи, ударяет старшой ложкой по краю миски; знаете, как говорят при этом: таскай совсем. После этого уж можно забирать в ложку куски говядины. А было это, — когда я зашел к ним, — недели через две, как разогнали вторую Думу и арестовали наших депутатов. Так вот, сказал старшой: «таскай совсем». Начали таскать. И вдруг старшой как хлопнет мальчишку-подмастерье ложкой по лбу. Это значит: отдай назад, — вместо одного, два куска подценил. Смотрю: что будет? Раньше, например, в пятом году, шестом,

да и в седьмом в начале, не стерпели бы. Да и старшой этот, я знаю, все два года революции не бил ребят ни за какие дела. А тут вот ударил. Ну, мальчишка покраснел, еле слезы держит, а смолчал. И мастера все молчат. Я и скажи старшому: «Ты уж очень, Семен, — можно бы и не бить». А старшой с сердцем отвечает: «Сорок годов за это по лбу бью и бить буду. Вы все всех переучиваете, да вот не переучили, не перевернули; гляди, как бы вас самих скоро в щель не загнали».

Я оглянул всех, молча так улыбнулся. Ребята сразу всколыхнулись. Вроде я их подзудил. И пошла у них ругань между собой.

— Все ходили и ходили как черти-дьяволы с красными флагами, все бастовали и бастовали, вот и доходились и добавовались, — старшой плюнул, вскочил из-за стола, дернул себя за ворот рубахи так, что оторвал пуговицу, и убежал в сени.

— Чего это он? — спрашиваю у ребят. Они не отвечают.

— А как насчет того, чтоб собраться поговорить о делах? — спрашиваю. — А они больше помалкивают, или мычат не поймешь что, одному пить захотелось, пошел за квасом; другой в окно кого-то увидел, побежал; третий заговорил вроде как и не мне, что вот, мол, интеллигенты-партийцы летом на дачу уезжают, организация вся останавливается. Вижу, говорят все боковинками, не прямо.

Серьезный потом выпел разговор у нас. По пивам распоязалась организация. А когда уходил я от них, меня в сенях старшой остановил и сказал: «Ты, говорит, ребятам не говори об нашем разговоре, но я тебя прошу, погоди ходить к нам месяц-два, дай душа у ребят успокоится, не в себе как-то все, не было б хуже, ты их в одну сторону, а они, как бы напротив, не пошли со зла и досады на все, что делается». А какая там у меня была организация до этого!

Лефортовский написал на клочке бумаги и подовинул ко мне: я прочел: «Челуха! балаган какой-то! Какое это отношение имеет к революции? Не хочу слушать. Это — темный, серый человек. Я уйду. Не хочу терять время».

Лефортовский поднялся и пошел к выходу.

— Куда вы? — спросила Мария Федоровна.

— Иду читать, я занимаюсь теорией,— демонстративно ответил Лефортовский.

Сундук, не смутившись, продолжал свой рассказ. Лефортовский потоптался у двери, вернулся и снова подсел к нам. Сундук взглянул сбоку на него, но сейчас же погасил усмешку.

Сундук рассказывал о мелких случаях. Я слушал их, и они сливались в одно, как сливаются в картину пестрые мазки, там и сям брошенные на холст рукой мастера, влхновенного видением могучего образа. Он рассказывал о разгроме наших организаций, о дезертирстве вчерашних друзей наших, об отречениях, об изменах, о предательствах.

Да, мы брошены в страшное испытание. Как будто на высокую гору втаскивали, втапливали телегу с неимоверным грузом и как будто не так далеко были от вершины. И вдруг толкнулась телега назад вниз, вот уж и один и другой оборот сделали колеса, и уже напор раската становится непосильным, и отскакивают те, кто пытался было плечом задержать это страшное скатывание, бегут в испуге прочь те, кто только что мужественно тащили груз вверх, и кажется тем, кто поддался панике, что уже бессильны все спешно наворачиваемые препятствия — палки, камни, комья земли, хоть грудой ложись люди: все будет сметено, раздавлено.

Как тяжело отступать.

Нас облепляет вражеский туман, застилает путь перед глазами, разбедает наше мужество. И в каждом биении собственной мысли нам чудится ловушка.

Нет, ничего не решено. Наша убежденность, наша сплоченность еще могут повернуть нас к победе.

— Я, товарищи, сегодня ночью бегу! — сказал я, когда Сундук кончил свой рассказ.

Сундук посмотрел на меня с улыбкой и спросил:

— Это мои разговоры так вас разогрели?

Лефортовский сердито буркнул:

— Он задолго до вас, слава богу, собрался.

Я рассказал Марии Федоровне о соглашении Потатыча выехать нынче же и попросил у нее явку на Архангельск.

А дальше произошло то, что сжало мне сердце больней, чем все прослушанные рассказы. Глаза Сундука вдруг стали суровыми, холодными; в них всныхнуло, потом спряталось и притаилось недоверие.

Он стал выспрашивать меня: зачем, куда еду, какие у меня намерения.

— А разве вы, Сундук, ничего не знаете обо мне? Спросите Марию Федоровну.

— Зачем мне ее спрашивать? Я вас лучше спрошу. Слышал про вас в Замошворечье... хвалят... А сейчас-то вы в каких градусах?

— Разве не знаете, — я большевить.

Сундук рассмеялся.

— Большевик? Общю сказано. А какой большевик? Да вы зря всполошились, — бегите, мешать не собираюсь. Мне только знать хочется, кто же там прибавится — друг или враг.

Лефортовский, сдерживая себя, сказал спокойно:

— Вы, товарищ Сундук, не говорили бы загадками: у вас что же, — среди большевиков могут быть враги? Кто же вы сами такой стали?

И Сундук рассказал, что трещины раскола побежали и по большевистским рядам. Сундук назвал имена. И эти имена нам сказали, что разногласия проникли в руководящее ядро большевистского центра.

— Я знаю одно: допускать раскол в большевизме — преступление, — сказал Лефортовский. — Неужели мы начнем бить своих, как мы били меньшевиков?

Я был подавлен. Мы знали о разногласиях, но никто не думал, что прозрит формальный раскол.

— А что вы скажете, Павел? — спросил меня Сундук.

— Я хочу быть там. Я хочу видеть все сам, нужен ли раскол и с кем. А если нужен, не испугаюсь раскола.

— В хороших руках вы и останетесь хорошим человеком, — не то похвалил меня, не то посмеялся надо мной Сундук.

Затем Сундук ошеломил нас новой неожиданностью:

— У вас тут пригород есть какой-то?

— Есть. В версте от города.

— Называется Слободка?

— Слободка.

— Так вот, пустите здесь слух завтра, что я на Слободку ушел, что, мол, там иду на постой встать, а на Слободке пусть при стражнике расскажут, что был, мол, да в город обратно вернулся, подходящего не нашел. Стражники и не разберутся и не хватятся дней пять. А я махну отсюда с товарищем Павлом. Возьмете с собой, товарищ Павел? Только не нынче, подождем до завтра, выспаться бы надо, в этаких с Ярославля не спал как следует.

Мне давно мечталось бежать одному. Мне хотелось остаться наедине с самим собой, долгие ночи, долгие дни провести в молчании среди леса, среди снежных долей, под высоким, бесстрастным, необъятным небом заглянуть спокойно и трезво в себя, проверить и испытать в себе все затаенное, о многом себя спросить и раз навсегда в полной чистоте сердца себе ответить. Давно мечталось о внутренней сосредоточенности, о внутреннем очищении. Мне хотелось отдохнуть от суеты пересылок, этапов, от постоянной людской толчеи в ссылке. Я обидел девушку из моей коммуны, Сою, отказавшись взять ее с собой в компаньоны. Лефортовский собирался бежать со мною, я воспротивился его упрямой навязчивости и выдержал громкую с ним перепалку.

Что же ответить Сундуку? Я не был находчив на лицемерие. Сундук заметил мою нерешимость. Мне показалось даже, будто ему понравилось, что я не выказал никакого торопливого согласия.

За меня решила Мария Федоровна.

— Мы все поддержим, чтоб Павел бежал с вами. Это хорошо, это мы принимаем. Мы это сейчас обсудим, как лучше сделать. Но мы не можем согласиться на завтра. Либо вы, Сундук, сегодня присоединяетесь к Павлу, либо придется вам остаться, а он обязательно уедет нынче в полночь, без откладывания.

— Ну вот, я же говорил... видите! — радостно уцепился я за случай показать свою самостоятельность.

Мария Федоровна продолжала:

— У нас вчера вечером получены точные сведения,— это вы, Павел, должны знать,— вчера вы ушли уже к себе, я не могла вас предупредить: мы узнали, товарищ Сундук, что получено секретное распоряжение из Архангельска перевести Павла в Усть-Цыльму на Печору, очевидно за его реферат в лесу в сентябре о ленинском «Что делать?» — чей-то, вероятно, донос... Павел же там погибнет от цыган, товарищ Сундук, и там все население в дурной болезни... мы должны помочь Павлу скорее скрыться отсюда... Говорят, на этой неделе будет уже этап на Усть-Цыльму... разве можно откладывать? Мы не имеем права рисковать Павлом...

— Конечно. Не убеждайте. Согласен ехать сегодня же. Ну, не посплю, важности большой в этом нет. Вы только,— Сундук обратился ко мне,— вы только щипайте меня, если буду засыпать в рис-

кованные моменты, без стеснения щипайте, до синяков щипайте.

Зная своеобразие Потапыча, я настаивал, чтоб заранее ему сказать о Сундуке и с Сундуком его познакомить. Потапыч до того не раз мне говаривал: «Не всякого я возьмусь везти и не всякому доверюсь в таком деле».

Мы не сразу показали Потапычу Сундука. Я оставил Сундука в нашей половине избы — у Лефортовского, а сам явился к Потапычу один. Разговор начал издали. Прежде расхвалил Сундука, а потом робко спросил: «Как думаешь, Потапыч, такого бы мне в компанию? Вдвоем веселей и, в случае чего, смелее».

— Что же,— сказал Потапыч,— ты человек задумчивый, потому в тебе и мало оборотистости, тебе расторопный попутчик был бы в доброе. Бери. А про меня ему ужель сказал, что, мол, этот везет? Смотри у меня!

— Ну, что ты, Потапыч? Вот теперь, когда велишь, скажу.

— А погоди, ты мне его покажи сначала.

Потапыч зашел к нам вроде за делом — табачку попросить; по сидел немного и ушел, даже не докурив козьею пожки из забористой крепкой полукрупки, предложенной ему Сундуком. Пошел я выпрашивать Потапыча. А он сразу меня ошарашил:

— Такого не повезу. Как хочешь, не повезу. И не говори мне лучше. Не повезу.

— Да почему, Потапыч? Человек он рабочий, простой, верный.

— Шебарша он. Больно он смекалистого из себя изображает. Все шуточка да прибаутка: все ему тля-ляп, все вокруг пальца обернет. Знаем таких: мастеровщина, от мужика отстал, к образованным не пристал. Ты возьми, например, господина Лефортовского: человек вес во всем соблюдает, расстояние держит, он тебе не всякого к себе подпустит.

Побег наш расстраивался. Потапыч затревожился настолько, что объявил, что и меня не повезет:

— Куда же мне теперь ехать? Его взять — не возьму, а уехать с тобой, его оставить здесь? Да он уж смекнул, что это ты бежать со мной ладишь. Нет, уж лучше польщите себе кого другого.

Когда я рассказывал о неудаче Сундуку и Лефортовскому, к нам прибежала Соня. Она жила здесь же в избе у Потапыча, в отапливаемой светелке наверху. По ее лицу видно было, что она вся пол-

на тревожным волнении, но не решает-ся говорить при Сундуке. Я сказал ей, что Сундук наш. И она рассказала, что заходил к Потапычу стражник,— расспрашивал хозяина про меня — дома ли я, часто ли и куда отлучаюсь, а уходя стражник проговорился, что ждут из Архангельска этап и что те конвойные, которые привезут повенских, заберут часть зешних ссыльных «штрафных», как он назвал, и «погонят в Усть-Цыльму». Стражник обещал: «вечерком зайду, опять проверю».

Мы не стали с Лефортовским таить от Сони, как сложилось дело с Потапычем. Я привык за мою короткую ссылку находить у Сони помощь во всем. Она на два года моложе меня, ей всего восемнадцать лет. Но ее ум — чудесный образец женского здравого смысла, практического чутья. У нее дар мудрейшего инстинкта, дар безошибочного отличения того, что осуществимо, от того, чему так и суждено остаться пустой выдумкой. С той поры, как мы познакомились с нею в арестантском вагоне экстренного этапа из Москвы в Архангельск, мы подружились. Всюду в пути, и здесь в ссылке, она была всегда моей ласковой, заботливой сестрицей. И никогда ни одно душевное влюбленности не замутило нашу дружбу.

— Подожди. Не делай ничего, Павел. Я через час, может быть, приду с хорошими новостями. Я уж второй день готовлю для тебя кое-что, — сказала Соня и убежала.

Я поднялся к себе в светелку. Моя комната была рядом с комнатой Сони. Пришел и задумался: что же делать? Меня веселило даже и поехать в Усть-Цыльму. Отчего же не попытаться? Какой-то мальчишеский задор подмывал: убежим и из Усть-Цыльмы. Говорят, что отсюда не было побегов, а я попробую. И вдруг радость жизни наполнила, зажгла меня. Хорошо жить, когда носишь в сердце большую мечту, когда любишь прекрасную далекую цель. Я достал дневник и записал:

«Умей начинать, не дожидаясь, пока придет надежда, умей упорствовать в начале, не дожидаясь, пока тебе улыбнется удача».

Соня вернулась, действительно, с хорошими новостями. Двое ссыльных, литовские крестьяне Конвайтис и Воляйтис, отпустились на родину, их сослали на время военного положения, теперь в их губернии военное положение снято, и они получили «проходные свидетельства», то

есть временные паспорта для проезда на родину любым маршрутом, который им пожелается избрать. Соня уговорила их дать нам эти проходные свидетельства дней на десять-пятнадцать, пока мы доберемся до Москвы и успеем оттуда приехать в свидетельстве обратно. Эти десять-пятнадцать дней нашим литовцам понадобится скрываться, Соня и наши друзья хорошо их спрячут и будут о них заботиться. А мы с Сундуком обязывались предъявлять свидетельства только в случае опасности ареста.

Разумеется, был некоторый риск для литовцев. Но для них овчанка стоила выделки: запросили они сто рублей. Запросили и не верили, что может это сбыться: бедны как соколы были оба, а сто рублей и в глаза за всю жизнь не видели; и вдруг мечта:

— Избы новые бы себе построили!

Соня так и горела, все подробности мелочей разрисовала: и как она будет литовцев где прятать, чем и как их кормить, как мы в Москве должны будем купить последнюю книжку «Шиповника», просунуть свидетельства куда-нибудь в середину толстого томика между страничек, которые не разрезаны, заклеить и адресовать книжку ей или Марии Федоровне.

Я побежал к Потапычу. Разговор сложился короткий. «Коль с пачпортами, мне спокойней, — ладно, за двадцать верст отсюда отвезу, а там пусть воля кума будет».

Но денег-то у нас, ста рублей-то у нас не было.

Какой тревожный светливый день! Опять мы собрались у Марии Федоровны. Что предпринять? Неужели отступить из-за денег? Затеянный план опять был под угрозой.

Лефортовский доказывал всю безнадежность всех предлагавшихся источников добычи денег. И чем убедительней были его доводы, тем неприятней казалась его сухая речь, его холодная улыбка, его самодовольный скептицизм.

А закончил он так: «У меня есть пятьдесят рублей. Я собирал на свой побег. Пусть Павел и Сундук возьмут эти деньги и потом вышлют мне из Москвы». Соня вскочила и сжала ему обе руки: «Какой ты милый, хороший товарищ».

Но я не принял этой благородной жертвы, а предложил другое. Сундук, выслушав меня, расхохотался. Мария Федоровна возражала было «принципиально». Сундук сказал:

— Принципа тут нет. Только не выйдет ничего, но пусть попробует: чем черт не шутит, когда бог спит.

### 3

Против деревянного двухэтажного здания полицейского управления стоит кирпичный, тоже двухэтажный, дом с большой вывеской золотыми буквами по всему фасаду: «Торговый дом купца Лужникова с сыновьями. Колониальные и бакалейные товары».

И смотрят эти два дома друг на друга, вроде как любуются: единственные, мол, мы двое двухэтажные, единственные торчим как бояре.

Когда я подходил к дому Лужникова, из полицейского управления выкатился исправник. Выкатился, остановился, осмотрел небо, землю и лужниковскую вывеску, остался всем доволен и направился в мою сторону. Встреча со ссыльным для этого человека была всегда удовольствием, вроде как в монотонной жизни для другого приятное письмо, именины, званый обед, веселая пирушка. Он издали уже, завидя нашего брата, присанивался, прихоранивался. Эти встречи давали пищу его административному вдохновению; ни одна не проходила без блестящей импровизации: то выскажет язвительный афоризм, то напомнит какую-нибудь забытую инструкцию о поведении ссыльных, а то просто распечет без повода. Мне первый раз пришлось встретиться с ним, когда получилась из Москвы почтовая посылка на мое имя. Исправник всегда лично производил досмотр посылок. Почтовый чиновник почтительно ставил ящик или клал мешок на прилавок, а дальше господин исправник собственными руками разрезал бечевки, распаковывал, срывал бумагу или тряпки, вынимал содержимое, и начиналось виртуозное толкование всяческих инструкций: «Тут в хлебе изюм, вот он, глядите! Видите! Не могу разрешить! По инструкции, обязан конфисковать! Потому предмет роскоши!..» Или же делались просто бескорыстные комментарии: «Это что же? У родственников не хватило на белые сухарики? Черненькими вас угощают. Отъезжайте в сторону, глядеть неприятно — как в сумку старой побирухи. Давайте следующего».

Мою посылку от одной наивной юной москвички он стал вскрывать раньше, чем я успел протиснуться к стойке. Еще не видя меня, он начал критический разбор:

«Ах, скажите! Ах, шоколад! Ах, пожа-

луйста, чай наивысшего сорта, роза богдыханских садов, ах, ах!» — и вдруг вскрик режущей ненависти: «Чье это? Подойдите сюда. Я вам пропишу». Он поднял глаза от крамольного ящика и увидел меня. «Фамилия ваша?» Я сказал. «Как-с? Не понял». Я повторил. Исправник, мне показалось, вроде как хотел вытянуться во фронт. «Это вы будете, которые чайная фирма... знаменитая?» Я не отвечал. Он повернулся к почтовому чиновнику: «Знаете? Это миллионная фирма! Вся Россия, вся Европа знает их чай-с».

Бедный однофамилец знаменитой фирмы, я не стал разрушать иллюзий исправника.

«Вот это посылочка — так посылочка! Прямо, знаете, как запах миллионов вдыхаешь». С этой минуты им овладел сразу вихрь разнообразных чувств ко мне: он и завидовал и презирал, он и ненавидел меня и трепетал от почтительности. Почтительность он изливал в словах, а ненависть в делах.

— Огорчительно сожалю: долг службы мой конфисковать посылку — недозволенные излишества роскоши. Огорчительно сожалю.

Исправник кликнул стражника:

— Отложите это к конфискации.

После упорного, ожесточенного спора я настоял, чтоб посылку снова запаковали и переадресовали отправителю.

С тех пор исправник изошрялся в придирах ко мне. Он, несомненно, и донес на меня в Архангельск, он и добился высылки меня на Печору.

И вот теперь, поравнявшись со мной, он почтительно осведомился.

— Гуляете? Кому же гулять, как не вам?

Я шел к купцу Лужникову. Но пришлось завернуть за угол: исправник обязательно ведь полюбопытствует, куда я иду. И верно: поворачивая за угол, я оглянулся и увидел, что оглянулся и он.

В магазине Лужникова приказчик вначале доложил одному из сыновей Лужникова:

— Вот — они-с, желают видеть хозяина.

— Вам папашу лично?

— Да, лично.

— Пройдите в теллушку, сделайте одолжение.

Я вошел в кирпичную пристройку к магазину. В углу топилась печурка. На столе стоял медный чайник. Старик считал на счетах.

— Я к вам от Марии Федоровны.



Мария Федоровна давала уроки музыки его внучатам. Старик не обернулся, пока не подвел итог на костяшках. Затем отовинул счеты:

— Присядьте.

Я назвал себя. Старик закивал головой: слышал, мол.

— Я пришел просить вас, господин Лужников, дайте мне взаймы сто рублей.

Старик не двинулся. Только неторопливо зашевелил губами и вроде с грустью прошептал:

— Сто рублей! Сто рублей!

— Я извещу мать, она немедленно переведет вам.

Старик опять шевельнул губами. Я замолчал. А он и не собирался отвечать. Какой-то инстинкт мне подсказал, чего он ждет. Он, очевидно, догадывался, в чем дело, и ждал, доверюсь я ему или нет. Мария Федоровна рассказывала про этого сурового старообрядца, что он считал себя «последователем графа Льва Николаевича Толстого».

— Я хочу бежать из ссылки, господин Лужников. Мне нехватает ста рублей.

Старик быстро встал. Подошел к железной двери, которая вела в магазин, и наложил крючок. Затем пересек теплушку, не взглянув на меня, и скрылся в маленькую дверцу в задней стене. Я слышал, как щелкнул извне ключ в замке.

Гм, странно! Я огляделся: на окне — железная решетка. Как будто я в ловушке. Но если это ловушка, то со стороны магазина крючок-то наложен изнутри, я легко могу его открыть и выйти; в магазине-то ведь не предупреждены. А может быть, он их сейчас предупредит? Может быть, надо действовать скорее?

Время шло. Старика не было. Не возвращался старик. Я не сделал ни одного движения. Какая-то непонятная гордость не позволяла мне даже шевельнуться, даже переменить позу на стуле. А он все не возвращался.

И вот он входит! Он один! Никого не привел! Протягивает мне пачку.

— Вот-с, пожалуйста!

Он просит извинить его:

— Ждать вас заставил, я четыре четвертных взял, да подумал, как шел сюда, и вернулся, набрал вам рублевками. В дороге с мелочью вам будет легче.

Я не знал, подать ему руку или нет. И он, видно, не решился, как поступить. Когда я поблагодарил, — он ответил поспешным поклоном. Смешавшись, шоклохнулся ему в пояс и я.

Выйдя на улицу, я рассмеялся нервным смехом и, когда мне захотелось остановить этот смех, я долго не мог этого сделать.

#### 4

Теперь осталось только проститься со своими. Я сказал себе велух: с Соней прощусь после всех.

Хотелось мне как можно теплой сделать прощанье с Лефортовским. Не знаю, отчего так повелось, что каждый наш с ним разговор переходит в спор, а спор во враждебное раздражение? Он суховат. Его чистенькая аккуратность неприятна потому, что идет только от боязливой брезгливости: он не любит ни воды, ни солнца, ни леса. Есть привкус чего-то машинного, неживого, в его логике, в его уме. Но, кажется мне, он не знает другой любви, другой цели, другой жизни, как наша борьба, наша цель, наша любовь. Мы с ним не мало вместе пережили. Он никогда не был отстающим в испытаниях и переломках. Правда, он не бросался первым, но спокойно, без колебаний всегда вставал в ряд с другими. Нас зорька юности обоих вместе осветила и обожгли первые горячие лучи рассвета. Мы встретились еще в учебном марксистском кружке. Когда мы читали вместе философов и экономистов, как будто мы сидели среди холодной ночной темноты вокруг одного и того же костра и нас опалило одно и то же пламя, отблеск которого остался в нас на всю жизнь.

Вначале я зашел к Марии Федоровне. «Ах, что я вам приготовила, что приготовила на дорогу! Вы будете рады. Я берегу это и храню для вас на побег».

Я знал, что по обыкновению начнутся бешеные розыски. Так всегда бывало с Марией, когда она что-нибудь особо прятала. Мария перерыла все вещи. всю комнату. «На потолке не смотрели?» спросил я. Вдруг она торжествующе крикнула:

— Нашла! — и извлекла сафьяновый томик Гюйо «Эстетическая мораль» на французском языке.

— Возьмите на дорогу, Павел. Здесь есть у Гюйо мысли, которые вас очень заинтересуют.

— Мария, дорогая, помилуйте!..

— Знаю, знаю, да я и нечитаю Гюйо нашим, но здесь есть много, что очень пригодится в социалистическом обществе.

— В социалистическом обществе, допускаю. А сейчас, при побеге из царской ссылки? Вообразите, Мария, литовский крестьянский парень Конвайтис, 24 лет,

читает французского философа на французском языке! Куда как конспиративно.

— Верно, Павел! Это ведь верно! Я как-то и не подумала об этом.

Но Марии очень хотелось, чтоб я взял от нее какой-нибудь подарок в дорогу. У нее были хорошие северные рукавицы на меху. И как я ни отказывался, она объявила:

— Я сама положу их вам в карман шоллушубка, и не смейте возражать.

Я видел, как она по рассеянности сунула рукавицы в карман своего драпового пальто, висевшего на гвоздике рядом с моей шубой. Когда я собрался уходить, Мария потребовала, чтобы я померял рукавицы:

— Хочу видеть, как они на вас.

Я отказался.

Мы условились с Марией, что я приду вечером в шахматный клуб, так называли мы комнату, которую в избе одного рыбака нам уступал по вечерам для игры в шахматы один из «ссылных товарищей». Клуб этот был известен исправнику, и каждый вечер до самого закрытия, то есть до одиннадцати часов ночи, там сидел стражник. Как в заправских клубах, у нас по очереди дежурили наши старшины. Мария взялась вывесить заранее объявление, что сегодня вечером из старшин дежурю я, как будто ничего необычного среди нас не готовится.

Северный короткий зимний день уже погас. Подходя к дому, где я жил, издали я заметил, что около нашей избы кто-то бежит взад и вперед и колотит себя руками, как делают извозчики, согреваясь на морозе. Когда я был у калитки, этот человек подбежал ко мне и спросил, не тот ли я, кого он ждет. Оказалось — верно: ждет он меня.

— Очень зазяб, вас дожидаясь. Господин Лефортовский сомневались и не разрешили в избе ждать, человек я чужой, нынче только с эталом пригнали. Вот и грелся здесь. Поговорить с вами желал бы.

Это был тот самый новичок, который ни с кем не пошел при разборе последнего этапа. Зато, незванный, он успел за день перебывать у представителей всех партий и течений, и всех выспрашивал по какому-то своему плану и порядку. И дела свои успел, как он говорит, «обломать в лучшем виде», нашел уголок вроде теплого eveningей стойла, упросил хозяйку, чтобы хлеб ему пекала, кто-то ему подарил ведро для воды и соломы для подушки, и он считал себя устроившимся: «на обжито место спать пойду». Обход ссыльных он со-

вершал, влекомый любопытством к людям и к мыслям. Побывал он и у Марии Федоровны, днем разговаривал с Соней, она пригласила его к нам обедать, да вот, не хорошо вышло с Лефортовским, тот не захотел разговаривать и не позволил ждать в избе, пока не придет Соня и я.

— Вы не сердайте, что я приличиваю. Ведь до таких людей, как вы здесь, впервые в жизни дорвался, не видывал никогда, а только слыхивал — рассказывали, какие образованные бывают, как в лесу живя, пням богу молился.

Я повел гостя прямо в комнату Лефортовского. Перед дверью он приостановился:

— Тут они помещаются?

Я спросил:

— Робеете? Входите смелей!

Хотелось проучить Лефортовского.

— Я тебе гостя веду, можешь распространить, о чем сейчас думает крестьянство, как живет.

Лефортовский учтиво пригласил гостя войти:

— Войдите, садитесь.

Наш гость Софрон Иванович попросил «веничка — валенки обмахнуть». Веничка не оказалось: «Ну, потом как обживусь, веничек я вам спроворю».

Софрон Иванович выбежал в сени, постучал валенками о порог, быстро вернулся и тут же, без предисловий, заторопился с вопросами.

— Перво-наперво, чего хочу спросить — насчет бога. Как его вы: окончательно опровергаете, или какой допуск ему делаете?

Софрон Иванович так торопился спрашивать, что мешал себе снять поддевку: один рукав поддевки скинуть успел, а другой снять некогда было, как раз понадобился энергичный жест, так поддевка и задержалась на одном плече, свиснув наземь.

— Мы о боге в деревне с зятем года два все про себя допытывались, есть или нет, и, вот одна, ездила он в волость, с фельдшером об этом же говорил, приехал, стучит ночью в окно, выбегаю, а он мне прямо: «Сопрон, бога, говорят, нет». — «Совсем?» — спрашиваю. «Говорят, что совсем». Всю ночь мы с ним и решали: есть или нет. Промучались, ответу не нашли, а жизнь свою поставили под корень мять.

Софрон Иванович разгорячился: так живо встала перед ним эта ночь раздумья, исканий и больших решений. Он страхнул с плеча поддевку на пол, кинул на стол шапку и рукавицы, сел верхом на табурет и подвинулся ближе ко мне:

— Знаете, кто я теперь есть? Я — чистый материалист. И рвался-то потому к вам, что сказали мне — и вы вчистую материалисты.

— А откуда вы, Софрон Иванович, слово это слышали? Неужели в деревне?

— Какое там, в деревне! И зять не знал и до сей поры не знает, что мы с вами чистые материалисты. Это мне в Вологодской пересылке один хромой, из евреев сам, рыжий такой весь, очень все объяснял, и из-за того я и от своих односельчан и от зятя отбился, по роже хрюнул надзирателю, за этого рыжего вступился, а меня в карцер посадили на трое суток, на хлеб-воду, и били, и от своих отделился, и рыжего больше не видел, — тгнали, пока я в карцере у крысов гостил. И вот хочу один вам вопрос сделать, — значит, такое дело: бога нет! Хорошо-с, нет. И, значит, души нет. Чудное дело, — нет и нет. А мысль человека, значит, мысль-то, идет из тела? Так я говорю или нет? Теперь рассуждаю: вот рука — она, скажем, там махает, работу рубит; нога — она хитит, а мозг шевелится — это дума оттого идет, желание, по-старому — душа. И вот тут-то есть преткновение. Рука работает, мускул растет. Нога двигается — опять мускул. В живот пища идет, жир в человеке родится. А мысль работает, — что от мысли в теле растет? Мускулы или жир? И задумался я: если от мысли жир, то чем умней человек, тем жирней; а если от мысли мускулы, то чем умней, тем силы в человеке больше? А прикинешь к людям, не выходит так. Вы мне на это ответьте, пожалуйста. А последний к вам мой вопрос будет о социализме, — верно ли, что при социализме родители уничтожатся, или нет, останутся?

Во время рассказа Софрона Ивановича не раз я не мог удержаться от смеха. Софрон Иванович и сам на мой смех стывался смехом. Лефортовский же сидел молча, пощипывая свою бородку à la Boulangier и проницательно морщился. На злощастном вопросе о судьбе родителей при социализме Лефортовский поднялся и молча вышел.

— Не снисходит? Или нету ответу? — кивнул велед ушедшему Софрон Иванович.

Стрелки стенных часов подходили к семени. Мысли мои витали уже по дороге из Мезени, а Софрон Иванович все упивался своими вопросами. «Я и завтра к вам приду. Люблю рассуждать. Надо мной и в деревне мужики трунили, — спрашивают бызало: филозоф, сколько, скажи, на голове

волосов?» Софрон Иванович задавал мне вопросы о Толстом, о звездах, о горных породах, о китах, о насекомых, о перелетных птицах, о сектантах. Не спросил только ничего о земле. А когда я навел его на это, он отмахнулся равнодушно: «Земля народу обязательно нужна, но это не душевное дело, это легко, — ввязаться только и рассчитать, как лучше; тут простая прикидка, тут только держись с народом; он сам тебе подскажет». Софрон Иванович решил со всею страстью новообращенного основные вопросы жизни. Мне виделся в нем человек нам нужный, человек наивный, горячий, неразделяющий мысль и слово от жизненного дела. Однако часовая стрелка ползла.

Наконец, пришла Соня. Я помог ей собрать обед. Софрон Иванович галантно перед ней расшаркался:

— За большую честь приму с такими людьми разделить трапезу.

К обеду явился и Лефортовский. Он сел молча к столу и снова натянул на себя проницательную улыбочку. Софрон Иванович поднялся:

— Не обессудьте, покину вашу компанию.

Как его мы с Соней, — да и Лефортовский, — ни уговаривали, остаться не захотел. Но сделал все возможное, чтоб скрыть обиду.

Мои добрые намерения по-дружески проститься с Лефортовским разлетелись в прах. Вышла ссора тихая, но больно бьющая. Я ему сказал, что он равнодушен к людям. Он перебил меня:

— Например, скажем, к тебе?

Он, очевидно, хотел напомнить, как было мне всегда заботлив и как сегодня предлагал ради меня отсрочить свой побег. Я ему сказал, что он революцию решает как математическую задачу, что он только сухой головной комбинатор.

— Как психологический тип ты, Павел, революционер сентиментального склада, — ответил он мне с проницательной победоносной улыбкой, спокойной крутя клинышек своей бородки, — ты психологически отстал лет на шестьдесят. А я пришел в революцию путем теории, а не чувства. Бедняки, несчастные и обездоленные, меня как бедняки и обездоленные не интересовали никогда. Ничего тут, впрочем, оригинального нет. Революция стала наукой. Ясно ведь, если я понял историческую миссию пролетариата, как класса, следует ли из того, что я должен преклониться перед всяким отдельным пролетарием, когда этот отдельный пролетарий дурак, свинья и

проее? А вы мне суете под нос мутаную крестьянскую мелкобуржуазную башку, да еще преглупую и прескучную. Я вообще не люблю, не понимаю крестьян, не люблю соловьев, разные рожицы, пейзажи, не люблю квас, лампадное масло. Революции пролетариата нужна стратегия, а не народолюбское нудное сюканье. А тебя поскреби, ты — патриот, «стиль русс».

— А тебя, Лефортовский, поскреби, ты ищешь в революции только авантюры.

— Ах, значит, я авантюрист?

— Я не приписываю тебе никакой ко-рысти.

— Ах, значит, я бескорыстный авантюрист! — Он презрительно пожал плечами, взяв свою порцию рыбы и хлеба и гордо вынес себя из комнаты.

## 5

В шахматном клубе я провел весь вечер. Я был все время охвачен ожиданием и тревогой. Пришел в клуб сам господин исправник. Неужели ради меня? Он остановился перед доской, на которой я играл.

— Ваше положение хуже, — сказал он мне.

Мой партнер подморгнул мне и объявил:

— Сдаюсь! — хотя, действительно, положение его было лучше.

Я победоносно подтвердил:

— Я делал бы мат на девятом ходу.

— Позвольте, то есть как — на девятом ходу? Так далеко рассчитали? — поразился исправник. Но мой партнер смахнул фигуры с доски.

— Завтра заляюсь на несколько дней на Слободку, — сказал я, — там игроки посиленей.

Я собрался уходить из клуба минут за десять до закрытия. Мария Федоровна молчаливым долгим взглядом простилась со мною. Так мы прощаемся с друзьями. Кто-то сказал, что дорогой в клуб Мария Федоровна чуть не отморозила себе руки. Я обронил мимоходом:

— Когда будете, Мария Федоровна, дома, посмотрите в карманах вашего драпового пальто: там ваши варежки.

Она укоризненно покачала головой.

Придя домой, я первым делом отрезал ножницами свою черную длинную лопатобразную бороду и побрил лицо. Вместо свирепого бородача я увидел в зеркале худого, бледного юнца. Прошлым летом, когда мой этап проходил через Архангельск, меня сфотографировали там с бородою. Пусть теперь попробуют узнать меня по фотографии, если исправник успеет теле-

графировать о побеге раньше, чем я приеду в Архангельск.

Затем я поднялся в комнату к Соне. Она расхохоталась: так неожиданно, так резко была перемена в моей внешности. Как хорошо она рассмеялась, отбросив сильным движением головы обе пышные, длинные светлорусые косы за спину! Она всегда напоминала мне черемуху в цвету весной, когда та, разбросав вокруг себя белоснежные лепестки своего цветения, пьянит воздух крепким пряным ароматом.

Комнату освещала хилая лампочка-копилка.

— И вот я уезжаю, — сказал я.

— И вот ты уезжаешь, — ответила она. Мы сидели молча перед маленьким окошечком, смотря на синий отблеск морозных узоров на стеклах от мигающего света звезды.

И я вспомнил, как везли нас сюда через Белое море, как мы висок к виску лежали в трюме парохода на нарах перед узеньким иллюминатором, как смотрели на однообразный вечный бег волн и не смогли оторваться, и не было слов друг к другу, но как будто дружба крепла от этого молчания вместе.

И я вспомнил, как, приехав сюда в июле, когда солнце не заходит и ночью, мы также молча, подолгу, почти целыми ночами просиживали у реки, на полях, на опушке тощей низкорослой тундровой рожицы. От незаходящего солнца казалось, что время остановилось, что во всей вселенной прекратилось движение и все навеки застыло. Мною овладевало что-то похожее на ужас. Хотелось уйти от этого солнца, остановившегося на полном небе. В комнате я завешивал окна, но в какую-нибудь щель прорывалось длинное сверкающее огненное лезвие луча, и пропадала иллюзия смены дня на ночь, иллюзия течения времени, и опять ужасала неподвижность вечности.

— А может быть, мне грустно так оттого, что Лефортовский остается с тобою здесь, а не я.

Соня тихонько засмеялась, положила голову мне на плечо, а потом вдруг поцеловала меня в самые губы. Я отстранил ее. Она взглянула на меня и как-то сдавленно сказала:

— Ах, вот что!

Я сам почувствовал, что на моем лице страдальческое недоумение. Соня почти вскрикнула, вскочила, завернулась в шаль и побежала, распахнув дверь и пролетая вниз по ступенькам лестницы беспорядочными скачками. Я побежал за нею. В тем-

ных сенах я стал искать скобку двери, но услышал где-то в углу всхлипывание.

— Соня, где ты? Соня, послушай.

Я пошел в темноте на звук. Но Соня сорвалась с места и бросилась вверх по лестнице. Я за нею. Но в комнате ее не было. Я вошел в соседнюю, в мою комнату. Там было темно. Я услышал, а потом разглядел: Соня лежала на моей кровати, спрятавши лицо в подушку, и рыдала. Что же мне сделать и что сказать? В беспомощности я сидел около нее на краю кровати, без движения, без жеста, без мысли. «Уйди, не обижайся на меня. Это пройдет», — сказала Соня.

А у меня как-то вырвалось само собой:

— Соня, я ведь тебе рассказывал про одну девушку, она сейчас в Москве, я ей пишу, и она мне пишет.

Соня зарыдала сильнее и больше не сказала мне ни слова.

Снизу из сеней от лестницы позвали меня, — это голос жены Потапыча:

— Павел Иванович, запрягли, ждет Потапыч.

— Соня, я ухожу. Запрягли. Соня, меня ждет Потапыч.

Соня поднялась.

— Это все пустое, Павел. Истерика, сама не знаю отчего, не сердись на меня. Все прошло.

— Неужели мы не увидимся, Соня?

— Увидимся, Павел.

Я хотел ее поцеловать, но не посмел. И решил, что и так хорошо: не надо делать этого. Но, решив так, обернулся к ней и поцеловал ее.

Когда я вышел во двор, мне показались звезды еще ярче, еще выше. Под навесом стояли Потапыч и Сундук, не разговаривая. Потапыч пенял мне:

— Что же ты так долго?

Потапыч уложил Сундука и меня в самый низ глубоких саней, что-то вроде розвальней, но с лубочным задком, высокими боковинами и с облучком у передка. Он затрусил нас немного сенцом и прикрыл кожей. На кожу навалил сена и стянул веревками.

— Лежите лицом к задку — там, в лубках, промежутки, дышать будет свежей.

Потом слышно было, как взвизгнули полозья, тронулись сани. Потапыч пошел сбоку, очевидно, держа вожжи, кто-то открыл задние ворота,пахнуло с поля холодом. Потапыч вспрыгнул на облучок:

— Ну, с богом, трогай. Поехали...

Через несколько минут слышим:

— Стой! Кто едет? Что везешь?

Это мы, очевидно, на выезде из горо-

да — стражники проверяют. Переброс нескольких голосов. Чем-то ударяют в кожу, покрывающую нас. Опять голоса. Опять:

— Ну, с богом, трогай!

Опять визжат полозья. Долго едем без движения и молча. Потом слышится негромкий подвист Потапыча. Лошадь останавливается. Потапыч освобождает нас. Мы садимся в задок саней.

Над нами звездное небо, вокруг нас снежная пустыня.

Говорят, разлука подобна смерти. Это выдумали те, кто не уезжал, оставался. Я — весь в будущем. Я весь — там, далеко, далеко, где разбросанные по всей стране, ведут сейчас окопные бои уцелевшие отряды нашей маленькой, но неистребимой и бесстрашной армии. Там с ними вся моя жизнь, вся моя любовь.

## ГЛАВА II

### 1

Потапыч торчал перед моими глазами с поднятым высоченным воротником тулупа, неподвижный как монумент; только в руке у него ходило кнутовище вверх и вниз. не то чтоб погонять лошадь, а так, для порядку, — ни разу он не оборотился к нам, а на лошадь то и дело поварчивал:

— Спотыкайся! — Или: Чего, чего? Пугайся, леший! Ну, встал тоже, дурак тебя напихал.

Сундук ерзал и ежился; он был в коротенькой ватной курточке, ноги в ношеных валенках, лодбитых кожаных заплатами. Ногами он все время постукивал одна о другую. Потапыч пожелевал лошадь и пускал ее большей частью шагом — «выданное дело, не кормя, больше тридцати верст сломать».

Так и брели мы, волочились. А сердце летело и, кажется, обогнало бы ветер. Изредка, лошадь, озлившись, переходила без пунжа на легкую рысцу. До самой при-тайбольовой деревни, где жил сват, не случилось ни одной встречи. Это был малопроезжий проселок, в стороне от казенного тракта.

В деревню мы въехали в глухое предутрие. Только в одном окошечке мелькнуло дрожащее пламя лучинки и сейчас же погасло.

Потапыч застучал в широкие крепкие ворота. Сундук выскочил было из саней, поразмяться. Потапыч сердито крикнул:

— Чего сигаешь? Успеешь. Только народ навлекешь. Сиди уж смирно. Не к теще на блины приехал.

Когда мы въехали во двор, Потапыч и сватов сын сейчас же распрягли лошадь, поставили ее под навес, в уголок потеплее; у санок закинули оглобли вверх, а сват закрыл ворота, завалил низ их тесвиной-подворотней, под которую не подлезет ни любопытствующий мальчишка, ни собака, ни курица, ни мышонок. Заложил в скобы толстую слегу-засов, припер оба воротца сосновым горбылем и залер ворота на большой замок.

Сундук сказал:

— А ты говоришь, Потапыч, не к теще на блины. Выходит, вроде все-таки на долгую побывку.

— А говорить-то не о чем, через час рассветать будет. Куда вас отправит? Переждать будем до ночи.

Осердился сват. А наш Потапыч молчал как виноватый. И старался держаться так, как будто его дело сторона и не он нас привез, а мы его.

Я скоро понял, почему Потапыч обмяк,— уж очень суров, жесток был сват, дядя его жены, настоящий северянин, родом из холмогорских крестьянских крепостей.

В сенях попалась нам навстречу красивая молодуха, шаркнулась, скользнула мимо, взглянув мельком с неприятным любопытством, без улыбки. Мы прошли в чистую горницу с кружевными занавесками, с дерюжными половичками, протянутыми дорожкой к кисту в переднем углу. Хозяйка, пожилая, унылая, ввела нас, беспрестанно кланяясь. В глазах ее была какая-то жалость к нам.

— Не нравятся мне люди,— сказал Сундук.— Чего это она нас жалеет? Думают, попали на песговорчивого чорта. Ну, и мы сами с усами. Посмотрим.

Нас оставили в горнице одних, и долго никто к нам не шел.

— Что-то долговато советуются наши сваты. Тоже нехороший знак,— затревожился Сундук, но тут же отвлекся, заметил цветок на окне.— Гляди-ка, это столетник у них в горшочке, очень помогает от ран при порезах; куда его занесли, в Беломорье!

Спустя немного времени появился Потапыч. Он был суетлив и беспокоен.

— А я запрет сызнава. Оборачиваю сию минуту. Затемно бы, до рассвета, домой ввалиться.

— Как же это ты? Не отдохнул? Не кормя? Уморишь лошадь, а все равно не поспеешь. Чего вдруг испугался-то, Тимофей Потапыч? — спросил Сундук.

Потапыч ему не пожелал ответить, а обратился ко мне:

— Давай, что ль, рассчитаемся. Сейчас поеду.

Я достал деньги, вручил их Потапычу молча и отвернулся к окошку.

— Прощай, коли что,— сказал Потапыч.

Я ответил:

— Охота тебе терять еще время на прощания. Поезжай, не прощаясь, а то опоздаешь.

Потапычу, видно, стало так не по себе, что он даже развязал кушак на тулупе.

— Да это вот все сват: говорит, стражники стали наезжать, проверяют, шухают; кабы раньше, говорит, знал, не взялся бы, греха, говорит, наживешь. Ну, не осуди, значит, Павел Иванович. А с ним, со сватом, ты покруче будь, а, главное, на водку не жалея, Павел Иванович.

И, наконец, Потапыч решился выговорить самое главное:

— А, может, и прикинешь ему немножко к створенной цене...

Ясно было, что надо сделать какой-то ход, или мы отдадимся свату на поток и разграбление. Мы переглянулись с Сундуком и, кажется, одинаково оценили положение. Я взялся за шапку и сказал Сундуку:

— Значит, едем и мы обратно.

Сундук подтвердил:

— Мы таковские, нам все едино: не вышло, не надо.

Потапыч остолбенел, не ждал этого:

— Да троих-то, не кормя, и лошадь не дозвезет.

— А ты покорми, нам не к спеху.

— Рассветет,—на стражника напоремся.

— А мы скажем стражнику-то, что в гости, мол, к теще на блины катались.

Уговорам Потапыча мы не поддались:

— Вези обратно.

Потапыч готов был сделать теперь, что угодно, лишь бы отделаться от нас. Оделись, вышли во двор. Я начал прилаживать в сани сено, как сесть поудобней. Тогда дрогнул и сват. Миртовая была заключена на том, что отвезет нас сват по створенной цене, что мы день переспим у него, он приготовит лошадей; перед отъездом разоньем четверть ведра водки и, как только деревня заснет, отправимся на Малую тайболу.

2

Потапыч уехал.

Сон наш не удался. Не до сна было. Часов в одиннадцать утра вошел в горницу сват:

— Там бабка здешняя вина своей гонки четверть принесла. Давай, что ль?

— Раю,— сказала я.

Сват засмеялся, весь в сладостном предвкушении:

— Чай, говорится: добрый пьяница с утра празднику рад. А у нас с тобой нынче празднику быть, с благополучным отъездом.

У свата оказался недавно зарезанный боров. Подали свинину в разных видах: студень, жареную, пареную, с брюквой, холодную, крошенную кусками, сычуг с кашей.

Сначала за стол мы сели втроем: сват, Сундук и я. Потом заявился «сын Тимошка», потом «сынов крестный», потом «дед, девяносто лет — он не льющийся, язгы только мочит». Затем к чарочке, неизвестно по какому чутью, начали налетать один за другим охотники до веселой беседы. Бабка, никого уже не спрашивая, поставила еще четверть — «своей гонки, любезный, своей гонки». К концу дня горница набилась посторонними. Распоряжаться всем делом самочинно взялся какой-то Ерема, маленький, тщедушный мужичок со щипаной бородой, с голосом как у молодого петуха. На все мои попытки остановить попойку, сват, сильно захмелевший, — он пил неистово и жадно, — отвечал однообразно:

— Не замай. Я не токомша, и я не этимша... я взялся, а взялся — отвезу... И я не токомша, и я не этимша... И не без чего (он произносил в одно слово: «небещево») тебе о том говорил...

Гости делали вид, что ничего о наших затеях не знают. Может быть, кое-кто и не знал. По деревне, наверное, пошел уж слух, что у свата пьют.

Но все в нас обличало политиков, «людей, видать, ученых». А отсюда уж недалеко было до догадки, зачем мы к свату заявили и почему на столе играет чудное зелье «бабкиной гонки». Опасность росла и могла захватить нас врасплох. Да и на дворе уже смеркалось. Пора было кончать и готовиться к отъезду. Но как прекратить бушующий разгул, не выдав своей тревоги и своих намерений?

А сват, так испугавшийся утром нашего приезда, теперь забыл о всяком страхе. Глаза его то маслились, то выпыхивали, богатырские руки дрожали от нетерпения, когда он подносил стакан к губам.

— Креста на них, окаянных, нет, в какую погибель залойного человека втянул, — сказала, услышав я, молодуха хозяй-

ке на пороге горницы, со злобой посмотрев на меня и на Сундука.

— Сорок ден, сорок почен пить будем, — кричал сбиваясь и забывая слова, очумелый сват.

Ерема крикнул бабке:

— Вали еще четвертную в мою голову, малина тебе в рот.

И остановил его: «довольно, мол», но он восстал:

— У нас, у конопатчиков, я ведь конопатчик в своем художестве, про это у нас, конопатчиков, говорится — без вина тем более мало радостно. А пью я одно — из уваженья, уважючи пью, а без уваженья — брошу, и врешь: Ерему не заставишь пить, на коленках проси, в ногах валяйся — ни спшь пороха не клону.

Я встал из-за стола и вышел из горницы, сделав Сундуку знак. В сенях мы посоветались. Я видел, что подожди мы еще немного, и мой оборотистый попутчик, как назвал Потапыч Сундука, тоже потеряет волю и твердость в расхолодившейся гулянке. Сундук начинал уже хмелеть; он не то не догадался, не то не набрался духу выплескивать свои шкалики под стол, как делал я.

Через молодуху мы вызвали в сени Тимошку. Тимошка, плечистый и ростом выше отца, не решился отрывать отца от водки: «к тятеньке теперь не подходи, убьет, зарубит». Тимошка сказал, что отец сговорился с Еремой везти нас с ним вместе на двух подводах. Вызвали Ерему. Ерема сразу заговорил о прибавке.

— Это тем более мало радостно Малой тайболой продираяться. Я без всякой ужаси избу в Пинеге проконопачу, деняги возьму и сам себе владыка, и все по закону, а здесь — вертись... да на кой это мне ляд!.. не поеду без прибавки.

Наше отсутствие и вызов в сени то Тимошки, то Еремы нарушили безмятежность пирюшки. Кто посовестливей и попугливей, начали ретироваться восвойси.

— Ты чего же ломашься-то, чего куражишься-то над нами?.. — вдруг резко крикнул Сундук Ереме.

— А чего же нам и не покуражиться над вами? — откликнулся Тимошка.

— Мы в своем праве, — какие нашились орать здесь; не нравится, иди к исправнику, а орать не смей.

Сундук быстро сунул руку в карман, выхватил металлический папиросник, блеснул им в темноте и, зажав его в руке, как зажимают револьвер, наставил на Тимоху:



— Идите-ка вы оба за мной. Идите-ка, и чтоб не кричать.

Тимоха и Ерема, перепуганные спяну, пошли за Сундуком. Под навесом около саней Сундук злобеще прохрипел:

— Запрягать сейчас же, а то убью на месте обоих. Знаешь, кто мы такие: мы каторжники, беглые, нам все нищочем, мы и так в ответе.

— Ну, выводи, Тимошка, гнедую, а я сбрую залажу.— сказал Ерема.

Разъяренный выбежал к нам из избы сват. Он орал:

— Не дам!

Богатырь Тимоха связал отца вожжами с помощью Еремы и нашей и занер его в полухолодную клеть.

Запрягли, по совету Еремы, двух лошадей в двое розвальней. Передние решено было пускать в болотистых местах вперед порожнем — для пробы дороги, а на остальном, хорошо проезжем, пути разделиться по-двое на лошадь. Запряжка проходила под молчаливым неослабным наблюдением Сундука. Он стоял в боевой готовности, заложив руку в карман, как бы держа ее на револьвере. У него хватило догадливости не козырять портсигаром на дворе при свете от сизого неба и белого снега.

Когда мы тронулись, передом поехали розвальни с Тимохой и Еремой, а за ними мы с Сундуком. Так рассадил нас Сундук, руководясь несложной стратегией:

— Попробуй сядь с этим медведем Тимохой: задремешь, а он задушит,— шепнул мне Сундук. Тимохе же он погрозил:— Вздумаешь дурить, горошину в затылок пушу.

На выезде со двора, отворачивая зацепившиеся крылом за косяк розвальни, молодуха гневно проговорила Сундуку:

— Погубишь мне Тимошку, нуто все твое прокляну и белмы твои настырные.

### 3

И вот мы опять в поле. Впереди нас черная кайма тайболы. Кажется, она совсем близко перед мордой передней лошади, а сколько ни едем, она не приближается к нам.

Мороз становился все больше лютым, воздух скрипел, ветер обжигал брови и лоб, ресницы тяжелели, сковывалось дыхание.

Вначале мы въехали в мелколесье, где ветер мел дорогу, поднимая снежную пыль и крути бешеные винтовые смерчи, взви-

вавшиеся как призраки и мгновенно растилавшиеся и рассыпавшиеся у корней низеньких кустарников. Потом стали по бокам дороги подниматься все выше и выше стволы елей и сосен. Ветер умчался, как будто испугавшись тесноты и темноты. Лошади пошли шагом. Мы ехали узеньким коридором. Верхушки деревьев так высоко ушли, что я их уже не мог видеть; закутанному в башлык, мне трудно было откинуть назад голову. И чудилось, что вершины вытянулись в бесконечную небесную высоту. Я отклонился всем телом на спинку саней: звезды блестели над головой, а верхушки деревьев оказались не так далеко.

След лошадей стал становиться глубже: снег рыхлел, чем дальше подвигались мы по коридору тайболы. Тимофей и Ерема остановили переднюю лошадь; стала и наша, толкнувшись в задок передних саней. Ерема и Тимофей пересели к нам, а переднюю лошадь пустили порожнем. Лица у Еремы и Тимофея были заиндевелые. Мы все четверо молчали. Вдруг передние сани опять остановились. Тимофей соскочил посмотреть. Оказалось — передняя лошадь ушла по колено в снег. Дали ей вытащить ноги, отдохнуть, и опять тронулись. Но через несколько шагов опять толчок и остановка: лошадь провалилась почти по брюхо. Все четверо пошли вытаскивать ее. Вытащили, тронулись, и снова ухающий звук провала: передняя лошадь ушла в снег всеми четырьмя ногами. Когда ее вытащили, Ерема запустил кнутовище в провал, кнутовище не достало дна, слушала руку по локоть, а вытащив кнутовище, объявил, что «пожалуй, под снегом вода».

Тимофей и Ерема пошли пешими вперед по дороге. Отойдя, остановились, посоветовались; голосов их нам не слышно было. Поговорив, они пошли опять вперед. И вдруг Тимофей провалился по колено. К нему подбежал Ерема и сам увяз.

Мы пошли им навстречу. Ерема подбежал к Сундуку и заголосил по-бабьи:

— Убей, на вот убей, лучше уж разом прикончи, а не поезду. И лошадей погубим, и сами все погибнем. Гляди, мороз, а лошадь: а от лошади пар, из последних сил выбилась.

— Чего же ты голосишь и причитаешь? Говори толком.

Как ни тяжело это было решить, но мы все-таки решили оборотить назад.

Всю дорогу до деревни ни один из нас не сказал ни слова.



В глухой холодной ночи деревня казалась прижавшейся к земле, свернувшейся в комочек. Она замерла и как будто боялась шелохнуться, так мертво и тихо было в ней. Даже собаки не лаяли, все попрятались в углы под крышу.

Ерема, приободрившись от близости черных силуэтов сараев и изб, сбалагурил: — Ты залай, залай, собачка у Еремы на дворе.

В ответ, как будто услышав, где-то один раз сквозь сон тявнула собачонка и смолкла.

И вот опять барабаним в те же проклятые крепкие ворота. Какое ожесточение у меня в сердце: действовать, действовать, действовать надо! Уже вторые сутки в погоне, а все вертимся около одного места.

Нам отпирала и светила хозяйка. Сват спал. Тимофей и Ерема, отпрягнув, сейчас же разбежались по избам. Мы остались с Сундуком под навесом, не зная, что предпринять. Хозяйка с фонарем возилась около лошадей.

— Как это, где-то у Тургенева: хорошо тому, кто может в такую ночь найти кров. И помоги, господь, бесприютным скитальцам, — сказал я.

Сундук обиделся.

— И интеллигент же ты непроходимый, ну тебя к лешему! Тут мать родную забудешь, а ты Тургенева вспомнил.

А Тургенев-то нас и выручил! Хозяйку, видно, очень тронули его слова.

— И то бесприютные! Эх, вы! — вздохнула она. — Спрошу пойду Тимоху. А вы зайдите, обогрейтесь в избе.

Переговоры с Тимохой были некороткие и нелегкие: так и не захотел парень вылезать из-под тулупа. Хозяйка подняла «меньшого», Кирюшку, мальчишку лет пятнадцати, велела запрягать «в санки с ковровым задком» «лошадь неезжанную нынче» и везти нас... мы сдались с Сундуком... везти нас на большой казенный тракт. Кирюха весело сказал:

— Тут наперерез верст шесть-семь. Домчу за ночь.

#### 4

Дорога к казенному тракту была еще менее езженной, чем та, по которой мы приехали в деревню из Мезени. В поле ветер мел взлом и местами наворотил такие сугробы, что нельзя было отличить, где целина, где след дороги. Черная кайма тайболы была теперь от нас по правую руку. А по левую — равнина с частыми овражками и перелесками. Наш возница не

захватил ни сенца, ни дерюжки; ветер продувал со всех сторон наши маленькие санки с круглым задком.

Ко мне неотступно визалась мысль, что вот, мол, мы еще и не начали путь на Архангельск, а все готовимся, все пока исправляем какую-то ошибку, что настоящий побег-то и не начинался. И оттого на душе было неприятно.

Сундук — нет, нет — и задремлет. Я толкал и будил его. Мороз усиливался, прозрачность и ясность воздуха сменялась каким-то пронизывающим маревом, воздух стал режущим.

— Кажись, не должно тут быть овражку, — сказал Кирюшка, соскочил с облучка, побежал по дороге, вернулся. — И кустики какие-то не те. Куда же это мы выехали, мать честная?

Сундук наשמливо спросил:

— Сбился? А еще кучер!

— Ну да, сбился. Сам ты сбился. — ответил Кирюшка и сделал вид, что все в порядке, и погнал лошадку под горку через овражек.

Я затревожился, но молчал. Тревога оживила и Сундука, он стряхнул дремоту. Даже попробовал было засвистеть, но свист замерз на губах. Тогда Сундук отдался своей страсти к расспросам:

— А почему, Кирюха, у тебя одна оглобля, левая-то, короче правой?

— Конец подпилили, обломался на вырубине.

— Как же он обломался-то?

— Тятенька обломал — Тимошку холил.

— Как же он его холил-то?

— Известно как: по загревку.

— Оглоблей?

— А чем же еще? Оглоблей — самое любезное. У нас всех так учат.

Дотошный Сундук все допытывался:

— А почему, Кирюха, самое любезное оглоблей?

— Да что ты пристал без короткого? Оглоблей вот и оглоблей. Тятенька говорит: бей жену, детей по шею, голова будет болеть, дольше помнить будут.

Когда поднялись из овражка, Кирюша огляделся кругом и пробормотал:

— Лес тут должен был быть, а кругом поле.

— Заблудились? — спросил Сундук.

— Каркай. Накличь еще, — сердито осадил его Кирюша.

Вторая бессонная ночь сказалась: задремал и я. Сколько прошло времени, — долго ли или мгновение, — но я открыл глаза в неосознанном испуге: кругом было — спра-

ва, слева, спереди, сзади, сверху — белое марево, мы не двигались; лошадь стояла на месте, опустив голову до самого низу, и как будто окаменела, Кирюша спал, съехав с облучка в передок саней; Сундук съезжился, уперев голову мне в плечо. Ночь была мертва. Только чуть-чуть подвизгивал ветер, наметая вокруг нас сугробик. Я растолкал Сундука и Кирюшу. Оба отозвались вяло и безучастно. Я начал трясти Сундука. Наш кучер, Кирюха, догадавшись о положении, заплакал. Никакого понятия о месте, где мы находимся, у него как и у нас не было: поле, точка на земле, больше ничего неизвестно. И звезд не было. Небо висело низко в изморозной мгле. Мы заблудились.

Вылезши из саней, я глубоко провалился в снег. Мы были не на дороге. Я пошел к наметенному ветром гребню, там было еще глубже и снег еще рыхлей. Нигде никаких признаков дороги. И как мы сюда попали? Я оглянулся и... ужас прополз по мне... ни лошади, ни саней, ни моих спутников, кругом пустое, белое, мертвое, глухое пространство. Я крикнул, — крик завертелся и умер подле меня. Я крикнул сильнее, крик погас, не слетев с губ. Кричал уже кто-то во мне, а не я. Ветер, играя, подхватывал звуки, дробил их на брызги, трепал по сторонам и мчал в какие-то дальние бездны. «Почему же я один и где я?» Стоя, я зажмурился, мне захотелось сесть, лечь. Я открыл глаза, оглянулся, — позади меня неподалеку торчали сани, сонная лошадь и Сундук с Кирюшей около саней с подветренной стороны.

— Я далеко уходил от вас?

— Нет.

— Вы слышали, как я кричал?

— Нет.

Мы решили беречь силы, не разлучаться, не искать дороги, ждать рассвета. А далеко ли до него?

Нами овладело безразличие; сильнее всего было желание спать, забыться. Мы сели в сани. Сундук и я прижались друг к другу, а Кирюша нас дичился и держался отдельно.

— Веселей замерзать под сказки. Вспомните, Павел, что-нибудь, — попросил Сундук.

Мне не хотелось говорить, меня беспокоила блаженная усталость. Холод стал привычным, я не чувствовал его, и, как только закрывались глаза, казалось, что плыву в тепловатом тумане, легко и без усилий.

Сундук, встряхнув меня, сказал:

— Только не спи, — и замолчал.

— Говори, говори, дядя! — вдруг закричал Кирюша.

Сундук заговорил скорее про себя, чем обращаясь к нам:

— Неужели мы приехали? И мне ничего, весело. Я был доволен жизнью.

Он снова встряхнул меня:

— Павел, не спи! Я спрашиваю себя сейчас: Сундук, ты доволен тем, как ты жил и что как ты делал? И отвечаю: доволен.

— Говорить холодно, Сундук, горло захватывает.

— А я в ладошки буду говорить, как в трубу. Ты тоже, Кирюха, не спи. Мы с отцом, с матерью все около фабрикантов жили, около директоров, управляющих разных, инженеров, конторщиков. И хуже всех себя считали. Все бывало: «Ведь это какие люди!» Мне девочка из тех одна нравилась. Я два года ходил смотреть на нее, а она меня ни разу и не заметила. В душе я и сам признавал, что они лучше меня. А потом в пятнадцать лет мне ребята дали книжку «Женщина и социализм». Я думал, что похождения какие похабные, и тайком читал. И увлекся. И вот загорелись во мне мысли; до всего допытываюсь, все чувствую, могу объяснить себе, и какая-то мечта потянула. Помню, спускаешься это с чердака после чтения, и вроде не ты идешь, а полководец какой-то, завоеватель. Обедать сядем с отцом, с матерью, а мысли вольней шумят, вроде ты как здесь и не здесь, и что-то ждет тебя. И с чем-то ты всей душой связан. Вроде как ты и с солнцем, и с луной, и с землей заодно, какую-то штучку знаешь. И помню, и свою жизнь, и отца с матерью. А на тех посмотришь и думаешь: эх, вы, червяки слепые! И такой ты себе кажешься сильный, большой, весь полный до краев. Дыши, грудь! Вейся, кудри! Пой, сердце! А что с тобой сделают? Посадят, избьют, убьют, повесят, это даже малоинтересно, все равно ты полон весь счастьем.

Во время рассказа Сундука Кирюша перелез с облучка к нам, в задок саней, свернулся калачиком и прижался к коленям Сундука.

Когда мы замолчали, Кирюша сказал:

— А я у тятеньки двугривенный украд, завернул в трипку и в навоз под навесом закопал. Кроме вас двоих да меня, никто и не знает и звать не будет.

Кирюша помолчал и вдруг добавил:

— А я, может, возьму и подброшу отцу обратно.

Сундук наклонил Кирюшину голову глубже к себе в колени, пробормотал:

— Эх, Кирюха, Кирюха, и все-таки счастливые мы люди,— и толкнулся головой в передок в неодолимой дремоте.

Заснул и Кирюша. Меня тоже охватывал покой и сладкое забытие.

Кажется, уже приближался конец. В воображении какие-то круги наматывались и разматывались, и что-то тянулось как белые клейкие нити патоки. Неужели я замерзаю, умираю? И вдруг я почувствовал снова хрустящий мороз, как будто тряхнуло меня, я открыл глаза; вначале ничего не различил, кроме сплошной бесконечной сливающейся белизны, а затем загорелись перед самым моим лицом волчий глаза. Волк смотрел пристально на меня.

И я посмотрел ему прямо в глаза, и глаза его начали мигать. Я смотрел на волка и чувствовал, что вот смотрю какими-то не своими, не настоящими глазами, не глазами жизни, а глазами бреда, может быть глазами вошедшей в меня смерти. И тогда я нашел в себе желание и силу взглянуть глазами жизни, последним остатком жизни во мне. И вроде как открыл мои все равно ведь физически открытые глаза. Но я их повернул на жизнь, а до того их взгляд был уже повернут в смерть. И я открыл глаза и увидел жизнь: передо мной исчез волчий мираж. Он сперва начал отдаляться, уходить за поле, вроде как ныть от меня, а затем меня защемила физическая боль, как бывает при пробегающей по членам судороге. И я вернулся к жизни, к ощущению правды: перед нами печалюко за полем засветилась утренними огоньками деревня. И как только до моего сознания дошло, что это избавление, мои руки и ноги одеревятели, все помутилось, огоньки погасли, и я упал, стукнувшись головой об Кирюшу.

Я услышал, как плакал Кирюша и как они с Сундуком трясли меня и терли мне уши и лицо.

Огоньки за овражком, где-то чернеющие избы, собачий лай,— надежда оживила нас. Мы двигались, махали руками, разогревались, как могли.

## 5

Уже светало, когда мы добрались до деревни. Нас впустили в избу. Там мы узнали, что мы уже на тракте.

И Сундук, войдя и оглядевшись, сел на

лавку. А севши, стал свисать набок, закрыл глаза, ткнулся головой в угол, подобрал под себя ноги и захрапел.

Старик, седой и чистенький, похожий на святого с иконы, сказал мне:

— Полежай, болезный, на печь. Спать томишься. Ткни там девку, чтоб подвинулась.

Я снял сапоги и полез на печку. Там, лицом ко мне, спала девушка лет двадцати, очевидно, внучка старика. Щеки ее от сладкого сна горели как две маковницы, лоб сиял как солнечный зайчик. Я легонько потеснил ее от края; она подвинулась к стене, не просыпаясь, и положила на меня тяжелую руку. Я едва успел вытянуться, как меня обволокло небытие, и я забыл все на свете в мертвом сне.

Когда я проснулся, рассветало. Девки на печке уже не было. Где-то в сенях стукнули об пол водоносом и прогремели ведра.

Мы с Сундуком собрались к выходу на казенную ямскую стапцию: достали и положили поближе проходные свидетельства Волайтиса и Коввайтиса; напустили на себя выражение и повадку крестьянского почтительного равнодушия ко всему происходящему и к начальству. Это и были все наши приготовления к пути.

Дед позвал в горницу вынуть кипяточку.

У Сундука нашелся в кармане еще от этапа завалившийся кусочек сахара, облипший сором. У Кирюши глаза сверкнули, когда Сундук вытащил этот кусок вместе с коробкой спичек. Дед сказал:

— Что чай, что сахар, в диковинку у нас: на пасхе да на рождество только видим.

Сундук обдул тщательно сахарок и подал Кирюше. Кирюша всыхнул докрасна и замотал отрицательно головой. Дед его подбодрил:

— Возьми, дурачок, чего застеснялся. Но Кирюша еще энергичней затряс головой, и у него выступили слезы:

— Бери, бери.

Сундук положил сахар перед Кирюшей. Кирюша взял. Слова не шли у него с языка, и он низко уткнулся в блюдце. Вошла внучка старика и сказала, обращаясь не к нам, а к деду:

— Отперлись на станции, дым из трубы идет.

На нас она взглянула с таким равнодушием, что мне кипяток в чашке показался остывшим.

Когда мы взяли за шапки и распрощались с дедом, Кирюша вытащил изо рта

остаток кусочка сахара. завернул его в бумажку и подал Сундуку.

— Что это такое? — удивился Сундук.

— Вам дорога дальняя, — ответил Кирюша и опять покраснел до ресниц.

Сундук засмеялся, отстранил его руку, но Кирюша сунул ему сахарок в карман куртки. Сундук схватил его за плечи, Кирюша почувствовал в этом движении Сундука нежность, резко отдернулся. Сундук наклонился и поцеловал его в макушку. У Кирюши блеснули слезы смущения и гнева. Он засмеялся нарочитым грубым смехом и сказал:

— Что ты теля, что ль? Лизаться-то?

Кирюша сделался суров. И молчал все время, пока мы прощались с дедом на крыльце. Мне показалось, впрочем, что один раз у него как-то скривились губы в горькую складочку.

Мы были уже шагов на двадцать от крыльца, когда звонкий голос Кирюши заставил нас обернуться.

Кирюша кричал:

— Не забудь, как дед сказал: пройдемь часовню, направо к станции бери, не забудь.

Лицо у Кирюши светилось. И я унес с собою этот свет навсегда.

— А «он двугривенный-то обязательно вернет отцу», — сказал Сундук. Мне не хотелось ничего говорить. Сундук, подумав, добавил: — И задаст же ему отец трепки за эту честность! Вот такого парня я рас-пропагандировал бы!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Как только мы с Сундуком подошли к почтовой станции, во мне сразу все насторожилось: начинается новый этап нашего побега и нужна будет новая тактика.

— Казной, густо казной запахло, — сказал Сундук.

Дом станции был крыт железом, крашен в «поднебесную» краску, наличники вымазаны в малиновое, а крыльцо — в желтое. Над вывеской на отдельном листе железа, продырявленном ржавчиной, висел, покосившись, двуглавый орел.

— Да-с, войти на это крыльцо нам с тобой вроде как Цезарю было Рубикон перейти. Павлуха, — сказал Сундук.

Теперь план наш — и к тому же единственный выход — был таков: объявиться на станции литовцами Конвайтисом и Волайтисом, требовать полагающихся Кон-

вайтису и Волайтису по казенной льготной цене перекладных лошадей от станции к станции, не скупиться на разовые «добавочные» и «чаевые», отводить эти кие казенные проволочки и подгонять конюшников рублем; конспирировать на встрече со стражниками и, наконец, отвести в подорожной книге подписи Конвайтиса и Волайтиса как только может неразборчивей, чтоб после, когда поедет тем же трактом и с теми же подорожными настоящие Конвайтис и Волайтис, им не попасть в беду.

Зазвонил колокольчик, когда мы распахнули дверь в станционную комнату к смотрителю.

Все стены были тесно заклеены пожелтевшими «объявлениями», «постановлениями», «правилами», засиженными мухами. Одно «высочайшее повеление» было продавлено каким-то неосторожным лбом. Из дыры торчала пакля и по разорванному краю шел обильный след оставленный клопами. На лоснящейся лавке сидел стражник. Первая встреча первое нам приветствие от тракта Большой Тайболы!

— Нам бы лошадку по казенной надобности. У нас казенная подорожная, — сказал Сундук.

Стражник в ответ взглянул не на нас а понижу — на ввалившиеся с нами в дверь клубы холода.

— О, ххосподи, ххосподи, — зевнул он и перекрестил левниво рот.

И ничего нам не ответил. И ни о чем нас не спросил: откуда взялись, куда направляемся. Ничто его не интересовало.

Вышел смотритель — печесанный, нервный, тыркающийся, озабоченный, с извиняющимся и вместе раздраженным голосом и испуганными и удивленными глазами как будто ожидающий окрика, брани, требований: в разговоре все время уступающий и вместе наскакивающий: «Что ж можно и сейчас запречь. Что ж можно и пару лошадей. А откуда я вам возьму целую пару? И зачем вам именно сейчас фельдегеры вы разве?»

Запрягли нам все же пару лошадей. Смотритель попросил:

— Потрудитесь кто-нибудь один из вас вписать в подорожную книгу требуемые сведения: месяц, число выдачи проходного свидетельства, по какой надобности едете и дальше, там увидите сами, в графах помечено.

— А нельзя ли вам? Вам привычней — попытал его Сундук.

Смотритель ответил:

— Не мной так заведено, на всех станциях такой порядок, — сами проезжающие пишут. Да нам и некогда.

Я вписал «требуемые сведения». И все переврал. Это хорошо, если «на всех станциях такой порядок».

И мы поехали. И от станции к станции все то же однообразие. Объявления, «высочайшие повеления», зевающие стражники, нервные смотрители, а иногда, впрочем, нервные стражники и зевающие смотрители. И потянулись ночи, длинные, северные ночи, с очень короткими промежутками дней, дней бледных, мглистых от мороза.

## 2

Очень долго, мне показалось, половину суток, мы ехали по низкому берегу реки Пинеги, местами спускаясь на лед. Невостовый, бешеный, рвущий и обжигающий северо-восточный ветер все время сдирал и сбрасывал снег с правого, высокого берега и тот стоял оголенный, как торчащая корявая стена, весь красный, весь огненный, не то от красного камня, не то от красной глины.

— Канада какая-то, — сказал Сундук, — богатства тут всякого, небось, чортова тьма.

Даже когда погасло усталое малокровное тундровое солнце, яркая краснота берега не погасла, она, немного побурев, продолжала тлеть под беззвездным белокрысым небом.

За городом Пинегой в большом селе, когда мы подъехали к почтовой станции, двое младших стражников вывели из волостного правления ссыльных и стали рассаживать их на двое розвальней. Наш ямщик крикнул ямщику передних розвальней:

— В какую сторону?

Тот ответил:

— На Мезень, с этапными.

Сундук мне шепнул.

— Вываливайся скорей... и в избу! Не налететь бы на стражников, которые тебя знают.

Сундук убежал. Я мигом выскочил из ямней и побежал за ним к почтовой избе. В краем глаза заметил, а больше почувствовал, догадался по грохоту кованых валенок о ступени крыльца, что из волостного правления выходит старший стражник. Но в группе ссыльных прозвучел девичий смех, прозвенел так задорно, как вызов морозу. Чему она смеялась, эта девушка? Но смеялась она счастливо и беззаботно. Невольно я остановился и

посмотрел на нее. И наши взгляды встретились. И я сразу узнал про нее все. И она сразу все поняла про меня. «Несомненно, это — наша, это — наш человек... А она взглядом мне сказала: «Понимаю, вы, несомненно, наши! Понимаю, — улетаываете, понимаю. И желаю вам успеха». И мы оба сейчас же перевели глаза на стражников: «весело, мол, жить нам на свете, господа стражники, а вам невесело». Но тут и мне стало невесело. Я узнал старшего стражника, это был «наш» мезенский... отъявленный палач и негодяй, виртуоз на всяким издевательством, правая рука нашего мезенского исправника, тоже «нашего», чорт бы его побрал.

Успел ли он узнать меня или нет? Ах, этот смех, эти умные лукавые глазки, на которые я засмотрелся. Надо скорее спастись в избу. Вот я уже на крыльце почтовой станции. Никто меня не окликает. Очевидно стражник не заметил или не узнал. Но как не оглянуться, — поймать бы еще раз этот веселый взгляд и посмотреть еще раз в эти веселые глаза! И я оглянулся. Оглянулся и стражник на меня. А девушка сверкнула неодобрительно, порицающе и отвернулась.

— Проезжающая комната нынче занята, половицы чинят. Не обессудьте летней половиной, — декларировала нам вся закутанная в тришки и войлок женщина с лицом, обмазанным жиром.

— Позовите смотрителя, — приказал ей я.

В «летней половине» стены трещали и стонали от волчьего холода; седой иней, как курчавая пакля, проступал в щелях между тесовинами и как будто слегка дымился.

Я рассказал Сундуку о стражнике и, конечно, утаил от него все, что касалось веселых лукавых глазок. А как же не утаить? Это ведь и рассказать нельзя: рассказывать нечего, ничего и не было. Сундук решил, что надо произвести разведку и любой ценой скорей отсюда выбраться.

Через несколько минут разведка Сундука принесла ценные сведения: во-первых, старший стражник не спешит отправлять этап и зачем-то заходил к смотрителю; во-вторых, быстро отсюда уехать не удастся — лошадей нет; в конюшне только фельдъегерская тройка.

Сундук решил попробовать «поговорить» со смотрителем. Смотритель нарушил правила и «высочайшие повеления», по-

местил в «приезжающей» каких-то гостящих у него родственников.

— Мы ему сейчас в этот чирый и кольнем булавочкой. Сам к нему не пойду, а пошлю за ним ту самую бабу в войлоках. Придет и увидишь, разыграю все, как по нотам.

Смотритель, когда его Сундук «колол булавочкой» и «разыгрывал по нотам», кипел от негодования, но порядочно струсил.

— Вы претендуете, — сказал он с польским акцентом, — но надо же иметь уважение к гонору человека.

Сундук ответил:

— Я уважение к вашему гонору имею.

— Имеете?

— Имею.

— Докажите.

— Докажу.

— Мы беспокоим вашего товарища — кричим здесь. Выйдем в сени, — предложил смотритель.

Они вышли.

Скоро Сундук вернулся:

— Все улажено. Дает фельдъегерскую тройку. И уже запрягать начали. Вкопал ему красненькую. Десять целковых взял, а? Человек весь из доскутков спиный: холуй из шляхтичей.

И вдруг Сундук взглянул в оконце нашей каморки:

— Стражник идет к крыльцу. Не к нам ли? Что же делать? Меня-то не знают. А с тобой-то что делать? Тебя-то он узнает, если войдет сюда.

Я быстро лег на широкую лавку, лицом к стене.

— Сундук, я болен, лихорадка у меня, слышишь?

— А чорт, снизу у ног мех шубы виден. Может узнать.

Сундук сорвал с себя ватную курточку и прикрыл мне ноги и подол шубы.

— И еще тут чортова твоя шапка, заметная. Давай ее мне в карман. А голову чем бы прикрыть?

Сундук снял пиджак и накинул его мне на шею так, чтобы не видно было воротника шубы.

— А лицо загораживать не надо. Подозрительно будет.

Сундук остался в одной дырявенькой фуфаячке. Стражник, войдя, застал его сидящим.

— Жарко? — спросил стражник.

— Да, гимнастику делаю, привычка по утрам.

— А это?

Стражник показал на меня.

— Вместе едем. Лихорадка. Озноб. Трясет его. И все ему снится.

— Гм... сами можете лихорадку схватить, раздевшись. А куда оба едете?

В оконце кто-то постучал кнутовищем и крикнул:

— Трофимов, этажные промерзли.

Стражник ответил:

— Невелики господа, пушай померзнут. — А потом опять оратился к Сундуку. — Куда оба едете-то?

Сундук сказал.

Снаружи снова постучали:

— Трофимов, лошади иззябли.

— И лошади твои не велики баре, подождут.

Вошел смотритель и объявил Сундуку:

— По вашему приказанию фельдъегерская тройка заложена и подана к крыльцу.

Стражник так и осел:

— Фельдъегерская?!

Смотритель отрапортовал:

— Фельдъегерская, согласно предъявленных документов как едущим по экстренной казенной надобности.

— Трофимов, давай, давай, — опять поторопили снаружи.

— Ну, прощайте. Люблю поговорить, да не держат же лошадей на морозе.

И стражник отбыл.

— Постарался смотритель юга! Хитрая, доскутная душа, все, наверно, сообразил. Холуй, а самодержавие не любит, гонор имеет. Конвой тоже из солдат поляков, я замечал, всегда к политическим хороши, — резюмировал Сундук.

### 3

Чем ближе подъезжали мы к Архангельску, тем оживленней становилось на тракте. Все чаще встречались и обгоняли нас лихие подводы со стражниками, солдатами, урядниками, становыми, чиновниками.

Это совсем было не то, как мы от Мезени до большого тракта неслись по пустынным просторам, по полям, по лесам, по оврагам. И гулял кругом только ветер, и шумели над нами высокие ели. И надо было только держать в себе спокойное ровное мужество. Мысли текли глубоки и чисты. А теперь раздражало это светливое шнырянье подвод взад и вперед. И эта мышинная возня тербила вниманье, возбуждала беспокойство, заставляла все время быть на-чеку, и мысли дробились в мелкие брызги.

В Холмогорах на почтовой станции был густой людской водоворот. И особенно — мундиров много. Мы не рискнули здесь предъявить наши подорожные и требовать лошадей. Не заходя в станционный дом, завернули по соседству в чайную под вывеской: «Трактир Дунай, без распития питья», решив попытаться там найти не казенную, а вольную подводку до Архангельска.

Половой в валенках и в розовом ситцевом жилете поверх выпущенной синей рубахи, схватив какую-то отымажку, вымазанную в сажу, лихо смахнул со стола лужи чаю, подмигнул и заговорщицки спросил:

— Вам кипяточку в норме или жена-того?

— То-есть?— удивился Сундук.

— Горяченького или холодного, белого-с или цветного?

— То-есть?— опять не понял Сундук.

Половой пояснил:

— У нас — без распития питья! Но в чайничках для кипятку что посетителю требуется подаем. То есть, извините, водку. Понятно, не всем, а чистым посетителям. Когда же требуют мадеру, портвейн, наливки, то подаем в чайных чайничках, в маленьких, — налиivate и будто чай, а из больших водку налиivate, будто кипятка. Из здешних кое-кто так пристрастились, что смесь делают из нашего «кипятку» и «чаю».

За столиком рядом тощенький мужичок и угрюмый парень весь в прыщах наливали себе в чашки только из большого чайника, хотя на столе стоял и маленький чайничек, полагающийся для чаю. Парень называл тощего «вдовый».

— Пей, Вдовый, не стесняйся.

«Вдовый» же восторженно рассказывал:

— А господин писарь выслушал меня и говорит: «дурак ты, Вдовый». Сам господин писарь! Понимающий человек! «Дурак, говорит, ты». Это мне-то, сам господин писарь: «дурак, говорит, ты». Вот перед истинным богом, не вру. Сам господин писарь мне сказал. Прямо запросто. Вот как я тебе бы сказал или ты бы мне: «дурак ты, Вдовый», говорит. «Дурак?» — спрашиваю. — «Дурак», — говорит. Это мне-то, сам господин писарь. Не погнушался! Во! — торжествуя закнутил Вдовый и опорочил чашку, поморщившись.

Заметив, что мы слушаем, Вдовый, расширяемый жаждой общения, обратился к нам:

— Васютка у меня в Архангельске.

— Съед? — спросил я.

— Нет, — Васютка! Ну, дочь, понятно? Дочка, Василиса, десяти годов. У купчихи в девочках.

— То-есть? — спросил Сундук.

Вдовый ответил:

— Ну, сбегать куда, подать, подтереть, — в девочках. А я — вдовый и кроме Васютки еще малых мальцов двое... И без Васютки у нас по дому все винты заело. А купчиха не ворочает мне дочь. Посулила луд муки к Святой. А писарь говорит, бери, Вдовый. Писать я неграмотен, а Васютка читать неграмотна — письма не пошлешь. Поехать, скажешь, к купчихе в Архангельск и взять отнять силой: не нужна, мол, твоя мука. А на что поедешь? И лошадь имею, а туда, оттуда покорм ей, животной, нужен? Туда, оттуда самому что пожевать надо! Опять же и за постой в городе давай деньги. А денег-то нет, — вдовый я. Не будь я вдовый, у меня денег-то куры бы не клевали, — да вдовый я. Вот и пляши как хочешь.

Вышли мы из «трактира Дунай без распития питья» вместе со Вдовым. Сундук сказал ему:

— Слушай, Вдовый. А хочешь проехать в Архангельск, деньги заплатим и кстати нас подвезешь.

Вдовый на своей ключенке потащил нас в розвальнях черепашным шагом к Архангельску. «Кормить лошадь» заезжали в кабаки частенько. И каждый раз, обогрившись, Вдовый впадал в восторг и рассказывал упоенно:

— «Дурак ты, Вдовый, — говорит мне господин писарь, — дурак». Вот перед истинным богом, не вру. «Дурак?» — спрашиваю. «Дурак», — отвечает.

К нам Вдовый по дороге очень расположился:

— С полета людей вижу. Люди вы — благожелательные. И что-то бережетесь все чего-то. А неблагожелательный, он прет, до того важен — дышит и сам не слышит. Ему чего? Ну, а благожелательный стережется, обидеть, мол, меня могут.

На седьмые сутки пути от Мезени мы въехали в Архангельск. Въехали поздним темным вечером. В одной тихой улочке мы простились со Вдовым и пошли по адресу, который нам вручила в Мезени от нашей организации Мария Федоровна. Вдовому при прощании стало ясно, кого он привез:

— На постоялый двор, значит, не надо вам? Приехали, съезли и пошли не весть куда. Окончательно понял. Вот оно что.

Я сразу увидел: люди благожелательные. А немало, знать, благожелательных людей пошло у нас. Наш русский любит благожелательных!

4

По досчатым тротуарам мы добрались до небольшого флигелька в глубине двора. Постучали в аккуратно обитую рогожкой дверь. Долго не открывали. Мы заволновались: попали ли куда надо? Еще постучались: «Кто там?» — спросил женский голос из-за двери.

— Александра Федотовича Благова надо, — пробасил Сундук.

— Александр Федотыч уже лег.

Нельзя же кричать через дверь пароль.

— На минутку откройте. Очень надо.

Открыла молодая женщина. У нее были глаза, на которые, раз увидев, хочется смотреть без конца. Зачем бы им улыбаться в холодную темную ночь при встрече с чужими людьми? А они светились и улыбались в разлад с усталым, измученным лицом. Эта женщина была беременна, грузной, болезненной беременностью.

Мы сказали первую половину пароля. Она не сразу сказала нам вторую, ответную. Вначале у нее вырвалось:

— К нам никто не являлся уже три месяца и мы успокоились. Ах, да я должна сказать ответ на пароль. Пожалуйста: «Завтра пятница».

Она, видно, растерялась и не знала что делать с нами дальше. Только глаза светились, отражая какое-то внутреннее глубоко спрятавшееся солнце. Мы стояли перед ней в шапках и рукавицах. Она войти нас не приглашала. Вышел сам Александр Федотович Благов.

— Вы по явке? Ну, что ж? Видно, — ладно. Раздевайтесь.

— Может быть, явка перенесена от вас или что случилось? — спросил я.

— Ничего не случилось. У нас случаются только одни глупости.

Благов был очень высок и смотрел на нас откуда-то очень далеко сверху. Голову он держал гордо, осанисто, как будто готовился принять вызов, любой вызов. На щеках его тлели чахоточные пятна. Черные матовые глаза были печальны.

— Вы ночевать? — спросил Александр Федотыч.

— Ночевать. И завтра уедем.

— Ну, что ж. Юлия, постели в столовой.

Меня взорвал тон Благова.

— А вы почему все говорите «ну, что ж», «ну, что ж»? Одолжение что вы делаете? Я думаю, мы у своих? А если не так, то...

Александр Федотыч не дал мне договорить:

— У вас чахотки нет? Кровью не харкаете? Будет чахотка, будете кровью харкать — тоже будете на все говорить «ну, что ж».

Александр Федотыч притащил в столовую и положил на пол два тюфяка, Юлия стала стелить белые свежие простыни, пододеяльники, надела на подушки сверкающие чистотой, хрустящие наволочки. Оба они молчали. Сундук решил внести примиряющую струю и заговорил мячко:

— Давно мы не ложились спать по-человечески. Не раздевались семь ночей. Да и не спали как следует. Все были настороже. А тут какая благодать!

Я поддержал его и обратился к Юлии:

— Вы напрасно так хлопочете. Как бы ни постелили, мы будем довольны.

Лед несколько оттаял. Хозяева начали нас расспрашивать, как живут ссыльные. О себе они рассказали, что Александр Федотыч уже полгода работает конторщиком в архангельском отделении Центросоюза, что он и Юлия вместе составляют какой-то статистический справочник для одного петербургского издательства, что у них был ребенок, мальчик, что он умер на втором месяце жизни. Когда же Сундук спросил «отчего же умер», оба смущались, Юлия покраснела, свет в ее милых глазах погас, она отвернулась, Александр Федотыч закашлялся и сказал:

— Ну что ж, — мало ли чего с кем не бывало. Лучше мы о вас поговорим. Вы зачем бежите-то из ссылки? Почему не хотели срок отбыть? Отбыли бы, не так уж там страшно. Оттрубили бы свой срок. Стали бы вполне легальными людьми.

Я ответил:

— Стали бы легальными, а потом, может быть, через несколько дней опять бы сделались нелегальными.

— Почему же так обязательно опять стать нелегальными? — вроде как рассердился Александр Федотыч.

— Чудак человек, — засмеялся Сундук, — а можно ль долго вести нелегальную работу и оставаться легальным? Мы ведь бежим, чтобы снова работать в партийной организации.

— В какой, в нелегальной?

— Конечно, в нелегальной, другой никакой нет.



— А кому и зачем это нужно, ваша пелегальная работа? Кому от нее польза? Вы думаете рабочему классу польза?

Я приготовился добродушно растолковывать, аргументировать, пропагандировать:

— Вы странно спрашиваете. Вы же вот помогаете нам, явку у себя держите, почлег нам даете, значит, считаете, что мы полезное делаем.

— Вы мне популярную лекцию не читайте, — осадил меня Федотыч. — Вы думаете перед вами обыватель, сочувствующий революции, или сытый, чорт подери, либеральный интеллигент? Я сам прошел огонь и воду. Я сам был членом одного из комитетов партии и останусь марксистом пока не издохну.

Я спросил:

— Вы меньшевик?

Он гордо ответил:

— Да, меньшевик!

У меня как-то невольно вырвалось:

— Ах, так вы ликвидатор!

Александр Федотыч вскочил, сжал кулаки. Юлия бросилась к нему. Он, видимо, хотел закричать, но заговорил тихо и вместе гневно:

— Кто выдумал это позорящее, это гнусное слово? Нам говорят, что мы хотим ликвидировать партию. Не партию, а ваши заговорщицкие кружки, комитеты пелегальные... Пусть будет какая ни на есть рабочая организация, пусть с самыми отсталыми взглядами, но открытая, но массовая...

— И с разрешения Столышина?

— Столыпина мы признаем как факт, с которым надо считаться. Революция разбита и кончилась. Надо строить новую рабочую партию в новых, навязанных нам условиях, открытых, легальных...

А тут уж я вскочил:

— Пойдем отсюда, Сундук. Я не хочу оставаться здесь, у этого ренегата.

— И чорт с вами! Уходите! — закричал Александр Федотыч и поднес платок ко рту. Платок сразу же густо окрасился кровью.

Я собрал все свои силы, чтобы сдержаться, но все-таки, помимо моей воли, я так же закричал, как и он:

— Как же у вас нет стыда говорить так о партии, о пелегальной славной нашей организации. Кого и что вы оплевываете? Сколько нашей крови пролито, сколько жертв принесено, сколько героизма проявлено... Сколько... да как вы смеете? Вы — предатели, и другого названия вам нет... вы отрекаетесь от нас,

когда пришли страшные испытания... предали!

Сундук взял меня за плечи и силой посадил на стул:

— Замолчи, Павел. Все это ни к чему. Посмотри, что с ним.

Он показал мне на Александра Федотыча, уткнувшегося в подушку на диване.

— Какое вы имеете право так говорить про Александра Федотыча, — набросилась на меня Юлия, — Саша сидел в тюрьмах, он схватил чаютку в ссылке... мы голодали... у меня от голода умер мальчик... Что вы сейчас с Сашей сделали... полюбуйтесь, смотрите, сколько он выплюнул крови...

Но я не отдавал себе отчета в том, что делаю, я чувствовал, что весь дрожу и могу наговорить еще больше. Я вскочил со стула и сказал Сундуку:

— Я уйду. А ты как хочешь.

— А я тебе говорю, Павел, не пойдешь. Останься. Брось. Куда ты пойдешь? На провал пойдешь. Не имеешь права рисковать собой.

— Сказал, уйду. Сказал, не останусь.

Я вышел в переднюю и начал торопливо одеваться. Коцца я был у двери, меня остановила выбежавшая из комнаты Юлия. Она взяла меня за рукав и сказала:

— Не уходите. Саше будет очень тяжело, если вы уйдете. Он искренне думает, он искренне верит, что он прав. Вот ведь он и явку у себя еще не снял, ведь он не выступает против, он ведь только так товарищам говорит, что надо менять тактику...

— Ах, он только у товарищей веру распатывает, — опять не сдержался я.

А она с горечью упрекнула меня:

— Зачем вы так? Саша — большой талант. Ему из Академии писали, что он выдающийся талант, он посылал туда свою работу... по математике, ее будут печатать... мы устали, у нас нет больше сил... мы только недавно немного отдохнули, воспряли... Саша тридцать рублей получает в кооперации...

А я бессмысленно повторял:

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

— Я что вам хочу сказать, — продолжала Юлия, — мне это очень стыдно, мне это очень тяжело сказать вам после того, что вы там наговорили Саше... но ведь мы все-таки товарищи... я вы сейчас уедете... и мы вас никогда не увидим... думайте что хотите, но ради Саши я ска-

жу... у вас такой теплый шерстяной шарф, таких здесь нам не достать... а Саше так было бы нужно... у него грудь очень болит и горло... продайте мне этот шарф... вы, наверное, скажете: мелкобуржуазная психология... но Саше очень нужно... я это ради Саши...

Я снял с себя шарф, сунул ей в руки и убежал.

На улице все трещало и хрустело от мороза. Со стороны Двины реяла мгла. Я забыл застегнуться, забыл надеть рукавицы, мне было очень холодно, но я сел на первую попавшуюся скамеечку у каких-то ворот и сидел среди густой почной стужи, подавшись вперед, упершись руками в колени, весь сосредоточившись на неощутимых мыслях. И вдруг заметил, что что-то горячее падает мне на руки. Это были капельки слез. Я плакал...

Вставши со скамьи, я пошел по улице, сам точно не зная куда. Я шел, ни о чем не думая, и как-то неожиданно для себя сказал вслух:

— Нет. Я плакал не оттого, что мне это жалко. Я плакал отчего-то другого.

И сразу потекли разнообразные, сбивчивые мысли о том, что нас ожидает в Москве.

— Стой! — крикнул кто-то позади меня. По инерции я продолжал идти. — Стой, тебе говорят!

Я оглянулся, — передо мной был Сундук.

— Куда же ты прешь, чортова голова? Куда? — заворчал он на меня. Я ничего ему не ответил, не мог ответить, не знал, что ответить. А он продолжал:

— Я смотрел, нет ли за тобой слежки. Вот дурь-то, вот дурь-то! Это у тебя от молодости. Еще молодо-зелено. Мелко плаваешь, спинка наружи. Ты хоть бы спросил себя, куда ты идешь. Вот я взял у Благова адрес для почевки, говорит, что это наш человек, какой-то Проша Рябовский.

Я обрадовался.

— Проша? Из Москвы, с Рябовской мануфактуры? Да я его знаю. Он в ссылке здесь?

— А зачем ты это Федотыча так?

— Зачем? После этого ты сам — оппортунист, Сундук.

К Проше Рябовскому мы еле достучались. Отперев, он узнал меня, обрадовался, но все-таки побранился:

— Чорт вас носит по ночам. У Федотыча-то чего не ночевали? Голова и так идет кругом, а тут еще по ночам будить

взялись. Я ведь столярному делу теперь учусь, из ткачей, да в столяры.

У Проши не было комнаты. Он жил в мастерской и спал на верстаке.

— Мне и положить-то вас некуда. Вот беда-то. Ложитесь все же углу на стружку, а свою подстилку дерюжечку наброшу поверх стружек, чтоб очень в волосы и в рот не лезли. А подушки у нас и не в заводе.

Нахло очень сильно столярным клеем. И когда погасили лампочку-коптилку, коника рядом со мной в углу поймала мышь; несколько раз у меня над ухом повторялся тонкий жалкий писк. Но я заснул крепко и во сне видел, что плыву по густому, как кисель, Нилу, среди желтых песков, и крокодилы раскрывают за меня пасти.

Утром мертвый мышонок валялся около моей щеки на стружках. Дерюга съехала на пол. У меня голова и лицо были в стружках.

— Проша, нет ли у тебя гребенки? вычесаться бы немножко.

— А как же, есть.

И Проша, обтерев об рукав, дал мне гребешок, — из шести зубьев четыре были в нем выщерблены. Так и пришлось целый день осколки стружек вылавливать из волос.

Первое, что сказал Сундук Проше, проснувшись утром, было о Федотыче:

— Ты передай товарищам, чтоб явку у него немедленно сняли. И надо с ним порвать совсем. Не забудь, передай товарищам нынче же.

Проша был в точности и подробностях осведомлен о поездках. Нам надо было дожидаться вечернего скорого поезда на Москву. Условились, что Проша проводит нас на вокзал, возьмет билеты и понаблюдает, не будет ли за нами слежки. Но как и где провести целый день? В мастерской работа начиналась за-темно и надо было уходить, хоть и очень клонящее к сну, и казалось, что мог проспать целые сутки.

— Может быть, в чулане каком подремать можно бы? — спросил у Проши Сундук.

— Какие там чуланы, — ответил Проша.

— А может быть на чердаке?

Проше вначале эта мысль понравилась: — На чердак, пожалуй, можно. Там у нас боров кирпичный проложен от печки к трубе. Около него все-таки какое-то тепло.

Но, подумавши, Проша отклонил этот проект.

— Избави бог, полезет на чердак одна тут старушонка, учтерева теща. такая злыдня, обязательно заворушкву подымет.

Деваться было некуда. Решили ходить по улицам. Выйдя от Проши и хорошо запомнив его адрес, мы с Сундуком пошли куда глаза глядят, но торопливой походкой занятых людей, которые идут по делу и боятся опоздать.

Среди дня мы, завернув за какой-то угол, неожиданно для себя оказались перед входом в кашцелярию архангельского губернатора. Выходивший из ворот жандарм строго нас оглядел. Я созорничал и «переконспирировал», как выразился Сундук. Я остановился и стал читать какое-то печатное полицейское объявление. Жандарм прошел мимо, никак нами не заинтересовавшись.

— Опять смальчиствовал, — сказал мне Сундук.

— Извини, — ответил я, — постараюсь когда-нибудь постареть.

В сумерках, как было назначено, мы встретили Прошу у ворот его дома. Наняли санки с круглым лубочным задком. На передке рядом с извозчиком сел Проша. Мы покатали через Двину по льду на вокзал. Ширина реки мне показалась бесконечной. Мы ехали по Двине как будто дальше, чем от Мезени до Архангельска. Ветер был сырой, пронизывающий. Он налетал откуда-то с дальнего края земли и, не встречая никаких препятствий в ледяной пустыне замерзшей реки, бушевал и крутил с ураганной силой. Ближе к берегу зачернелись перед нами в серой мгле огромные суда и барки, вморзшие в лед. А затем, тускло засветилась приплюснутая деревянная хибарка вокзала.

На двери завизжал традиционный блок с подвешенным на веревке красным кирпичом. Загудел вокзальный гомон. Меня охватило волнение, когда мы вошли в зал третьего класса. Запах махорки, овчинных полушубков, отсыревших валенок, свалаявшихся мешков, беспокойный несмолкающий говор, выкрики, беспорядочная толча толп, текущих во всевозможных направлениях, оцепяняли меня, как волшебный карнавал. Меня охватила нетерпеливая дрожь. Проша пошел брать билеты. А мы с Сундуком разошлись в разные стороны, чтоб на случай ареста одного, другой мог бы своевременно наловстрять лыжи. Было условлено, что каждый будет проверять, нет ли за другим слежки. Проше поручили наблюдение за общей ситуацией.

Я видел, как у кассы дошла очередь до Проши, как он взял билеты, как отошел, осмотрел на свет билеты, как пересчитал деньги. Это он все проделал, не торопясь, деловито. Я пошел ему навстречу. Проходя мимо меня, он сунул мне билет в руки и успел быстро проговорить:

— За вами, кажется, вьется шпик. Выйдите на платформу, чтоб мне проверить.

Вначале я прошел в комнату, где был буфет. Оттуда перешел к проходу в залу третьего класса, постоял в проходе, наблюдая, и быстрым шагом направился к дверям, ведущим на платформу.

Платформа была совсем пуста. На вторых от вокзала путях стоял длинный товарный состав.

Не успел я сделать пяти-шести шагов по платформе, как позади меня завизжала вокзальная дверь и кто-то вышел следом за мной. Я продолжал идти как шел, не меняя, не ускоряя шага, и старался побыстрее осмотреть все кругом, куда мне можно было бы скрыться, если бы понадобилось.

По одну сторону от меня, на ближнем железнодорожном пути стоял товарный поезд, за ним на следующих путях виднелись отдельные вагоны, дальше за путями — что-то вроде глубокой канавы или овражка, затем — узкое открытое место и спуск на Двину. По другую сторону от меня, вдоль платформы, шла высокая решетка, которой мне не перепрыгнуть. Передо мной платформа замыкалась высокой штукатуренной стеной какого-то, очевидно, товарного склада.

Я сделал поворот назад и увидел жандарма. Это он вышел из вокзала и шел следом за мной. Теперь мы шли навстречу друг другу.

Снова взвизгнула вокзальная дверь. Из нее вышел и остановился посреди платформы Проша. Сомнения не было: это ясный знак, что шпик, следовавший за мной, передал наблюдение за мной жандарму. Наверное, жандарм вышел на платформу, чтоб «побеседовать» со мной без помехи толпы. Вижу, что у жандарма в руках что-то вроде блокнота с фотографическими карточками; может быть из Мезени уже телеграфировали о моем беге.

Жандарм на ходу взглянул в свой фотографический блокнотик и, приближаясь, стал всматриваться в меня. Неужели меня не выручит то, что моя могучая борода исчезла. Жандарм идет на меня, а я иду на него; через несколько мгновений мы

поровняемся. Я не меняю походку, я стараюсь никак не выказать своего волнения. Но ведь надо что-то предпринять! Нельзя же не попробовать улизнуть.

Я подумал: наверное, опытный конспиратор что-нибудь нашел бы в моем положении, а я не знаю, что можно найти оттого, что я неопытный, зеленый подпольщик. Я продолжаю идти, и жандарм подходит ближе. И вот у меня мелькает решение: резко повернуть к путям, броситься под стоящий товарный состав, перебраться через канаву, пробежать открытое пространство, а там Двина, там черная пустыня, там вмерзшие баржи и суда, там я потеряюсь, как песчинка, во мгле и изморози. Жандарм — немолодой, начинающий жиреть, лицо отекавшее, где же ему угнаться за мной, а пока он достанет револьвер, я уже буду под прикрытием товарных вагонов на линии. Решаю так и поступить.

Решаю ясно, твердо, и все вижу, как надо сделать. Нужен ведь один миг, всего один миг решимости: быстрый скачок в сторону пути, затем я буду под вагоном, а там бежать, бежать, и я скроюсь. Но почему-то во всем теле у меня полное оцепенение. И жандарм уже приближается ко мне. Мы поровнялись, не смотрю на него; он же, чувствую, пристально в меня всматривается, всматривается и проходит мимо. Я дохожу до вокзальной двери, делаю поворот, мы снова встречаемся и снова расходимся. Проходя мимо Проши, я встретился с ним взглядом и прочитал в его глазах, что он восхищен моей выдержкой.

Как только подали наш поезд, я забрался в вагон. Сундук из толпы как-то сердито мотнул мне головой и сделал престоное лицо. Что это обозначало, я не понял. Проша вошел за мной и сел рядом на скамейку. Мы оба были весело настроены. Казалось бы, что уже все сделано и что мы уже миновали все архангельские рифы и скалы, если бы не исчезновение Сундука. Что с ним? Куда он пропал?

Проша выходил посмотреть на платформу, на вокзал: нигде, никаких следов Сундука. мелькнул перед посадкой в толпе и как сквозь землю провалился. Я встревожился. Но за какую-то минуту до отхода поезда, когда уже вокзальный колокол начал звонить — последние три звонка, Сундук вдруг возник из небытия, сел против меня с усмешечкой в глазах, лицом к выходу.

Колокол отзвучал. По обычаю должен был сейчас же задрезать оберкондукторский свисток к отправлению, Проша поднялся, чтоб проститься и уйти. Но свистка не было. И вдруг я вижу у Сундука сбегает с губ усмешечка и лицо становится тупым, окаменелым. Что случилось? Смотрю на Прошу, — он побледнел. в глазах растерянность. Как будто кто дернул меня за шиточку, я обернулся назад к выходу: в дверях стоял жандарм. Он прокашлялся, помялся и вышел.

Проша начал пожимать нам руки — мне и Сундуку — и даже, забыв все предосторожности, проборотал что-то вроде: «Поздравляю». Сундук так сердито сказал ему «тебе пора», что это было сердитее всякого пинка. Проша убежал.

Что означало таинственное появление жандарма? Чего он хотел? — это мы так уж и не узнали. Прогремела оберкондукторская трель, прокричал паровоз и колеса загромычали: мы поехали.

— Куда ты исчезал, Сундук? — спросил я.

— Запомни, садиться в поезд нашему брату надо в самый последний момент.

Архангельск пройден! Следующий капкан мог ждать нас только в Вологде. У нас и билеты были до Вологды. Так уж повелось по ссыльному преданию, что все бежавшие на Москву и южнее избирали маршрут через Вологду на Петербург. Это затем, чтоб миновать Ярославль. опасный, кишевший шпионами-фильтрами перевал. В Ярославле железнодорожного моста через Волгу не было; надо было высаживаться из поезда на левом северном берегу, переезжать Волгу по льду и отправляться дальше с Московского вокзала, — удобная цепочка пунктов для слежки. Говорили: на десять бежавших прямо на Москву восемь превалились в Ярославле.

Наш вагон был почти пуст, темен. Желтел один закопченный фонарик. Окно было черно. Я начал дремать, но при каком-то рывке открыл глаза и спросил:

— Когда мы с тобой перешли на ты. Сундук, не помнишь?

— А зачем это помнить?

Я снова закрыл глаза, немного обидевшись на Сундука. И сейчас же подумал: а Сундук лучше, крепче меня, — я очень сентиментален, кажется. Теперь уж я не мог заснуть как в прошлую ночь на стружках у Проши, рядом с мышонком, задушенным кошкой. Слушая стук колес и визжание ветра, я думал о Москве, думал о Москве. Теперь уже едем, едем. Я

Москва с каждым часом ближе. Теперь побег уже не мечта. Теперь уж я верю, что бегу и может быть добегу. Ах, добежать бы! А вдруг по дороге арест, и опять этап, опять пересылка,— ну и что ж! В конце пути будет Мезень, и там друзья и оттуда опять побег. И несомненно льются правильно чередующиеся шквалы колесных стукот: один за другим, один за другим.

И теперь я разрешил себе подумать о Клавдии, в которую я был влюблен перед арестом. Она в Москве. Я не пускал к себе мысли о ней, пока не верил, что мой побег — реальность. А теперь как будто отодвинулся какой-то заслон, и я вижу: вот я вхожу, вот встречаюсь с ней, вот я говорю ей и она отвечает мне.

Когда я был в шестом классе средней школы, я заметил ее однажды на улице. Я шел утром в школу и сосредоточенно считал, сколько шагов от Казанского вокзала до женской гимназии на Новой Басманной, точные данные требовались для разрешения в классе какого-то спора, по которому меня выбрали судьей. Почти перед самой женской гимназией я столкнулся с Клавдией,— поднял голову и заметил ее, она улыбнулась, и я сейчас же про себя дал ей кличку: «turned up nose», «вздёрнутый нос», «turned up nose»,— повторил я,— а со счету-то шагов я сбился: так глухие девчонки мешают серьезным делам.

Два учебных года, каждый день «вздёрнутый носик» попадался мне навстречу по утрам на одном и том же месте в нескольких шагах от второй женской гимназии. И хоть эти мгновенья наших встреч были коротки, мы успевали обменяться долгим взглядом, очень долгим взглядом в одно очень короткое мгновенье. Иногда совпадало у нас с нею окончание уроков и мы попадались друг другу навстречу после школы. Ни разу за два года ничего не изменялось в наших встречах: долгий взгляд, прикрытая улыбка и уже виденье промелькнуло. Но этот роман был пойман классом и меня самого окрестили «turned up nose». Видно и в женской гимназии наш роман стал известен; на меня оглядывались ее подружки. Только по окончании школы общими усилиями ее и моего класса нас познакомили.

Как грустно мне стало, когда нас познакомили! Отчего, не знаю. Ведь показалась она мне милей, чем прежде. Здороваясь, я крепко сжал ей руку. И вот сейчас, когда завывает ветер за темным окном вагона и мы мчимся черными коридо-

рами низкорослых елей и сосен, я вижу ее,— тяжелый пучок светлорусых волос на затылке, вздёрнутый носик и синие глаза, смюкойные, бездумные.

После знакомства, при нашей второй встрече в садике при доме, где она жила, она подарила мне длинную широкую розовую ленту из косы. Год спустя при аресте, при обыске, при осмотре в тюрьме мне удалось скрыть ленту и ее не отобрали у меня. Но когда меня «за протест» избili надзиратели в бытврской одиночке до того, что у меня оторвались все пуговицы для подтяжек и сами подтяжки куда-то потерялись, я святотатственно подвязался розовой лентой, и так ходил с неделю, пока откуда-то не раздобыл поясок. За неделю лента помялась, даже поистрепалась, но я продолжал ее хранить и сейчас она лежала у меня в кармане.

Вдруг я открыл глаза и объявил Сундуку:

— Я поеду прямо на Москву.

Он спросил:

— Через Ярославль?

— Да!

— А почему так?

К этому вопросу я не был готов и ответил:

— Хочу скорей видеть кое-кого из близких.

— Не дело.

Но уговоры Сундука на меня не действовали. Мне хотелось скорее увидеть «turned up nose». Сундук уступил, но сказал:

— Эх, ты! у меня под Москвой жена Агаша и дочь Лизок, маленькая, пяти лет. И то ничего. А ты еще желторотый, желторотый воробей.

— Я уж и то отчаиваюсь,— сказал я,— как посмотрю на себя. Пожалуй, не выйдет из меня настоящий подпольщик.

Сундук рассмеялся. Я взглянул на него и не пенял, как он считает: выйдет или не выйдет.

— Ты меня, наверное, и за архангельского Федотыча ругаешь,— спросил я.

Сундук рассмеялся еще веселей и сказал:

— Нет. За Федотыча я тебя не ругаю.

Он помолчал, подумал и прибавил:

— За одно снокоен: приедешь в Москву, тебя направо к ликвидаторам не потянет. Как бы ты только не начал косить на левый глаз. В этом я еще не уверен,— очень ты еще необъезженный жеребенок, брыкаешься.

В Вологде мы с Сундуком расстались, условились встретиться в Москве. Поезд в Петербург отошел раньше моего поезда на Ярославль. Когда Сундук уехал и я пошел к московскому поезду, мне показалось, что у меня изменилась походка, как будто я потерял тросточку, на которую опирался.

Перед Ярославлем часа за полтора я пошел по вагону в поисках попутчиков на извозчика через Волгу. В каком-то купе сидела богато одетая дама. Полки были заняты несколькими чемоданами. Я сел напротив дамы. Заговорил с нею. Мы познакомились. Дама ехала в Москву.

В Ярославле я предложил ей переезжать Волгу вместе. Из вагона я вышел с дамой, неся в каждой руке по чемодану. Разве кто бежит из ссылки с богато одетой дамой и с тяжелыми шестольскими чемоданами. Думаю, швытки едва ли мной заинтересовались.

Переехав Волгу, мы должны были ждать поезда на Москву еще часа два. Я пригласил даму ужинать в ресторан в зале первого класса; выбрал место на самом виду, по середине зала, мод лоустрой, за большим столом.

Во время ужина мне видно было, как залетали в зал шныки то один, то другой; вбегут, осмотрят зал по углам и скучающе повертывают обратно: народу в зале нет, только какая-то парочка щебечет за ужином.

При посадке я намеренно потерял свою спутницу; в вагоне я взобрался на верхнюю полку и проспал до самой Москвы без тревоги.

## ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

### 1

Вот и Москва! Выхожу с Северного вокзала. Меня несет волна колышавшей толпы, плывут вокруг меня мешки, сумки, узелки, кошельки, — на руках, на спинах, на головах людей. Шумит, гремит, звенит трамваями Каланчевская площадь. Сотни извозчиков длинной вереницей, тесно, оглобля к оглобле, построились перпендикулярно к тротуару задками саней и вроде стаи гусей при перелетах кричат, гогочут:

— Пожа, пожа, барин, пожа; прокачу на вятской шведке; пожа по первопутку!

Как я люблю Москву! Но сейчас кажется она мне чужой. Куда идти?

За полтора года, что я не был в Москве, друзья развезены по тюрьмам и

ссылкам. Многие ли и кто из них остались на свободе? И где их искать? Если мать и сестра в Москве, то где-то около них меня подстерегает слежка.

Москва сейчас для меня — как безбрежный океан без единой точки, куда бы можно пристать, без островка, без суденышка в поле зрения, без живого пятнышка среди однообразных равнодушных волн.

Приехать после далекого пути, выйти из вокзала и идти по улицам, не зная куда и зачем идешь, — это вызывает ощущение и свободы, и подавленности.

Но мои ноги знали куда идут. Это как у английского поэта, Шелли в «Индийской серенаде»:

And a spirit in my feet  
Has led me who knows now  
To thy chamber's window, sweet!

«И какой-то дух в моих ногах тривел  
меня, кто знает  
как, под окно твоей светлицы,  
радость моя».

Я очутился у подъезда, где жила Клавдия. У меня сильно забилось сердце. Руки побелели, наверное и лицо.

Неожиданно парадная дверь распахнулась. Вышел старик, взглянул на меня и спросил:

— Вы к нам?

Не знаю почему я ответил:

— Нет.

Старик зашагал по улице медленным шагом человека, погрузившегося в сложные размышления. Это, очевидно, отец Клавдии, известный московский ученый, гидроэлектрик. Клавдия не успела меня познакомить с ним до моего ареста.

Значит, теперь Клавдия дома одна. Я рассердился на себя: для того ли я бежал из ссылки, чтобы заниматься такими встречами? Но какой-то голос сказал: «А почему ты поехал прямым путем на Ярославль?» И уж лучше бы этот голос не напоминал мне таких обидных вещей. Я пошел прочь от дома Клавдии. Успею повидаться после. А, может быть, я боялся узнать, что меня здесь уже не помнят?

Я решил скорее идти разыскивать междугородную комитетскую явку.

В квартире известной пианистки я должен был сказать: пароль: «Здесь ли продается по объявлению текинский ковер?». Мне должны были ответить: «Ковер уже продан, но можете поговорить с хозяйкой». Услышал же я ответ иной. Добродушная полная женщина, раскрасневшаяся, вид-

по только-что оторвавшаяся от стряпни у плиты, сказала:

— О коврах мы не объявляли. Фрак подержанный, изволь, покажу.

— Не нужен фрак.

— А ты не говори не нужен, не посмотрев. Взгляни сначала.

Не слушая меня, она крикнула:

— Феона, тащи фрак, скупщик зашел.

Пришлось осмотреть фрак.

— Не годится,— сказал я.

— Постой, не уходи. Взгляни на свету. За двадцать отдам.

Я убежал. Вдогонку она мне крикнула:

— Скажи твою цену чем бежать-то.

Очевидно, к нам в ссылку завезена устаревшая, теперь отмененная, явка.

## 2

При выходе из ворот дома, где жила певица, я увидел человека с синеватым лицом, с потухшими глазами, который шел прямо на меня, не видя ничего перед собой. Я узнал его и, узнавши почувствовал неясный трепет тревоги,— она и в голое моем сказалась:

— Григорий,— окликнул я.

— Какой я вам Григорий? Я к вам в лакеи не нанимался,— пробурчал Григорий, не оглянувшись.

Я оставил его. Он, наконец, узнал меня, но не выказал никакого душевного движения. Он начал оживать и вроде как просыпаться от какого-то тяжелого сна только под напором моих вопросов. А для меня от этой встречи Москва вдруг стала опять как всегда своей, привычной, близкой, теплой и понятной.

— Григорий! Как я вам рад!

— Рады? мне? Это дело чудное... Ну, ладно.

Григорий — булочник, по летам чуть старше меня, почти ровесник, познакомился мы с ним в Серпухове летом, за месяц до моего ареста, и подружился по-юношески радостно и светло. Но мне не удалось сделать его совершенно нашим. Если бы мы встретились в весну революции, когда она была на подъеме и победоносно шла в наступление, он, наверное, пошел бы за нами. Но встреча произошла, когда уже начиналось отступление с тяжелыми жертвами.

Григорий был по характеру склонен к мрачности. Ум у него был самостоятельный, упорный, недоверчивый, забирающий вглубь, и вместе на грани хорошей детской наивности. Он был философ по силе своего мышления, а читал по складам и

был полуграмотен. Увидя у меня на столе «Эмиля» Руссо, он выпросил у меня эту книгу и полюбил Руссо; их умы были родственны друг другу. Григорий писал стихи — плохие.

Он носил широкополую шляпу, как Горький молодой поры, и любил рассказывать про него своим товарищам-булочникам: «Максим Горький тоже булочником был». Про революцию Григорий говорил: «Принимаю умом, но сердцем пока еще нет. А что сознано умом, то неспрочно. Надо, чтоб через сердце прошло».

Мы вышли с Григорием на бульварчик и сели на скамью.

— Что же с вами теперь, Григорий? Вы больны? Вы такой бледный?

— Нет, не болен,— жить что-то не хочется.

— Вы дрожите? Вам холодно? Зайдем куда, где тепло.

— Нет куда не пойду.

— Вы работаете, Гриша?

— Нет. Давно голодаю.

— Пойдемте сейчас же. Поедим вместе. У меня есть деньги.

— Не надо. Я обтерпелся. Мне не хочется есть. И денег не возьму никаких. Зачем я их возьму? Возьму, истрачу, а потом?

— Григорий, я понимаю вас. Но теперь все будет иначе. Мы вам поможем. Мы найдем вам работу.

— А зачем? Мне бы писать...

— И писать будете.

— Да зачем и писать? Разуверился я что-то во всем, Павел. Вон она Москва стоит, вековая.

Он показал на толпу народа, которая выходила из церкви от поздней обедни. День был воскресный. Ветер носил над городом колокольный трезвон.

Григорий продолжал:

— Тысячу лет тому назад молились богу и грызли друг другу горло и тысячу лет дальше так будут. И ничего с ними никто не поделает. Говорят — Москва, что доска, спать широко, да кругом метет. Тут надейся только на себя, никто не поможет, никто не пожалеет. Я все пробовал. На завод поступил, не поправилось. Я не люблю заводы, я люблю леса, речки, поля.

— А с нашими людьми неужели не встречались?

— На заводе я чувал, кто занимается политикой, да очень осторожны стали, друг другу не доверяют, а меня, как нового, сторонились. И я не правился никому.

Меня один старик-рабочий все звал блаженным: блажной, говорит, ты.

С интеллигентами встречался, тут я им нравился, а они мне не понравились. Может, редкие есть из них настоящие, а больше такие, что для них люди вроде меня — игрушки. А революция — это им как в гости разодеться, на праздник сходить от своих будней; да так, чтоб — захочу — пойду в гости, не захочу — дома останусь; в гостях хорошо, дома лучше. А когда в гостях колошматить по чем попало начали, то они сообразили: лучше дома посидим и ушли домой. Им есть из чего выбрать. А таким, как мы, выбирать не из чего. Я бродяжить ходил. Первое время счастливый был. А потом тоска одинокая взяла. Я не говорю про голод. Голод, это можно перенести, а вот надежды когда нет, перенести нельзя: ничего впереди!

— Григорий, пойдем отсюда. За мной какой-то тип, кажется, следит.

— Значит, вы не изменили своему делу? Занимаетесь попрежнему?

— Занимаюсь.

— А на вас друг какой не доносил?

— Нет.

— Ну, донесет. Теперь это сплошь да рядом делают.

— Вам холодно, Григорий. Пойдемте в чайную, в трактир.

— Холодно. Вот это-то и главное: полушубок-то мой, помните, овчинный, вы смеялись, что я летом на заре полушубок надевал. Вспомню этот полушубок, и хоть в прорубь головой.

— Что так?

— Я учительницей одной увлекся с Пречистенских курсов. Ее любили все рабочие. Доверяли ей. И я к ней ходил. Она стихи мне поправляла, ругала за них и «Диалог об искусстве» Луначарского мне вслух читала. Захворал у нее муж. Такой замечательный муж, галстук бантом, очки, усы брил. — во все ее дела с рабочими вникал. Захворал он, и я отдал ему полушубок свой, чтоб ему теплей было. Они, все-таки, нуждались. Я ей нравился. Она мне букет вечером один раз, когда я уходил, подарила и заплакала. Утром я понял, что она меня полюбила. Понял и с утра раннего побежал к ней. А мне говорят: скончалась, ночью отравилась. Чем говорю отравилась? — серными спичками; развела в стакане и выпила. Увезли, говорят, в больницу и там скончалась. Отчего же это она, спрашиваю. А мне отвечают — вначале так оглянулись по сторонам и потом шепотом: открылось, говорят,

что муж-то ее провокатор, через нее расспрашивал и выдавал; она, как узнала, так и не перенесла. А я этому стервецу полушубок свой отдал, а? Пожалел его!

На бульваре оставаться долго мне с Григорием нельзя было. Привязался какой-то подозрительный человек, который явно следил за нами. Мы условились с Григорием встретиться позже в этот же день; он указал, в какой чайной, назначил часы и очень настаивал, чтоб я пришел точно.

— Буду ждать. А не хочется встречаться с таким, как я стал теперь, то не приходите. Не обижусь. Буду считать, что со мной скучно и что я того заслужил.

### 3

Я расстался с Григорием, весь охваченный желанием скорее связаться с нашими, скорее войти в гуцу нашей работы. Общее положение мне начинало казаться еще тяжелей, еще сложнее, чем мы узнали в ссылке из рассказов Сундука.

Не имея никакого следа, чтоб найти организацию, я отправился искать наудачу кого-нибудь из отдельных товарищей. Самое верное место была студенческая столовая-буфет в новом здании университета на Моховой, в нижнем этаже левого крыла. Мы часто там назначали так называемые летучие явки, когда надо было перекинуться двумя-тремя деловыми сообщениями с товарищами или передать срочные поручения. Там всегда стояла такая сутолка, такой гам! При этих встречах требовалось одно обязательное условие: не делать никаких записей, запоминать все наизусть, не доставать из карманов и не передавать друг другу никаких записок, если же в крайнем случае надо было передать какой документ, то вкладывать его в книжку и выбирать для этого какой-нибудь известный университетский учебник.

Мой расчет оправдался. Я встретил в студенческой столовой товарища из Замоскворецкого района. Его кличка была по подпольной работе Полторавасиль. Когда он появился на заводе «Добров и Набольцы», рабочие его прозвали Полторавасилья. Он скоро стал в заводской организации среди всех самым деятельным и точным. Про него говорили: «Если Полторавасилья сказал сделаю — то делает». На завод он пришел из солдат и был замечательный стрелок, брал призы. У нас он стал организатором по боевой



подготовке. По воскресеньям он отправлялся с небольшими группами рабочих в пять-шесть человек в рощу за деревню Нижние Котлы и там обучал стрельбе. Он же держал на учете районное оружие и нес за него ответственность перед Комитетом района.

Встречу нашу в столовой мы разыграли так, как будто мы за час до того расстались. Мы даже не сказали друг другу «здравствуй». Увидя меня, Вася спросил: «Тебе с чем взять бутерброд?»

Прожевывая бутерброды, стоя в уголку, мы наскоро сказали друг другу что надо было. Меня поразило, что Вася несколько смутился, когда я спросил у него районную явку.

— Я пока не знаю, но узнаю для тебя. Приходи ко мне.

Он дал мне свой собственный адрес.

— Только не приходи сегодня. Я к кружку готовиться буду.

— Я, Вася, приду завтра.

Затем громче я сказал:

— Коллега, я спешу на лекцию, до свиданья,— и ушел от Васи.

Теперь хотелось бы мне отправиться к Клавдии. Но подходил час встречи с Григорием.

Я уже приблизился к чайной, где должен был ждать меня Григорий, как оттуда раздались крики, засвистели кругом полицейские свистки; полетели из окна чайной осколки разбитых стекол. Очевидно, разразился какой-то пьяный скандал. Мне, беспаспортному, надо было держаться от таких происшествий подальше.

Пришлось долго пережидать, пока не унялся скандал. Я рискнул войти в чайную только после того, как городовые под наблюдением окологородного пристава увезли оттуда на извозчиках трех окровавленных людей, выкрикивавших яростные ругательства.

Как только я переступил порог чайной, я наткнулся там на новое происшествие: в большом переднем зале все суетились, шумели и теснились перед входом в маленькую заднюю комнату. Я тоже был захвачен людским водоворотом и отступать было трудно. Из задней комнаты кричали: «Молока, молока скорее». Какой-то бабий голос закричал: «Городовой! Караул!» Высочившая из задней комнаты баба, накинута на нас столпившихся в передней зале: «Чего дураки стоите, там человек погибает, а вы стоите».

Из задней комнаты крикнули: «Выноси. Расстучись которые!».

Затем, мимо меня пронесли Григория. Его руки висели, как плети.

К нему никого не подпускали. Его положили в сани и увезли в больницу. Что же случилось?

Половой в грязной белой рубаше, подпоясанный малиновым поясом с кистями, рассказал мне:

«Я сразу, как он вошел, догадался: этот что-нибудь неспроста, сел и все на часы смотрел. Даже спросил: «верные у вас часы-то?» А я еще засмеялся и отвечаю: «сами знаете, счастливые часов-с не наблюдают». Он же мне: «А сам ты, говорит, скотина, счастливый?» Не пойму, говорю, чего сердитесь, я вам ответил, как в театре играют, в «Горе от ума-с». (Половой так и произносил в одно слово: в горе-отуме-с). Он спросил пару чаю и говорит: «дай киятку, погорячее». Вынул бумажку, чего-то начал писать. Да не так писал, как больше карандаш во рту мусолил. Знаете, я откровенно думаю, не до писанья ему было: момент критического положения не подлежит перу. Я еще подумал: у бродяг и у наших любимое дело головка серных спичек в киятке разводить и пить вместо чаю. И вот меня отозвали в переднюю залу. Он остался здесь. А когда я вернулся, он был уже почти каюк. Хлебнул серных спичек в киятке. Чего он писал в записке, узнать бы. Да куда-то она делась. Может на себе оставил, тогда в участке найдут и потом в «Московском листке» опишут».

Я сел за столик, за которым сидел Григорий в свои последние минуты. Против столика на стене висели часы с гирькой.— Григорий на них смотрел, может быть, ожидая меня. Нога моя задела на полу под столом какую-то бумажку. Я велел половому подать мне чаю, и когда он вышел, я нагнулся и поднял с полу записку. В ней были стихи. Я узнал почерк Григория. Наверху стояло заглавие: «Посвящаю разочаровавшемуся во мне другу Павлу». Затем шли три строки в столбец.

«Ты с душою чуткой человека,  
С душой пламенной, открытой,  
Внемлешь шуму сего века.

Сбоку мелко была записана, очевидно, тема последней строки, для которой Григорий не успел найти форму.

— И в высоких пределах ум.

Я решил ехать в больницу, куда увезли Григория. Может быть я еще увижу моего друга?

Вернулся половой и сказал: «Приехали из больницы, говорят, умер. Молодой еще был. У меня тоже брат на японской войне молодой скончался от пуль. Ну, я так думаю откровенно: лучше умереть на бранном поле, чем на предсмертном одре».

#### 4

Я вышел на улицу. Дворники одни скребками чистили тротуары, другие разбрасывали, как сеятели из кошолок, золотистый песок под ноги прохожим. Я шел и то натывался на скребки, то попадал под развеваемые пригоршни песку.

— Эй, шапка, песок на себе весь растаскиваешь, — крикнул мне какой-то мальчишка.

В другом месте дворник заворчал: «Эй, воротник, берегись, калоши порежу». И вдруг мне подумалось: «там в ссылке я был счастливей, чем здесь».

Я отправился к Клавдии и все-таки, несмотря ни на что, дрожь радостной тревоги пошла по всему моему телу, когда я стал приближаться к дому профессора. Я еще не подошел к двери, не позвонил, но видел ясно, что сейчас будет: вот я нажму звонок, вот откроют дверь, вот я спрашиваю, Клавдия слышит мой голос, выбегает из комнаты в переднюю; увидев же меня, она обязательно застыдится, примет, наверное, равнодушный вид. может быть, даже суровый, — потом, заговорит очень тепло, а когда увидит, что я рад ее вниманию, ее ласковости, то рассердится и на меня и на себя, станет насмешлива, придирчива, будет дразнить меня и мучить. Сейчас я это все понимаю, а тогда мне будет тяжело, я буду страдать. И так я буду целый вечер качаться на этих волнах, то взлетая на гребень радости, то падая в шину отчаянья, то убежденный, что меня любят, то ужасаюсь, что я неинтересен, противен. А потом я расскажу ей про Григория. Она станет сразу серьезной. Может быть, она будет винить меня за то, что я опоздал к Григорю. Но как же мне, беспаспортному, можно было идти в чайную, когда там была полиция?

Но вот и дверь. Вот дощечка с надписью: «профессор Иван Матвеевич Селвестров». Надо звонить. Я рад бы убежать, исчезнуть, не существовать, но надо звонить.

Я позвонил. Мне открыла дверь прислуга, которую я раньше не видел, когда был у Клавдии до ареста. Я спрашиваю

Клавдию, нарочно громко, чтоб она услышала и прибежала из комнаты.

— Барышни нет дома.

Это мне кажется ужасным. Я не знаю, что сказать, что делать дальше.

— А наша барышня каждый вечер пропадает до позднего. Да нешто мы знаем, где бывает. Никогда не скажет. Я уж и то смеюсь над ней: «не роман ли завели?» А она тоже смеется. Нешто поймешь чего смеется. Ждать зря будете. Нынче уж не приходите. Поздно ворочается. Иван Матвеевич дома, — доложить?

— Нет, я пойду.

— Это у нас бывает тоже, — приходят к барышне такие, которые и не хотят докладывать к Ивану Матвеевичу. А как про вас сказать барышне кто был?

— Не говорите ничего.

Я направился прямо к Васе. Не беда, что он просил не приходить сегодня.

Скребки дворников все также взвизгивали, расчищая тротуары. И это взвизгивание окрашивало всю уличную суету какою-то бодростью, энергией. И я шел, видя все кругом, полный дум о своей будущей работе, о своих планах. И только где-то очень глубоко, на дне души, лежало темное, темное отчаянье, как какой-то ничем неразстворимый сгусток, осевший от впечатлений последних дней. начиная с Архангельска.

#### 5

Вася жил на Шабловке в доме, при котором содержался постоянный двор. На вывеске «Двор для извозчиков» буква «Д» отломилась, свисла и легла поодаль. так что вывеска читалась: «вор для извозчиков». Я прошел мимо саней, мимо лошадей, с подвешенными к морде мешками с овсом, и спустился в подвальное помещение деревянного флигеля, стоявшего в глубине «вора для извозчиков». Каменные приступки лестницы в подвал обледенели, и я скатился вниз, чуть не поломав ноги. Звонка на дверь не было. Я стал стучать. В квартире стоял шум, меня не слышали. Наконец, открыл Вася.

— Ты зачем же сегодня? — спросил он меня недовольный и озадаченный. — Ну, входи. Ладно.

Мы вошли в темную сырую комнату.

— Побудь в прихожей, а я сейчас к тебе выйду мигом.

Вася ушел за перегородку. До меня долетело, как он сказал кому-то: «Убирай всю эту веселость. Монах святой пришел». В ответ кто-то захохотал. Какой-то зна-

комый мне голос крикнул: «Эй, вы там, входите смелей. Тут народ хороший».

Я вошел. В это время Бася прятал бутылку водки со стола.

— Зачем прячешь, Вася? — сказала я, — ничего плохого в этом я не вижу.

Вася угрюмо ответил:

— Не хочу я этого сам, а не тебя стесняюсь. У нас разговор предстоит боевой. И незачем водку к этому мешать. Это все Мишка выдумывает. Он теперь без водки разговору не признает.

— А вы что ж меня, Павел, не узнали? — вмешался в разговор Миша.

— Это — наш с Доброва-Набогальца, — сказал Вася.

— Да, Миша, я вас не узнал и не узнаю.

— Значит, намекаете, что я хуже стал.

Михаил по летам был моложе Васи. Но в организацию вошел раньше и потом привлек Васю. Миша был очень влиятелен на своем заводе, особенно среди молодежи. Он зарабатывал хорошо, одевался чисто, брился, носил крахмальные воротники, бывал по театрам, покупал горьковские сборники «Знание». Теперь он отпустил бороду, щеки его стали одутловаты, глаза помутнели.

Кроме Михаила и Васи за столом сидел человек лет сорока, рябоватый, одетый городским франтом, но с повадкой и лицом туловатого деревенского жителя. Он поспешно рекомендовался:

— Сторонник доктрины Махайского, считаю людей умственного труда паразитическим и эксплуататорским классом, социалистов считаю самыми опасными врагами людей физического труда. Образование есть орудие насилия одного человека над другим. Однако, отдельным личностям из образованных и из социалистов в виде исключения подаю руку, но советую заниматься физическим трудом и зову к свержению дисциплины. Будьте здоровы!

— Будет тебе вертеть эту шарманку, — крикнул на махаевца Вася и пояснил мне:

— Я с ним спору до чертей и вчера ему чуть рожу не расквасил за такие проповеди.

— Ничего, Василий, найдем общую платформу на практике, нас мускулы сблизят, а? Так или нет? Мы без лишних умствований, мускулами будем действовать и свергать. Будьте здоровы.

Я попросил налить мне стакан водки:

— Я почти целый день провел на улице и очень озяб. И просьба и мотив были хорошо приняты:

— Озяб, надо выпить. — одобрил махаевец.

После этого я был включен в беседу не как посторонний, а на равных правах.

Василий прислонился к стене, скрестил на груди руки и заговорил:

— Я пить не буду. Этот Мишка, чорт, норовит залить в меня водки, а я не буду. Мой отец говаривал: «Душа горит». И я не понимал раньше, что это значит. А теперь, ребята, верьте, понял. И... как досадно бывает, обидно!.. Как хочется все к дьяволу сломать и перевернуть по-своему всю проклятую лавочку кругом!! Друзья, да нас же бьют. Мы же отступаем. А зачем? Нас убеждают: таковы законы истории! К чорту их эти законы! Лишвадатеры те говорят в открытую: сдавайся Стольпину. А наши большевики сложно говорят: курс, мол, держи на революцию, готовься к ней, копи силы и возись со всякими легальными щелями и лазейками. А я говорю: нет, без лазеек, без щелей, готовь восстание. Знаю, ты скажешь, восстание готовят, когда идет массовое движение, когда подъем, а следующий подъем, мол, далеко. А кто это докажет? Ты посмотри кругом: народ задавлен, сколько казней, сколько самоубийств. Руки сами сжимаются в кулаки, руки просят оружия, дайте оружие и восстание готово. Но мы не даем оружие. И люди бегут от нас. Вот, Мишка, рабочий Мишка, он уже ушел от нас, ушел влево. А интеллигенты бегут вправо. Они теперь основывают кружки для изучения полового вопроса. Что? Я не так говорю? А ну-ка, спроси знакомых барышень куда они бегут, на какие кружки, на революционные или на половые?

При этих словах Васи я почувствовал, что краснею. Вася закрычал:

— Ага, покраснел, как рак. Значит уже на какой-то подобный случай нарвался. Дела нет, Павел, я не вижу дела. Дайте мне настоящее революционное дело и я никуда не уйду, ни вправо, ни влево. Я на баррикадах дрался. Я не умею революцию готовить в больничных кассах и в кооперативе. Я хочу обучать людей как городских битых, исправников, станových, а буржуй подвернется — и буржуев. Налей, Мишка, мне стакан водки. Не хочу, а выпью.

Вася осушил большой стакан водки и сказал:

— Я рад, Павел, что ты приехал. Ты поддержишь нас, левых. У нас в районе появилась новенькая секретарша, она не знает, что такое наше революционное

Замоскворечье, что здесь нельзя так бить левых, как надо бить ликвидаторов. Что ты скажешь, Павел?

— Я хочу, Вася, дослушать тебя до конца.

— Я так и знал, что ты хороший парень, Павел. Ты спокойно разберешься. Вот для какого дела мы сошлись...

Миша перебил Василия:

— Ты как хочешь, конечно, Василий, но почему я должен давать отчет кому бы то ни было.

Махаевец тоже поддержал Мишу. Им обоим не хотелось, чтобы Вася советовался со мной. Василий, наконец, уступил им:

— Хорошо, Павел, это тебе и не надо знать.

Но из их перебранки мне ясно стало, что Михаил и махаевец просят у Васи револьверы «взаимобразно» на какое-то сомнительное «боевое» анархическое «дело».

Уговаривая Васю не разглашать секрета, махаевец обронил мимоходом:

— Чего тебе разрешение спрашивать? Чего тебе советываться? У тебя дело, будь здоров: дашь шесть собачек боевых людям, боевые люди с этими собачками денег достанут, а с деньгами раздобудут для тебя двести собачек. Чего лучше? Ты двести человек вооружишь, вот тебе и боевая дружина. А не веришь нам, изволь, участвуй с нами вместе... для контроля. Наши ребята спорить не будут.

Я пробовал выжить гостей, пробовал увести Васю, пробовал, наконец, отсрочить решение, Михаил сказал:

— Васька, не трепись, что хочешь, а сначала выдай обещанное. Ты же сказал, что все у тебя уже здесь, что все приготовлено, только взять. Вот мы и возьмем и уйдем и ты перед нами чист и иди куда хочешь с Павлом.

Вася заколебался. Махаевец поднялся, стукнул кулаком по столу:

— Не надо, Васька! К чорту всю эту музыку! Но помни, Васька! Не забудь, как мать тебя любила. Когда мне говорят сразу: «нет», — я ничего, а когда «да» — у меня на это правило: сухо дерево, завтра пятница, а в делах назад не пятиться. А ты компанию водил с нами, потом, то да, то нет. Ладно, придет время, поговорим с тобой на узенькой дорожке.

Пора было вмешаться. Я сказал:

— Вася, ты не имеешь права распоряжаться оружием. Спроси организацию. Подумай, Вася.

Махаевец захохотал и передразнил меня:

— Подумай. К умственному труду призываюте. Мы будем мускулами действовать.

Вася накинулся на меня:

— А ты имеешь право запрещать мне? Но имеешь, не имеешь. И никто не имеет: я отвечаю, я и распоряжаюсь.

В это время в дверь снаружи постучали. Никто не тронулся. Постучали еще сильнее. Вася не шел отворять. Стук еще настойчивее.

— Кого это чорт несет. У меня и спрятаться негде. В крайнем случае я задержу в прихожей, а вы бейте раму и в окно.

Миша спросил:

— А где револьверы?

Василий сделал знак, что, мол, в надежном месте и побежал отворять.

Мы волтушивались, ждали. Донесся тихий женский голос. Он показался мне очень знакомым. Василий вошел в комнату первым и успел шепнуть мне:

— Явилась секретарша нашего района. та новенькая, строгая-то.

За Василием сейчас же следом вошла Клавдия. Клавдия ли? Но ведь Клавдия никогда не была революционеркой. Она ли? И лицо другое: озабоченное, усталое, нет бездумной глади прозрачных глаз.

Клавдия так поразила меня, что остановилась на месте и побледнела.

— Вы в Москве, Павел?

— Я приехал.

— И не дали знать.

— Я зашел.. мне явку... нужно. Чувствую, что говорю не то, что говорю холодно и не знаю как поправить.

Махаевец расправил усы и обратился к Клавдии:

— Не угодно ли с нами.

— Что не угодно ли? — сухо спросила Клавдия.

— Да хоть бы присесть за стол.

— Я пришла сюда по делу. И я спешу. Мне нужно сейчас же поговорить с Василием. Может быть, вы уйдете отсюда на минутку. И вы, Михаил, тоже уйдите.

Клавдия говорила запальчиво и резко, как человек, который заранее приготовился к бою, к скандалу и торопится сразу перейти к решающей минуте. Этот ее тон настроил махаевца на сопротивление:

— А если бы я не ушел.

— Ничего бы вы не достигли. Я бы взяла Василия в другую комнату. Только и всего. Ну я вас прошу, уйдите.

— Понямаю, — сказал махаевец, — вы пришли нам помешать, вы заодно с этим вот Павлом. Решай, Миша.

— Я решу, — ответил Миша. — засмеявшись. Он достал из кармана револьвер и быстро навел его на Клавдию. — Руки вверх! — кричал он.

Клавдия посмотрела на Мишу в упор и не подняла рук вверх. Махаевец же машинально поднял, но в то же мгновение опустил руки. Вася, стоявший рядом с Михаилом, стремительно размахнулся, чтоб выбить у него оружие, но Миша отвел руку, спрятал револьвер и очень довольный сказал:

— Ай-да девушка. Выдержала экзамен. А ты, махаевец, струсил.

— Дурацкая у тебя шутка, — сказал Василий.

Миша встал и раскланялся с Клавдией:

— Я вижу надо уйти, не выйдет с Василием. Пойдем, махаевец!

Но Клавдия его остановила:

— Миша, вы читали Нат Пинкертон.

— Читал. И Пинкертон читал и Арсена Люпена читал и очень нравится. Больше, чем Толстой и Горький.

— Вот у вас и появился дурной вкус. Начитались этой ерунды. Вы знаете, Михаил, недавно статистику опубликовали: все гимназисты помешались на сыщических романах. А разве вы гимназист? Вы рабочий, Миша. Мне очень нужно поговорить с вами. Требуется на одно дело хороший, смелый человек, вроде вас.

Михаил вначале сделал вид, что предложение Клавдии его не заинтересовало. Но видно было, что он польщен. И действительно, уходя, он спросил Клавдию, куда ему прийти поговорить с нею об этом деле.

После того как махаевец и Миша ушли, Клавдия объявила:

— Комитет обязывает вас, Вася, сдать оружие.

Вася спросил:

— Кому? Комитету?

— Да. Комитету.

— Комитету я и сдам.

— Но Комитет уполномочил меня принять от вас.

Вася был потрясен, обижен.

— Значит, мне не доверяют. Хорошо. Сдам завтра.

— Нет, Вася, вы должны сдать сейчас же. Я за этим пришла.

— Все это, Клавдия, вы выдумали на ходу, только-что. Увидели у меня Мишку и боитесь, что он вернется, когда вы уйдете и выключит у меня револьверы. Вас бы одну за револьверами и не послали. Да и как вы их понесете.

Клавдия распахнула шубку:

— Ведь у вас шесть револьверов, Вася? Смотрите, я сшила шесть карманов на халате.

Под шубкой у Клавдии был надет поверх платья холщевый халат с шестью карманами по бокам, на каждой стороне по три. Вася отошел к столу, сел и сделал нам знак подойти к нему.

— Садитесь, пожалуйста. Значит, будет у нас серьезный разговор. Садитесь.

Я ждал как поступит Клавдия. Она не села к столу. Остался и я стоять. Вася оперся головой на руки и просидел с минуту молча. Затем поднял голову и сказал: — Нет, не будет никакого разговора. Зачем разговор? Я револьверы вам, Клавдия, отдам. Раз так решили, что я должен отдать, — отдам. Подождите меня немного.

У него оказались очень сложные приспособления под русской печью для хранения оружия. Он с гордостью и с горечью все это нам показывал, объяснял и все поглядывал на Клавдию, вроде, как надеясь и ожидая, что она вот-вот скажет: «ну, мол, Вася, вы так замечательно прячете, что грех все это у вас отбирать». Но Вася не дождался таких слов. Все шесть револьверов один за другим были извлечены из хранилища, а Клавдия так и не сказала Васе ничего утешительного. Вася вздохнул:

— Конечно, я понимаю. Значит меня подозревают, что я могу скатиться, как Миша, к авантюристам. Может быть, даже вы думаете, что я, как Мишка, пойду на эксы. Мишка-то ведь ходил на эксы.

Еще в ссылке я слышал, что экзами стали называть «экспроприации», налеты на казенную и частную собственность. Но и на эти горькие слова Васи не последовало от Клавдии никаких разувверений, как он может быть ждал, никаких соболезнований, никаких обещаний на будущее. Сурово она с ним обошлась, — впору было так поступить самому Сундуку. «Ну, что же делать» — сам утешил себя Вася.

Я предложил Клавдии, что револьверы отнесу я, куда она скажет. Она не согласилась: «во-первых, это поручено мне, а не вам; я и должна выполнить; во-вторых, для вас это было бы очень не конспиративно; вы только-что приехали и документы у вас еще не в порядке».

— Ну, дайте, я понесу часть, а то вам тяжело.

— Зачем же рисковать провалом двоих. Бессмысленно.

Когда мы шли с Клавдией по «вору для извозчиков», она попросила меня взять ее

под руку и прижалась ко мне. Мне показалось, что она слегка дрожит.

— Вам холодно, Клавдия?

— Нет, мне немного страшно. Здесь какие-то люди странные, кафтаны на них эти длинные, такие неприятные. И я лошадей очень боюсь. А тут и собаки бегают.

— Вы такая же трусиха, как и были?

— Что вы! Еще хуже стала трусиха. Я даже и кошек побаиваюсь.

— А как же вы шли сюда одна?

— Знаете, не помню, как я прошла одна через этот двор, по-моему я забыла трусить потому, что все время думала, как я с Васей расправлюсь. Я знала, что у него Миша и махаевец. Скажите, я смешная стала? Я хуже стала? Ах, Павел, я совсем, совсем теперь другая, не та, как вы меня знали раньше.

— Расскажите мне, Клавдия, как вы стали с нами; ведь вас раньше все это дело не интересовало.

— Нет, Павел, не надо об этом на улице. Я ствезу и отправлюсь домой и вы к нам придете. Придете? Я буду рада, Павел, приходите! Я вас с паной познакомя.

Мы вышли из «...вора для извозчиков». Я шел с ней под-руку. И мне казалось, что я совершенно свободный человек, что за мною не может быть слежки, что я счастливей всех. Небо было очень высокое. Где-то за домами скрывалась луна, свет от нее был разлит по крышам и по мостовой.

— Помните, Клавдия, как мы встречались около вашей гимназии и как тогда... Да, вообще-то вы помнили обо мне?

— Я вам писала.

— Но помнили? Или не помнили?

Клавдия рассердилась:

— И об этом не надо на улице говорить. Я сейчас занята делом, Павел. Скажите, зачем вы идете со мной? Отправляетесь к нам и ждите меня. Я скоро вернусь.

Я сказал ей, что не поклоню ее. А она объявила, что не допустит, чтоб я шел с ней вместе. «И зачем нам рисковать двоим». Я настаивал, что останусь с нею.

— А вы основное конспиративное правило знаете,— сказала она,— говори не тому кому можно, а только тому кому нужно. А разве вам нужно знать куда будет отвезено то, что сдал Вася.

— Я ужаснулся ее словам. Я понимал ее логику. Но что, если она мне не доверяет? Как было бы горько сознавать, что в ее душе такой мрак, что наши доведены до такого состояния.

— До чего же вы дошли. Вы меня считаете?..

Клавдия заволновалась не меньше моего. Она не знала, как успокоить меня и все повторяла: «Вы только зайдите к нам, вы только подождите меня там, я вам потом все. все объясню.

Мне хотелось уйти от нее сейчас же и потом никогда с ней не видаться. Но как уйти с таким тяжелым сердцем? Я сказал ей: «Что бы вы ни делали и что бы ни говорили, я вас сейчас одну не оставляю, не могу «оставить».— Много же видно горечи было в моем голосе. Синие глаза Клавдии потемнели и стали глубже.

— Я не должна была так говорить. Простите, Павел. Но если бы вы знали, как я боюсь, что вы в первый же день...

Я перебил ее:

— Молчите. Не надо об этом на улице.

В глухом переулке в Кожевниках, на спуске к Москва-реке мы вошли в полуподвал деревянного покосившегося дома. Кругом на улице и во дворе стоял запах едких дубильных кислот.

Мы еле пролезли через узенькую дверь в дощатую каморочку. На столе коптила трехлинейная лампочка. Пахло керосиновым чадом.

Под ватным лоскутным одеялом на парах чернелось несколько детских головок. За столом у самой лампы рабочий в очках, связанных на затылке мочалкой, напряженно читал что-то похожее на газету. Когда мы вошли, он спрятал газету в карман как-то машинально. Повидимому, от обыкновения читать такое, что нельзя показывать соседям. Он поднялся нам навстречу. Из-за ситцевого полога вышла женщина, поклонилась мне и Клавдии низко и почтительно на деревенский манер.

— Принесли? — спросил рабочий Клавдию.

— Принесла, Тимофей.

— Ну и слава богу, что принесли.

Женщина обтерла фартуком табуретку и попросила меня:

— Присядьте. Вдохните немного.

Пока Клавдия и Тимофей пошли прятать револьверы, дети затеяли игру со мной: то высунут головы из-под одеял, то спрячутся, когда сделаю «буку». Когда мы уходили, один из мальчиков, осмелев, прошептал: «приходи еще».

Провожая нас в сенях, Тимофей потрепал меня по плечу:

— Это вы Павел-то? Слышал, слышал! Ну, ничего, не тужите.

Я не понял о чем это он, да и он, наверное, сам этого не знал, а хотел по-

Смирить и меня, да и себя заодно. Жена Тамофея вдовонку нам сказала:

— На лестнице-то аккуратней, не зашибитесь... Ну, в добрый час, храни влаычица. Какие оба-то молодые, да красивые. В добрый час, в добрый час.

— Любят вас здесь, Клавдия,— сказал я, когда мы вышли на улицу.

— Они, видите, и вас сразу полюбили,— ответила она.

И мне стало как-то легко на сердце.

— Видите, как все просто и обыкновенно вышло, а мы с вами, Павел, чуть не поссорились.

## 6

У Селиверстовых, открывая дверь и увидя нас вместе, Аграфена сказала мне:

— Нашли нашу барышню?

— Нашел.

— Значит, хорошо взялись искать.

Она подала Клавдии записку. Клавдия прочитала и показала мне. В записке было: «Спасибо, Клавдия. Василий».

— Человек он неплохой, я всегда это говорила, но легко может стать плохим.

Как только мы остались вдвоем в комнате Клавдии, она сказала:

— И вы могли подумать, что я не доверяю вам? Я вас ждала. Я часто о вас думала. Я думала, как вам там живется. Вы мне казались ребенком, за которым надо смотреть. Вы ведь очень неприспособлены к жизни.

Я слушал и не узнавал ее. Когда мы расстались после первых наших двух встреч до моего ареста, она была застенчива, дика, капризна, придирчива. Она подавляла в себе всякий порыв к откровенности, пугалась всякого выражения нежности, сердилась и вспыхивала от негодования, если в ней предполагали расположение к собеседнику, и предпочитала держаться в позе равнодушия и подчеркнутой независимости. Теперь же она была проста, естественна и не скрывала своего волнения от нашей встречи.

— Павел, Павел, как немного прошло и какие мы за это короткое время стали взрослыми, как мы в двадцать лет постарели, как будто вечность прошла, как будто мы бегом пробежали нашу юность. Какое страшное время!

Я взял ее за руку. Она не отняла. Мы долго сидели молча. Как будто отвечая на какие-то свои мысли, она спросила:

— Вы были удивлены, когда я там появилась, у Васи? Вы не ждали, что я стала работать в организации?

— Расскажите мне, Клавдия, как это случилось.

— Когда-нибудь расскажу. Мне очень хотелось работать в том районе, где работали вы.

Я потянул ее за руку к себе. Она вначале не сопротивлялась, а когда я притянул ее ближе, она резко оттолкнулась и стала яростно отбиваться:

— Павел, я вам этого никогда не прощу. Оставьте меня.

Я хотел ее поцеловать, она забилась и затрепетала в отчаянии и спрятала лицо.

В дверь постучали: «Барышня, Иван Матвеевич просят к ужину».— Я отпустил ее. Она выбежала из комнаты и позвала меня из передней. Я вышел за нею. Но она взяла меня за руку и сказала Аграфене:

— Мы идем сейчас, скажите папе. А вы, Павел, на минуту вернитесь за мною, пожалуйста.

Она втянула меня за собой в свою комнату, прикрыла за собой дверь и расцеловала меня крепко. И сейчас же выбежала.

Мы ужинали втроем, она, ее отец и я. С Иваном Матвеевичем надо было молчать,— все время говорил он.

— О вас в нашем доме много рассказывалось. Мы ведь с Клавдией очень хорошо разрешили проблему отцов и детей. Мы попросту дружны без всякой примеси дребезжащего радикализма. Мы почти ни в чем не согласны друг с другом. Но лояльно не вмешиваемся во внутренние дела друг друга. Правда, ваши действия, она мне запрещала критиковать. Да, я и не любитель критики. Я занимаюсь наукой и по натуре я чернорабочий и труженик. Я люблю больше всего упорство и настойчивость в труде. Я люблю науку, она открывает нам секреты разрушения и создания, которые происходят при помощи закономерной энергии и силы. Наш спор с Клавдией о вас возник только из-за того, что я позволил себе высказать некоторое удивление по поводу вашей беспечности. Не вашей лично только, а это касается и Клавдии. Делайте, что вам нравится, но прежде чем делать, надо учиться, молодые люди. А вам учиться некогда, вы спешите учить других. Замечательно подвижное поколение! В мое время мы ременный пояс на куртке не меняли с такой легкостью, как вы садитесь в тюрьмы, бежите из ссылки, порываете с семьями и друзьями. Может быть в самом деле такому поколению суждены большие свершения? Но, я скажу вам прямо, я не люблю, мне смешно в вас дух прозябтизма,

ваша страсть обращать ближнего своего в «правую веру». Для меня нет более самонадеянной и ограниченной претензии, как претензия приобщать людей к «истине». Я не говорю, конечно, о распространении точных знаний. Не согласитесь ли вы, что вы придаете преувеличенное значение тому, как понимает человек о боге, о судьбе, о будущем человечества, или своей страны. Не слишком ли вас занимает в человеке, что он думает о том, чего ни он ни мы и никто не знает и что знать может быть и не нужно. Не кажется ли вам, что вы судите примерно так: не люби труда, одевайся грязно, не мойся, не владей своей специальностью — это тебе все простится и мы, твои близкие, сядем с тобой за один стол, если ты насчет безвестных судеб человечества с нами одного мнения, а если ты и работать умеешь, и опрятен и здоров, и ремесло свое хорошо знаешь, но насчет управления какой-нибудь там фаланстерой, которая должна появиться через тысячу лет, что-нибудь не так подумал, как мы, то извини, изволь выйти из-за стола и не оскверняй своим присутствием трапезу. Вот, что я думаю о вашей непримиримости, которой так восторгается Клавдия.

Я ответил старику, что действительно сейчас в наших рядах много споров и что действительно мы очень непримиримы, но что он неправ, — мы не раздумываем сейчас о том, как будет устроено грядущее общество, мы боремся за него и спорим главным образом о том, какие средства лучше всего годятся для достижения победы.

— Не согласитесь ли вы, — сказал я в тон Ивану Матвеевичу, — что если рулевой, как бы он чисто ни был выбрит, опрятно одет, как бы он ни был трудолюбив, что если рулевой отклонит в узком опасном фарватере курс на небольшую долю градуса, то и самое малое отклонение может грозить кораблю гибелью.

Иван Матвеевич перебил меня:

— Но, то — рулевой!

— А мы как раз принадлежим к партии, которая призвана играть роль рулевого в движении человечества вперед.

— Подождите минуточку, — сказал за это Иван Матвеевич и вышел из столовой.

— Папа, наверное, пошел искать какую-нибудь цитату, — сказала Клавдия. — Я взял ее за руку. И отпустил руку только, когда Иван Матвеевич вернулся.

— Знаете что, — закричал он войдя, — я сейчас прочитал одно место у Гегеля. И вот что пришло мне в голову: самый замечательный дар, который отличает от обыкновенных людей всех реформаторов, творцов и завоевателей жизни, заключен, наверное, в умении ощущать как действительное, как реальное то, что не стало еще, но уже становится: то, чего еще нет, но что уже возникает. То, что нам кажется вековым, прочным, неизблежимым, реформатор воспринимает, как уходящее в прошлое, как мираж, который вот-вот рассеется. У меня нет такого дара и, может быть, в этом основной порок всего моего внутреннего склада.

— Вот оттого-то мы и разрешили проблему отцов и детей, что мой папа умеет в одно и то же время утверждать и спорить сам с собой. Мне так бы никогда его не опровергнуть, как он умеет опровергать себя, — сказала Клавдия.

Клавдия пошла проводить меня на ночевку в семью, где было вполне безопасно, потому что никто не работал в революционной организации.

Мы шли с ней по Александровскому саду. Я держал ее под руку. Была холодная застывшая ночь. На звездном чистом небе висел светлый месяц. Его лучи сверкали синими переливами по сугробам у Кремлевской стены. Вот и кончился мой первый день на свободе в Москве. Я был счастлив. И мне чудилось, что из-за высоких лесов, за далекими полями я вижу сказку.

*(Продолжение следует)*



# Восстание бжедугов<sup>1</sup>

От ашуга

Тот, кто мира старого не знает,  
 Мира нового понять не может.  
 Мир сегодняшний великоленен —  
 Он сплетен из нитей золотых.  
 Пригоршнями счастья мы берем.  
 По голам движение исчислялось,  
 Каждый день теперь идем вперед.  
 Чтобы счастье новое постигнуть.  
 Нам о старом мире надо помнить.  
 Адыгейцы<sup>2</sup> говорят недаром:  
 «Кто не видел зла, тот не поймет добра!»

Если очастливленная наша  
 Молодежь, не ведавшая гнета,  
 Никогда не знавшая страданий,  
 Не сравнит сегодня и вчера,  
 Оценить она навряд ли сможет  
 Новый мир великоленный — счастье  
 То, которое вложили в руки ей.

Много лет я прожил, много видел  
 И, о темном прошлом вспоминая,  
 Прославляю счастье наших дней.

Но слова, какими жизнь я славою,  
 Кажутся мне бледной похвалой.  
 Но тот срок, который жить осталось,  
 Слишком короток, ужасно мал!

Говорят, что я «худой старик».  
 В самом деле, не скопил я жира,  
 Потому что гнев воспоминаний  
 Часто разгорается во мне —  
 Ярость против прошлого и ярость  
 Против угнетателей былых.  
 Но из всех воспоминаний темных, —  
 О владычестве князей и орков  
 И о том, как мужественно с ними  
 Бились адыгейские крестьяне, —  
 Юношам страны счастливой, юной  
 Расскажу историю одну.  
 Есть у адыгейцев поговорка:  
 «Телю умершего орка  
 Распухает всемеро...» Ну, что же.  
 Пусть распухнет песня «соразмерно»!  
 Мой рассказ о злодеяниях орков<sup>3</sup>  
 Терпеливо слушайте, друзья!

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### День князя

Над рекою Пшиш<sup>4</sup>  
 У крутлинского леса  
 Есть аул — Коичуко-хабль.  
 Он мал.  
 Серые лачуги...

Здесь когда-то  
 Коичукоко,  
 Князь Пшимаф жила —  
 Человек богатый и могучий,  
 Князь бжедугов, тхамата князей.

В ауле, носящем его имя, и на его могиле  
 будут воздвигнуты памятники.

<sup>2</sup> Адыге — адыгейцы-черкессы — народ,  
 разделившийся на ряд племен: шапсуги,  
 абазехи, бжедуги, темергоевцы и др.

<sup>3</sup> Орки — мелко-дворянское сословие,  
 прислуживали князю в качестве воору-  
 женной дружины.

<sup>4</sup> Пшиш — река в Адыгее.

<sup>1</sup> Теучеж Цуг (1855—1940) — адыгейский ашуг. Поэму «Восстание бжедугов» (печатается в небольшом сокращении) Цуг продиктовал незадолго до смерти. Темой поэмы послужило историческое событие. 15 июля 1940 года Верховный Совет РСФСР издал указ об увековечении Цуга.

Кончучоко двор — полполя. Это  
Место сборищ орков и князей.  
Выдвинутая вперед далеко,  
Жлет всегда кунацкая гостей.  
Вкопанная перед той кунацкой,  
Коновязь поводьями ветвится.  
Но не вправе гость перодовитый  
Задержаться, привязать коня.

Дом большой<sup>5</sup> вдали, а на задворках  
Бедные ютятся унауты<sup>6</sup>.  
Это те, кто носят коромысла,  
Это те, кто доят на базу.

Вот старик, дворовый. У порога  
Осторожно ест он мамалыгу,  
Кушает и подбирает крошки  
Пищенской еды своей.  
А потом берет колун. Он должен  
Раскрошить сегодня много пней.  
Трудно старому. Удары слабы.  
Но не может он колун оставить.  
Утешенье старика — подарок:  
Цара старых стоптаных чувяк.

Кони орков грызут удила,  
Землю копытами бьют со зла,  
К кольям плетней привязаны.  
Орки стоят, серебром опоясаны,  
За рукояти кинжалов держась.  
Они натошак — сухо во рту —  
Ждут пока пробудятся князь.  
Каждый орк лелеет мечту,  
Каждому великая честь —  
Князю анэ<sup>7</sup> принести  
И после князя сесть.

Долговязый князь Пшимаф,  
От жены придя под утро,  
Досыпает. Поздно встав,  
Он не выпался как будто —  
Мечет злобу, сам не свой,  
Ходит тучей грозовой.  
На кумган<sup>8</sup> не посмотрев,  
Направляется к уборной.  
Орк за ним идет покорный,  
Ждет — быть может, стихнет гнев?  
Зная — князь жесток и крут,  
Приказаний орки ждут  
Орки мечутся в тревоге,  
Умывальный ташат таз,  
Табуретик и под ноги  
Коврик стелют каждый раз.  
А потом

Княжеские расставляют анэ.  
От кунацкой до Большого дома  
Множество анэ несут они.  
Кто сегодня будет ошастливлен?  
Кто анэ поставит перед князем?  
И придвинуть слишком шельзя,  
И отодвинуть нельзя.  
Князь убьет одним своим взглядом  
Или опрокинет пинком.  
Перед князем орки услужливые  
Раболепный сомкнули ряд,  
Так что даже не смеют держаться  
За колышки на стене<sup>9</sup>.  
Величайшей им кажется мудростью  
Князю кружку воды подать.

Отложив рукава кафтана  
Из малинового шелка,  
Начинает князь свою трапезу,  
Соблюдая ритуал.  
Духовитой каши немножечко  
Он берет костлявыми пальцами,  
А потом дорожкой вершковою  
В середину каши ныряет оп,  
В сердцевину каши горячую.  
И стоящие орки шушукуются:  
«Как чудесно он ест!  
Очень умный наш князь!»  
Он, не тронув круга, забирается,  
В сердцевину каши горячую.  
«Какой умный!  
Какой чудесный!»  
Убирают один анэ,  
Поставляют второй анэ.  
Князь один будет долго есть.  
Никому быть его сотрапезником  
Не оказана сегодня честь.  
Даже горсточку каши от князя приняв,  
Орк гордится, жует со вкусом.  
Это князь Кончучоко Пшимаф  
Начинает обычный свой день.  
Он идет на конюшню и вслед ему — орки.  
Чистота. Только свежий навоз под конем.  
В этом конюх Мамук виноват. И от порек  
Не уйти ему. Выместят злобу на нем.

Вот приехали гости к Пшимафу. Позвал  
Он двух орков и им приказал:  
Из отары тфокотля<sup>10</sup> какого-нибудь  
Взять овцу, только чтоб хороша.  
Орки двинулись храбро в разбойничий  
путь,

Но вернулись, еле дыша.  
И постыдную припесли они весть

<sup>5</sup> Большой дом — дом женской половины.

<sup>6</sup> Унауты — рабы.

<sup>7</sup> Анэ — переносный круглый столик для еды.

<sup>8</sup> Кумган — сосуд для воды.

<sup>9</sup> Не смеют держаться рукой за колышки в стене — в стену кунацкой вбиты колышки, за них держались те, кто по возрасту или по положению не мог садиться в присутствии старших.

<sup>10</sup> Тфокотль — свободный крестьянин

На высказывающих, как жало,  
Языках, готовых предать и донести,—  
Им попался тфокотль небывалый:  
Он не дал им овцы ни одной  
И назад обратил их спиной.  
Покоряться оркам не склонный,  
Он напомнил им предков законы!  
Шутка ли? Тфокотля пробил  
Час последний. Злей осы,  
Князь бросает бурку в злобе.  
Ощетинились усы.  
Орков в миг он созывает.  
Как выжлятник, он бросает  
На крестьянскую семью  
Свору дикую свою.  
Дом тфокотля окружили.  
Руки назад скрутили,  
Оторвали от земли  
Всю семью и — увели  
К морю Черному, где туркам  
В рабство продали... Добром  
Князь и орки поживились,  
Разгромив опальный дом.

Вместе созвав гостей родовитых,  
Собирается князь Кончукоко  
На джегу<sup>11</sup> в аул отдаленный.  
Князь прохаживается горделиво,  
Ждет, когда коня дорогого  
Приведут приелужники-орки  
И, склонившись, подержат стремя.  
Ублаженный всем совершенным  
В это утро, поскачет быстро  
Кончукоко с нарядной свитой.

Ишиш — голубоглазая река.  
Не мелка она, не глубока  
И не удивляет шириной,—  
Прелести исполнена иной.  
Ненасытной буйности в ней нет,  
Чтоб идти через любой запрет.  
Мальчугану даже не страшна,  
Никого не унесет она.  
Путника не возвратит назад,  
Не поставит никаких преград.  
Только в паводок, как богатырь,  
Заливая всей долины ширь,  
Наполняет берега свои  
Серебром сазаньей чешуи.  
Ветви верб — ее густых бровей —  
Нависая, отразились в ней.  
Блеском и расцветкой хороши  
Под водой, как зубы, голыши.  
И дано ей много нежных слов  
От неугомонных родников.  
Девушке приятно молодой  
Постоять над светлою водой.

Но для Абихан<sup>12</sup> настала мгла,  
Лучше б она по воду не шла.

Князь и орки на лошадях,  
Приблизившись к берегу Ишиша,  
Увидели девушку на тропе,  
Поднимавшуюся навстречу.  
Лозинкою ее стан  
Сгибался под коромыслом,  
И кожаные два ведра  
Покачивались при этом.  
Девушка эта была  
Завораживающей красоты.  
Глаза ее большие,  
Цвета морской воды.  
Черные косы тугие,  
Как ручка шампура<sup>13</sup> тверды.  
Лицо каштаново-смуглое.  
А зубы — жемчужный ряд.  
В залатах, бедный, но чистый —  
Простой крестьянский наряд.  
Завидев орков, за вербы  
Метнулась сразу она.  
Ишимаф увидел ее первый  
И остановил скакуна,  
Прельщенный ею, высокой,  
Невинной и дикой. Полстать  
Орк подсказал Кочукоко,  
Что стоит ему пожелать —  
И... «Эта холопка ныне  
Тебе будет жертвой, князь!»  
«Унауткой при княгине  
Я беру ее...» — И, смеясь,  
Скачут дальше по лесу...

Подле

Роши «Чыгыуджи<sup>14</sup>» глухой  
Повстречали они тфокотля..  
Адыгейский простой верховой,  
В мягкой шляпе, в черкесске тонкой,  
Не блистал ни собой, ни конем.  
Но как два куска селезенки —  
Красные чувяки на нем.  
Как, тфокотль и в сафьяне красном?  
Как посмел? Кто такой? Как так?  
И пошел тут допрос пристрастный  
О происхождении чувяк.  
«Почему на тебе красные чувяки?»  
«Сшил их себе, а не вам!» —  
«Разувайся! Отдай их оркам тотчас же!» —  
«Если лучшие дадите, отдам!» —  
Уста и слова у всадника сухи.  
В поединке словесном разбит,  
Князь Кончукоко не в духе,

<sup>12</sup> А б и х а н — имя девушки, похищенной князем (исторический случай).

<sup>13</sup> Ш а м п у р — вертел.

<sup>14</sup> Ч ы г ы у д ж и — роша, получившая название «круговой танец деревьев»; остатки этой роши сохранились возле аула Лакшукай.

<sup>11</sup> Д ж е г у — игры, иногда свадьба.

Кричит:

«Где это видано? Сафьян на собаках?  
Князь или орк ходит в красных чуваках!  
Сделай из кожи сырой, а к сафьяну  
Не прикасайся, — не для собак  
Ну, разуйся! Я медлить не стану...»  
Тфокотль отвечает так,  
Спокоен и бесстрашен:  
«А я и не знал, ей-ей,  
Что в красную краску окрашен  
Сафьян для одних князей».  
Князь крикнул: «Берите его! Что толку  
Беседовать с этим псом?»  
И бросились орки, как волки,  
Как серая стая, кругом.  
Стянули с коня, сорвали  
Чувяки красные с ног,  
Копытами растоптали  
С присказкой: «Тебе это впрек».  
И дальше умчались на джегу — все вместе.

Там князя встречают обычно лестью.  
Кричат «зиусхан<sup>15</sup>» — и не слышит об  
фальши.

Подходит он. Щеки горят у княжен.  
Князь орками льстивыми окружен,  
А грубых тфокотлей — подальше!

Не сосчитать злодеяний князей  
И их прислужников-орков!

Есть еще одна поговорка:  
«Князя ящерица накормит яйцом».  
Отнимут, ограбят — и дело с концом.  
Сколько землю не рой, есть еще глубина.  
Сколько ни вспоминай, не доищешься дна.  
То, что наш народ от князей пережил  
И другие народы тоже,  
Описать, — нужны полные бочки чернил,  
И всего не исчерпаешь все же.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Ханахыко Кимчері

Далеко шла молва  
О Ханахыко Кимчері —  
О широком уме  
И негибаемой воле.  
Прозорливый тфокотль,  
Он в дела уходит от зари  
Он умно говорил.  
И его уважали все боле.  
Как наездник, сверкал он  
В доспехах своих дорогих.  
И, когда он решал,  
Не могло быть решений других.  
Вкруг аула  
Овец его всюду бродили отары.  
Заполняли долину  
Его лошадей косяки.  
И у Черного моря  
Он грузил драгоценным товаром  
Много арб.  
Их в аулы тащили быки.  
С каждым днем возрастало богатство его.  
И кого бы  
Не сравнить с Ханахыко, —  
У тфокотлей равного нет.  
Князь и орки боялись его  
И, полные злобы,  
Заряжали  
Против него пистолеты,  
Подсылали убийщ, —  
Обрывалось жало их мести.  
И не раз, и не два  
Он от княжеской пули ушел.  
Даже пчелы князей и Ханахыковы  
Вместе

Не хотели летать.  
Ханахыко давно превзошел  
Родовитых князей  
И огромным богатством, и силой.  
Но неравенство с ними его оскорбляло.  
И в нем  
Независть поднималась  
И выхода не находила,  
Заливая могучее сердце огнем.  
Стал он думать, как можно  
Из топкой трясины  
На вершину кургана свободы и власти  
Взойти.  
Оказалось: желанья тфокотлей едины  
С тем, что он замышлял;  
И намечались пути,  
Как могучих князей  
Сокрушить превосходным ударом:  
Мало средств богача  
Или десяти богачей, —  
Нужны силы народа,  
Готовые вспыхнуть пожаром,  
Все сметающим, —  
Люди  
Кузнечных мехов горячей.  
У тфокотлей и шитлей  
В сердцах уже пламя суровое,  
Окрыленное мстью, —  
Единожды в тысячу лет.  
День восстания близок,

<sup>15</sup> Зиусхан — подобострастное приветствие, значит — «я готов принять на себя ваши болезни».

И скажет огонь свое слово.

Князь и орк

Перед гневом народным

Дадут свой ответ.

Только возвратился

Хаджи<sup>16</sup> Допчен из Каабы<sup>17</sup>.—

Он узнал про обиду.

Дончен в яростен нрав.

Отдохнул он неделю,

Отпраздновал встречу, как надо,

И отправился к Ханыхыко, провожатых забрав.

Два могучих тфокотля.

Язык у них общий, единый.

Надо действовать —

Равенство

Выврать пора у князей!

Не поступятся вольностью

И не согнут они спины

Никогда.

И, не мешкая, тот и другой — на коней!

Всех известных тфокотлей объездят вдвоем!

Полетели.

Вот Пазада Хеляо Джамарико Ташра

И Нечаго.

Собрались.

В кунацкой<sup>18</sup> сидели неделю.

Все решили — что каждый даст от себя,  
от двора.

Стало ясно: в Беджугии

Знать не уйдет от разгрома!

В Абадзехии только укрыться остатки  
могли.

Ханахыко всех знает.

Ему все аулы знакомы.

Он сказал: «Абадзехи своей не унижат  
земли».

Он берется поехать

И убедить абадзехов<sup>19</sup>.

Что еще? Аталычество

Тоже стоит поперек.

Материнское молоко жен тфокотлей и  
пшитлей<sup>20</sup> — помеха:

Надо, чтобы тфокотль

Ложней честью такой пренебрег.

Многим отпрыскам княжеским

Жены тфокотлей покорно

Молоко отдавали,—

И узами их молока

Закреплялось содружество.

Неблагодарностью черной

Им платили князья.

Так проходили века.

И тфокотли готовились,

Силы копя и считая.

Сбор народный Чыгыуджи

Объявили они.

И явилась вся славная стая —

Молодые и старые

В блестящих доспехах мужи.

Пригласили князей. пригласили орков  
заранее;

Не явились: с тфокотлями и говорить не  
хотят.

Для Допчена-хаджи,— ему слово вручают  
собрание,—

Ясно: нет им дороги назад!

И тогда в низко сдвинутой белой папахе

Появился Пшикуй, представитель князей.  
на коне.

Не слезая с копя, говорит он:

— «Собрались, собаки!

Эй, чего же вам нужно?»

— «Теперь это ясно вполне,—

Отвечает Добчен.—

До конца говори!».

— «Да, не будет

Равенства между нами.

И разница сразу видна.

Не простая нас мать родила.

Мы — необычные люди.

В лоне солнца родились мы.

Нас повивала луна.

Не родились мы —

Найдены в гнездах орлиных.

Вы же — твари болотные!»

Кончил он.

И говорит

Молодой Ханахыко:

От них, от рожденных в низинах,

От собрания тфокотлей.

У князя — глаза из орбит:

— «Тоже, новый пророк!»

Но молодой Ханыхыко

Отвечает:

«Тфокотлям пустые слова невтерпелив.

Буду краток:

Действительно, я не оратор великий,

Но скажу, где в словах твоих правда.  
где — ложь.

То, что

Матерью вы рождены не простою.

Это правда.

И то, что

В гнезде у орла

Отыскали вас,—

Правда.

А дальше — про солнце с луною —

Очевидная ложь.

Да ведь если б

<sup>16</sup> Х а д ж и — у магометан человек, побывавший в Мекке.

<sup>17</sup> К а а б а — священный камень в Мекке.

<sup>18</sup> К у н а ц к а я — помещение для гостей.

<sup>19</sup> А б а д з е х и — племя адыгейского народа, жило в верховьях реки Белой.

<sup>20</sup> П ш и т л ь — крепостной крестьянин.

Вас честная мать родила,  
Вас в орлиные гнезда не клали б.—  
Кормила б вас просто  
Материнская грудь молоком...  
Вы певедомо кем,  
Незаконоворожденные, дикие,  
Брошены в гнезде.  
Вот рождения вашего тайна,  
Известная всем».

Молодой Ханахыко собрался уйти.

Но Пшикую

Кровь ударила в голову.

Он покраснел, словно медь.

Он с коня соскочил.

Подступая к тфокотлю вплотную,

Вытянул он кинжал свой на треть.

Молодой Ханахыко навстречу —

Настолько же ровно

Вытянул свой кинжал —

В доказательство равенства сил.

Смысл события понял народ

И почувствовал кровно:

Надо смело бороться с князьями.

Пшикуй отступил,

Но сказал:

«Не надейтесь. Пустые надежды. Без толку.

Ведь когда покидает собака свою конуру,

Попадает она в зубы

Большому и сильному волку.

Не зовите нас больше. Одумайтесь.

Бросьте игру!»

Так сказал он собранию и дернул поводья.

Ускакал. И тфокотлям осталось на том разойтись.

Но, вернувшись в аулы,

О равенстве и свободе

Не забыли тфокотли

И крепко за дело взялись.

На второе собранье

Примчалось особенно много.

Посредине — Жечяго.

Давно по Беджугии всей

Разослали глашатаев.

Топот стоял на дорогах.

И народ увидал

На собранье прибывших князей.

И Чаныб Джечяго обратился к ним:

«Равенство наше.

В том, что племени мы одного

И наш закон — шарият<sup>21</sup>

Молово наших женщин

И наша молочная каша

На губах и у вас,

И у ваших ребят.

Так не вынуждайте нас

Порох закладывать в ружья

И кинжалы вытаскивать —

В пожнях спокойнее им».—

«О каком говорите вы равенстве?

Что же вам нужно?»—

«Только равенство.

Равными быть мы хотим!

Приходи ко мне и посмотри,

Как живу я от своих трудов.

На базу я в стойле от заря.

Если надо, запрягу волов,

Но дрова поеду с топором

И везу домой в своей арбе.

Дома ждет анэ... Живу трудом!

Почему бы так не жить тебе?

Лишь придет на полосу весна,

Спарь своих волов и выходи

Поднимать пары и семена

Раскидай по всей земной груди.

Обработав землю, собирай,

Так, как мы, свой хлеб, свой урожай.

Радуйся, когда обилен оп...

Равенство! Для всех один закон!

Если парень ваш нашел жену

Среди наших девушек,— пускай!

Если парень наш нашел жену

Среди ваших девушек,— отдай!

Я тебя убью, то кровь — цена.

Ты убьешь меня,— цена одна.

Старшему по возрасту почет.

И когда анэ для всех несут,

Старший первый к пище подойдет,

Преимущества не жди и тут.

Вот, что такое равенство!»

Поразвесили уши,

Смутились князья молодые.

Старшим было понятно,

Что речи такие не зря.

Это давнишний спор.

Но в Чыгыуджи не впервые

От ответа они увильнули.

Простились, хитря.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Мамук и Прина

Унауткою княгине

Прине отдал князь. Теперь

Помышляет он о Прине,

Бродит около, как зверь.

Страшно Прине, одиноко.

Только в чем она вольна?

Прина князю Кончукоко

Скоро жертвой стать должна.

<sup>21</sup> Шарият — свод обрядов у магометан.

Как спастись от рук злодея?  
Как избавиться цепей?  
Прина, сердцем холодея,  
Плачет ночью — страшно ей.  
Утонить ее в трясине,  
В рабство за море продать,  
Может князь. Но от княгини  
Должен все Пшимаф скрывать.  
А княгиня мужа знает  
И поэтому больней  
Унаутку истязает:  
С двух сторон погибель ей.  
И в мечтах и сновиденьях  
Есть один у Прины друг,  
Чтоб сказать о всех мученьях:  
Копюх княжеский Мамук.  
Прина — вся его отрада.  
Он и любит и любим.  
Но они так редко рядом.  
Не легко встречаться им.  
Слезы, хлеб соленный, черствый  
И работа — жизнь раба.  
Им в удел — одно покорство.  
Воля князя — их судьба.

Но свершилось. Ночью темной  
У плетня они вдвоем  
И от радости огромной  
Позабыли все, о чем  
Рассказать пришли в печали.  
Ласка первая хрунка:  
Льдинками слова дрожали  
На устах... Во все века  
Он все тот же — соловьиный! —  
Любящих язык. На нем  
Говорят Мамук и Прина,  
Наклонившись над плетнем.

Но, мечтая про свободу,  
Избавление от зол,  
Он к единственному броду, —  
Говорит он ей, — пришел:  
«Мы в жестокой княжьей власти.  
У шапсугов нет князей.  
Так бежим туда, где счастье  
Встретит нас лозой своей...»  
Орки рыщут по долинам.  
Увидав издалека  
Зорким глазом ястребиным  
Девушку и Мамука,  
Подползли и оглушили  
Парня сзади и потом  
Руки им двоим скрутили  
И связали их ремнем.  
Канчукоко рад расправе,  
Сразу он дает приказ:  
Мамука скорей отправить  
На берег, подальше с глаз,  
В рабство... И его во мраке  
Взяли... Но из темноты,

Как побитые собаки,  
Орки, вспять, поджав хвосты,  
Говорят: «В лесной теснине  
Убежал от нас Мамук...»

Одиноко, страшно Прине.  
Где ее любимый друг?  
Заклученная в темницу,  
И судьбу свою кляня  
День и ночь она томится,  
Ожидая только дня,  
Чтоб самой свое дыханье  
Оборвать. Ей жить — зачем,  
Если жизнь ее страданье?  
Нет надежд, и сумрак нем.  
Я слезой ее горячей  
Пропитаю песнь мою.  
Песню Прины, песню плача,  
Песню сердца я спою:

«Свою несчастную голову,  
Себя я хочу оплакать.  
Нет милого друга рядом,  
Чтоб горе понять мое.  
Плетня я не повалила,  
Я в дверь не впустила собаку.  
Я не покрыла позором  
Себя и свое жилище.  
Не мужество, не доблесть —  
Насилье надо мною.  
О помощи я закричала б,  
Когда б сорокой была.  
Не козочка я, не блею,  
Прося сожаленья. И жалоб  
Мои никто не услышит.  
Ведь мать моя умерла.  
Моя печальная песня  
Пробьет небесную кровлю.  
О если б меткая пуля  
Мне сердце пробила вдруг!  
Как радостно я б вздохнула!»

Так пленница плачет кровью,  
Не зная, что на свободе  
Ее любимый, Мамук.

А Пшимаф угрюм, тревожен.  
Месть — безавшему рабу!  
А тфокотли сталь из ножен  
Вынимают на борьбу.  
Видит князь их гнев воочью.  
За гонцом летит гонец.  
И решает князь, что ночью  
Совершит он, наконец,  
Злой свой умысел, — теперь же!  
Безразлично, если он  
Завтра будет в прах повержен  
И тфокотлями казнен.  
В эту ночь... Но на впененном  
Скакуне — гонец к нему:

Весть тревожная... По склонам,  
По Беджугии, во тьму,  
На коне своем, как птица,

Коршунов стенных быстрей,  
Обо всем забыв, помчится  
Он на сборище князей.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### Огонь

Тфокотли готовились к выступленью.  
Вековая обида воспламенила сердца.  
Позабыли они о домашнем покое.  
Время сна и еды пропускали впервые.  
И, когда собирались по-двое, по-трое,  
Вырастала толпа вокруг них. Молодые  
Стариков вопрошали. Пришло грозное  
Время схватки. Вскипала борьба.  
Знать, князья иль орки приезжали на

пир,  
Где хозяин нетельную резал корову.  
На собранье тфокотлей — им времени нет.  
Нет охоты. Князья, избегая тфокотлей,  
Сухопарые, в нужниках долго сидят  
И слюной ядовитой поплеывают.  
Только вспомнят тфокотлей,  
Бросает их в дрожь.  
Два собрания тфокотлей сорвали недаром,  
Наконец, убедились тфокотли — князья  
С умыслом этот спор затянули.  
Вновь тфокотли гонцов разослали и вновь  
Поклялись: «Пока живы, не сложим ору-  
жья!»  
Или змей мы убьем, или в битве надем».

В третий раз собрались все тфокотли,  
Кто меж реками Афиис и Пшиш живет.  
Долго место они выбирали:  
В Кончукоко-хабле<sup>22</sup>? Нельзя.  
Водопой коров. Многолюдно.  
Точно так же аул Асоколай не подходит.  
Для собрания выбрали Панежукай.  
Там собрались, к борьбе приготовясь  
Все явились, и не было ни одного,  
У кого бы ружье было пусто  
Или пистолет не заряжен.  
Все явились, и не было ни одного.  
Кто надеялся бы на другого —  
За чужою спиною укрыться.

И тфокотли заставили в этот раз  
Всех надменных князей явиться.

Встретились они осенним днем,  
Ратами враждебными двумя.  
Но одни живут своим трудом,  
Честно честную семью кормя,—  
Только правда их сердцам светла,  
Человеческому их лицу.

У других, напротив,— нрав орла.  
С поля уносящего овцу,  
И привычка грабить на пути.  
Я б таких соседей не желал.  
Повстречав их, лучше обойти.  
Золотом сверкает их кинжал,  
И всегда у них надменный вид.  
Мы не любим этих хищных птиц.  
Кончукоко жирный вниз глядит,  
Тоже, точно коршун, остролиц.  
В рабстве многих погубил Пшимаф.  
Но когда, народ понаблюдав,  
Он увидел ярость, сразу он,  
Как в аркане дикий жеребец,  
Притворился, будто укрощен:  
Надо, мол, мириться, наконец.  
От князей-бжедуггов речь ведет  
Кончукоко князь и тхамата<sup>23</sup>.  
От тфокотлей выступил вперед  
Их оратор. Мысль его проста:  
«Будет очень горькой наша речь.  
С горьких слов я должен начинать.  
Надо наше прошлое пресечь.  
Родила тебя в мученьях мать,  
Нарекала тебя Пшимафом. Ты  
Носишь имя — это все. Долой  
Титул князя! Наши все мечты —  
Равенство, чтоб голос твой и мой  
Стали равными. Согласен? — Мир.  
Не согласен, то терпению — край,  
Возвращайся, укроти задр  
И слова им наши передай.  
Если не поймут, то встретим вас  
Порохом. Готовы мы к делам.  
Ружьями припомним вам сейчас  
Молоко, что мы давали вам,  
Хлеб земли, принадлежащей всем.  
Не простим отныне вам обид.  
Как земля тогда я буду нем,  
Но мое оружие загремит».  
Кончукоко, отойдя к своим,  
Говорит князьям и оркам так:  
«Разве мы тфокотлей усмирим?  
Видите, как многолюден враг.  
Между реками Афиис и Пшиш  
Все тфокотли к нам враждой горят.  
Двадцать их рядов, как поглядишь.  
А у нас один неполный ряд.  
Если мстить они не будут нам,

<sup>22</sup> Кончукокод-хабль — аул.

<sup>23</sup> Тхамата — старейшина.





Грозному, ему. Идя на тьму,  
Вознесясь над крышей камышевой,  
Догоняет он по-одному  
Хищников-князей. И караулят  
Их тфокотли, чтоб свершить свой суд.  
Не успеют выскочить, как пули  
Их на место замертво кладут.  
Да, теперь на равенство согласен  
Каждый князь — он молод или стар.  
Гнев тфокотлей грозен и прекрасен,  
Неумен, как степной пожар.  
И князья в их шапках, как корзины,  
Мечутся. Огонь — со всех сторон.  
Князь Уарнако упал на спину —  
Представляется убитым он.  
А другому — будто мертв! — Тлюстену  
Подвязали подбородок. Но  
К выходу ползет он постепенно.  
Шоуджен Матыш убит давно —  
Рот его раскрыт и губы сухи,  
Рядом с ним валяется кинжал...  
Вдруг он поднимается. Старухи  
Умоляют, чтобы он лежал...  
Только самый старый князь, Мугуко,  
Добежал до берега реки.  
Саблей раненый в плечо и руку,  
Он плывет и шепчет: «Пустяки!  
Я благодарю того, кто шапку  
Плохо точит... Вред не так велик.  
Рану я не почитаю тяжкой...»  
И на берег выбрался старик.

Средь тфокотлей, стоявших у дома Ендара,  
Был Мамук. Он в Беджугии жил как  
беглец.  
Он скрывался в лесу. Жесточайшая кара.  
Если только поймут: в тюрьму — и  
конец.  
Кончукоко расправится с ними. Наказанье  
Не страшит Мамука. Но он кинулся в бой.  
Чтобы исполнились два его сильных  
желанья:  
Видеть мертвым Пшимафа и Прину  
живой.  
Он бродил, и мечта с ним бродила по  
следу.  
Он к тфокотлям добрался, немногим  
знаком.

Он хотел умереть или вырвать победу.  
Он сражался теперь с вековечным  
врагом, —  
Метко целился по убежавшим, по знати.  
Но заветную пулю Пшимафу берег.  
Эту пулю Мамук не напрасно истратит.  
Не напрасно он спустит курок.  
Расправляя свои рукава по дороге.  
Кончукоко выходит последним — с  
ружьем.  
О спасеньи же думая, он на пороге  
Видит многих тфокотлей, мечтавших о  
нем.  
А Мамук, карабин свой, как счастье,  
сжимая,  
Первый шлет ему пулю, проклятье и  
месть.  
У тфокотлей вражда накопилась  
большая  
Против князя... И разве кому-нибудь  
счастье  
Пули, сыпавшиеся тогда в Кончукоко?  
Так, покончив и с князем последним, они  
Утвердили порядок свободы высокой,  
Равенство на грядущие дни.  
А князья вместе с орками, — те, что  
остались, —  
К абадзехам бежали — спастись кое-как.  
Абадзехи, конечно, от них отказались  
И прогнали, как злых и бездомных  
собак.

И тогда они реку Кубань переплыли,  
Чтобы помощь себе попросить у царя.  
Царь и злые беджутские волки дружили.  
Царь их принял, за дружбу их благодаря.  
А Мамук возвратился туда, где, тоскуя,  
Он мечтал о свободе, о радостном дне.  
И нашел он там Прину, но еле живую.  
В ненавистной тюрьме — в деревянном  
конэ<sup>24</sup>.  
Так родилось их счастье под заревом  
мести,  
Завоеванное в непреклонной борьбе.  
И в шапсугскую землю ушли они вместе  
От князей — и уж больше не веря судьбе.

<sup>24</sup> Конэ — деревянный амбар, который мог служить и местом заключенья.

Перевод АЛЕКСАНДРА ГАТОВА

## Балтийское море

Идут эсминцы в праздничном уборе,  
Встает рассвет над Балтикой багров.  
Как хорошо сегодня наше море,  
Как грозен гул торпедных катеров.

В туманной дымке видно очертанье  
Высоких берегов земли моей.  
Слепит глаза и радует сверканье  
Стальной брони советских кораблей.

О море,  
Мы твои родные дети.  
С тобой слились желанья и мечты.

Нет ничего прекраснее на свете  
Твоей суровой гордой красоты.  
Где б ни был я:  
В пустыне раскаленной,  
В лесах дремучих,  
В шумных городах,  
В тебя навеки с юности влюбленный  
Твой голос всюду слышу я всегда.  
Звучи, звучи, морская наша слава,  
В раскатах волн  
И в ярости ветров.  
Спокойно Рига, Таллин и Либава  
Живут под сенью красных вымпелов.

\* \* \*

Быстрая, как важенка лесная,  
Стройная, как горная сосна,  
Девушка, ответь мне. Я не знаю,  
Где кочуют ваши племена.  
Где теперь стоит твоё кочевье?  
Здесь, в лесу, или над рекою, там?  
Не ответят камни и деревья,  
Только эхо скачет по горам.  
И все также в травах блещут росы.  
И пчела мерцает на цветке.  
Кедр сошел с высокого утеса  
И собой лобуетя в реке.

На медвежью голову похожа  
Бурая лохматая гора...  
...Год прошел. Но кажется мне все же,  
Что с тобой встречались мы вчера.  
Я опять ружье на плечи вскину  
И пойду лисиц-огневок бить...  
Теплый мех в уголке сохатинном  
Буду я на поясе носить.  
И, как путник, жаждущий почлега,  
Об огне мечтающий на льду,—  
В стойбище, запорошенном снегом.  
Я тебя когда-нибудь найду.

## Аварийная ночь

Когда буквы на клавишах пишущей машинки зарябили в глазах и стали двоиться, Птицын огляделся и увидел, что уже сумерки. Все уже давно разошлись. В комнате было накурено, и Птицын вспомнил, что за целый день ни разу не проветрил комнаты. Он подошел к окну, влез на подоконник, открыл форточку и высунул голову. Окно выходило прямо на озеро. Хотя озеро было покрыто снегом, — стоял февраль, — но оттуда, с дальнего берега, тянул влажный ветер, и как это иногда бывает в оттепель, даже в середине зимы, — запахло весной. И с этим весенним запахом Птицыну представилось широкое половодье. Все залито, только мачты высоковольтной линии шагают по воде, широко расставив свои железные ноги. Каждую весну, когда по озеру еще плавали льдины, люди надевали высокие болотные сапоги, брали ружья и шли бить щук. Тогда и Птицын бросал свои папки и протоколы и уходил на озеро. Длинный нескладный, он часами бродил по берегу, а то и прямо по воде, в рваных своих сапогах, глотал, задыхаясь, весенний воздух. А когда у затопленных кустов между голых прутьев начиналась подводная возня, у него делалось сердцебиение, и он, дрожа от холода и возбуждения, глядел, как закипала в кустах вода и показывались темные спины могучих озерных щук, в которых ему ни разу не приходилось стрелять.

Ветер свежел. Над озером подымалась легкая нежная пыль. Птицын прижался к стеклу и посмотрел вправо, на электростанцию. Огромное, во всю стену здания, окно машинного зала было освещено и в сумерках блестело, будто в стеклах отражалась еще вечерняя зоря. Начинался «максимум». Работали все котлы, и дым, густой и черный от сырого торфа, стелился по ветру над самой крышей станции.

Поземка предвещала метель, и Птицын забеспокоился. До сих пор не пришел на дежурство Илюшин, — парторг котельного цеха. Птицын, бывало, дежурил вместо парторгов, неожиданно срывавших дежурство. Ему было безразлично, что в бараке сидеть, что здесь. Здесь даже спокойней, — только изредка позвонит телефон да спросят, где секретарь парткома. Но это в обычные ночи, а в этом проклятом феврале станция три раза сбрасывала половину нагрузки. И сегодня тревожно, вон какой ветер, а секретарь парткома уехал, да вдруг Илюшин не придет.

Партком и все общественные организации помещались в новом стандартном каменном доме с одинаковыми комнатами, но в глазах Птицына эти комнаты отличались друг от друга, как отличаются друг от друга люди. И даже ночью, бродя из комнаты в комнату, Птицын находил в них отзвук дневных дел. Дневная суета оставалась еще в беспорядке на столах, в сдвинутых с места стульях, в запахе дыма, в дыхании людей, которое казалось еще висит в воздухе. Но все это были только отзвуки, только тени дневного волнения — комнаты были пусты и мертвы. Побродив, Птицын опять усаживался у телефона. Тикали часы на стене, изредка звонил телефон. В телефонную трубку Птицын слышал волнение, досаду, нетерпение, но все это относилось не к нему и обрывалось с легким шелчком, когда на том конце провода вешали трубку. Иногда спрашивали: «Это дежурный?» — «Кто?» — Птицын? — «Ну-ну, Птицын». — добродушно говорил какой-нибудь знакомый голос. Он не успевал ответить, как провода разъединялись.

И Птицын опять подумал о себе, о своей беспомощности, о том, что и партии такой человек, как он, очень мало нужен, — подумаешь, партийный письмоводитель. И что это за болезнь, которая

делает его забывчивым и бестолковым? Он вспомнил, как, решившись, наконец, провести в бараке беседу по текущей политике, он после первой же фразы забыл все, забыл решительно и никак не мог вспомнить, хотя книга и газетные вырезки лежали перед ним. Трясущимися руками он перебирал страницы, смотрел на подчеркнутые им же строчки и ничего не понимал.

Ему тридцать шесть лет, вон и волосы редкие. Илюшин на десять лет моложе, а сделал в своей жизни в десять раз больше.

Птицын сидел на своем стуле, не зажигая огня. В открытую форточку влетел ветер и шевелил бумаги на столах, слышно было, как перекликались паровозы на торфяной узкоколейке. На стене против окна появились неясные светлые пятна, разделенные тенью от оконного переплета.

На столе секретаря парткома зазвонил телефон. Птицын вздрогнул, поднялся. Пока он подходил, нетерпеливая телефонистка позвонила еще раз.

— Это дежурный парткома? — спросил женский голос.

— Да, — откашливаясь, ответил Птицын.

— А кто дежурит сегодня?

— Илюшин, парторг из котельной.

— Вася, Вася, что же ты моего голоса не узнаешь? — засмеялась женщина. Птицын узнал, — это звонила Витковская, она всегда звонила, когда дежурил Илюшин.

«Фу ты, как неудобно, — подумал он, и хотел положить трубку, да понял, что она опять позвонит. Растерявшись, он положил трубку на стол, потом опять приложил к уху.

— Алло, алло! — раздраженно говорила Витковская. У Птицына забилось сердце, щеки у него покраснели. Что делать?

— Да, — сказал он с отчаянием, — я слушаю.

— Нас разъединили, Вася, — сказала она опять прежним голосом, от которого у Птицына почти физически ощутимо защемило в сердце. — Вася, ты почему же вчера так рано ушел?

Он нажал рычаг телефона, да так и придерживал его, как будто боялся, что голос сам прорвется сквозь разъединенные провода.

Телефон зазвонил раз, еще раз, третий, четвертый, а Птицын все стоял около него, рукою придерживая рычаг. Так продолжал он стоять, пока в коридоре не

раздались шаги и в дверях не появился Илюшин.

— Что за чорт, — сказал Илюшин, — никого нет.

Он повернул выключатель и с удивлением посмотрел на Птицына.

— Спал, что ли? — спросил он.

— Да нет — так, — виновато улыбаясь и потирая небритую колючую щеку, ответил Птицын, — замечтался. Папирсочку нет ли?

Они закурили. Илюшин примостился в кресле секретаря парткома, подложив на сиденье свою кожанку и поставив стул, чтобы вытянуть ноги. В своей полувоенной одежде, в кубанке на светлой стриженной голове он походил на молодого комиссара гражданской войны.

— Поэмка идет, видал? — сказал он.

— Давай сводку.

Птицын положил на стол сводку, которая показывала положение с топливом. Пока все шло хорошо, bunkера на станции были выгружены на семьдесят-восемьдесят процентов. Илюшин позвонил диспетчеру узкоколейки, по которой подвозили к станции торф, — все в порядке.

— Ну как она, жизнь, Птицын? — спросил Илюшин.

— Да ничего, Василий Петрович, живу... — Он помялся. — Тут опять звонили!

— Кто?

— Она. Я по голосу узнал.

— Да ну ее совсем, — пожал плечами Илюшин. — Что ей от меня нужно!

Птицын покраснел и, пеловко повернувшись, открыл дверцы шкафа и стал перебирать и перекладывать бумаги, а потом опять сел за свой маленький столик с машинкой. Илюшин сидел, полужакрыв глаза, ни о чем не думая. Он сутки не выходил из цеха, и теперь в ушах у него звучал стук молотков по железу и гуденье, которое никогда не прекращалось в котельной. Сейчас, конечно, нужно бы поспать, даже веки опускаются. Чтобы не уснуть, он открыл глаза и стал смотреть как Птицын печатает на машинке. «Вот чудак еще!» — подумал он про него и улыбнулся.

— Птицын, ты что же не женился еще? — спросил Илюшин.

Птицын, не переставая печатать, покачал головой.

— Что же?

— Да так, не на ком.

— А Стрельцова из первого магазина? Я ж тебе ее сватал.

— Все шутки, несерьезные вещи,— пробормотал Птицын. Ему не нравился разговор.

— Чудак, я ж серьезно говорю,— улыбнулся Илюшин.— Она бы тебя хоть в порядок привела. В таких штанах тебе ж только на стуле сидеть. Встать даже нельзя. Она тебя и обошьет и утешит. Ведь баба какая!

— Не надо, Василий Петрович,— совсем смутился Птицын,— я сам зашью.

Илюшин встал со своего кресла и пошел к Птицыну вплотную.

— Ты мне правду скажи, Птицын, разговаривал ты с ней?

— Ну, зачем, ну что толку,— бормотал Птицын.

— А то ведь я за тебя поговорю.

— Да нет же, не надо.— Птицын глядел на клавиатуру машинки, но буквы стали прыгать перед ним, и он стучал наугад, не понимая даже, какие слова у него получаются.

— А зачем ты думаешь я для тебя комнату добывал? — приставал Илюшин,— я ж ее в коммунизме зубами вырвал. Кровать, стол дали тебе?

— Да я, Василий Петрович, не переехал.

— Как не переехал? Я же тебе, дураку, ордер в руки сунул. Ты что же его потерял?

Птицын встал. Он был в сильном волнении.

— Нет, зачем же,— сказал он,— я его Гандурину отдал.

— Ты что же с ума спятил?

— К нему жена из деревни приехала, то-се, неудобно,— оправдывался Птицын.— Ну как бы я взял? Вот мы и сменялись. Коммунизм-то не возражал. А я привык.

Илюшин пожал плечами и рассмеялся.

— Дурак ты, я тебе скажу, последний дурак! Так женихом и померешь.

— Ну что ж,— улыбнулся теперь и Птицын,— меньше слез будет. Покурим, что ли,— сказал он, чтобы закончить неловкий, неприятный ему разговор.

Фортка была закрыта, но от окна дуло все сильнее. Ветер усиливался, слышно было, как он свистел за окном и обрывком провода неравномерно ударял по стеклу.

— Как бы народ не пришлось вызывать, товарищ Илюшин, ночь-то будет беспокойная.— сказал Птицын и снова сел за машинку.

Каждый час Илюшин звонил дежурному инженеру на щит, дежурному по котельной и к железнодорожному диспетче-

ру. И еще до того, как по телефону откликались люди, он слышал гуденье турбины машинного зала, стук слесарей в котельной и обыкновенную комнатную тишину диспетчерской узкоколейки. Барометр падал, но торф подходил равномерно, составы не застревали и электростанция работала нормально.

Часов в восемь в партком позвонили. Илюшин снял трубку.

— Да, я,— сказал он недовольным голосом.

Говорила Витковская.

— Я было решила больше тебе никогда не звонить. Ты невежливый, как бревно... — Она старалась говорить шутливо.— Трубку бросаешь. У меня к тебе деловой разговор.

— Почему, как бревно?— удивился Илюшин.— Ничего не знаю. В партком звонила? Да это Птицын был.

У Птицына пересохло в горле. Он приложил ладонь к губам и замахал рукой, но Илюшин и не видел его.

— Знаем, знаем,— принужденно засмеялась Витковская.— Ну да ладно... Ты мне вот что скажи... — Она тянула, словно забыв о чем хотела сказать.

— Ну что? — нетерпеливо сказал Илюшин.— Некогда, честное слово.

— Подумаешь, чего там делать? Сидишь да на этого красавца Птицына смотришь. Тоже золото...

— Ладно, ладно,— сказал он раздраженно,— давай поскорей.

— Вот что. Тебе большой зал на четырнадцатое оставлять? Может быть, малого будет довольно, а то у нас...

— Научитесь вы когда-нибудь дело делать? — вдруг рассердился и покраснев, закричал Илюшин.— Я тебе когда заявку дал! Полно вас там, бездельников!

— Ты не кричи, пожалуйста, не начальство!

— Чего не кричи. Договаривались мы с тобой?

— Да что ты сердиться, Вася, ну договаривались, ну оставим. Уж и спросить нельзя.

— Охота болтать бестолку,— пожал плечами Илюшин.— Всю жизнь болтаешь. Когда только перестанешь?

— Вот помру и перестану. Тебе, небось, и жалко не будет.

— Ну, чего еще?

— Не сердись, Вася. Ты мне лучше вот что скажи... — начала она опять, а потом, будто сама себя перебив, быстро спросила:

— Вася, а ты почему вчера так рано ушел?

— Я ведь сказал — в цех...

— Брось, брось, не верю... Просто скучно стало.

— Ну как хочешь. Зачем я тебе врать буду, чудачка.

— Правда, было весело. Сергей потом уходить не хотел. Ты знаешь Сережку, какой он.

— Так и не ушел? — насмешливо спросил Илюшин.

— Да что ты? — возмутилась Витковская.

— Нет и не надо, — засмеялся Илюшин. — Это ж твоё дело, честное слово.

— Если бы не он, если бы кто-нибудь другой... — медленно сказала она и помолчала. — Несчастна будет та девушка, которая тебя полюбит.

— Что ж я хуже всех?

— Может, и лучше всех. Да что с тебя толку, что ты за парень, так — недоразумение.

— Ну ладно, давай закругляйся...

— А ты от всех женщин так бегаешь, как от меня? — насмешливо спросила она.

— А ты ко всем мужчинам так... — неожиданно зло сказал Илюшин, а потом поправился, — ты со всеми так разговариваешь?

Витковская не ответила, но и не положила трубки. Она услышала странный звук, будто она глотала воду.

— Алло! — крикнул он. Никто не отвечал. — Да ну тебя... — Илюшин с раздражением бросил трубку.

Птицын, наклонив свое длинное туловище над маленьким столиком с машинкой, перечитывал по нескольку раз слова протокола и никак не мог найти в них ни связи, ни смысла. Только бы Илюшин не заметил его волнения и не придал ему смысла, который Птицын старался скрыть даже от самого себя.

Илюшин сел на край стола и вытащил папиросы.

— Закурим, Птицын!

Птицын стал лихорадочно хлопать себя по карманам, ища спички, хотя они лежали на столике перед ним, потом стал чиркать и никак не мог зажечь: они ломались одна за другой.

— Нет спасенья, Птицын, честное слово.

Птицын не отвечал.

— Нет спасенья, Птицын, — повторил Илюшин, — так дураком и хожу по городу. А ты что-нибудь понимаешь? Просто

глупость одна. Взбрело ей в голову! А я-то чем виноват? Ей-богу, люди смеются. Ты думаешь никто не знает? Вчера веду собрание, а из угла эта дурица, ее подруга — забыл, как зовут — смотрит и смеется. Чорт ее знает, чему она смеется, а я думаю — не надо мной ли? Зло берет — дурацкое положение — валдайскую девичу разыгрываю... Очень похоже на меня! И она же в слезы.

Птицын взволновался еще больше.

— Как в слезы?

— Вон возьми трубку — ревет.

Птицын не мог найти слов.

— Это... это не годится.

— Ну ясно.

— Это совсем... не годится, — с трудом выговорил Птицын и посмотрел на Илюшина. — Это... не по-человечески...

— Ты что это?

— Да, не по-человечески. Так нельзя... Никак нельзя. Это слушать невозможно. Голова болит.

Илюшин растерялся от неожиданности. Он никогда не видел Птицына таким возбужденным.

— Да ты пойми, чем же я виноват? — сказал он и соскочил со стула.

— Все равно, все равно, — повторял Птицын. — Это все равно. Он встал, подошел к окну и прижался лбом к стеклу.

— Ты, чудак, хоть объясни...

— А что объяснять? — повернулся к нему Птицын. Что тут непонятного? Женщина ведь.

— Женщина? Ну так что? — не понял Илюшин.

— Грубость это... — Он опять не находил слов. — Что хорошего? Уж у нее одно несчастье. Зачем еще прибавлять? Грубость... до слез... зачем же это?

— Ты ж ее не знаешь, — вдруг почувствовал необходимость оправдаться Илюшин. — Она сама тебя так отбреет...

— Все равно, — прервал его Птицын. — Нельзя, все равно... Какая б ни была. Это надо осторожно... Я сидел тут, уж думаю провалюсь сейчас... Куда бы деваться... Ведь это ей просто ножом по сердцу. Да еще так!

Илюшину стало неловко.

— Неужели так получилось?

Птицын махнул рукой и сел за свою машинку.

— Фу ты, чорт, — сказал Илюшин, нагнул кубанку на лоб и почесал в затылке. — А чего делать-то?

— Не знаю, этого я не знаю, — торопливо сказал Птицын.

— Может позвонить ей? — Илюшин вопросительно посмотрел на Птицына, но тот молчал, разыскивая в своих протоколах утерянные слова.

Илюшин постоял в нерешительности у телефона, а потом взялся за трубку.

— Соня? Витковская? Это я — Илюшин, — проговорил он запинаясь. — Да нет, ты послушай... Я тут тебе что-то не то сказал сгоряча... Так ты не обращай внимания. Была одна причина... Мы поговорим. Если можно, я найду. Ты спать еще не будешь? Так после дежурства.

Он еще постоял у телефона. Чувство неловкости не проходило. Он уселся на свое место и положил ноги на стул.

— По-твоему, что ли, сделал, Птицын? — с усмешкой спросил он. Птицын не отвечал.

Тем временем метель за окном разгневалась. Когда через полчаса Птицын собирался уходить, подошел к окну, то огромная светящаяся стена машинного зала была застлана густой метелью. Свет пробивался оттуда туманным сиянием сквозь сплошную завесу вихрем крутящегося снега, который со страшной силой несло из пустого черного пространства. Ветер был так силен, что Птицын чувствовал, как оконное стекло дрожит под его напором.

Птицын запахнул пиджак, надел полушубок, который был ему короток, и завязал под подбородком тесемки своей облезлой шапки с ушами.

— Я пошел, Василий Петрович. В двенадцать тебя Ерохин сменит. Я с ним договорился — не подведет.

Дверь на улицу не открывалась. «Неужели ветер налирает?» — удивился Птицын. Ему пришлось нажать плечом. Дверь была занесена снегом, а ветер дул так сильно, что Птицыну сразу трудно стало дышать. Он сделал несколько шагов и увяз в снегу. Чтобы отдышаться, он стал спиной к ветру и так постоял с минуту.

«Нет, не дойти — собьют», — подумал он. До общежития было около трех километров, а дорога шла полем и огородами. Итти не стояло.

Когда он вернулся, Илюшин стоял, поставив ногу на стул, и сердито кричал в телефонную трубку:

— Ты мне лучше сейчас скажи: нужны тебе люди или сам справишься. На Соколей Гриве наверняка занесло. Опять потом пороть горячку будем — ты отвечаешь.

Уже по тону Илюшина Птицын понял, что Илюшин говорит с диспетчером транспорта Фроловым.

— Смотри, — не надо, так не надо... Все врет, — сказал он, положив трубку. — Ну как? — обратился он к Птицыну.

— Метет, домой не пойду — далеко. — Птицын стал развязывать мокрые тесемки своей ушастой шапки.

Он составил два стола, придвинул их к батареям отопления, постлал свой полушубок шерстью вверх, лег на него и опершись на локоть, глядел на Илюшина. Нетерпеливо стуча рычагом телефона, Илюшин пытался дозвониться до дальних точек погрузки, чтобы проверить, не врет ли диспетчер, успокаивая его. Птицын хорошо знал диспетчера Фролова. Это был толстый, добродушный человек — рыболов и выпивоха, слишком флегматичный и неповоротливый для сложной и напряженной работы диспетчера.

— Так и есть врет, — сказал Илюшин, добравшийся, наконец, до Соколей Гривы. — Ну да, занесло состав... Теперь я ему, толстобрюхому чорту пропишу... Получил уже раз — еще раз получит.

Птицын улыбнулся. Илюшин с Фроловым были приятелями по рыбной ловле и летом все выходные вместе проводили на озерах. Прошлый раз в дежурство Илюшина Фролов уже получил выговор в приказе от начальника транспорта. Благодарение Фролова, которое так правилось Илюшину на рыбной ловле, приводило его в ярость во время работы, а благодарения Фролов никогда не терял, даже в самые трудные, напряженные часы.

Илюшин позвонил Фролову.

— Вот что, друг, — сказал он как будто совсем спокойно. — Ты значит все такие сведения даешь? И на станцию? И всюду? Ну, конечно! А знаешь ты, что на Соколей Гриве занесло состав? Да, представь себе. Уже целый час стоит. А я сейчас звоню начальнику транспорта, что ты очковтиратель и сукин сын, понял? Говори в последний раз — нужны тебе люди? Нет? Ну ладно.

Илюшин звонил уже начальнику транспорта, потом начальнику погрузки, потом еще куда-то. Выспрашивал, беспощадно будил людей.

Птицын наблюдал за ним, восхищаясь этим уверенным в себе, целеустремленным человеком, который вот ведь отсюда, из этой комнаты, увидел занесенный на Соколей Гриве состав. И грузчики, должно быть, надев полушубки, уж идут его отгребать.



Илюшин нравился ему, и даже недостатки его казались Птицыну естественными свойствами, которые нельзя ставить Илюшину в вину.

«А что делается на дворе,— подумал он, и ощутив тепло от батареи, жесткую теплую шерсть полушубка у щеки, он вытянулся и от резкого света сильной электрической лампы зажмурил глаза. Так, не открывая их, он повернулся лицом к стене, чтобы уснуть.

За окном ветер уже не свистел, а выл, обрывок провода непрерывной, частой дробью барабанил в стекло над головой.

Птицын старался поскорей уснуть. В общезнании он привык спать при любом шуме, но сегодня сон не давался ему. Усталый мозг не хотел засыпать и продолжал работать, он откликался на все звуки, которые до него доносились и осмысливалих, и как Птицын ни старался смешать все в сознании, это ему не удавалось. В какой-то тихий промежуток, когда Илюшин не говорил по телефону, пришла, наконец, дремота, но вдруг, будто прорезав ее, зазвонил звонок, и сквозь полусон Птицын услышал, как, повторяя чьи-то слова, Илюшин переспросил:

— Три котла перерезали? Начинается петрушка...

Перерезали котлы... Птицын ежился, когда слышал слова, которые звучали убийством. Это действительно означало конец работы котла, когда железная заслонка перерезала путь сыплющемуся в топку торфу и глушила огонь. Перерезали три котла — должно быть, выключили Аладинскую линию — ее всегда выключали первой. Птицын бывал в Аладине. Он представил себе, как остановился и смолк огромный текстильный комбинат с десятками тысячами рабочих. Темно. Только в проходной будке да в одном-двух окнах огромных корпусов тусклым светом засветились керосиновые лампы. Пурга свистит и носится по аладинским улицам. Она задула все фанари и теперь, в темноте, срывает вывески, валит столбы, рвет провода и до крыши засыпает снегом одноэтажные аладинские дома.

Не поворачиваясь к свету, все еще с закрытыми глазами, но уже понимая, что ему уснуть не удастся, Птицын слушал, как Илюшин по всем телефонам разыскивал начальника транспорта, который неизвестно куда ушел,— дома его не было. В коротенькую передышку, пока Илюшин думал, где еще его можно найти, опять зазвонил звонок — перерезали еще два кот-

ла. Значит выключены еще какие-то районы, и Птицын видел, как тьма чернильным пятном расплывается по области, окружает город, подбирается к окраинам. Птицын несколько лет работал на электростанции и все не переставал удивляться огромной силе, которая в ней возникает.

Ему казалось, что он и не засыпал, но он не слышал, как Илюшин звал его и очнулся, когда тот стал трясти его за плечо.

— Вставай, Птицын, садись на телефон. Коммунистов будем вызывать.

Птицын вскочил и стал посреди комнаты, тяжело дыша и моргая глазами. Он не двигался, прислушиваясь к тому, как случало и билось у него сердце. Когда его внезапно будили, у него начиналось сердцебиение — нужно было постоять, чтобы успокоить сердце.

— Что стоишь пнем,— сердито сказал Илюшин.— Станция нагрузку сбрасывает — в третьей котельной все котлы перерезали.

Птицын вытащил истрепанные и исчерканные списки коммунистов и бросился к телефону завкома.

— Давай, Маруся, звонки посильней,— попросил он телефонистку,— авария на станции.

Он обзвонил актив, людей, которые обзаны были собирать коммунистов, живущих с ними в одном доме, потом стал звонить по списку всем подряд, у кого были телефоны. Когда он дошел до Витковской, то поколебался и уж хотел было пропустить, но все-таки позвонил и ей.

— Не могу,— сказала Витковская,— в другой раз, когда хочешь, а сегодня не могу, не могу и все.

Не дожидаясь ответа, она повесила трубку.

Скоро в партком стали собираться люди. Они приходили облепленные снегом, долго топтали ногами в коридоре, отряхивались, освобождались от снега, который забивался даже за ворот, и с мокрыми, красными лицами входили в комнату. Стало людно, шумно, совсем, как днем.

Птицын сходил в чулан, притащил огромную кучу рукавиц, свалил ее у стола и стал отмечать приходящих.

Розовощекая, с каплями растаявшего снега на бровях и ресницах, пришла в большой ушастой шапке маленькая Таня Федорова, секретарь комсомола. Она вошла в комнату и по-собачьи потряхнув мокрыми

ушами, забрызгала весь список Птицына, людей, стоящих вокруг, и рассмеялась.

— А я утонула, ей-богу, так прямо в снегу и утонула. Сугробище — во! — Она показала выше своего роста. — Ну, думаю, прощай, Птицын, прощай, моя любовь.

Все засмеялись, и Птицын тоже.

Илюшин назначил ее бригадиром первого десятка. Как нарочно, это были все большие, широкоплечие люди.

— Ну и дяденьки мне попались, — вздохнула она. — Такие большие, что я с вами буду делать? Смотрите только у меня, не баловаться. Понили, что ли, ребята!

— Пошли, отец-командир, — посмеиваясь, отозвался мастер модельного цеха, у которого Таня жила на квартире, — пошли. Не дай бог, осерчает!

Разобрав рукавицы, они ушли. У стола Птицына уже толпился второй десяток.

— Ведь это что же делается, товарищ? — говорил, топчась по-медвежьи, толстый Бабакин с хлебозавода. Он был так закутан, что выглядел совершенно, как мягкий шерстяной шар. — Ведь это что же делается? Просто несет тебя, просто... — не находя слова, он покрутил короткой и толстой своей рукой. — Ну где же тут с лопатой?

— Снегоочиститель и тот, вон стоит и пых-пых — сдвинуться не может. Куда там? Занесло!

— Кого из них бригадиром, товарищ Илюшин? — спросил Птицын. — Бабакина, что ли?

— Давай Бабакина, — ответил Илюшин.

Бабакин, присев на корточки, уже выбирал рукавицы, какие получше и, отобрав десять пар, раздавал их своему десятку.

— Эге и ты здесь, браток, — сказал он, увидев электрика Панкова, толстогубого, молодого парня с сонным лицом. — Мотай, мотай в другой десяток, там и выспишься... А то уж мы с тобой знакомы.

Панков равнодушно посмотрел на него и отошел.

Бригады уходили к аварийным складам торфа. Склады были не далее, чем в полукилометре, но составы застревали даже на этом, лежащем в ложбине, небольшом участке пути. Поезда просто заваливало снегом. Бабакин не врал — снегоочистители не могли к ним пробиться и бессильно пыхтели, заносимые снегом с обеих сторон. Они уже не были в состоянии двинуться не только вперед, но и назад. В партком позвонили из города, из горкома партии.

— Тихе, тихе, — шипел Илюшин и махал рукой.

Прижав трубку к уху и морщась от напряжения, он слушал чей-то сердитый голос.

— Чорт знает что... — слышал Илюшин, — выключили... — Что выключили он не разобрал. — Мобилизуйте... — догадывался он.

— Сделаем, — кричал он в ответ, — сделаем... ладно... Кто говорит?

Потом стало слышно немного лучше, и тот же голос, но уже не такой сердитый, рассказал, что в городе трамваи застряли на улицах в снегу и что такой пурги не было уже сорок лет.

— Кто говорит? — крикнул Илюшин, но так и не узнал, кто говорит, связь оборвалась.

В партком приходило все больше и больше людей, около Птицына выросла очередь, народу набилось столько, что люди уже стояли в коридоре и Птицын еле успевал отыскивать фамилии в длинном, не по алфавиту составленном списке. От суеты у него кружилась голова, он ставил птички не туда, куда нужно, путал людей.

— Постой, Морозов, так ведь ты же брал рукавицы...

— Какой я тебе Морозов, чорт слепой, — огрызнулся здоровый краснощекий парень, сердитый на то, что после смены ему не дали поспать. Птицын еще раз поднял голову и увидел, что это кочегар Вахрушев, сосед его по общежитию.

— Фу ты, Вахрушев, — пробормотал он.

— Фу ты, фу ты, — передразнил он его. — Вот сажаем нагрузку из-за таких дурачков, как ты. Давай рукавицы.

— В котельной-то как? — спросил Птицын.

Вахрушев не ответил и отошел.

Приходя с улицы, люди закуривали топроливо, большими затылками глотали дым и быстро уходили. Теперь вся комната была в сизом тумане. Стало жарко. Илюшин расстегнул ворот гимнастерки. Телефон звонил все чаще и все тревожней становились вести.

— Скорей, скорей, — торопил Илюшин. Птицын, уже не глядя, не спрашивая фамилий, ставил свои птички куда попало. Люди проходили быстро и молча. Скоро под столом осталась разве какая-нибудь дюжина рукавиц.

Прибежали, еще с остатками сна в глазах, последние, запоздавшие. Илюшин задержал их.

— Вот что, ребята, — сказал он. — Вы последние идете, так скажите там, пусть народ поднажмет, станция висит на двух

жалых котлах. В одном бункере еще есть жалость, а в другом так ветер гуляет... Надо собственные нужды сохранить, а то как бы не пришлось закрывать лавочку. Понятно? Чтобы нажали! Кочегары, скажите, пусть постараются. И Бабакина найдите, ему скажите.

Ребята ушли. Тогда позвонил, наконец, пропавший было начальник транспорта, умоляя поскорее прислать людей, и тут Илюшин обложил этого начальника такими словами, что Птицын только ахнул и почесался.

— Здорово ты его, товарищ Илюшин.

— А что я с ними церемониться буду? Сколько ушло?

— Все, как есть.

Илюшин взял список, сел и стал в нем разбираться. Птицын посмотрел на Илюшина, ожидая увидеть его хоть сейчас, когда все ушли, растерянным и подавленным, но он, казалось, и забыл, что отвечает за организацию, да и за станцию, которая того и гляди остановится. Закусив губу и ставя точку карандашом, он походил на мальчишку, который решает трудную задачу.

Птицын с ужасом вообразил себя на его месте. За пятнадцать лет, что станция стояла здесь на болотах, нагрузка не падала до собственных нужд и никогда станция не была под такой близкой и неминуемой угрозой. Теперь все зависело от тех людей, которые с деревянными лопатами копаются в снегу там, на полях перед торфяным составом, у аварийных складов. Теперь станция работает только на себя, — сгорит последняя вагонетка торфа, и тогда уж ни завтра, ни даже послезавтра она нагрузки не возьмет. Маленькая станция в ремонте, а без электричества эту громадину не запустить.

Илюшин отложил список в сторону и, покусывая карандаш, в раздумье глядел на телефон, решая, что бы еще предпринять? Было без десяти двенадцать.

Раздался звонок. Таня Федорова прокричала в трубку, что последней партии нехватало лопат, что лопаты заперты в сарае, а начальник, — Таня не знает, чего он начальник, — не разрешает сбить замки.

Тут пришел Ерохин, парторг механической мастерской, сменив Илюшина, и, пока он отряхивался и вылезал из своей одежды, Илюшин сунул ему сводку, надел кожанку и схватил из-под стола рукавицы.

— Постой, Васька, — остановил его Ерохин, вытирая ладонью подстриженные

щеткой усы и все свое мокрое от снега лицо, — постой, ты мне объясни толком, чего тут делается... Вот погода какая, и ведь очередь не моя дежурить, баба мне жить не дает: знаем, говорит, какие это дежурства ночью! А все Птицын проклятый... — улыбаясь неторопливо проговорил он.

— Чего тут объяснять! Ты, Ерохин, звони в службу пути, лопат, сволочи, не дают, а я побегу подкручу пару, а то как бы нам с тобой не наподоли — станция вот-вот вылетит.

— Да ну, — удивился Ерохин, — тогда вали...

— И я с тобой, товарищ Илюшин, — сказал Птицын и тоже достал из-под стола рукавицы.

Илюшин улыбнулся.

— Сиди здесь, чудило. На что ты там нужен?

Он вышел и тут же вернулся.

— Так смотри, Птицын, не чуди.

Илюшин вышел.

Птицын так и остался посреди комнаты. Он посмотрел на рукавицы. Они были рыхлые и очень большие. «Таких и рук у людей не бывает», подумал он и бросил рукавицы под стол. Вялыми, словно ватными ногами Птицын перешел через коридор в комнату завкома. Там было полутемно. Освещая то одну сторону комнаты, то другую, качаясь, перекидывалась со стены на стену полоса света так, что казалось, и сама комната качается, будто каюта на корабле. Птицын подошел к окну. Ветер так яростно раскачивал уличный фонарь, что казалось, он вот-вот сорвется, и свет его тревожно метался из конца в конец, будто ища спасенья от неминуемой беды.

Птицын стоял посреди комнаты. Ему нужно было о чем-то подумать, но этот мятущийся, прыгающий свет мешал ему вспомнить о чем. Зачем он сюда пришел? Тупое и тягостное чувство, осязаемое, как гиря в груди, мешало ему дышать, ему казалось, будто с каждым вздохом он и в самом деле поднимает подвешенную внутри физическую тяжесть. Случилось что-то неприятное... Когда? Вот теперь только что... Илюшин — прямой парень — он не скрывает того, что думает. Впрочем, причем же тут Илюшин. Будто он и сам этого не знал. Он услышал те же слова, что и сам себе говорил тысячу раз. Теперь они сказаны вслух — вот и все.

Налетел такой сильный порыв ветра, что весь дом задрожал, тоненько зазвенели стекла, с прохотом сорвалась и полетела водосточная труба. Она, должно-быть, за-

дела за провод и вырвала крюк на столбе, потому что фонарь стал раскачиваться по огромной дуге. Ветер рванул еще раз, фонарь налетел на стену и разбился.

Может быть и наступил решительный час. Может быть для него в этом и главное — быть там, где все. Теперь и пойти...

«Да на что ты нужен», вспомнил он вдруг слова Илюшина, и горечь, которую он при этом ощутил, была такой едкой, что словно обожгла ему легкие и сердце.

Внизу заскрипела на пружине и хлопнула входная дверь, кто-то затопал валенками по лестнице и пробежал по коридору... «Кто бы это мог быть?» — подумал Птицын и услышал голос Витковской, говорившей с Ерохиным. «Да ведь она решила не приходить», вспомнил Птицын. Он вышел в коридор, постоял немного перед дверью в партер, открыл ее, остановился, ослепленный ярким светом, и заслонил глаза рукой.

В первую секунду он не узнал ее в большом белом платке, в чужом полуботинке, в огромных валенках. Вся облепленная снегом, в одежде снежной бабы, из неуклюжести которой глядело живое, с яркими губами, с горящими щеками лицо, Витковская представилась Птицыну в таком необыкновенном сочетании снега и живой теплоты, что ему показалось, будто он видит ее, как и чаще всего он ее видел, — во сне.

При Птицыне часто о ней говорили. Мужчины называли ее красивой, женщинам она не нравилась, и они пожимали плечами: что хорошего — худая, черная, только что глаза, как блодечки, да одевается хорошо.

Но Птицын не понимал, красива ли она. Когда она приходила, он терялся, и вещи падали у него из рук. Только после, немного привыкнув к ее присутствию, Птицын искоса разглядывал ее из-за полукрытой дверцы шкафа или натгнувшись за машинкой. Очень гибкая, она прескальзывала между тесно составленными столами и стульями, почти не касаясь их, как будто огибая и вещи и людей своими резкими и быстрыми движениями.

Кто-то при нем назвал ее выдрой, и он внутренне согласился, лишив это сравнение его обидного смысла.

Но теперь можно было только угадывать, какова она, живая, внутри этой бесформенной оболочки, в которую она была закутана.

Птицын, так и не опуская руки с глаз, пошел в сторону, натываясь на стулья.

— А толком все-таки кто-нибудь скажет мне, где Илюшин? — спросила она.

— Я ж тебе сказал — на пути пошел, — ответил Ерохин, добродушно развалившийся в кресле. — Да хоть Птицына спроси.

— Верно, пошел на пути, — подтвердил Птицын, сам не зная, зачем севший за машинку.

— А ты что же? — вдруг накинута на него Витковская. — Никому покоя не даешь с этим своим телефоном, а сам здесь околачиваешься. Тепло тебе? Не дует?

— Так его, так, Соня, — посмеиваясь, закивал головой Ерохин. — Вон и на тебя управа нашлась — целый день ко мне приставал...

Птицын встал.

— Ну, одевайся, одевайся, со мной пойдем. Давай рукавицы, где они?

Она достала рукавицы, надела их, повертела огромными ладонями, похлопала их друг о друга.

— Давай, давай, — торопила она Птицына. — Я ведь и куда идти не знаю.

— А Илюшин очень сердился, что я не пошла? — спросила она, когда они спустились по лестнице. — Я себя просто плохо чувствовала... А вот видишь, все-таки вышла, — прибавила она. — Ты знаешь, сорок лет такой вьюги не было — мне по телефону сказали... Ужас!

Они вышли на улицу, и сразу ветер чуть не сбил их с ног. Можно было подумать, что пурга и впрямь сорок лет колит свою злобу для одной этой ночи. Это был уже не ветер, не буря... Казалось, весь воздух над землей, сжатый в упругую, плотную до осязаемости, массу, несясь, гонимый каким-то гигантским вентилятором, какой-то неодолимой силой, которая решила придать новую форму обжитой людям поверхности земли. Все было неузнаваемо, и в снежной пыли, струившейся над неровностью видимого пространства, поверхность эта текла и менялась на глазах. Вдруг на несколько секунд напор вихря ослабевал, легкие снежные стайки, как отставший арьергард, догоняли умчавшиеся вперед главные силы воздуха и снега. С порывами ветра они разлетались веером, то поднимаясь, то опять припадая к земле, пока их снова не увлекло, только на мгновение ослабевший, тот же стремительный и непреодолимый напор.

Сопrotивляться ему было очень трудно. Нужно было перейти улицу, ставшую сплошным сугробом. Ветер дул вдоль, и Птицын пошел боком, подставляя ему спину. Витковская завязла в сугробе, он подождал ее, и она ухватилась за его рукав.

Птицын шел почти наугад, мимо ремонтных мастерских, он их еле узнал. Он взял немножко в сторону и не нашел жалитки, через которую ходили обычно для сокращения пути. Им пришлось перелезть через забор, от которого над снегом оставался только гребень. У Птицына сильно стучало сердце, он задыхался. Витковская висела у него на рукаве, ему было тяжело, но он остановился только тогда, когда они вышли на пути и уперлись в торфяной порожняк, выше осей занесенный снегом.

— Фу, устала,— Витковская села прямо на снег между двумя вагонами.— Дай отдышаться.

Птицын втянул голову в плечи и стоял молча, пока она не поднялась.

— Ну что стоишь? Пойдем.

Они перелезли через несколько порожняков и пошли вдоль путей. Теперь было легко. Ветер дул в спину.

Контора службы пути помещалась в снятом с колес вагоне. От докрасна раскаленной железной печки, топившейся углем, там было удрушающе жарко. В вагоне грелись люди, ушедшие с первой партией.

— Меня Илюшин вызвал.— громко сказала Витковская.— Нет его здесь?

Никто не знал, где Илюшин. Витковская с Птицыным, взяв лопаты, вышли. Ветер, ударив в широкую поверхность деревянной лопаты, чуть не вырвал ее у Птицына из рук. Лопата, как парус, подгоняла его, пока он не догадался повернуть ее ребром к ветру, сбивавшему его с ног.

Уже поземка, летящая по низу, стремилась сгладить все неровности на земле. Ветер сдувал снег с высокого места и заполнял все ложбины, которые встречались ему на пути. Буран завалил глубокую двухметровую выемку узкоколейки, и Птицын не узнал места, пока вплотную не наткнулся на группу людей, ковавшихся в снегу. Они втыкали лопату в снег, а когда ее подымали, то ветер сразу сдувал все с ее широкой ладони и, казалось, делал работу бессмысленной. Птицын остановился по пояс в снегу возле работавших, не узнавая их и не зная, что делать. Витковская куда-то исчезла.

— Давай сюда, ребятки,— сказал, будто выкатившийся из темноты Бабакин,— давай сюда, давай ближе к паровозу.

Птицын пошел с другими. Керосиновая лампа в глазу паровоза светила не дальше, чем на два шага впереди себя. Паровозик дышал теплом, как живой, и пыхтел перед стеной снега.

Бабакин поставил Птицына куда-то прямо в сугроб.

— Копай здесь.

Птицын, задыхаясь от ветра, воткнул лопату глубоко в снег и, собрав все свои силы, стал ее вытаскивать, стараясь забрать побольше.

К рассвету метель улеглась. Когда Илюшин вышел из диспетчерской, перед самой дверью, пыхтя и свистя, прошел маневровый паровоз. Илюшин пошел за ним по снежной траншее, на дне которой лежали рельсы. Небо синело, синий отсвет падал на снег впереди в колеблющейся предрассветной мгле, низко над землей, дрожа, прыгали огоньки на стрелках.

Тянул слабый, почти незаметный ветер. Над станцией поднимались параллельно два дымных столба. Они сливались расплывшимися вершинами высоко в светлешем небе.

«Дымит все-таки Дунькина фабрика», довольно подумал Илюшин. Какие котлы? Первый и седьмой? Ну, ну! Зайти, что ли! Или плевать, черт их не возьмет!

Станция набирала нагрузку.

Илюшин свернул с главной магистрали на подъездной путь, который шел к аварийным складам. Иначе было и не пройти домой.

Птицына он заметил, чуть не споткнувшись о его ноги, вытянутые почти до самых рельсов. Птицын сидел, прислонившись к отвесной снежной стене. Голова его была опущена на грудь. Рядом лежала лопата.

Илюшин испугался. Он пощупал его руки — они были холодны. За шашухой, под шерстью полушубка, было еще тепло, но он не смог прощупать, бьется ли сердце.

— Птицын,— позвал он, но тот не отвечал.

Илюшин попробовал приподнять его, но Птицын свалился, упал лицом в снег, да так и остался. Илюшин снова поднял его тяжелое тело, подставил плечо, взвалил Птицына на себя и пошел, стараясь не сгибаться, хотя было очень тяжело, да еще задрывшаяся лапа птицынского полушубка шерстью лезла ему в глаза и мешала видеть, что впереди.

Никого не встретив на пути, Илюшин с трудом дотащил Птицына до парткома. Он опустил его на снег около дома, прислонив спиной к стене. Вместе с Ерохиным они втащили его наверх и положили на два стола, которые так и стояли, как Птицын их сам составил. Птицын лежал на спине с отвалившейся челюстью, с синим лицом и без дыхания.

Пока Ерохин дозволялся к врачу, Илюшину, расстегнув полушубок и пиджак Птицына, приложив ухо к его груди, старался прослушать сердце, но ничего не слышал из-за шума в ушах.

— Что, жив? — спросил у него Ерохин. — Гитман сейчас будет. Да уж не поздно ли? Говорит, трогать нельзя. А мы его как таскали... Нельзя было, говорит.

У Илюшина шумело в ушах, он еле стоял на ногах и еле слышал, что говорил Ерохин. Электрический свет, не потушенный, несмотря на уже наступившее утро, резал ему глаза.

— Свет погаси, — сказал Илюшину.

В комнате стало серо. Лицо Птицына в бледном утреннем свете совсем помертвело. Илюшин снова зажег электричество.

— Почему трогать нельзя? — спросил он шопотом, а потом, кашлянув, переспросил то же самое громко.

— Сосуды там у него... я что-то не понял. Но, говорит, нельзя. Как же это так получилось?

Илюшин пожал плечами.

— Ты зачем его отпустил?

— Я почему знал. Пришла Сонька эта... Витковская и увела... Тебя искать. Нашла, что ли?

Илюшин не ответил.

Пришел доктор, маленький человек с сосредоточенной значительностью в лице. Не снимая шубы, он подошел к Птицыну, взял его за руку и, хмурясь, стал смотреть в стену.

— Да, — сказал он и снял шубу.

Он стал осматривать и ощупывать Птицына, и тут, глядя, как этот хмурый, небольшого человек распоряжается большим и длинным телом, Илюшин почувствовал детскую веру в чудесное докторское умение. Пришел доктор и стало ясно, что Птицын жив и, конечно, выздоровеет.

Доктор кончил осмотр.

— Ваш больной мне не нравится, — сказал он, неприязненно глядя на Илюшина, как будто не больной, а сам Илюшин не нравился ему. — Трогать с места безусловно нельзя во избежание возможной катастрофы с сосудами. Я надеюсь, понятно. Полный покой.

Он сел за стол, вытащил блокнот и посидел с пером в руке.

— Ну, зачем тут рецепт, — вдруг рассердился он и спрятал блокнот в карман. — Да подложите ему что-нибудь под голову.

Илюшин скинул кожанку, свернул ее и подошел к Птицыну, не зная, как подступиться, опасаясь, как бы не толкнуть и не

разбить сосуды, в которых теперь держалась вся жизнь Птицына.

Доктор выбежал из-за стола, выхватил кожанку, сложил ее наново и уложил на нее голову Птицына.

Уходя, доктор поманил Илюшина за собой.

— Слушайте, — сказал он ему шопотом. Преувеличенной серьезности, с какой он вошел в комнату, уже не было на его лице. Оно было озабоченное и грустное. — Можете мне поверить, — сказал он, — я не знаю, что с ним теперь. Я терапевт, а здесь нужен невропатолог. Он скажет точно. Медицина стала теперь такой наукой, что быть врачом для всего человека целиком никто из нас не может. Вы меня понимаете? Я вызову невропатолога из города. А пока не трогайте его с места.

Обещав после дежурства прислать сестру, доктор ушел.

Потопавшись немного, не зная, что делать, скоро ушел и Ерохин, обещав «чего-нибудь соорудить». Илюшин остался с Птицыным один. Он погасил электричество, походил по комнате, потом присел к столу и тут вдруг захватил его неодолимый сон, которому он и сопротивляться не стал.

Еще не проснувшись, он почувствовал, что по комнате кто-то ходит. «Это, должно быть, Птицын ходит», подумал он. Но постепенно освобождаясь от сна, с закрытыми еще глазами, он понял, что это не Птицын, а кто-то другой. Тогда он усилием заставил веки приподняться и в туманную дрожавшую щель увидел спящую женщину с чем-то белым.

«Ага, это сестра, доктор прислал», подумал он и совсем открыл глаза. Но это была не сестра, это была Витковская. Она стояла спиной к нему около Птицына. Не шевелясь, не трогаясь с места, Илюшин видел, как ловко и осторожно вынула она из-под головы у Птицына его кожанку и подложила белую подушку. Потом она обернулась. Илюшин закрыл глаза, потом опять приоткрыл и из-под полуопущенных век видел, как она стачила с Птицына валенки, как подкладывала под него мохнатое одеяло и простыню. Все это она делала спокойно и быстро, как привычную работу, и это было удивительно Илюшину, который не любил в ней главным образом ее крикливую суетливость. Она вышла за чем-то, и Илюшин увидел, что в комнате все стало иначе. На столе стояли какие-то склянки и пузырьки, и Птицын, накрытый белым одеялом, с головой на подушке, уже не казался мертвым и страшным.

Илюшин услышал шаги Витковской и снова закрыл глаза. Теперь он уже не открывал их, не зная, как и о чем будет с ней говорить. Она шуршала чем-то в углу около Птицына, потом все стихло, и он не знал, что она делает. Не смотрит ли она на него? От этой мысли он забеспокоился, и ему показалось, что веки у него непроизвольно дергаются.

Зазвонил телефон. Илюшин открыл глаза, Витковская и в самом деле стояла близко и смотрела на него.

— Это не я тебя разбудила, Вася, честное слово,— сказала она улыбаясь.— Ты спи, я сама поговорю.

Но Илюшин сам снял трубку и нарочно затягивал незначительный этот телефонный разговор, не зная, о чем и как с ней говорить.

— Ты не удивляйся, пожалуйста,— сказала Витковская, нетерпеливо ожидавшая, пока он кончит,— я встретила Ерохина, он мне рассказал всю эту историю. Птицын — это ведь чудесный парень... только малахольный немного. Он ведь тут дни и ночи, как привязанный, сидит. А я ведь не знала, что он такой больной. Вася,— сказала она торопливо,— ты не сердись на меня, что я вчера не вышла, я боялась, что ты ко мне придешь и не застанешь. А я уж только потом сообразила, что ты и сам после дежурства туда пойдешь... Васенька, ты не сердись, я не переживу этого.

Она говорила будто в шутку, улыбаясь, но Илюшину показалось, что глаза у нее стали влажными и блестящими. Впрочем, глаза у нее всегда блестели.

— Да ладно, чего там,— сказал он, стараясь, чтобы получилось сурово и твердо, но вышло просто какое-то бормотанье. Она схватила его за руку, но тут слезы показались у нее на глазах, она резко повернулась и, уткнувшись лицом в стену, теперь уже действительно заплакала. Илюшин растерялся.

— Ты, послушай,— сказал он, трогая ее за плечо.— Не надо,— сказал он и не зная, что делать, погладил ей руку.

Она обернулась к нему, обняла его за шею и близко придвинула к его лицу свое заплаканное мокрое лицо.

— Я дура, Васенька, я совсем сдурела, я все делаю не то и не так, как люди делают. Ты не видишь, что ли? Ну куда я тебя посреди ночи побежала искать? И ведь он умрет, тоже я буду виновата. Ты же первый мне не простишь... И любил бы — не простил, а ты ведь не любишь меня... Илюшин осторожно разнял ее руки и

оглянулся на Птицына. Он лежал как прежде. Илюшин подошел к нему поближе. Птицын дышал, это было теперь заметно, он дышал слабо, прерывисто, и веки у него подрагивали.

Начинался служебный день. В завкоме, в комнате напротив, заговорили, задвигали стульями люди. Осторожно приоткрыв дверь, какая-то женщина в платочке, небольшая, остроносенькая, спросила какого-то Петра Григорьевича, Витковская замаяхала на нее руками, и та спряталась. Стал звонить телефон. Спрашивали секретаря парткома. Он ночным поездом не приехал, и ждать его можно было только к вечеру. Позвонили из города и потребовали указать общую сумму членских взносов за месяц для сводки, немедленно. Илюшин попытался объяснить, что нет секретаря, но в трубку сказали, что Птицын знает, Илюшин начал объяснять про Птицына, но он говорил приглушенным голосом, его не поняли и стали сердито выговаривать по поводу партийного хозяйства. Положив трубку на стол, Илюшин достал ключи из карманов птицынских брюк, которые висели на стуле. Пока он открывал шкафы, я рылся в папках, которые лежали в неизвестном ему порядке, там уже повесили трубку.

Потом опять позвонили, Илюшин взял трубку. Еще не слыша голоса, понял, что говорят из котельной, и обрадовался — он ведь и не звонил туда сегодня. Но спрашивали не его, кто-то, запинаясь, спросил Петра Григорьевича. Илюшин отгрызнулся и повесил трубку.

Потом вдруг дверь открылась, и, толкая перед собою остроносенькую маленькую женщину в комнату, вошел кочегар Вахрушев, тот самый, кого Птицын ночью по ошибке назвал Морозовым. Вахрушев, здоровенный, краснорожий парень, был сейчас краснее, чем обычно. Илюшин только посмотрел на него и сразу увидел, что он выпивши.

— Чего тебе? — нахмурившись, спросил Илюшин. Вахрушева недавно приняли в кандидаты, и Илюшину было неприятно, что он пьяный пришел в партком.

— Дура ты дура,— не отвечая Илюшину, сказал Вахрушев остроносенькой женщине.— «Нетуты»,— передразнил он ее.— Стоит, дура, за дверью и войти боится. Вон он лежит, твой Петр Григорьевич. Ты, Вася, прямо скажи, живой он или нет... Это, знаешь, наш самый дорогой человек.

— Еще живой,— уже не сердясь, ответил Илюшин.— Ты тише ори.

— Не буду,— приложив палец к губам, сказал Вахрушев.— Нельзя — не буду.

— Ты знаешь, Вася, какой это человек. Мне как сказали, что он помирает, так я сразу и хватил. И еще есть,— сказал он, похлопав себя по карману.— И еще могу.

— Нечего, нечего, Ваньку не вайай,— усмехнулась Илюшиня.— Выпил на копейку, а чего разводись! Успокойся!

— Вася,— заговорил тогда Вахрушев неожиданно совсем трезвым голосом,— ты скажи, чего это с ним?

Илюшин рассказал. Между тем маленькая женщина, как будто была недовольна тем, как Птицын был устроен. Она поправила подушку, одернула простыню и недружелюбно посмотрела на Витковскую.

— Тряпка-то есть здесь у вас, ай нет?— спросила она, ни к кому не обращаясь, сняла свою шубейку, вышла в коридор, принесла тряпку и стала подтирать пол.

— Не дыми, слышь ты,— сказала она Вахрушеву.

— Не буду, тетя Луша,— послушно согласился Вахрушев и принял папиросу.— Жалко человека, ей-богу. И вам-то, небось, трудно будет без него?

Илюшин удивленно посмотрел на кочегара, но тот не заметил его взгляда.

— Дурак ты, говорит, Вахрушев, никак свою настоящую путь не найдешь,— продолжал кочегар — а вон она где, твоя настоящая путь...

И вдруг Илюшин вспомнил, что никто иной, как Птицын, первым обратил его внимание на Вахрушева и дал ему рекомендацию в партию. Он вдруг понял, что Вахрушев, чьей работой в цехе он гордился и чьим воспитателем себя считал, не только ему и даже не главным образом ему обязан своим развитием. Это Птицын вот уже два года изо дня в день отесывал его сознание, будил в нем любопытство к тому, что делалось кругом, и убедил его в том, что нужно его активное вмешательство в дело перестройки мира. А ведь не один Вахрушев жил там возле Птицына. Он говорит, что парткому будет трудно без Птицына.

А ему, Илюшину, ведь тоже, пожалуй, будет трудно без него. Птицын умрет, вылетит из его жизни, как кирпич из стены. И он впервые подумал о Птицыне с острой жалостью. но без снисхождения. с каким привык о нем думать и говорить с ним.

Мысли эти пробежали быстро и отрывочно, пока Вахрушев рассказывал, довольно, впрочем, бессвязно, о другом, до

сих пор не известном Илюшину Птицыне. Илюшин посмотрел на Витковскую, грызя какую-то щепочку. Она слушала Вахрушева, и глаза ее были полны влаги, которая вот-вот могла пролиться через край. «О ком это она, об умирающем Птицыне или обо мне?» — подумал Илюшин.

— Дружок мне был,— вздохнул Вахрушев.— Хоронить его будут — весь поселок выйдет. Все ему знакомые были. Хотя больной, а смотри, до чего справедливость любил.

— Что ты — хоронить? — пожевываясь, возразил Илюшин.

Как можно было говорить о похоронах, когда человек был еще жив.

— Поднимется еще,— сказал он не веря: «А вдруг Птицын слышит все это?», — подумал.

— Нет уж,— махнул рукой Вахрушев,— больной, куда ж ему в такую-то ночь выходить. Застудился — тут тебе и конец. Гляди, какой он.

Он подошел к Птицыну и постоял около него. И тут Птицын приоткрыл глаза.

— Птицын,— сказал Вахрушев,— признаешь меня? Вахрушев я.— Птицын закрыл глаза.

— Ведь не признал меня ночью. Обозначился, Федоровым назвал или Смирновым. А я злой был — после смены поспать не дали, и обложил его, уж не помню как.— улыбнувшись, сказал Вахрушев.— Ты скажи мне, какое тут надо дело делать. Может, сбегать куда? А то, знаешь, я сяду с той стороны двери и сюда народ не буду пускать.

Он взял стул и вынес его за дверь.

Из больницы принесли судно, халаты, еще какие-то больничные вещи, и комната совсем перестала походила на партком и выглядела, как больничная палата. Витковская и тетя Луша возлились со всеми принесенными вещами. Телефон перенесли куда-то.

Когда спустя некоторое время Илюшин вышел из комнаты, то застал странную тишину в коридоре. Он заглянул в завком. Там никого не было. И Вахрушев куда-то ушел. Илюшин выглянул на лестницу и там, на лестничной площадке, увидел завкомовцев и Вахрушева. Вахрушев сидел на стуле у двери, а секретарь завкома и бухгалтер, оба в пальто, сидели вдвоем за одним столиком, который еле умещался на маленькой площадке.

— А я их сюда эвакуировал, Вася.— сказал Вахрушев.— Вон Соня говорит, ему покой нужен. А они и здесь посидят. И телефон им вынесут.



— Да мы ничего,— подтвердил бухгалтер.— Ведь к нам весь день народ ходит — беспокойно.

С утра народу было еще немного, но потом, часов с двенадцати, стали приходить в завком и в партком, да еще к Птицыну. Мужчины и женщины, соседи его по общежитию и так просто знакомые, приходили один за другим. Качали головы, уходили, потом заходили еще раз справиться — не стало ли лучше, женщины предлагали помочь, но тетя Луша не пускала никого, а потом пришла и сестра, которую, как обещал, прислал доктор Гитман.

Сестра оказалась женщиной разговорчивой, она часто выходила на площадку и каждому рассказывала подробно о Птицыне. Все у нее получалось ясно, но ясно было только одно — останется Птицын жив или нет. Она развела руками и говорила: «надо надеяться, надо надеяться», но с таким видом, который говорил о том, что надеяться не на что.

Илюшин не спал уже двое суток и рад был тому, что на лестничной площадке холодно и что у него нет стола. За столом и в тепле он непременно заснул бы. Он мог бы, конечно, сходить позвать часок-другой — ничего бы не случилось, станция работала, утренний максимум был взят хорошо. Птицын? Чем он Птицыну может помочь? Кругом людей много.

Но Илюшин все-таки не уходил, приходили группорги, шла повседневная жизнь, и пришедшие даже не удивлялись, что партком и завком работают на лестнице. Илюшин теперь и не заходил в комнату, где был Птицын, зная, что там он не нужен.

Раз только понадобился ему протокол парткома, он пошел и в коридоре натолкнулся на Витковскую. Она несла из комнаты судно и быстро проскользнула мимо него.

Разговорив папки и вытащив нужный ему протокол, Илюшин все же подошел взглянуть на Птицына. Он лежал с открытыми глазами и смотрел перед собой, когда Илюшин подошел, он медленно перевел свой взгляд на него. Илюшин увидел перед собой его глаза, голубые, очень светлые и совсем живые. Илюшин постоял немного и отошел.

Птицын жил. Сознание то оставляло его, то снова к нему приходило. Вначале, когда он получил способность чувствовать, он ощутил только слабую боль около сердца и ничего больше, как будто кроме сердца у него во всем теле ничего не осталось.

Потом уже он стал различать обстановку и людей, пока мысль не вернулась к нему совсем в такой ясности, в какой, как ему казалось, никогда еще не приходила. Вся сила жизни, которая в нем еще оставалась, сосредоточилась в мысли.

Он слышал, что вокруг него говорили, когда думали, что он без сознания, и не испугался, потому что приучился не очень ценить свою жизнь, но ему жаль стало с ней расставаться.

И вдруг он очень ясно почувствовал всю неопределенную радость, какую жизнь дает человеку тем, что он может дышать, ходить по земле, видеть, как приходит весна на озера, и работать. Протоколы? Ну, что же, все равно и протоколы. Печатать? Все равно и печатать, готовить пищу, говорить с людьми, передавать им свои мысли, читать книги, слушать что говорят другие, записывать их слова и мысли в протокол.

Вот жизнь, должно быть, уходит, а теперь-то он и понял, как нужно к ней относиться. Каждый человек, должно быть, может сделать больше, чем ему кажется.

А Соня Витковская? Что ж Соня Витковская? Он улыбнулся одной только мыслью, так что губы и не шевельнулись. Вот она, кажется, здесь была... Это, конечно, не для него. Но ведь и Витковская, как и сам он, обделена любовью, тут ничего не поделаешь.

А если попробовать все-таки выжить... Сделать усилие. Он сделал усилие и вдруг почувствовал всю безмерную тяжесть своего тела, беспомощность рук и ног, боль в голове и опять впал в беспамятство.

Когда он очнулся, был уже вечер. Новый, незнакомый доктор с черной бородой проводил чем-то холодным и острым вдоль его ступней, ноги сделали движение.

— Хорошо,— сказал доктор.— Вы меня слышите?

— Да,— с трудом сказал Птицын и сразу очень устал от этого.

— Смотрите сюда,— доктор медленно стал водить пальцем перед его глазами.

— Хорошо,— опять сказал доктор.— Все хорошо.— И Птицын понял, что он будет жить.

Илюшин и Витковская стояли на лестничной площадке с секретарем парткома, который приехал тем же поездом, что и доктор. Они не хотели мешать осмотру и ждали здесь. Витковская торопливо рассказывала обо всем, что случилось, останавливаясь, когда ей казалось, будто она слышит в коридоре скрип двери или шаги.

Наконец, вышла сестра и сказала, что все хорошо, что больного нельзя беспокоить и что завтра утром его можно будет перевести в больницу.

— Отпусти его,— сказала Витковская секретарю про Илюшина.— Он на ногах не стоит — двое суток не спал.

— Вот видишь, все хорошо,— сказала Витковская Илюшину, когда они вышли на улицу. Она застегнула на нем кожанку и сжала ему руку у локтя.

Густели сумерки, и воздух был недвижен. Далеко на путях прокричал паровоз, откуда-то по-петушиному откликнулся другой. Маленькие узкоколейные паровозы кричали по-своему, не так, как большие на широкой колее.

Быстро, повизгивая колесами, простучал по рельсам идущий со станции порожняк, и снова стало тихо.

Они шли рядом по берегу озера, улицей, заваленной снегом, в котором за день мно-

жество людей протоптало широкую черную тропу. У насосной станции они остановились, здесь путь их шел в разные стороны. Илюшин протянул ей руку.

— Какая у тебя рука холодная, ты весь продрог, Вася,— сказала Витковская.— Зайдем ко мне — я тебя хоть чаем напою.

Илюшин стоял в нерешительности.

— Чаю-то ведь ты можешь у меня напиться.

Они свернули на узенькую дорожку в глубоком снегу. Она вела прямо к трем соснам, стоявшим на гриве над болотом у первых домов поселка. Сосны были тонкие и очень высокие; казалось, вся сила вошла на то, чтобы поднять как можно выше свои небольшие зеленые кроны. Было так тихо, что они даже не шевелились, слегка припорошенные еще не успевшим осыпаться снегом.

## Победа

Рассказ

— Картину Левитана «Над вечным покоем» видели? Помните там эти грузные, клочковатые облака, тихое озеро, ветхая церквушка над ним и этакой сладкой грустью от всего веет. Вот как приедете к нам, на Озеруголь, сходите в наш парк отдыха, отыщите городишную площадку и скамейку, что за этой площадкой над самой кручей. Сядьте на эту скамейку, и перед вами левитановское озеро в натуре. И водный простор, и тишь, и, если посчастливится, облака, и деревянная церквушка на мысу. Там теперь, правда, не церковь, а продуктовый ларек, ну все равно, это ведь пейзажа не портит.

Я почему про эту картину начал? Чтобы показать, что бассейн наш особенный. Уголек мы берем из-под самого из-под озера. Ну да. Над озером облака плывут, по озеру рыбацьи парусники ходят, прирда, тишь. А под озером целый город, штольни, штреки, отбойные молотки тархтят, электропоезда со звоном носятся, отвозят уголь. Техника, жизнь...

Однако, я отвлекся. Не о бассейне нашим я вам хочу рассказать, а о двух наших ребятах, о том, как они на-смерть поссорились, возненавидели друг друга, и к чему все это привело. Да-а! Эта история у нас на шахтах в свое время прогремела. Много о ней судачили. Но, по совести скажу, никто кроме меня по-настоящему этого дела не знает, потому что я с самого начала и до конца был, что называется, очевидцем.

А началось все так. Как-то после партийного собрания сидели мы с маркшейдером нашим Таракановым Федором Григорьевичем в парткоме за шашками. Маркшейдер в шашках дока. В два счета загнал две моих в угол, запер и смеется себе в

бороду, а я сижу перед ним и ломаю голову, как выйти из этого плачевного, можно сказать, положения. Вдруг стук в дверь. И не то, чтобы кто-нибудь так, пальцем постучал, дескать, можно войти? Барабанит кулаком, что есть мочи, так что у нас и шашки на доске запрыгали. Отнер я: что такое! Стоит передо мной лучший наш забойщик Петюха, то-есть Петр Николаевич Стороженко, стоит, за косяк держится, а у самого губы прыгают. У меня сердце заохлодело.

— Авария?— кричу ему.— Говори что ли, чорт полосатый, чего ты молчишь? Вода? Обвал?

Он pokrивился.

— Обвал, говорит,— тут.— Стукнул себя кулачищем по груди, сел на пороге, да как заревет. Мне даже не по себе стало. Ну, женщина заплачет, это так сказать в порядке вещей. А тут Петр Стороженко, парень без малого центнер весу, огромных физических сил.

Стоим мы над ним с маркшейдером Федором Григорьевичем и не знаем, что делать. Утешать неудобно, уж больно велик. А он плачет, он разливается. Потом кое-как успокоился, вытерся ладонью, и рассказал нам, в чем дело.

А дело получилось кривое: оказывается, наш главный инженер, Вадим Семенович Бульман, у Петюхи, то-есть у этого самого лучшего нашего стахановца Петра Стороженко, невесту отбил. Ситуация!

Ну, прослушали мы его, а маркшейдер Федор Григорьевич и спрашивает:

— Как же ты это, спрашивает, Стороженко, девушку проворонил? Ты вона какой—ростом с копер, лицом не противен и работаешь—дай бог всякому—в Москве о тебе знают. А ведь он—глядеть не на что, да и хром вдобавок.

И уж лучше бы ему молчать. Петюха как векочит, как затрясет кулачищами, а они у него в добрую кувалду.

— Оскорбила она меня, обидела перед всем поселком. А я ей и это простил, вернись, говорю, на прошлом крест, по-новому заживем. Нет, говорит, разошлись, Петя, наши пути... Ох, дядя Саша, не могу я больше. Уйду я с бассейна к чортовой матери. Давай, говорит, открепительный талон.

Ситуация! И что сделаем: отпустить нельзя — лучший забойщик, герой, гордость бассейна. С инженером поговорить, отдайте, дескать, чужую невесту, вовсе глупо. Ах, думаю, мало у меня своих парткомовских дел, с вами тут разбирайся. Однако, как мог вразумил его, дескать, хороших девушек много, а Озерутско не только в стране, но и во всем мире один, дескать, большая честь из-под озера уголек добывать, пример показывать, дескать, и как молодому кандидату партии совсем тебе не идет из-за личных дел большое общественное бросать. Ну, и все прочее в этом роде.

— Ладно, говорю, с ней потолкую, а об уходе и из головы выкинь. — Ничего он мне не ответил, повернулся и пошел. Даже шляпу свою фетровую на полу в парткоме оставил.

А девушку ту мы хорошо знали — Варюшка Гречишкина, из местных она, из рыбачек. Пришла она к нам, когда мы еще первый ствол проходили, сначала она нам стирала, палатки прибирала, потом с нами землю рыла, а когда первую шахту в эксплуатацию сдали, обучилась и стала подъемщицей. Своя воспитанница, общая любимца, можно сказать, родная нам. Вызвал ее и говорю:

— Что ж ты это, дурашка, такого парня бросила? Золотой парень. К ордену его представили, а ты?..

— Ничего, говорит, Александр Ильич, не попишешь, дело такое — сердцу не прикажешь. Полюбила, говорит, инженера и все.

— А у него-то это серьезно, он-то тебя хоть любит?

— А это, говорит, мне неизвестно. У нас, говорит, и разговору об этом не было. Знаю, говорит, что люблю его и все. Что ей на это скажешь? Ситуация!

Теперь я скажу вам насчет этого самого главного инженера Кульмана Вадима Семеновича. Парень он был молодой, только со студенческой скамьи и прямо к нам, тепленький, можно сказать, приехал. Никто у нас толком его еще не знал. Но

дурной его характер уже проявился: сухарь какой-то, слова лишнего не скажет, не улыбнется. Голоса никогда не поднимет. Но уж если кто иной раз в работе оплошку сделает, так с ним вежливо поговорит, что тот вспотеет от стыда: лучше бы уж как следует обругал. И из себя не видный. Угловатый, сутулый, лицо желтое, губы в ниточку, и к тому же хром.

За что-то такого любить — ну, просто непонятно.

А Варюшка наша влюбилась в него без памяти. Он в рудоуправлении, бывало, поздно засыпался, а она ночь-полночь возле ходит, ждет. Сидят они в столовке, или, скажем, в кино — глаз с него не спускает. Ну, присто с ума сошла девка.

Петюха же видеть их не мог. Инженер в комнату, он воп. Заметит их в конце поселка — на другую улицу свернет. И что с парнем сделалось? Бывало, кто на вечерах песню заводит — Петр Стороженко. Чей голос на весь поселок гремит — его. Вокруг кого девчата табуном — опять же вокруг него. А тут вроде даже и характер у парня переменился. Работал, правда, по-прежнему, ничего не скажешь. Но как поднимется на гора — в баню, из бани на озеро. До самой смелы никто его больше не видит. Удочки завел, лодку в деревне купил — так целые дни и занимался этим самым апостольским промыслом. Наловит рыбы, а потом ходит с насадкой по поселку да собак кормит. Раздражительный стал, чуть что — ругается, из-за каждого кривого слова — в ссору.

Я уж говорю ребятам — оставьте вы его в покое, время лучший лекарь — любую рану заживит.

Хорошо! Между тем у Варюшки с инженером дела вроде шли налад: не разлей вода, на работу вместе, с работы вместе, в кино рядом. Ну, наши поселковые бабешки, женщины, извиняюсь, уже совсем их между собой было поженили. Вдруг — бах! Новость!

Прибегает ко мне префорг первой шахты, весь, фигурально выражаясь, в мыле.

— Варю Гречишкину уволили!

— Уволили? Кто? За что?

— Кульман уволил. Она на минутку вышла объявление физкультуркружка повесить. А ему в шахту спускаться надо. Где подъемщица? Нету. Он ее и уволил.

Час от часу не легче! А тут врывается Стороженко. Как был прямо из шахты в робе, в шахтерке, в резиновых сапогах, черный, глаза сверкают, зубы оскалены. Как кулаком по столу грохнет.

— Что, не говорил я! У меня сердце эту пакость чуяло! Инженер! Побаловался с девкой и бросил. А чтобы глаза не мозолила,—с шахты вон. Так! А ты,—кричит,—покрывать его будешь, секретарь парткома!

Я его урезонивать: утихни, разберемся, выясним. Какое там!

— Нет,—кричит,—теперь я сам разберусь. Теперь мне вашего разбора не надо. Пусть моя голова пропадает, а и ему не поздоровится. Нам, говорит, с ним на одном земном шаре двоим — тесно. Либо я, либо он.

Ситуация! И верно, думаю, как бы парень в сердцах глупость какую не сделал. Вызываю в партком этого самого инженера Кульмана. Как же это, мол, так, товарищ главный инженер, лучшую нашу воспитанницу, первую нашу шахтерку, комсомолку, общественницу и вдруг сразу вон со двора. Он отвечает: мне, де, самому не меньше вашего Варвару Гречишкину жаль, но сделать ничего не могу. Нарушила дисциплину, ушла с поста. А если в эту минуту авария, обвал, вода, а подъемка не работает — тогда что?

— Однако, говорю, ни обвала, ни воды в данную конкретную минуту не было.

— У вас, отвечает он мне, дело какое-нибудь есть? Нет? Так будьте здоровы, мне некогда. — Повернулся и пошел. Что ж, формально он прав. Единоначалие, ничего не скажешь.

Так и ушла наша Варюшка, наша воспитанница, с шахты обратно в родной колхоз. Перед уходом зашла к инженеру в кабинет. Что они там говорили, не знаю, только поймал я ее в коридоре, бежит заплаканная.

— Что, говорю, девка, не слушала совета умных людей?

Она нахмурилась.

— А я, говорит, Александр Ильич, не гаюсь... Вы, говорит, его не знаете, он горший.

А сама лицо руками закрыла и вон.

Да-а, а Петр Стороженко и вовсе неменяемым стал. Целые дни пропадает на своей лодке. Как встретит инженера, так зубы сцепит, кулаки сожмет и прочь. И инженер после этой истории с Варей тоже вроде переменялся. Ни в клуб, ни в кино, ни в библиотеку — никуда. Целые дни на шахте. То видишь по двору ковыляет, то у подъемки. Вниз спустишься — он там. Ничего от его глаза не скроется. Как-то вижу, идет по двору, а через лужу кто-то пару тесин перебросил. Он десятника зовет:

— Дома, говорит, у себя, наверное, найдете какую-нибудь паршивую планку с гвоздем, так гвоздик клещами вынете, распрямите, да положите в ящичек, а планку в другое место. А тут мерный материал, ценность, а вы его в грязь затаптываете. Хозяева!

Никому спуску не давал. Работать умел, по этой линии про него худого не скажешь, но только, я вам честно скажу, не лежало у меня к нему сердце после истории с Варей особенно. А тут еще опасуюсь, как бы Петруха чего не отчубучил. Мало ли что может такой парень в горячах сделать. А инженер будто ничего и не замечает — лезет на рожон.

Я вам уж говорил, что берем мы уголек из-под самого из-под озера. Такая это штука — пробраться к нему сквозь плывуны, да брать его из-под воды. Каждый метр штрека бетонировать надо. За каждой каплей воды как за диким зверем смотреть: просочится она, ходок пробьет, да в шахту хлынет, а сверху-то ее целое озеро — поди, удержи. Как-то к нам на Озеруголь профессор один приехал из Москвы, учитель нашего Кульмана, знаток большой горного дела. «Ваш бассейн, говорит, уникал, единственный в мире. Перед такими, говорит, почвенными условиями американцы и те отступают». Американцы отступают, а мы нет. Мы такой бассейн отгрохали — каждый день из-под озера по триста тонн вынимаем. Да какого угля! Впрочем, не в этом дело.

Так вот начал я вам о том, что инженер Кульман Вадим Семенович вместо того, чтобы Стороженки остерегаться, точно нарочно на рожон лез. Работает раз Стороженко в забое, хват, главный-то инженер к нему и ковыляет.

— В центральный, говорит, ствол пливун ударил. Поручаю тебе, товарищ Стороженко, заделать, только тихо.

И говорит он это спокойно, будто спрашивает, как поживаешь. А ведь у нас любому откатчику известно — что такое пливун. Пливун это для нашего шахтера самое страшное слово. Как он только пробьет себе ход побольше, да еще в стволе, тут уж ничего не поделаешь. Шахту поминай как звали, успевай людей спасать. Так вот как только Стороженко услышал это слово пливун — сейчас же к аварийному сигналу. А инженер его за руку:

— Не смей, не поднимать паники. — Он, видишь ли, высчитал, что можно без шуму прорыв зашпаковать и работу не срывать и людей попусту не баламутить. Ну, а у Стороженки, понятное дело, вну-

три все кипит. Думает — вредитель чортов, шахту затопить хочешь, ладно, мы тебя расшифруем. Решил сигнала не давать и идти с инженером, а когда его вредительство ясно станет, тут его за руку поймать и поднимать тревогу.

Сели они на крышу клетки, колья, пеньки с собой взяли. Поднимаются. А плывун уже потоком хлещет, бурый, густой, будто шахта кровью истекает. Поднялись до прорыва. Клеть остановили.

— Затыкай, — говорит инженер.

А Стороженко про себя думает, если вредительство — заткнешь здесь, в другом месте может сильнее прорвет или что. Это тоже в нашем деле бывает, если не правильно рассчитать. Медлит Стороженко, а инженер усмехнулся:

— Струсил, эх вы!

Схватил инженер кол, намотал на конец колом пеньки, да как со всего размаха в прорыв его ткнет. А сила-то у него пылячья. Пливун кол вытолкнул, да колом инженера в грудь. Тот покачнулся, остушился на хромую ногу, да мимо мостков в колодец. Успел в последнюю минуту за железную планку, которой кисть обшита, ухватиться и повис. А высота метров сто. Висит, подтянуться сил нет, а в лицо ему плывун хлещет, спшибает вниз.

Уж много времени спустя Стороженко рассказывал мне про это самое происшествие. «Висит, говорит, он, а я и думаю, ну, и пусть. Не подниматься ему самому, оборвется, полетит вниз и все тут. Сам себя и за мою обиду, и за Варьку, и за все наказал». Мелькнула у Стороженки такая мысль, однако, сам он быстро лег на живот, подбородком уперся в ту же железную планку, ногами кое-как за канат зацепился, а руками схватил инженера подмышки.

— Виси, говорит, смирно, не болтай ногами. — А сам, опираясь на подбородок, потихоньку, потихоньку стал отползать назад и инженера выволакивать. Минуты три тянул. Подбородок вкривь и вкось об железку расквасил, а вытянул-таки. Поставил на ноги.

— Держись за канат! Храбрый! Потом сорвал робу свою шахтерскую, шапку, с инженера пиджак стащил, всем этим кол обмотал, нацелился, да со всего размаха и загнал в промоину. Силища, я вам скажу, у него, у этого Стороженки! Заткнул-таки он прорыв. Потом они вместе все это закрепили кольями, зашпаковали. И, представьте себе, так они это сделали, что на шахте узнали о прорыве только тогда, когда строительный отряд получил аварийный

наряд — пробетонировать пораженное место. Да еще работница, у клетки дежурившая в тот день, рассказывала потом, что Стороженко и Кульман поднялись с гора по поля голые, грязные, обляпанные плывуном, и инженер, будто, протянул забойщику руку, а забойщик, будто, руки не принял, повернулся и, ничего не сказав, пошел прочь к банно-прачечному комбинату.

Ну, хорошо. Казалось бы, после такого происшествия должны были эти люди между собой помириться. Куда там! По-прежнему скалятся друг на друга. Однажды выбрали обоих в президиум. Встретились они в коридорчике, как на сцену подниматься, повернули и пошли обратно каждый в свою сторону.

Попробовали их помирить. Маркшейдер Федор Григорьевич, он у нас самый старший годами и к тому же всеми уважаемый герой, бассейн-то он открыл, уговорить их взялся. Ничего не получилось у Федора Григорьевича. Инженер только плечами пожал, а Петруха этот выругался, тем и дело кончилось.

Ну, махнули на них рукой. Благо хоть на работе все это не отражается. Стороженко этот что ни день выработку вверх тянет. Кульман новый способ бетонирования штреков предложил. Работают ребята.

Кстати, об этом способе. Я уж говорил, что из-за особых условий грунта мы каждый сантиметр штрека бетонируем, забираем его, как бы сказать, в бетонную трубу с толщиной стенок в метр. Кульман и предложил трубу эту делать не круглой, а эллипсоподобной и за счет этого вдвое толщину стенок уменьшить. Миллионная экономия! Но и риск большой. Над головами-то озеро. Инженеры у нас из-за этого способа перепаралились. Одни говорят — можно, другие — нельзя. Кульман — у меня расчет, а ему — у нас практика, опыт. Приехал из треста человек, все обследовал, рассчитал.

— Заманчивое, говорит, дело, очень заманчивое. Но разрешить не могу, гарантий нет, риск. Если уверены — делайте на свою ответственность, но помните, я ничего не знаю.

И что вы думаете, Кульман, этот хромой мальчишка, только-что соскочивший со студенческой скамьи, говорит: хорошо. Я буду отвечать!

Отвел он опытный участок и, понимаете, назначает работать на нем, кого бы вы думали? Стороженку. Тот прямо обалдел. Прибежал ко мне в партком:

— Не желаю, не буду... Он же, чорт колченогий, знает, как я его люблю. А тут такое дело — кирпич положил не туда, бетону кило не довесил, и все это ко всем чертям — и затея и авторитет его на-марку. Он же себя мне в руки отдал. Чего ж он со мной делает! Какое у него право над человеком так издеваться.

Ну, я вижу, парень совсем рехнулся, через край перехватывает.

— Ты, говорю, Петр, со мной Московское метро строишь?

— Строишь.

— Ты, говорю, вместе со мной по заданию партии приехал под озером новый бассейн создавать? Приехал или нет, говори?

— Ну, приехал.

— Ты, говорю, на моих глазах вырос. Знаменитым человеком стал. Так или не так?

— Так, в чем дело?

— А в том, говорю ему, Петруха, дело, что слов этих я твоих не слышал. А если, говорю, что-нибудь подобное еще раз услышу — знай, не быть тебе на шахте, не носить тебе партийного билета, а сидеть тебе на скамье подсудимых.

Тут он не выдержал.

— Чего он ко мне лезет? Знает, что я видеть его противную рожу не могу. Так чего же меня возле себя держит? Что же я, железный? И сырое дерево загорается, если его день и ночь огнем палить.

Накричал я на парня в тот раз, накричал и вскоре об этом горько пожалел.

Случилась тут вот такая история, страшная, можно сказать, история. Как-то раз, когда Стороженко с бригадой проходчиков бетонировал по новому способу штрек, один паренек из его людей заметил, что железная балка, поддерживавшая бетонное кольцо, вроде как бы прогнулась во внутрь. Пригляделся: верно — балка толщиной рельсов в пять гнула, как удочка. Страшная это сила — вода. Ну, понятно, дали сигнал тревоги. Людей подняли на гора, под землей инженер разрешил остаться только десяткам-двум лучшим забойщиков со Стороженкой, маркшейдеру Федору Григорьевичу, ну и мне. И велел он нам попытаться построить в устьях штрека перемычку — перехватить воду и изолировать, так сказать, пораженный участок.

Да-а. Уж где тут изолируешь. Вода хлыщет, шахту заливает, до поверхности нам метров двести, над головой озеро. Плохо. Возьмись мы, как кроты, но колесо в воде. Перетаскиваем мешки с цементом, камень, кирпичи. Огоньки шахтеров мечут-

ся, видно только пену на поверхности воды, да бледные лица нани. И Кульман с нами. Тут-то мы его по-настоящему все и увидели. Ведь на опытном его участке прорвало. Он знал, что головой за это отвечает. Вода под ногами. Озеро над головой. Стороженко вове убитый ходит. Боятся, подумают, что из-за плохой кладки бетона прорвало. Уж на что маркшейдер наш Федор Григорьевич — бывалый горняк, десятки аварий на своем веку видел, и тот растерялся. А этот чорт Кульман ковыляет между нами по воде, мешки таскает, бетон мешает и все торопит: — Скорей, скорей, скорей.

Однако, работали мы понапрасну. Скоро вода перемычку нашу слизнула, где ж незастывшим бетоном такую силу удержать. Тогда Кульман скомандовал:

— Всем на гора!

Стали нас наверх вытаскивать. А клеть всего восемь человек поднимает. Вода прибывает, мне уже по пояс, а Кульману — он росточка маленького — по грудь. Наконец, пришла последняя клеть, а нас девять человек осталось. Кому-то, выходит, оставаться надо. Ну, мы, Стороженко и я, отошли прочь.

— Забойщик Стороженко и секретарь парткома Ильин, в клеть, — командует Кульман. Мы даже растерялись.

— А вы останетесь, да? Героем хотите быть? Как же! Не сяду и все, — кричит Стороженко.

— Вы знаете, что значит аварийный приказ. Немедленно в клеть! — отвечает ему инженер, да спокойно этак и голос ровный.

Мы со Стороженко старые шахтеры и знали, что такое аварийный приказ. Через минуту клеть пошла вверх, внизу булькала вода и где-то там остался один маленький хромой человек. Понимаете наше состояние? Пока клеть опускали за пневмом, Стороженко бегал вокруг ствола, как кошка у крысиной норы, а когда клеть поднялась, бросился прочь, пробился сквозь толпу и до вечера его не видали.

А инженера я не узнал. Поднялся он бледный, мокрый, зубы клцают. Постоял некоторое время над отверстием ствола, послушал, как внизу вода клокочет, и вдруг сел на землю, закрыл руками лицо и заплакал без слез, беззвучно, неутешно и зло. Знаете, как маленькие плачут, когда какой-нибудь взрослый их несправедливо обидит.

Да-а. Вот так-то и затопило нашу шахту. Было это осенью. Ну, со всех сторон, понятно, поваехали комиссии. Одни

обвиняют инженера, дескать, рассчитал неправильно, другие говорят, плохо было забетонировано, а что самое скверное — все сходится на том, что шахту надо закрыть, дескать, американцы умнее нас и опыта у них больше, и техника богаче, однако, и они не решаются брать уголь из-под озера. Потом приехал тот самый профессор, что был у нас вначале. Кульмана он знал по горному институту как своего ученика, и к бассейну с восторгом относился. Однако, и он развел руками — откачивать бесполезно. Шахта и озеро сейчас — два сообщающиеся сосуда. Ну-ка, осуши озеро. Словом, и он высказался за ликвидацию дел.

Ох, никогда не забыть мне этой самой ликвидации. Шахта на замке. Каждый день под окном скрипят возы — наши горняки на станцию барахлинско отвозят. Какое все это слушать нам, которые пришли сюда, когда на месте шахты еще лесок рос, которые тут все до последнего винтика своими руками сделали. Ситуация!

А тут еще сомнение мучает — кто виноват. Кульман со своими новыми конструкциями, или Стороженко с негодной кладкой. Кульман спокойно утверждает, что расчет его верен. Стороженко матерится на весь поселок, говорит, что бетон, как сталь, за бетон головой ручается. Однако, поди проверь на дне затопленной шахты. А тут еще последний разговор со Стороженкой в ум лезет. Неужели, думаю, пошел парень на такую подлость. Ох, скверно. И что ни день уезжают люди, и каждый в партком прощаться лезет. Ах, думаешь, чтоб вам пусто было с этими вашими прощаниями. Сердце вы у меня по пять раз на день вынимаете. Ехали бы уж так, не прощавшись.

Стороженко с горя занил. Ходит по поселку опухший, небритый, мятый. Кульман еще больше ссутулился, похудел, в чем душа держится. Идет, бывало, как луна-тка, не разбирая дороги, прямо по лужам на берег, сядет на эту самую скамейку, что за городишной площадкой, засунет руки в рукава, уставится в одну точку, да и сидит так целый день, шевеля губами.

Как-то раз мы с маркшейдером Федором Григорьевичем с горя за шашки сели. Только мы разыгрались, вдруг Кульман входит. Ни слова не говоря, шашки со стола смахнул, разложил чертеж.

— Есть, говорит, выход.

Ай, думаю, какой там выход, зря только шашки сбил. Однако, слушаю. Верно, выход! Ведь что он надумал. По маркшейдерским планам найти по поверхности земли

точку прорыва. С земли пробурить к скважину и с помощью насоса под огромным давлением качать туда бетонный раствор. Вроде бы там на глубине заткнуть прорыв бетонной пробкой. Не знаю, повезет ли вам этот проект, но мы с маркшейдером, старые, горняки, сразу дело учудили. Простая штука: пломба, как зуб запломбировать. Однако, найди по поверхности земли с помощью одной только карты и вычислений, где этот проклятый зуб. Ох, тонкое это дело. Да и буренка тоже — по земле на сотую долю сантиметра отклонился, а под землей на десятки метров в сторону забрел.

Все это мы прекрасно знали. Однако, посмотрим на чертеж, как малый ребенок фокуснику в шляпу: неужели снасение?

— Не взялись бы вы, Федор Григорьевич, по земле отыскать точку прорыва? — спрашивает инженер.

— Боязно, — отвечает маркшейдер. — На сантиметр просчитался — все прахом. Сотни тысяч ведь.

— Ну, боязно, так и говорить не о чем. Играйте себе в шашки. Простите, что вмешался, — отвечает ему Кульман и хотел бы уйти. Но тут вскакивает маркшейдер Федор Григорьевич. У него даже борода от обиды растопырилась.

— Ладно, — говорит, — чорт с вами, отыщу этот проклятый прорыв. В лепешку расшибусь, а отыщу. А вам, говорит, весьма стыдно, молодой человек, этак-то вот с седьми горняками разговаривать.

И вот через пять дней является ко мне наш маркшейдер, бледный, измученный.

— Отыскал, говорит, точку. Как раз на угол нашей электростанции пришлось.

— Стало-быть, если проект Кульмана осуществить, надо еще и электростанцию ломать. Час от часу не легче. Ситуация! А этот чорт, главный инженер, жмет. Ему не терпится. От телефона день и ночь не отходит. Ищет сторонников своего проекта и в тресте, и в главке, и в наркомате. Однако, затопление шахты сильно ему авторитет подмочило. Одни говорят решительно — нет, другие — ни да, ни нет. «Да» только этот самый учитель его, профессор сказал, да и тот с оговоркой, дескать, очень уж смело, техника подобного не знала, и ручаться ни за что нельзя.

Кульман не унимается. Дозвонился до самого наркома. Из парткома он с наркомным комиссаром разговаривал, и я тут же сидел, слушал разговор по второй трубке. Нарком наш говорит, что материал Кульмана он читал, что проект смелый и спрашивает инженера:



— А что говорят авторитеты?

— Авторитеты против. Трусят авторитеты, вот что. А у меня все рассчитано. Я за успех головой ручаюсь.

— Ручаетесь головой?

— Ручаюсь. Разрешите только.

Настала пауза. Нарком, должно быть, думал. Мы затаились. Маркшейдер тот от волнения всю свою бородину в кулак сгреб и в рот засунул. А Кульман, этот хромой мальчик, судьба которого решалась в эту минуту, спокойно смотрел в окно, где в данный момент проезжала нагруженная скарбом подвода, за которой брела женщина, неся в одной руке горшок с фикусом, а в другой — стенные часы. Только свободная рука инженера, узенькая такая ручка с тоненькими бледными пальцами, незаметно для него самого, комкала и рвала носовой платок.

— Ладно, действуйте, — сказал, наконец, нарком, — но только помните, товарищ Кульман, вы поручились головой, и я вам верю.

— Да, я поручился головой, — повторил Кульман, положил трубку и улыбнулся нам. И тут только увидели мы, что рот у него полон белых, белых зубов, а глаза у него голубые и такие веселые, в комнате от его взгляда словно светлее стало.

Вот, думаю, ты, оказывается, какой. Вот каким тебя Варюшка-то знала.

И надо же так случиться, что в эту минуту вваливается в нарком Стороженко — побрился, в фетровой свесей шляпе, в романовской расстегнутой шубе и с сундучком в руках.

— Прощайте, говорит, — уезжаю до дому, в родной мой Донбасс. Прощай, говорит, Федор Григорьевич. Прощай, дядя Саша, и не поминайте лихом Петруху.

А на инженера не поглядел, будто того и в комнате не было. Дошел до двери, потом обернулся, брякнул об пол тяжелый свой сундучище.

— Ну, прощай коли и ты, товарищ Кульман. Девушку ты у меня отбил, в душу ты мне плюнул, а зла у меня на тебя нет.

— А мне бы с вами не хотелось прощаться. Нарком вот разрешил провести мой проект ликвидации аварии, — сказал инженер, и мне показалось, что смотрит он на Петруху как-то просительно.

А тот схватил свой сундук и дернул прочь, точно испугался, будто его насильно оставят. А потом уже с улицы подошел к окну и сквозь стекло кричит:

— Нет уж, инженер. Проститься я с тобой простился, а здороваться не хочу.

Хватит с меня твоих проектов, сыт по горло. Через тебя, кричит, покидаю родную шахту не как герой и уважаемый человек, а как сезонник с сундучком подмышкой.

Качнулся он, и понял я — выпивши парень, — и еще раз в душе моей шевельнулось нехорошее подозрение, и грустно мне стало, неужели я так ошибался в человеке.

Ушел Стороженко. А мы в этот день собрали сколько было народу, а остались все старожилы, те, что первыми в эти места пришли, и принялись мы сквозь, так сказать, электростанцию скважину бурить. Бурили в три смены, день и ночь, круглые сутки. И хоть от шахты до поселка рукой подать, тут же, в электростанции, спали и жены нам обед сюда носили. Работали без различия квалификаций. Бухгалтер за бурильщика, врач за канатчика и даже известный наш аристократ и белоручка, не признававший ничего кроме своего «ЗИС'а» ни слова не говоря землю копал. На третий день неожиданно появился среди нас Стороженко со своим сундуком. С дороги ли он воротился, или вовсе не уезжал, а путался где-нибудь на станции, это мне неизвестно, только бросил он свой сундук, скинул свою знаменитую романовскую шубу, которую он когда-то купил на наркомовскую премию, и, ни слова не говоря, встал к буру. А через день после этого из деревни подошла Варя.

Ох, и работа была! За двенадцать дней кончили скважину, вбухали в землю сто двадцать тонн бетона. Обросли все. У Стороженко вдруг закурчавилась этакая могучая крестьянская бородинка, почему-то рыжего цвета. У Кульмана завязались тоненькие китайские усики, и все мы в те дни ходили на робинзонов, а точнее говоря, на каторжников.

Под конец подломил меня ревматизм. Я эту прелесть еще в восемнадцатом году на северном фронте заработал. А тут она меня совсем с ног свалила. Отнес меня Стороженко на кошлах до дому. Сижу я целый день у окна, гляжу на шахты, не вижу ничего кроме высокого забора, да верхушек копров, а душа у меня там. Раз сижу так у окна, задремал, проснулся от крика. Гляжу, от шахты в поселок во весь опор дует косматый какой-то человек в грязном ватнике, в резиновых сапогах, размахивает шахтеркой и кричит, а за ним целый табун деревенских мальчишек и тоже что-то кричат.

Подбежали они поближе: батюшки мои, маршайдер Федор Григорьевич! Борода у него развеивается и орет он что есть мочи:

— Убывает, убывает, убывает!

Добежал он до поселка, остановился посреди улицы, подумал, повернул к моей квартире, да так и ввалился вместе с мальчишками ко мне.

— Ты что?— спрашиваю я и стараюсь скорее понять по его лицу, что это его горе или радость так разобрали.

— Да, убывает,— говорит.

— Что убывает?

— Да что ты не поймешь, вода, конечно. Вода убывает в шахте.

И понял я, удалось, значит, заломбировать прорыв. Вы случайно детей не имеете? Жаль. Мне кажется, только с радостью папаша, узнавшего о появлении первого сынка, и сравнишь то, что я тогда почувствовал. Забыл я про свой ревматизм и про годы свои, ноги в валенки, да на шахту. А на поселке уж знают, бегут бабы, ребятишки, целая толпа.

Прибегаем— стоит народ вокруг ствольного колодца и смотрит вниз, будто что-нибудь там в этой темной дыре и в самом деле увидеть можно.

— Как, кричу, дела?

— Убывает, — отвечает, — убывает. стерва.

Вижу, все стоят, а главного нашего инженера, Кульмана Вадима Семеновича нет. И сердце почему-то у меня нехорошо так верохлапилось.

— Где, спрашиваю, главный инженер?

Кто-то молча показал на электростанцию. Вхожу и вижу: лежит наш главный инженер в углу, скорчившись в комочек. Голова его на Варюшкиных коленях, рот раскрыт. Спит, как ребенок, и сладко всхрапывает. А сверху покрыт он знаменитой романовской шубой Стороженки. И Петруха тут. Двинулся на меня на цыпочках, выставив вперед свои огромные руки.

— Ш-ш! — шипит.— Этот человек не спал четверо суток...

Да-а. Вот какие дела бывают иной раз. товарищ корреспондент.

И когда доведется вам быть у нас на Озеругле и увидите вы со скамеечки, что за площадкой для городков, тихую левитановскую картину, вспомните об этой истории, что произошла там под озером, под вечным, так сказать, покоем.

# Егор Кошелев

## Рассказ

Егор спустился по ступенькам крыльца, прошел к порогу и остановился. Оглядел улицу. Она была тиха и безлюдна. У самых ног старика в дорожной пыли копошилась клуха с выводком беспокойных цыплят. Солнце уже поднялось над крышами изб и начинало припекать. Не в тени тополей, за дорогой, еще сохранилась свежесть утра. Там, в траве, блестели капельки росы.

Егор жмурился от солнца, тер переносицу и жадно вдыхал запах мяты, разросшейся по обочинам дороги. Уставшее за ночь тело наполнялось живительной бодростью. Старика казалось, что вместе с бодростью к нему возвращается молодость. Чувствуя избыток сил, Егор закинул руки за голову, выпятил грудь и потянулся так, что в плечах хрустнули кости.

— Эх, благодать какая!

Из соседнего переулка на дорогу вышла доярка Лена с плетешком за спиной. Подмышкой она держала косу.

— Здравствуй, дедушка Егор, — сказала она и прошла мимо.

— За травой что ли, Ленушка? — крикнул старик.

Девушка остановилась, огляделась, нет ли кого поблизости и торопливо подошла к нему.

— От Сени ничего не слышно? — вместо ответа спросила она. Сказала спокойно, тихо, но Егору было приятно, что на смуглых щеках ее ярко вспыхнул румянец, а в черных насмешливых глазах застыло ожидание.

Семен — младший сын Егора — служит в Красной Армии лейтенантом. Каждый месяц аккуратно он сообщал отцу, что дела на службе у него идут хорошо, справлялся о здоровье и передавал горячие поклоны всем родным. И в каждом письме

Егор находил старательно заклеенную записку на имя Лены. Последнее письмо старик получил недели три тому назад. Он уже хотел ответить девушке, что от Семена пока ничего нет, но раздумал.

— Поклон тебе Сения прислал, — ласково сказал он. — Один знакомый тут передавал, что на побывку скоро отпустят.

Черные глаза девушки благодарно улыбнулись старику, она кивнула головой и быстро прошла за углом дома.

«Женить бы их, — подумал Егор, — отгулять бы и эту свадьбу, пока силы да здоровье есть...»

Под окнами избы росли кусты черной смородины и жасмина, посаженные Егором осенью. Вчера старик решил огородить их. Он вырыл ямки для столбов, вместе со снохой привез из леса несколько еловых кряжей и сегодня хотел докончить начатое дело.

Посмеиваясь, Егор наклонился над смолистым обручком и поставил его «на попа». Потом присел, подхватил кряж под середину и, чуть пошатываясь, перенес его на плече к угловой ямке. Широко расставив дрожащие в коленях ноги, опустил ношу и крякнул, почувствовал в груди ноющую боль.

— Вот так дед! Ну я дед! — раздался за спиной незнакомый голос.

Егор обернулся. На пороге стоял человек, одетый по-городскому. Он был в серых широких брюках, в белой, с расстегнутым воротом рубашке, в широконосых, запыленных ботинках. В одной руке он держал маленький кожаный саквояжик, на другой руке висел такой же серый, как и брюки, пиджак. Раскрасневшееся от жары лицо его улыбалось, и от этой улыбки топорчились густые рыжеватые брови, а глаза прятались под веки.

Человек подошел к Егору и, не переставая улыбаться, попробовал качнуть поставленный в ямку бряж.

— Пуда четыре будет эта штука! И осиял дед?

— Ничего. Сяленка есть.

Незнакомец окинул взглядом высокую, чуть сутулую фигуру старика, задержал свой взгляд на его длинной, густой, только начинающей седеть бороде и отступил назад, удивленно разводя руками.

— Ну куда тебе такие столбы! Взят бы поменьше, полегче.

«Эк дотошный какой, право дотошный», — подумал Егор, не определив еще — пустяшный перед ним человек или серьезный, стоящий внимания.

— Не привык я к легкому-то, у меня закон такой есть: коли делать, так чтобы после не каяться: «Ах, не так, ах, не этак».

— Хороший закон! — Незнакомец подкинул пиджак на руке и вышел на дорогу. — Ну, живи, дед! — отошел немного, потом обернулся: — Правление колхоза где будет?

— А вот он на том посаде дом с красной крышей, — показал Егор. — Тут и канцелярия колхозная.

Незнакомец свернул с пыльной дороги на тропинку. Старик видел, как он не спеша шел возле изб, поглядывая на окна. У дома, где помещалось правление колхоза, остановился, достал из саквояжика какую-то бумажку, заглянул в нее и свернул к крыльцу. Егор взял лопату.

В раскрытые окна избы доносился звон посуды, дребезжание самоварной трубы и ласковый голос женщины: сноха Евгения разговаривала с маленькой Таней, готовила завтрак. На дворе стукнула калитка. Потом из сеней послышались всплески воды и веселые крики:

— Еще, еще ковничек, Еня! А-ах, а-а... На голову, на голову лей!

Это вернулся из поля старший сын Егора — Михаил. Он работал комбайнером в соседней МТС и три дня тому назад приехал в родной колхоз, чтобы начать уборку зерновых. Каждое утро, пока солнце не обсушило хлебов, он уходил к комбайну.

Егор прислушался к выкрикам сына, к тихому смеху Евгения и одобрительно тряхнул головой:

— Ладно живут!

Эту фразу он повторял почти каждый раз, как только видел сына и Евгению вместе.

Душисто пахли травы, ослепительно сияло солнце, певуче играл в лесу за рекой рожок пастуха, и стыло над головой безбрежное бирюзовое небо.

— Тятенька, поди чай пить, — позвала из окна сноха.

В избе было прохладно и немного шумно. На столе клокотал самовар, шинело сало в сковородке. От горы пухлых пряженцев, уложенных на тарелке, поднимался парок.

Егор вымыл руки и по пути к столу заглянул в кроватку Тани. Девочка спала, шевеля во сне губами. Старик согнал с ее остренького подбородка муху, сел за стол. Взят пряженец, лукаво подмигнул снохе:

— Постаралась для муженька!

— Что ты, тятенька, — обидчиво сказала Евгения, — мы и без Миши не хуже ели.

— Ну, обиделась! Пошутыл ведь я, пошутыл.

Несколько минут за столом было слышно только звяканье вилок о сковородку и побряхтывание Егора. Он то и дело брал с колен широкое, расшитое голубыми цветами полотенце, вытирал им губы, прокуренные усы и бороду.

Старика радовало, что загорелая утренняя рука снохи как бы невзначай подвигает к его краю на сковородке жирные и мягкие куски баранины, что рядом с ним сидит его сын, такой же высокий, широкоплечий, что в доме достаток и мир. И он нарушил молчание:

— Человека одного я сегодня видел... Любопытный...

Михаил переглянулся с женой.

— Что за человек?

Старик не успел ответить: дверь в избу отворилась, и на пороге появился его давешний собеседник.

— Ну, где у вас больной? — весело спросил он вместо приветствия.

— А ты, родной, не в тот дом попал, — немного оторопев, ответил Егор. — Больной-то рядом, в соседней избе. У Дарьи Миронихи что-то сын кашлять стал. Искупался третьего дня вечером да видно продрог.

— Нет, я не ошибся, — уверенно проговорил человек. — В правлении колхоза сказали, что Егор Кошелев здесь живет.

У старика задрожала вилка в руке. Он неловко перехватил ее в другую, не удержал, и мясо упало на пол.

— Егора Кошелева вам? — спросил он тихо, думая, что это послышалось ему.

Врач кивнул головой, и старик перевел

своей взгляд на сына и сноху. Лица их показались ему растерянными, будто оба они провинились в чем-то и не решаются сказать. И Егор все понял.

С осени он стал прихварывать: ныла грудь, часто болела голова, и позывало на тошноту. Но старик сносил это молча, никто не слышал от него жалобного слова. А недавно боль в груди была так нестерпима, что Егор решил сказать об этом кому-нибудь из близких, и за обедом шуточно бросил Евгенье, что, видно, уж постарел он: в груди у него «все что-то ноет и ноет». Ему даже сделалось немного обидно тогда потому, что сноха промолчала, будто не слышала его жалобы. А обиделся, выходит, зря: значит, Евгения сходила в канцелярию колхоза и вызвала доктора! Но сдаваться старику не хотелось. Он неторопясь взял с колен полотенце, утерся и встал, выпятив грудь, расправив плечи.

— Я буду Егор Кошелев. Только какой же я большой? Вот я весь!

Старик вышел на середину избы и остановился перед врачом. Не мигая, он смотрел на него, удивляясь, что незнакомец нравится ему все больше и больше. Особенно приятны были глаза врача, голубые, веселые. «Смеются, а видать, сурьезный».

— Так это ты, дед?— удивился врач.— Вот уж никогда бы не подумал... А впрочем, чего в жизни не бывает.

Он пальцами обхватил кисть Егоровой руки, немного помолчал, прислушиваясь к чему-то, потом ласково сказал:

— Вы прилягте.

— Зачем ложиться? Чай, мне не сто лет,— рассердился Егор.

— А вы прилягте!— настойчиво сказал врач, доставая из санвояжика белый халат.— Я вас послушаю.

Старик повернулся и, не глядя на притихших за столом сына и сноху, подошел к кровати. От обиды ему хотелось густо слюнуть на пол, но, вспомнив, как сноха только что бранила за это Михаила, проглотил слюну.

«Доктора вызвали и молчат, словно не их дело».

Врач осматривал его долго и внимательно. Он то заставлял Егора дышать глубоко и редко, то просил заткнуть дыхание, то лечь вниз лицом.

Егору было немножко смешно. «Точно я ребенок маленький»,— подумал он, глядя на выбеленный потолок, на тоненькие резиновые трубочки, тянущиеся к широкой сухой груди.

Егор успокаивал себя, что вся эта история с доктором ничего не стоит, что вот он прослушает его, уйдет, и жизнь снова потечет своим путем.

Старик украдкой взглянул из-под руки врача на сына. Михаил давно уже кончил есть, но не уходил, хотя перерыв на завтрак кончился. Он держал в зубах незажженную папиросу, барабанил пальцами по спичечному коробку и хмурил густые черные брови. Придь волос, упавшая на лоб, закрыла один глаз, мешала смотреть, и Михаил часто встряхивал головой.

Евгенья стояла боком к Егору и мыла посуду. Но делала она это медленно и как-то странно: вымоет вилку горячей водой, вытрет ее насухо тряпкой и снова моет.

Егор отвернулся, зажмурился. В уголках губ под усами дрогнула усмешка:

«Ждут, что доктор скажет. А что им? Осматривают-то, чай, меня».

— Ты болел когда-нибудь, дед?— спросил врач, закончив осмотр.

— Я-то?..

Старик, припоминая, пошевелил губами. Ему захотелось обмануть врача, умолчать о недомогании, которое он чувствовал за последнее время.

— Нет, не хварывал... Ан, нет, хворал. Давно это было, коров я пас. Ну, бык однажды меня к дереву прижал, осерчал и прижал. Неделю отлеживался я, в груди все что-то теснило. А больше не хварывал... Болезни-то боются меня, за десять верст кругом обходит,— рассеялся он, иурясь на врача.

— Сколько тебе лет?

— Недавно шестьдесят пять стукнуло.

— Вот и еще столько же проживешь,— пошутил врач и отошел к умывальнику.

— Ну-ну!— от удовольствия Егор даже прищелкнул языком.— Ах, ты, родимой!

И пока врач мыл руки и утирался полотенцем, старик сидел на кровати и улыбался. Ему хотелось немножко посмеяться над снохой и сыном, но, увидев их повеселевшие лица, отбросил эту мысль.

— А ты, дед, видно, крепко жизнь любишь?— сказал врач.

— Хо! А кто ее не любит, жизнь-то? Умирать охотников нет.

Сердце старика переполнилось радостью от того, что день сегодня начался так хорошо. И сейчас он не знал, куда девать эту радость. Он оправил на постели подушки, качнул два раза кроватьку Таи, хотя девочка спала спокойно, услужливо открыл снохе дверцы посудного шкафа, а потом, не выдержав взгляда врача, выбо-

жал на улицу, забыв поблагодарить его. От стука двери на стене в сених зазвенела коса.

Старик опустился к реке, к своему любимому месту у брода. Здесь вода чистая, искристая, тихо журчала, пробираясь между мелкими разноцветными камушками. На берегу лежал большой поздраватый камень, обросший мохом. Старик сел на него.

Солнечные лучи грели спину Егора, и он, подчиняясь спокойствию, царившему вокруг, сидел на камне неподвижно.

У самых ног бежала вода, стайки молявок сновали на ее поверхности, а чуть подалее, в бочаге, где вода казалась рыжей от солнца, плескались, играя, головли, плотва. Ярко цвели на воде желтые головки водяной кувшинки. В кустах ивняка, на противоположном берегу, перекликались, порхали какие-то серенькие птички. Позади старика, на скошенном лугу немолчно стрекотали кузнечики.

С полей подул теплый ветерок, прижал бороду деда к его груди и улегел. Ветер принес к реке запах ржи и пшеницы и обрывок песни вязальщиц снопов.

— Эка благодать!—прошептал Егор.

За баними по траве уже давно ползли два малыша. У крайней бани, недалеко от камня, на котором сидел старик, малыши вскочили на ноги, и, прижимаясь к стене, выглянули из-за угла.

— Деду-у!—шопотом позвали они и спрятались, прильнув к стене. Старик продолжал сидеть неподвижно.—Деда-а, деду-у!

Егор обернулся, посмотрел по сторонам, встал. Под усами шевельнулась улыбка.

— А-а... Разыскали старика, куренята!

Он на цыпочках подкрался к бане и, заглядывая за угол, грозно хмуря брови, баковито протянул:

— Вот я вас съем!

Но за углом никого не было. Старик подкрался к другому углу. И едва он наклонился, приготовясь высунуть голову, две пары теплых ручонек обхватили его за шею. Егор потерял равновесие и упал на землю вместе с внучатами.

— Пустите... пустите,—бормотал он, пытаясь освободиться.—Задуйте, право задуйте.

Потом посадил утомившихся ребятишек рядом с собой, ласково прищурясь посмотрел на младшего внука.

Грinya — пятилетний, черноволосый мальчонка был, как две капли воды, похож на свою мать. Те же карие, немного

задумчивые глаза, те же губы, тонкие, красные, точно садовая малина.

«Ишь ты, материна порода»,—с удовольствием подумал Егор. Мальчик взглянул на деда и рассмеялся.

— Мамка вечером тятю сказала, что Васька на тебя похож. И сказала, что хорошо это. А Васька не хочет: ты плешивый и еще борода у тебя.

Взгляд Егора остановился на русоволосом внуке. И старик вдруг встрепенулся весь. Смутно вспомнилось детство. У него были такие же, как и у Васятки, кудрявые волосы, серые, с влажным отливом глаза. Даже нос, по-орлиному загибающийся книзу, передался внуку. Старик положил обе руки на плечи мальчика. притянул его к себе.

— Ух, ты, Егор Филимонович,—прошептал он.

— Я не Егор, дедушка, а Василий Михайлович,—поправил внук, но старик не слушал.

Он, смеясь, подхватил ребятишек, поднялся вместе с ними.

— Ну, пошли купаться,—скомандовал он.

После купанья они все трое ушли на дальний вырубок, где вчера пастух нашел улей.

Вернулись они усталые, но довольные. когда багряный шар солнца краешком своим коснулся вершин леса. Ребятишки сразу ушли спать, а Егор сел на завалинке и долго не мог отдышаться. Вытянув отекавшие, уставшие за день ноги, он курил махорку и, щурясь от назойливого дыма, укоризненно качал головой:

— Умучали старика, куренята.

А в душе был рад, что доставил им удовольствие: улей они нашли и, развываясь в густой высокой траве, долго наблюдали, как дружно кипит работа у пчел.

В окне несколько раз показывалась голова снохи. Евгения предлагала старику поужинать и идти спать. Егор отказывался, и она, рассердившись, проворчала:

— Долго ли простудиться!

Но старик не пошевелился. И Евгения в сердцах захлопнула окно.

Уже давно скрылось солнце и сумерки наполнили улицу, давно ушла Евгения, разливавшая по кринкам вечерний удой молока, а Егор все сидел на завалинке. Потом встал и осторожно, чтобы не разбудить спящих в чулане ребятишек и сына с Евгенией, вошел в сени.

Бесшумно открыл дверь на поветь, где была его постель, но зацепился рубахой

за скобку, остановился, чтобы освободиться и в это время услышал шопот в чулане.

— Может, на курорт отправить? Путевку-то в городе купить можно.

— Врач сказал, что пользы не будет, уж больно застарела болезнь. Недолго, говорит, протянет...

Егор отцепил рубаху и прислонился к косяку. В груди раз, другой стукнуло сердце и замерло.

Хотелось крикнуть громко, громко, чтобы слышали не только в чулане, а вся улица, весь мир, что он не хочет смерти, что доктор ошибся, наврал про него, но язык не повиновался. И Егора вдруг охватила слабость.

Опираясь рукой на стену, старик поднялся на поветь, нащупал постель и сел, удивляясь, что Евгения и сегодня оправила ее, тогда как постель скоро уже не понадобится ему, а остаток дней он проваляется и так, на чем-нибудь. Он скоро умрет, и все забудут, что на свете жил Егор Кошелев.

— Ум-ру... — тихо сказал старик, настороженно прислушиваясь к своему шопоту. Страшное слово выговорилось быстро и легко. — Умру, — повторил он, и ему представилось тихое кладбище.

Свист черемуховую листву пробивает солнце. Лучи его падают на буйную зелень травы, на свежий глинистый бугор. Он, Егор, стоит возле бугра, вцепившись пальцами в картуз с оторванным, держащемся на ниточке, лакированным козырьком. Отражение солнца играет на козырьке, слепит Егору глаза, но он стоит не мигая, не шевелясь.

Под бугром лежит неотесанный гроб, в котором спрятано все, что было светлого в его жизни — жена Клаша.

Она умерла, содрогаясь от мук, от страшной ненависти к смерти, подступившей к ней в минуту радости: вместе с последним ее вздохом на жниве появился новый человек, захлебывающийся плачем.

Умирая, Клаша поманила Егора. Он наклонился, яростный от бессилия, от сознания, что не в силах ей помочь, и почувствовал на губах горичее дыхание:

— Живи... Его...рушка... живи, чтобы... О-ох, мука моя... чтобы ребятишки жили... хорошо бы жили...

Он стоял возле бугра, думая об этих словах жены, и не было силы уйти с кладбища...

Старик прижался к стене, стукнувшись головой, но не почувствовал боли. В груди

застыло дыхание. Егору казалось, будто надели на него железный обруч и он не дает легким приподняться для вдоха, душист. Онемевшей рукой старик нащупал пуговицы ворота рубахи, расстегнул, но легче не стало. Он открыл рот, и воздух с хрипом и свистом вырвался из груди.

«Не дожидла Клаша до наших дней». — подумал он о жене, и шопот, услышанный в чулане, снова зазвучал в ушах.

Клаша рано ушла из жизни. Она ушла, не зная, что все будет по-иному, и тогда ей было жаль не жизни, а Егора и ребятишек, которых она оставляла.

Он, Егор, не жалеет детей. Жалуют тех, кто остается в несчастье, а судьба его детей ясна. Ему было жаль себя, свою немощь, которую он скрывал и о которой не хотел, боялся думать. Жаль себя потому, что жизнь была прекрасна и он слишком мало изведал ее.

После смерти жены он жил для детей — двух сыновей и дочери. Для них он ушел на последнюю по тому времени работу — в пастухи. Летом пас, а зимой нанимался пилить и колоть дрова, чистить хлева.

Когда после революции в волости вспыхнуло восстание зеленой банды, Егор ради счастья детей оставил их на попечение дряхлой бабки, матери Клаши, ушел с красноармейским отрядом на подавление восстания. В течение месяца он не знал о детях ничего, много выстрадал от этой неизвестности, но у него ни разу не появилась мысль бросить отряд и уйти к ребятам. Он понимал, что судьба их решалась здесь, в отряде, решалась оружием...

И вот — смерть.

Старик лежал на постели, уткнув лицо в подушку. Одна рука длинная, сухая, свесилась с кровати, пальцы ее коснулись пола, чуть согнулись.

Внизу под поветью трепыхались во сне куры на наместе. Тяжело вздыхала корова, повизгивал поросенок, но старик ничего не слышал.

В хлеву голосисто пропел петух. Егор приподнял голову, прислушался и сел на кровати, с удивлением осматриваясь вокруг. На повети было светло, лишь в углах ее сохранилась темнота уходящей ночи. В щель между бревнами просочился розовый солнечный ручеек, добрался до полки и заиграл зайчиками на старом медном самоваре.

Егор попробовал встать, ноги подогнулись, и он тяжело упал на постель. И впервые за последние годы старик заплакал. Он сидел на постели, положив на ко-

лени руки, смотрел в угол, а по щекам, дряблым и морщинистым, одна за другой скользили слезы, рассылаясь под прокуренными кончиками усов.

Где-то, в конце села, заиграл пастуший рожок, и Егор перестал плакать. Подолом рубахи вытер воспаленные от слез и бессонной ночи глаза, застегнул ворот, заторопился, нащупывая ногами под кроватью берестяные ступни, в которых он выходил по утрам провожать в стадо корову. Надел ступни, встал и приоткрыл дверь в сени.

— Еня! — тихо позвал он сноху. — Енюшка-а, корову доить надо, пастух играл.

Он немного постоял на середине пола, ни о чем не думая, потом подошел к воротам, выходящим на задворки, и открыл одну половину. Волна утреннего свежего воздуха окатила его с головы до ног. Пожевывая от холода, он шагнул вперед и остановился зачарованный.

Далеко, далеко за полями, там, где тонкой полоской протянулись леса, разгоралась заря. Краешек огромного солнца высунулся из-за облачка, и бронзовые его лучи засверкали на вершинах деревьев и на хлебах. Солнце поднималось, и вот уже облачко потонуло в пламени утренней зари.

Жизнь пробуждалась в радостном, ослепительном сиянии, в разноголосом щебетании птиц, в зазывном напеве пастушьего рожка, в ласковом говоре Евгении, доившей в хлеву корову. Егору хотелось, чтобы это мгновение было вечным.

Он стоял в воротах, озаренный солнцем, прижимая к груди руки, и думал, что врач ошибся, что все скоро забудется, стоит только держать себя бодрее, не поддаваться слабости.

Его окликнула сноха, и он вышел на улицу, как всегда, чуть сутулясь, щурясь от солнца.

Старик не показывал вида, что слышал разговор в чулане. Попржнему помогал снохе в домашних делах, проводил дни с ребятишками, стараясь не думать о себе. Он недовольно бурчал что-то, когда замечал, что сноха или сын проявляют к нему излишнюю заботу.

Однажды, когда Егор закончил полоть на грядках в огороде траву и присел у крыльца на землю, Евгения сказала ему:

— Отдых мы тебе, тятенька, решили дать. Завтра председатель колхоза едет в город, и мы приказали, чтобы он путевку на курорт для тебя привез.

Егор поднялся с земли, крикнул:

— А меня спросили? Спросили меня? Может, не хочу я отдыхать на курорте!..

— Что ты, тятенька, — испуганно проплетала Евгения, но Егор не слушал ее. повернулся и ушел на поветь.

После завтрака Евгения прибралась в избе, принесла молока ребятишкам и стала собираться в поле. Она взяла на руки Таню, чтобы занести ее в ясли, и спустилась с крыльца. Егор сидел на завалинке, выстругивал ножом какую-то замысловатую фигурку для внучат.

— Ты, тятенька, не уходи далеко от дома, — сказала она.

— Как так?

— Миша на дальний участок переехал и обедать сегодня не придет. Просил принести в поле. Обед-то ему в печке стоит. А корзинка в сенях. С ребятишками, не торопясь, сходишь.

— А-а, ладно, — сказал Егор и долго смотрел вслед снохе, любуясь тем, как спокойно и сильно шла она по тропинке. На руках у Евгении сидела дочь, но сноха даже не согнулась от тяжести.

«Хороша сноха, слава тебе. Вот и Ленушка бы хорошей снохой была», — подумал старик.

Встал с завалинки, чтобы разбудить внучат, остановился у крыльца, прикрыл глаза ладонью, загляделся в проулок. Из проулка были видны краешек ржаного поля и часть дороги. По ней ехал верховой.

— Почта едет!

Старик решил узнать, нет ли ему или сыну какой-либо весточки и пошел овинойцей наперерез почтальону. Тот еще издали замахал белым конвертом.

— От кого, Венья? — крикнул Егор, оставившаяся у дороги.

Письмоносец хитро улыбнулся и поднял руку с конвертом вверх.

— Спляши, дядя Егор, скажу.

— Староват я, Венья, для таких дел.

Старик ухватился за штанину письмоносца, приподнял на цыпочки и потянулся за конвертом.

— Дай-ка, да-ай... Миша давно ждет.. Э-э, да тут мне. А Мише нет?

— Мише пишут, — рассмеялся письмоносец и подстегнул лошадь.

Дня три тому назад он отвез на почту телеграмму Евгении и Михаила, адресованную Семену, и ему захотелось обрадовать старика.

— Хороших вестей я тебе привез, дядя Егор! — крикнул он на прощанье.

— Ну спасибо тебе.

Старик присел на траву у придорожной березы. Сначала положил конверт на ладонь, пробуя определить его тяжесть,



попупал, нет ли в конверте еще чего-нибудь, кроме письма, и осторожно оторвал с боку узенькую кромку.

Письмо с первых же слов удивило Егора. Обычно Семен писал коротко, сухо. Старик даже гордился этим. «Военный человек, сразу видать»,— хвастливо говорил он снохе после каждого прочитанного письма. А тут точно подменили сына: на называл отца самыми ласковыми знакомыми и незнакомыми старику словами, а в конце письма, сообщал, что командир части объявил ему благодарность за хорошую службу и дал внеочередной отпуск.

«Узнал он,— писал Семен,— что у меня в колхозе невеста осталась и говорит: «Вот тебе отпуск, поезжай и возвращайся с женой». Только вы ничего не говорите Лене,— просил Семен,— приеду неожиданно-негаданно».

Старик улыбнулся, припомнив недавний разговор с Леной. Выходит, что он не обманул ее насчет отпуска сына. И старику вдруг захотелось поделиться своей радостью с Михаилом, посоветоваться о предстоящей свадьбе. Он встал, посмотрел на солнце. Обед сыну было еще рано нести, но старик решил идти сейчас же.

— Пока иду, как раз поспеет время на обед.

Внучата уже проснулись, напились молока и сидели в тени на крыльце, ожидая деда.

Егор положил в корзину кринку с кислыми щами, горшочек со сметаной и творогом, хлеба, бутылку квасу и подал корзину ребятишкам.

— Вы бегите, а я не торопясь следом пойду.

Ребята нашли палку, просунули ее под ручку корзинки, ухватились за концы и побежали.

— Ты, деда, не бойсь: не уроним,— успокоили они старика.

Сразу за овинами начинались поля. По обеим сторонам дороги раскинулись поспевающие хлеба. Начинаясь от самых овинов, хлеба уходили вдаль, где синели в голубом мареве леса. Кудрявые тени облаков проносились по золотистой равнине, и от этой игры теней и солнечного света казалось, будто по полю ходят огромные волны.

Шелесты колосья ржи. Старику чудилось, что колосья ведут между собой задушевный разговор, он остановился чтобы послушать, и удивленно приподнял широкие брови. Ведь вот шелест этот он

слышал еще в далеком детстве, но тогда колосья, маленькие, чахлые, будто жаловались на свою худобу и, глядя на них, на сердце становилось тоскливо. А сейчас было приятно стоять возле ржи и слушать песню — шелест хлебов.

Егор прищелкнул языком, мотнул головой:

— Де-ела! Я живу — радуюсь, и хлеба радуются... Старости, что ли, конец настал!

Он шел по дороге, и позади в пыльной пыли оставались широкие следы его босых ног. Иногда до слуха старика долетал дальний рокот комбайна. Егор представлял, как Михаил в майке, обливаясь потом, стоит на мостике машины, а рядом в бункер хлещет из трубы яктарная рожь. Бок о бок с комбайном ползет грузовик, в кузов которого на ходу выгружают зерно.

Над головой в голубой синеве плавно кружил ястреб. Старик запрокидывал голову вверх и подолгу смотрел, как птица то уходила ввысь, то снижалась так, что были видны ее мохнатые когтистые ноги, и шел дальше, прижимая к груди письмо сына.

Егор подсчитывал дни, когда можно было ожидать приезда Семена, желал, чтобы этот день совпал с окончанием жнитва в колхозе. Тогда можно бы свадьбу устроить по-настоящему, с разукрашенными тройками, с пированием на весь колхоз.

Егор давно не видел своей семьи вместе, скучал по дочери-агроному, и в день свадьбы он, так и быть, уж тряхнул бы сединой, прошел бы по кругу под веселую гармонию.

Дети убежали далеко вперед, кругом было тихо, и Егор наслаждался этой тишиной. И только боязнь, как бы внучата не спутали место, где нужно было свернуть к Михаилу, и не заблудились бы, заставила старика прибавить шаг.

Впереди дорога чуть взбурлилась. Давным-давно, когда-то здесь был ручей, заросший тиной и разделяющий поле на две части. Ручей осушили, запахали, но в память о нем остался бугорок на дороге, служивший когда-то подъездом к мостику. Егор остановился на бугорке, чтобы посмотреть, где ребятишки, и сразу же забыл об этом.

С бугра, как на ладони, были видны поля и село, утонувшее в зелени садов. Защищая конвертом глаза от солнца, старик окинул взором поле. Оно не было пустынным, как это казалось несколько минут тому назад. Справа, ближе к селу

и реке, работала жнейка. Ни машины, ни лошадей не было видно, но что это была жнейка Егор определил по взлету граблей; они, точно крылья ветряной мельницы, поднимались над хлебами, чуточку задерживались и рывком уходили вниз. Следом за машиной двигались вязальщицы снопов. Егор видел, как они — то одна, то другая — наклонялись к жнивью, несколько секунд копошились над кучками сброшенного хлеба, потом взмахивали над головами связанными снопами и спешили дальше.

— Согласно дело идет!

Старик зашагал по дороге быстрее, мысленно представив себе, как придет сейчас к сыну и, пока тот будет обедать, поговорит с ним о делах в колхозе, о Семене, о предстоящей свадьбе.

У самого леса, где от дороги в сторону участка отходила тропинка, Егору повстречался всадник.

— Филимоныч! — крикнул тот, и старик узнал отца Лены — конюха колхоза Василия Шмакова.

Он был в сапогах, в новой, белой с черным горошком рубашке, без шапки. Василий остановил лошадь и вынул из кармана штанов пачку папирос «Дукат». Потому, как он долго не мог достать из коробки спичку, Егор догадался, что Василий выпил.

— Где это ты горло-то успел промочить? — спросил он.

Шмаков облизнул языком губы, подмигнул:

— С прибылью поздравь меня, Филимоныч. У дочери сын родился, вот в город к ней и ездил рождение отмечать. Телеграмма мне была, ну, пошел я к председателю колхоза. «Так, мол, и так, первый, говорю внучек. Второго-то, может, не скоро дождусь. Отпусти, говорю, на день...» А ты куда это?

— Да вот к Мише надумал. Дело одно есть.

Василий тряхнул головой, вздохнул:

— Позавидуешь тебе, Филимоныч, за сына. Экого орла воспитал!

Егор усмехнулся:

— А ты чем обижен? Одна дочь в городе, другая с тобой в колхозе работает: Ленушка на всю область доярка известная, а ты: позавидуешь. Да на такой девке любой орел женится...

Сказал и поперхнулся: не догадался бы Василий о том, что Семен велел хранить пока втайне. Но Шмаков не обратил внимания на слова старика.

— Я не о такой зависти, Филимоныч.

Елена — она, верно, девка не из последних. Сына у меня нет, Филимоныч, сына-а?...

«Сказать или не сказать? — думал Егор. — Скажешь — сын обидится, что не первый обрадует свою невесту, а не сказать — как-то неловко решать такие дела без родителя. Получится, будто Василий посторонний человек в этом».

Старик посмотрел на Шмакова, потом на село, опустил голову и тихо произнес:

— Василий Андреич! — Помолчал немного. — Как ты смотришь, если породнимся мы с тобой...

— Как породнимся? — не понял вначале Шмаков, а когда понял — заторопился, долго высвобождал застрявшую в стремени ногу, перекинул повод и тяжело сполз с лошади. — Эх ты меня ошарашил! — облегченно вздохнул он, когда ноги коснулись земли.

В волосах конюха запутался лист березы, Василий смахнул его и, проследив, как лист, закрутившись в воздухе, осел на траву, посмотрел на Егора. Глаза стариков были серьезны и настороженны. Друзья долго глядели друг на друга, долго молчали, будто раздумывая, кому первому заговорить, потом оба не выдержали и громко расхохотались. Смех всгугнул с пенька гревшуюся на солнцепеке серенькую ящерицу. Она метнулась в траву и затихла.

— Ты думаешь я не знаю, — торопливо заговорил Василий. — Девка молчит, а я вижу: чуть у ваших окон загрохочет телега — к окну. Проверяет, не приехали Семён. И все дома сидит. Люди в кино идут, а она дома. Я говорю: «Пойдем со мной, дочка, лестно, мол, мне с тобой на народе показаться». А она смеется. «Придет, — говорит, — время — всего посмотрю».

— Значит, сговорились, Вася? — Егор плечом толкнул Шмакова, достал письмо, и они долго перечитывали его, потом присели, потолковали о приготовлениях к свадьбе.

— Ты только смотри, ни гу-гу дочери, — попросил Егор на прощанье и, посмеиваясь, пошел по тропинке.

Потрескавшаяся от жары тропка бежала вдоль опушки леса. Пахло сосновой смолой, грибами и пересохшим лесным мхом. На низеньких, почти скрытых в траве кустах малинника висели румяные ягоды. Егор сорвал одну, пососал и проглотил. Ягода была сочная и сладкая. Слева на тропинку клонились тяжелые колосья. Старик, расчищая себе путь, ос-

торожно отводил их рукой и думал, что до Михаила осталось еще с полверсты, а ноги уже устали. Солнце припекало сильнее. В голове шумело, стучало в висках.

Егор решил отдохнуть и остановился, выбирая место, где нет солнцепека. Чуть подалее, с края у ржи, росла ветвистая сосна. Старик подошел к ней, оглядел тропинку и, махнув рукой вынырнувшим из-за поворота ребятишкам, присел между корнями дерева. Здесь было тенисто и покойно. Егор лег, радуясь облегчающей прохладе.

Над головой безмолвно стояла стройная сосна. Вершина ее уходила ввысь. Старик унизу казалось, что облака задевают ее, останавливаются на минутку отдохнуть. Издалека со стороны реки чуть слышно донеслась песня вязальщиц снопов.

— Должно, на обед пошли.

Старик улыбнулся, представив, как среди вязальщиц строго и сильно шагает Евгения.

Он повернулся на бок, положил руку под щеку и затих, прислушиваясь к новым звукам. Они начинались где-то далеко-далеко, нарастали и снова утихали. Это шелестели хлеба.

Дорога разморила старика, а тень и прохлада земли манили ко сну. Он закрыл глаза.

«Вот отдохну немного, дойду к Мишке, а потом с внучатами на реку...» — подумал он, засыпая.

Через полчаса солнце поднялось в зенит, лучи его унали на спокойное лицо старика. Из-под корня дерева выполз коричневый муравей, забрался на травинку, погрелся на солнышке и юркнул в чашу Егоровой бороды. Долго плутал там, выкарабкался на потрескавшиеся бледные губы старика, приподнялся на задние лапки и пополз по усам, по горбинке носа. Отдохнул в уголке закрытого глаза старика и скатился по щеке на сухую хвою...

...А хлеба шелестели, вели свою песню.

ЭЛЬЖБЕТА ШЕМПЛИНСКАЯ

## М а т ь

Рассказ

**В** последние дни октября мы оставили город В... и только шестого ноября насилу добрали до границы. Все эти дни дули страшные ледяные ветры, они валили с ног, они промораживали до костей наши ослабевшие тела.

Граница была закрыта. Каждые два-три дня разносились слухи: завтра границу откроют, уже приехала комиссия. Эти слухи будоражили беженцев, четырехтысячную толпу мужчин, женщин и детей, которая, как голодная, полуживая саранча заполнила маленькое пограничное село, где жителей-то было не более пятисот человек.

Неизвестно каким чудом, но в этом забитом людьми селе, где беженцы в течение уже двух недель наводнили не только все жилые помещения, но и все подворья, хлева, сарай и даже ночевали в лесу,— нам удалось в одном из домов добыть угол. Нет, не угол комнаты, сказать это было бы преувеличением: молодая еврейка, с шестимесячным ребенком, занимавшая целый топчан, потеснилась и мы обрели пристанище.

Наш хозяин железнодорожник Веселовский отсутствовал, и это очевидно было важнейшим событием в жизни всей семьи. Каждый из ее членов: мать, два мальчугана, три девушки — по очереди нам об этом сообщали.

— Муж как раз уехал, но мы ждем его обратно сегодня или завтра...

— Отец уехал три дня тому назад, должен скоро вернуться,— повторил нам кто-то через минуту.

— Разве без него вы не можете нам отвести хоть какой-нибудь угол? Хотя бы на время. Если хозяин не разрешит, то мы сейчас же уйдем,— упранивали мы, еле держась на ногах от усталости.

— Да нет же... я могу вас шустить...

Мы просто... ждем, потому и вспоминаем... — успокоила нас Веселовская.

Наконец, мы очутились в комнате. Женщина на топчане пододвинулась к стенке. дитя пищало. Мы свалились, не раздеваясь, как были в сапогах и кофухах, и нам казалось, после мороза и голода, после смертельной усталости, что высшее наслаждение в жизни, блаженство, счастье — лежать вот так, вытянув ноги. лежать, лежать, а не идти, никуда больше не идти.

Наступили сумерки. Старшая дочь хозяйки — высокая, стройная девушка, молча принесла керосиновую лампу, заправила ее и положила пообок с нею коробок спичек, но лампы не зажгла.

— Может вам не понравится... — сказала она. — Но мы всегда сумерничаем. Так любит отец, да и керосин теперь редок...

— Ничего, ничего, — успокоили мы девушку. — В сумерках еще лучше.

Внеобычайной неподвижности наших измученных и до последней степени промерзших тел все что делали для нас Веселовские, их заботы казались нам особенно трогательными и волнующими. И наверное, зажги девушка лампу, мы приняли бы это с такой же благодарностью и восхищением, как приняли то, что она позволила сумеркам погрузить комнату в темноту.

Старший, семнадцатилетний паренек по приказанию матери наколот ножом щепок от чурки, которая сохла за печкой, и принялся разжигать огонь. Он, не прикрывая дверок у печи, ежеминутно подкладывал полешки, то большие, то маленькие, то и дело поправляя их кочергой.

И все это приняли мы с благодарностью: и пламя в темноте, и тепло, которое все щедрее лилось на наши промокшие ноги,

и ловкие движения паренька и четкий силуэт его головы на фоне огня: молодой, суровый профиль.

Заскрипели двери. Мы услышали топот ног, голоса нарастали и сливались в ровный шум: слышалось, как двигали какие-то вещи, звенела посуда.

— Это мои столовники сходятся,— сказала Веселовская,— бедняги-беженцы. Что у самой есть, то и даю: стакан чаю, несколько картошек...

У нее было доброе лицо и серые задумчивые глаза. Ходила она медленно, осторожно, словно боялась резких движений. У нее была ласковая и грустная улыбка давно болеющего человека. Так заметны были эта ее углубленность в себя, эта неуверенность походки, эта постоянная настороженность, что я спросила:

— Вы больны?

Веселовская ответила серьезно, хотя никакой связи между началом ее ответа и концом не было.

— Ах, нет... так... немножко... не могу спать, да и ем не очень... Но муж наверное вернется сегодня и уж никак не позднее чем завтра.

Мы не успели удивиться, она вышла на кухню и вернулась с миской картошки, от которой шел пар, и с горячим чаем.

— Вот, согрейтесь, вы же промерзли. А сахару уж не взыщите, нет ни ложечки. И прошу вас, раздевайтесь, снимите сапоги, вам будет удобнее.

Старшая дочка принесла одеяло, соседка-еврейка пододвинула свою подушку.

— Пожалуйста. Вы с дороги, а я уже хорошо отдохнула за эти две недели.

И мы приняли одеяло, приняли подушку, приняли чай и... советы, а наши сердца, так же, как и тело, наполнились теплом.

— Ну, пора зажигать свет. Володя, закрывай печь,— говорит мать.

Появилась средняя дочь, энергичная, похожая на брата, она чиркает спичкой. Горит лампа: желтый, мягкий свет падает на стол, шкаф, швейную машину, гипсовых гусей и ангелов на этажерке. Семья Веселовских почти вся в сборе. Теперь при свете, когда они садятся вокруг стола, мы можем приглядеться к ним повнимательнее.

Какая красивая молодость!

Тихая, стройная — старшая дочь, средняя — энергичная, веселая, младшая — с округлым еще детским лицом, с непослушной прядью волос, то и дело спадающей ей на глаза.

И сыновья — восьмилетний, сидящий за книжкой, и семнадцатилетний — это он разжигал печь, — похожий на среднюю сестру, — как и она, подвижной, с энергичным лицом и ясными глазами.

А среди них мать. Семья собирается ужинать. Мать делит картошки.

— Реня! — позвал кто-то.

Из соседней комнаты вышла еще одна темноволосая девушка, поздоровалась с нами, а головы и не подняла.

— Еще дочка?

— Нет. Это моя дорогая невестка, — ответила старуха, и усмешка ее получилась болезненной. Она обняла девушку и поцеловала ее румяное лицо. — Моему сыну Юзеку — так нравилась! Если бы не эта война, женился бы.

Застучали ложки, скрипнул чей-то стул.

И средняя дочь бросила:

— Все равно поженятся.

А младшая добавила:

— Может отец с Юзеком вернется?

Мать отложила ложку, отодвинула тарелку, отрицательно покачала головой и тихо сказала:

— Уж и вместе! Хотя бы весточку какую-нибудь принес...

И все склонили головы над тарелками.

Внезапно средняя дочь воскликнула:

— Почему?.. Может Юзек тоже к этому товарищу поехал и... вернется с отцом.

Мать начала нам рассказывать.

В тот день, когда ее сына мобилизовали, она была на рынке, ездила продавать яйца. И надо же было ей отлучиться. Сына забрали именно тогда, когда ее не было дома. И белья не взял он потеплее и денег при себе не имел. Как стоял, так и пошел. И с той поры ни письма, ни словечка, ничего — словно камень в воду... Товарищ сына, с которым они вместе и ушли, вернулся к родным, и отец поехал к нему разузнать о Юзеке. Это в соседнем местечке, километров двадцать будет...

После матери заговорила старшая сестра.

— Может письмо и приходило, — сказала она, — да нас тут не было. Приказали нам оставить все, эвакуироваться. И повезли нас в вагонах, а потом бросили в чистом поле. Одно издевательство!.. А в это время как раз начались самые страшные бои. Неделю мы скитались. Как собаки валялись на земле, сырую картошку ели. Хлеба достать нельзя было, все съели отступающие войска. Даже воду в колод-

дах всю выпили. А жара была страшная! И потом — гранаты, бомбы... На наших глазах разорвало ребенка. А на дороге лежат убитые солдаты, жители, разорванные трупы, трупы...

Ее перебила мать:

— Сколько народа погибло. И зачем? За что? Зачем нас вывезли? Все точно обезумели. От неразберихи больше чем от бомб гибли люди. А моя средняя дочка — швея, ведь она забрала с собой швейную машину. И как намучилась! Иной раз говорит мне: «Буду ли я, мама, еще когда-нибудь шить?». Слушаю ее, и сердце разрывается.

Старшая дочь взглянула на мать и быстро проговорила деланно бодрым тоном:

— Вернулись мы, а тут в хате и гвоздика не осталось. Соседка все забрала. Сказали ей, что нас убило бомбой, вот и забрала мебель, корову, все. Как нас увидела, то чуть не сомледа. Матери пришлось капли ей давать.

— А самое страшное, — старуха снова вернулась к мыслям о сыне, — не попрощавшись, без материнского благословения пошел, бедняга. Этого не могу себе простить. И если его больше не увижу...

— Мама! — перебила старшая дочь.

— Уж, как мама начнет... — нахмурился сын.

— Ничего не начнет... — и мать пояснила, обращаясь к нам. — У меня сердце большое, вот они и боятся, чтобы не волновалась я. А мысли-то — они непослушные. Самое худшее, что без прощания... Ведь не удержала бы я его, война сильнее... Но все же... поцеловала бы, сказал б — иди, сынок, иди и побеждай, выполни свой долг перед родиной и возвращайся к матери...

Сын перебил ее:

— Это родина? Разве она когда-нибудь была нам родиной? Никто из нас не забыл, что наш Юзек за то, что был коммунистом, шесть лет отсидел! Найти бы другую родину, настоящую...

Средняя сестра попыталась сдержать его:

— Успокойся! Чего с матерью ссориться? Поздно уже, не понять ей этого. Сколько с ней сам Юзек говорил, сколько убеждал...

— Никогда не поздно, — разгорячился юноша. — А я тут не буду сидеть на самой границе. Я...

— Что... ты? — сказала мать.

Но она уже знала «что». Она еще не поняла, но сердцем...

— Что... ты? — переспросила она в тоске и страхе.

Но сын не кончил, выбежал, хлопнув дверьми. Это было последнее, что мы слышали, усталость и тепло сломили нас. Сон охватил нас неожиданно, сон короткий и глубокий, словно обмороч...

Нас разбудил приход нового человека. Мы открыли глаза и снова увидели всю семью за столом. Все сидели в тех же позах, в каких мы их оставили час или два назад. Только головы были подняты, а глаза вопрошающе и с тревогой обращены на прибывшего.

Он стоял в дверях. Чувствовалось — никто еще не промолвил ни слова.

Пришедший — высокий, сутулый человек с большими черными, отвислыми усами.

Первой заговорила мать.

— Ну... дайте же отцу чаю, шевелитесь, девчата.

Сестры выбежали на кухню, мать принесла тарелки и отец подсел к столу, где дети уступали ему место.

Никто ничего не расспрашивал, все молчали, только глаза их допытывались — мрачные и суровые глаза семнадцатилетнего сына, затуманенные матери, глаза Рени, глаза младших детей, глаза сестер.

Старик как будто не замечал этих глаз. Низко склонив голову над тарелкой, он хлопотливо жевал сухую картошку, солил ее. Наконец, не выдержав, отодвинул тарелку, откашлялся и, отвечая на их взгляды, сказал:

— Ничего... Ничего...

— Ты ничего не узнал? Товарищ его... не знает? Но ведь они пошли вместе. Разве он не видел Юзека?

— Видеть-то видел, — ответил отец. Он бросил осторожный взгляд на жену, на ее посерьевшее, морщинистое лицо, по которому сплывала слеза.

— Давно? Их разлучили, да? — воскликнули сестры.

В сенях поминутно скрипели двери. Женщины сходились на ночлег. Старик при каждом скрипе беспокойно озирался.

— Кто там ходит? — спросил он. — Еще что-нибудь украдут.

— Э, что там красть! — сказала мать.

И возвращаясь к своим мыслям, поникла, вытирая слезы... «Хоть бы что-нибудь... Хоть какую-нибудь, хоть маленькую весточку. Рения сидит тут с утра... И снова ничего... Боже же ты мой! Теперь снова ждать...»

Старик насунился, потрепал беспокойно усы, словно не в силах сдерживаться, потом встал и пошел к дверям.

— Куда вы, отец? Чаю даже не допили,— окликнула его средняя дочь.

— Ничего, ничего... Я посмотрю, кто там ходит.

И Веселовский скрылся за дверьми.

Младший сын подбежал к окну и раздвинул занавески.

— Куда он пошел? — спросила сестра.

— Совсем не выходил, наверное остался в сенях.

— Что же он там делает? Чай остывает? — прошептала мать.

Видимо, она все ожидала чего-то.

Наконец, отец вернулся. Он вошел какой-то вполосенный с большим свертком в руках. И внезапно его охватил гнев:

— Чего вы все на меня уставились? Чего вы хотите от меня!

Он исчез в другой комнате и снова вернулся уже без свертка, такой же возбужденный, но притихший, как будто это и не он кричал минуту назад.

И снова никто не спросил, почему он сердился и о том, что же там... в свертке. Старик пил чай и, покосившись, но не протестуя, смотрел, как средняя дочь решительно направилась в другую комнату, где оставил он сверток...

...Зашелестела бумага. Ничего больше не слышно — лишь этот шелест, к которому все прислушиваются, затаив дыхание. Если бы уже знать...

На пороге появилась девушка. Ее глаза были широко раскрыты, губы дрожали, как у ребенка, который вот-вот разрыдается, к груди она прижимала что-то прикрытое газетой.

Старшая сестра одним прыжком очутилась рядом с нею и сорвала бумагу.

— Сапоги... — прошептала она.

Большие, черные, почти новые армейские сапоги с голенищами.

— Сапоги Юзека...

Реня закрыла кулаком рот. Раздалось рыдание.

Это заплакала мать. Тихая, забитая женщина, она, обезумев от горя, ломала руки.

— Сапоги! Сапоги мне отдали! Сапоги вместо сына! Взяли сына. Ребенка у меня

взяли, а отдали сапоги. Бежали в Румынию, золото вывозили автомобилями, а моему Юзеку велели паны воевать, заставили погибать за себя. Проклятые!.. И сапоги... только сапоги... О, негодяи, чтоб вас земля поглотила, чтоб вас...

На крик сбежались беженцы, столпились в дверях, у окон, возле дема. А мать не переставала голосить. Эта маленькая, бесильная женщина, она словно росла, ее распростертые руки колеблющимися теньями доставали до потолка.

Муж и дочери окружили ее, стараясь успокоить, поддержать. Она вдруг умолкла, смотря вокруг себя пустым взглядом, губы ее раскрылись, она едва держалась на ногах, но ей не дали упасть, усадили на стул, дочь гладила ее голову.

— Успокойтесь, мама. Успокойтесь! Ну, успокойтесь...

Тогда к ней подошел сын — семнадцатилетний. Его бледное лицо было полно решимости. Он подошел к этой задыхавшейся, сломленной женщине, почти умирающей, к своей матери, и каждое его слово тихое, но быстрое, словно удары ножа, отдавались в ее сердце.

— Я... тогда... не сказал... Сегодня! Не хотел тебя огорчать... Но теперь, когда ты вот так плачешь... теперь... я пойду!..

Мать, хотя ее удерживали, — встала. Они с сыном стояли друг против друга. Широкоплечий юноша с горящими глазами и старая, больная женщина, мать, потерявшая сына.

— Зачем ты мучаешь ее? Не видишь разве, что с матерью делается? — воскликнул отец.

— Куда ты хочешь идти? Что ты все угрожаешь? — спросили сестры.

А мать не спросила. Она знала. Она, мать, которая «ничего не понимает», знала все.

— В Красную армию! Вот куда! — крикнул юноша.

И мать сказала тихо:

— Иди, сын, иди. Отомсти за Юзека, сын.

*Перевод с украинского  
Л. СКОРИНО*

## Камера „106“

Рассказ

**Н**очь была горячая, душная. Накалившись за день, тюремные стены пылали и в камерах темнота становилась невыносимой. Влажная духота обволакивала тела узников; дышать было тяжело.

В камере «106» стояло шестнадцать коек, на которых помещалось двадцать заключенных, мучимых бессонницей. Не имея сил заснуть, заключенные тихо, вполголоса переговаривались. Какая-то неуловимая напряженность отличала голос Петра Скибы — легкое, едва заметное дрожание. Заключенные знали — это говорил осужденный на смерть. Может быть уже завтра его переведут в камеру «126», что в углу коридора, в камеру, из которой никто не возвращался.

Каждый из них обладал достаточным мужеством, чтобы смотреть в глаза смерти, но кто мог найти слова, чтобы первым заговорить со Скибой. Смерть все-таки нечто необычайное, с чем разум не может примириться. И трудно было говорить о смерти с товарищем, который только-что как дежурный натирал пол. Но молчание причиняло боль. Хотелось сказать что-нибудь дружеское, такое, чтобы поддержать товарища, вселить в него хотя бы в последние минуты бодрость.

И Петр Скиба заговорил сам. И падали слова, словно тяжелые капли дождя, обещающего прохладу. Слова, никому и никогда еще не высказанные.

— Я вырос в деревне — начал свой рассказ Петр, — был здоровым сильным парнем. Не дал бог богатства, так дал счастье, как говаривала моя мать. Меня на селе любили неизвестно за что. Старые и молодые, девушки и парни тянулись ко мне. Я сам иной раз удивлялся, ведь был я простым парнем, который наверное ничего мудрого за свою жизнь не совершил. Говорил я немного. А все хотели сделать для меня что-нибудь доброе. Мне жилось хорошо, хотя у отца было всего два моргена земли. Меня охотно нанимали на работу. А работал я, правду говоря, хватко. За меня сватали богатую девушку и я уже

собирался жениться, как разразилась мировая война.

Не знаю, когда я начал думать. Мне кажется, что я раздумывал над жизнью еще в деревне, когда косил пшеницу, хотя и не сказал тогда ни одного умного слова. А на войне, разве можно на войне не думать?

Меня не трогали пули. Такое было счастье. Правда, я никогда не боялся смерти. Множество раз я видел ее возле себя. Порой мне было все равно. Я не понимал смысла этой войны. Я думал, что лучше быть волком. Всю свою жизнь он приносит людям пользу, когда его зарежут, он снова принесет пользу; мясо его пойдет людям в пищу, а шкура — на сапоги.

А какая же корысть от смерти человека на войне?

Мне казалось, что я должен был бы озлобиться, и от остервенения бросаться в бой — хоть в этом и не было смысла. Но я наверное никогда не был по-настоящему злым. Или быть может моя злоба проявлялась в равнодушии?

Гнали нас в атаку — я всегда бежал вперед. Могло показаться, что я храбрый вояка. Я получил даже медаль и крест за отвагу...

Когда я вернулся из итальянского плена и когда казалось, что война наконец-то окончилась, меня снова призвали в армию. И я даже не очень удивился. Ну что ж, еще одна война. Меня погнали против красных.

Мы шли в наступление. Наш батальон преследовал маленький отряд красных и капитан был уверен, что уничтожит его.

Однако, неожиданно красным удалось укрепиться у речки за двумя небольшими холмами. Они не имели времени ни окопаться, ни протянуть колючую проволоку. И нам казалось, что их легко будет выбить из этой позиции. Но красные так здорово строчили из пулеметов, что капитан не скоро отважился гнать нас в наступление. Но все-таки мы были уверены



в победе, и их оборона казалась нам мужеством отчаяния.

Капитан высалал вперед несколько человек. Они ползком подобрались к красным и забросали их пулеметные расчеты ручными гранатами. А мы тем временем обстреляли холмики, за которыми укрывался противник.

Огонь за холмами начал стихать. Это придало отваги тем, кто пополз с гранатами. Они продвинулись вперед, почти к самому гребню холмов, и снова кинули гранаты. Огонь по ту сторону холмиков прекратился.

Был дан приказ наступать. Солдаты бежали нерешительно. Никто не знал, что означала эта тишина за холмами, а вдруг это маневр? Мы были уже близко. Я по обыкновению бежал впереди, и первым достиг вершины холма и первым увидел...

Отряд большевиков, за которым мы гнались, успел переправиться через речку в том месте, где она была защищена холмом. Одни переправлялись, другие — защищали переправу.

Этих, последних, было никак не больше двадцати бойцов. А с ними — три пулемета.

Когда я появился на холме, взорвались бомбы под маленьким деревянным мостом через речку. Нас встретил из-за речки частый огонь. Большевики не только переправились через речку, но нашли защиту и укрепились в лесу.

Из группки, что защищала переправу, ни один не остался в живых. Вся земля за холмом была изрыта гранатами, зелень исчезла. И только в четырех шагах от меня еще зеленела покрытая травой макушка холма. На травяном ковре лежал мертвый красноармеец. Его убили последним. Лицо его было спокойно, словно парень заснул. И только с силой сжатые губы выдавали его волю к жизни и упорство. Парень не хотел умирать. Он лежал свободно раскинувшись, как будто лег спать на меже среди пшеницы. Он был невысок ростом, но кряжист. Ветер шевелил его волосы, и казалось, что парень еще жив. Наверное любили его в селе, как и меня... Левая рука его лежала на груди, а правая...

Вот об этом я и хотел вам рассказать.

Правая рука, согнутая в локте, была поднята над головой и сжимала листок бумаги. Так поднимают руку, желая остановить прохожего, чтобы сказать ему добрую весть, так поднимают руку в знак победы.

Я понял, что это иные бойцы, не такие, каких я видел до сих пор. Я понял, что такие бойцы не могут проиграть.

Не было сомнений, что на листок, который сжимала его рука, он, умирая, хотел обратить внимание врагов. Он победоносно поднял его над собой. Я понял, что в его смерти есть смысл.

Мне показалось, что я нашел то, чего долго искал. Я наклонился над красноармейцем. Разжал его пальцы. Это была обычная коммунистическая летучка, какие я читал не раз. Я даже обыскал его карманы. Первый раз за всю войну рылся я в карманах убитого. Наверное, мои товарищи думали, что я занят обычным делом: ищу, нет ли чем поживиться. А я искал еще летучек. Но их не было.

Вы, товарищи, конечно, думаете: меня эта летучка переродила. Нет! Я стал иным еще до того как начал ее читать.

Этот убитый красноармеец сказал мне своей смертью то, чего не говорили живые.

Я понял без слов все, что он хотел мне сказать. Мысль о том, чтобы поднять эту летучку, как знамя, возникла у него в последнюю минуту, и именно потому я так хорошо понял его.

Коммунистической летучки я, само собой разумеется, не отдал сержанту, хотя того требовал приказ. Это послушание было моим первым революционным поступком.

Не раз, когда я шел на опаснейшие массовки и на демонстрации, где лилась кровь, где по безоружным людям стреляли из пулеметов, я вспоминал про убитого красноармейца. Этот парень с ясным лицом так и стоял перед моими глазами. Мне казалось, что из теплой еще руки его я принял пылающий факел, огонь, который разольется по всему свету. Я честно нес этот огонь дальше. Я нес его через забастовки и демонстрации, через крестьянские возмущения, съезды баррикады, настречу пулям и пушкам. Огонь, горевший в груди бойца, я хотел передать другим, чтобы они никогда не угасал.

Вот вам, братья, мое последнее слово.

Я знаю, что придет час, когда вы в слезах, радостно и волнуясь, встретите красные полки. Тогда вот и отдайте им эту летучку и скажите, что последняя моя мысль была о Красной Армии. Мне не удалось умереть в бою, на зелени травы. Но скажите, что умирал я гордо, как боец непобедимой Красной Армии.

*Сокращенный перевод с украинского  
Л. СКОРИНО*

О. ЛЕВИТСКИЙ

## Фронт и тыл

На каждого бойца-пехотинца в тылу работают, по германским данным, 12 человек. На каждого военного летчика трудятся 36 человек. Две эти цифры наглядно показывают, как велико должно быть напряжение воюющей страны, рассчитывающей не только устоять в борьбе с сильным противником, но и сокрушить его мощью своих вооруженных сил и своей экономики.

«Ни одна армия в мире,—учит нас товарищ Сталин,—не может победить (речь идет, конечно, о длительной и прочной победе) без устойчивого тыла. Тыл для фронта — первое дело, ибо он, и только он, питает фронт не только всеми видами довольствия, но и людьми-бойцами, настроениями и идеями»<sup>1</sup>.

Сталинская наука о тыле родилась в огне гражданской войны. Великий стратег пролетарской революции товарищ Сталин в сражениях за Царицын и Пермь, в Орловско-Крымской и Киевской операциях дал блестящие образцы организации и управления тылом действующей армии.

Расследуя, по заданию ЦК партии, причины падения Перми, товарищ Сталин вместе с товарищем Дзержинским обнаружил полный развал тыла 3-й армии и именно на этом участке сосредоточил свое внимание. Организовав немедленное пополнение частей армии людьми, вооружением, снаряжением, боеприпасами, товарищ Сталин со всей решительностью провел чистку в тылу армии.

Известно, что все эти мероприятия по укреплению тыла увенчались исключительным успехом. Благодаря сталинским заботам армия настолько окрепла, что не толь-

ко сдержала натиск колчаковцев, но и сама перешла в стремительное наступление.

В трудах К. Е. Ворошилова дана исчерпывающая характеристика деятельности товарища Сталина по укреплению тыла. По определению К. Е. Ворошилова, «пермские» соображения Сталина, по сути дела,—новая наука о службе тыла».

Верный ученик и соратник Сталина, вождь и строитель Красной Армии — Михаил Васильевич Фрунзе неустанно развивал и обогащал сталинское учение о тыле современных армий.

В выдающемся военно-теоретическом труде «Фронт и тыл в будущей войне» М. В. Фрунзе с исключительной прозорливостью определил роль тыла в нынешней второй империалистической войне. М. В. Фрунзе подчеркивал в своем труде, что «достижение целей войны в современных условиях стало делом значительно более сложным, чем прежде. Современные армии обладают колоссальной живучестью. Эта живучесть целиком связана с общим состоянием страны. Даже полное поражение армий противника, достигнутое в определенном моменте, не обеспечивает еще конечной победы, поскольку разбитые части имеют за собой экономически и морально крепкий тыл. При наличии времени и пространства, обеспечивающих новую мобилизацию людских и материальных ресурсов, необходимых для восстановления боеспособности армии, последняя может легко воссоздать фронт и с надеждой на успех повести дальнейшую борьбу».

Прекрасной иллюстрацией тезиса М. В. Фрунзе о живучести армий, имеющих надежный тыл, является героическая борьба китайского народа с японскими захватчиками.

Говоря об особенностях современных войн, Фрунзе указывал на то, что «связь

<sup>1</sup> И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат. ЦК КП(б)У. 1936 г., стр. 93.

фронта с тылом в наши дни должна стать гораздо более тесной, непосредственной, решающей». «Жизнь и работа фронта,— писал М. В. Фрунзе,— в каждый момент определяются работой и состоянием тыла. И в этом смысле центр тяжести ведения войны переместился с фронта назад в тыл. В этом же направлении действует и другой момент, связанный с развитием военной техники и с усовершенствованием средств истребления. Превращение авиации в решающий род войск, усовершенствование химических средств войны, возможное использование инфекционных микробов и пр. и пр.— все это по существу опрокидывает самое представление о «фронте» и «тыле» в старом понимании этих слов. Фронт в смысле района, непосредственно охваченного военными действиями, теряет характер прежнего живого барьера, преграждающего врагу доступ в «тыл». Если не полностью, то во всяком случае, в значительной своей части (в зависимости, главным образом, от размеров территории данной страны) тыл теперь совмещается с фронтом».

Однако даже полное совмещение тыла с фронтом вовсе не влечет за собой ликвидации тыловой службы. Наоборот, к организации и устройству тыла нынешняя война предъявила и продолжает предъявлять новые, необычайно повышенные требования.

При подготовке к войне 1914—1918 годов генеральные штабы враждующих коалиций не предъявляли больших требований к экономике своих государств. Все расчеты военных ведомств строились на том, что война будет кратковременной и, следовательно, мобилизационных запасов, накопленных в мирное время, будет вполне достаточно для ее питания. При этом учитывалась, конечно, и вырабатываемая во время войны продукция предприятий военной промышленности.

Таким образом генеральные штабы рассчитывали на приспособление хозяйства к нуждам войны от случая к случаю, под давлением требований обстановки.

В результате просчетов генерального штаба, в русской армии снарядов хватило только на первые четыре месяца войны, а в батареях юго-западного русского фронта за 16 дней была полностью израсходована норма снарядов (1000 выстрелов на одно трехдюймовое орудие), установленная на все время ведения войны.

29 августа 1914 года, то есть на 29-й день войны, начальник штаба верховного главнокомандующего сообщал военному ми-

нистру: «Положение снабжения пушечными патронами положительно критическое... Наискорейшая помощь в этом деле безусловно и неотложно необходима»<sup>1</sup>.

В книге английского полковника Линдселла «Тыл действующей армии» следующим образом оцениваются причины поражения немцев в 1914 году: «Что заставило немцев,— спрашивает Линдселл,— прервать свое наступление в 1914 году? Провал в снабжении, недостаточное пополнение людским составом, лошадьми и боеприпасами, которые имелись в Германии, но не могли быть доставлены на фронт. Германская армия переоценила свои снабженческие возможности».

В расчетах потребностей военного времени ошибались генштабы всех без исключения стран, принимавших участие в войне 1914—1918 годов. Но в странах с развитой машиностроительной и сырьевой базой или с подготовленными запасами стратегического сырья промышленность была поставлена на службу войне значительно быстрее, чем в царской России. Об этом, в частности, свидетельствуют основные показатели боевого снабжения воюющих стран в войну 1914—1918 годов.

К числу таких основных показателей можно отнести, во-первых, пороховой показатель, во-вторых, средний вес выстрела и, в-третьих, душевой расход снарядов для поддержки одного бойца, или снарядный паек живого солдата.

Под пороховым показателем военно-промышленной мощи страны подразумевают количество пороха в тоннах, ежемесячно производимое мобилизованной для обороны индустрией. Максимальный пороховой показатель для германской армии достигал 15 000 тонн, для русской — 10 000 тонн.

Вес всех выстрелов, изготовленных индустрией за определенный промежуток времени (год, месяц), деленный на число этих выстрелов, называют средним весом выстрела.

Для германской армии средний вес выстрела равнялся 20,3 кг, а для русской — 12,4 кг. Что касается солдатского снарядного пайка, то в немецкой армии он составлял 102 кг, или в 20 раз превосходил снарядный паек русского солдата. В русской армии для поддержки 2,3 миллиона птыков в начале 1917 года расходовалось 1,15 миллиона снарядов ежемесячно или по полснаряда (5 кг) на одного бойца.

<sup>1</sup> Маниковский. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. 1930 г., ч. I, стр. 337.

Если учесть, что уже в 1916 году потери войск от артиллерийского огня составляли 70 процентов общих потерь, то станут понятными причины огромных потерь русской армии в мировой войне: 2 500 тысяч человек убитых, 5 700 тысяч раненых и 2 550 тысяч пленных. Попытка русского командования возместить необходимое количество металла пушечным мясом неизбежно должна была кончиться крахом.

Военная статистика знает еще один чрезвычайно важный показатель — расход боеприпасов на одного убитого. Установлено, что в 1914 году на каждую тонну выброшенных снарядов приходилось 4—5 убитых, то есть по 200—250 кг на каждого. А к концу войны — в 1917—1918 годах — на одного убитого приходилось уже от 2,5 до 5 тонн металла. Эти цифры свидетельствуют о повышении боевой выучки войск в ходе самой войны, о значительных изменениях в тактической подготовке пехоты, научившейся к концу войны неплохо укрываться от наблюдения и огня артиллерии.

Чем больше «снарядный паек убитого», тем дороже обходится противнику вывод из строя живой силы. Этот важнейший показатель «цены войны» сохранил целиком свое значение и в нынешних войнах.

Для нас, людей сталинской эпохи, нет ничего дороже жизни наших бойцов. Советское государство в состоянии дать снаряды для поддержки наступающей пехоты в максимальном количестве.

При наступлении пехоты и танков наша армия применяла и будет применять впредь огневой вал максимальной мощности, несмотря на то, что применение огневого вала требует колоссального расхода боеприпасов.

Анализируя военно-хозяйственные мероприятия воюющих государств, участников второй империалистической войны, мы прежде всего должны отметить, что эта война началась в совершенно иных, нежели война 1914—1918 годов, условиях.

Если в прошлую войну правительствам в ходе самой войны пришлось спешно проводить в жизнь соответствующие мероприятия по регулированию хозяйственной жизни, то теперь война между Германией и англо-французским блоком началась при заблаговременной подготовке хозяйств этих стран к нуждам войны.

Английский правительственный аппарат в настоящее время полностью оставлен на

службу задачам войны. Достаточно сказать, что с первых дней нынешней войны для выполнения военных заказов было привлечено в Англии около 10 тысяч заводов и фабрик, в то время как в 1915 году число заводов и фабрик, работавших под контролем правительственного аппарата, достигало лишь 350. Увеличение почти в 30 раз!

Для мобилизации экономических ресурсов империи, осуществления контроля над заводами-поставщиками военного ведомства, регулирования цен и распределения стратегического сырья было создано в марте 1939 года, за полгода до начала войны, министерство снабжения. В аппарате этого министерства уже в начале 1940 года насчитывалось 70 тысяч чиновников (включая районные штабы).

Кроме министерства снабжения, были созданы министерства координации обороны и министерство продовольствия.

В настоящее время в Англии действует целая серия новых законов, направленных к наиболее полной мобилизации народного хозяйства. Государственный контроль над работой всех видов транспорта, контроль над экспортом (из Англии запрещено вывозить муку, мясо, овощи, фрукты и сахар), контроль казначейства над эмиссией капиталов — все это лишь часть мероприятий, проводимых в Англии на основании знаменитых 96 постановлений о регулировании хозяйственной жизни страны.

Специальный закон о труде (Control of Employment Act) регулирует использование ресурсов мужской рабочей силы. На военных заводах и многих других предприятиях с полного согласия и при прямой поддержке реакционных профсоюзных лидеров введена 70-часовая неделя, причем на ряде предприятий отменен еженедельный день отдыха. На 2 500 фабриках и заводах установлена 57-часовая рабочая неделя для женщин и подростков. Английским королем утверждены законы, коренным образом ухудшающие существовавший до войны порядок страхования безработных.

В последние четыре года перед нынешней войной английская военная промышленность значительно выросла. Военный бюджет в период с 1935 по 1939 год увеличился почти в 10 раз. Значительная часть капиталовложений была направлена на создание так называемых «теневых» заводов.

В мирное время такой «теневой» завод представлял собой лишь «тень», «призрак» военного завода. Заводы подобного типа в

весьма незначительной степени загружались заказами мирного времени. Наибольшие усилия были применены для создания широкой сети «теневых» самолетостроительных заводов. Расчет был таков: большие потери воздушного флота во время войны составят в год до 600 процентов штатного (наличного) числа, что потребует колоссальных резервных производственных мощностей.

Следует отметить, что резервные мощности создавались не только за счет «теневых» заводов. Уже в 1937 году для действующих авиазаводов был принят «план У», предусматривавший стопроцентный резерв мощности (в сопоставлении с наивысшей нагрузкой мирного времени). Позднее был принят «план F», предусматривавший обеспечение двухсотпроцентного резерва мощности.

Изданная в 1937 году «Белая книга» английского правительства подчеркивала, что «при разработке планов расширения индустриальных ресурсов для нужд вооруженных сил страны надлежит учитывать опасность воздушного нападения. Необходимо разнообразие мероприятий для сосредоточения источников главных видов снабжения; в отдельных случаях неизбежно дублирование важнейших производств, хотя бы и ценой некоторого повышения издержек».

Первые же месяцы войны Англии с Германией показали, что на островах создана сильная противовоздушная оборона и глубоко эшелонированная зенитная система, мощный противосамолетный барьер, состоящий из многочисленных средств воздушного заграждения, службы наблюдения и оповещения, солидной сети прожекторов, звукоулавливателей и т. д. Зенитная артиллерия Англии располагает новейшей материальной частью и высококачественными боеприпасами.

Большую помощь зенитной артиллерии оказывает истребительная авиация. По германским данным, на долю зенитчиков приходится лишь 30 процентов всех сбитых самолетов, а остальные 70 процентов сбиты истребительной авиацией.

Но авиация и сама несет большие потери в воздушных битвах. Немалое количество самолетов гибнет непосредственно на аэродромах, будучи застигнутыми врасплох противником. Поэтому важнейшей составной частью «военного потенциала» страны являются резервные мощности авиапромышленности.

Считают, что накануне решающих сражений в северной Франции немцы

имели 16,5 тысяч самолетов, из них 9 тысяч в строю и 7,5 тысяч в резерве. Французы имели 4 тысячи самолетов, а англичане — 9 000. В тот период производственная мощь германской авиапромышленности составляла 1 200—1 500 самолетов ежемесячно, или около 18 000 самолетов в год, что почти полностью обеспечивало шестикратное воспроизводство годового штатного состава самолетного парка.

Англия до сих пор не обеспечила численного превосходства над германской авиапромышленностью и авиацией, но с помощью Америки она получает серьезнейшие подкрепления в этой области.

Соединенные Штаты Америки расширяют сейчас военное производство в огромных масштабах. Американские предприятия выпускают 100 легких танков в месяц. Производство самолетов в первые же месяцы 1941 года должно возрасти до уровня производства 15 тысяч самолетов в год, а в середине года достигнет 24 тысяч в год. Намечена постройка новых танковых, пороховых и пулеметных заводов. В постройке находятся свыше 200 боевых кораблей. Все это позволяет правительству Англии рассчитывать на усиление военной помощи со стороны США.

Чем располагает Англия в области металлургии и топливной промышленности?

Английское правительство предприняло немало мер для ликвидации отставания металлургии, занимающей сейчас четвертое место в мире. Постройка новых предприятий в Корби позволила впервые организовать переработку бедных отечественных руд со средним содержанием 30 процентов железа. Любопытно, что значительная часть оборудования этих предприятий была получена из Германии.

Несмотря на постройку заводов в Корби, Англия продолжает импортировать железную руду из-за границы. Железо и сталь импортируются в больших размерах.

В отношении угольной промышленности поставлена задача увеличения добычи угля до 250—260 миллионов тонн в год, что потребует большого напряжения от каменноугольного хозяйства Великобритании.

В снабжении жидким топливом Англия испытывает серьезнейшие затруднения. Система конвоирования резко снизила обрачиваемость судов, и, по мнению американских специалистов, Англия в военное время не сможет полностью обеспечить снабжение страны нефтью, даже при относительной безопасности путей подвоза.

Потребление нефти Англией в период активных военных действий может достигнуть 30 миллионов тонн, что почти в три раза превышает уровень потребления нефти в 1938 году. Бесспорно, что перевозки такого количества нефти потребуют исключительного напряжения от английского нефтяного флота, даже при условии, если часть английского военного флота будет снабжаться непосредственно со своих баз в Персидском заливе, на Средиземном море и в других пунктах земного шара.

При оценке военно-хозяйственных возможностей Англии мы должны принимать в расчет также и экономические ресурсы колоний. За время после первой империалистической войны в колониях выросли новые отрасли промышленности, увеличилась добыча важнейших ископаемых. В колониях добываются медь, железная руда, никель, бокситы, марганец, нефть, золото, уголь асбест, пириты.

Все проводимые Англией военно-хозяйственные мероприятия рассчитаны на затяжную войну и постепенное развертывание как вооруженных сил, так и военно-технических ресурсов империи.

С перспективой затяжной войны вынуждена считаться Германия. Широко известно заявление Гитлера, подчеркнувшего в одном из своих выступлений, что Германия готовится к пятилетней войне.

Несмотря на то, что перевод германского хозяйства на рельсы военной экономики начался уже давно, нынешняя война внесла значительные изменения в организацию военного хозяйства Германии. Военное хозяйство Германии представляет собой «последнее слово» организации, поскольку она возможна в условиях капитализма. В начале 1940 года был создан генеральный совет для руководства всей военной промышленностью, а вслед за этим было образовано министерство вооружений и боеприпасов.

По версальскому договору Германии разрешалось иметь всего 33 военно-промышленных предприятия. Усиленное развитие промышленности в Германии началось с 1933 года, и шло оно вместе с развертыванием всех видов вооруженных сил.

Выделить военную промышленность из общей промышленности Германии в настоящее время почти невозможно по той простой причине, что для подготовки к войне мобилизованы не только специальные военные заводы, но и вся «гражданская» промышленность. Промышленные предприятия, не работающие для войны,

не получают сырья и закрываются или вынуждены приспособляться к производству предметов вооружения.

Пропускная способность германских железных дорог имеет наиболее высокие показатели среди капиталистических государств Европы. Среднетехническая скорость подвижного состава на железных дорогах Германии:

Автоматрисы дальнего следования . . . . .	132	км/час.
Пассажирские поезда . . . . .	80—110	км/час.
Товарные поезда . . . . .	75—80	»
Транзитные товарные поезда . . . . .	52,6	»
Обыкновенные . . . . .	40	»

К последней цифре близка скорость движения воинских поездов. В Англии скорость воинских поездов составляет 25 миль в час. В Германии максимальная пропускная способность двухколейных дорог — от 72 до 120 пар поездов в сутки, а однокольных дорог от 24 до 40.

Для подвоза войск к западным границам может быть использовано 13 двухколейных и 5 однокольных линий. Поток поездов к западному фронту составляет около 750 эшелонов в сутки, то есть более 12 пехотных дивизий.

К восточным границам ведет 7 двухколейных и 3 однокольных сквозных линий. Поток поездов к восточным границам может дать около 400 эшелонов в сутки, то есть более 6 пехотных дивизий. Кроме этого, использование местных дорог может увеличить пореброски еще на 1—1½ пехотных дивизий в сутки.

Перевозки по внутренним операционным линиям с запада на восток могут дать от 300 до 400 эшелонов в сутки. Указанные размеры перевозок не являются предельными. Возможно увеличение их еще на 10—20 процентов.

Постройка автострад имеет большое значение в общей системе военной подготовки дорожной сети Германии. Строительство автострад идет с таким расчетом, чтобы с них непосредственно можно было перейти на дороги соседних государств. Автострады обеспечивают возможность массовых автомобильных перевозок. Маневрирование и рассредоточение колонн обеспечивается широкой сетью обыкновенных автомобильных дорог.

Строительство автострад началось с 23 сентября 1933 года. Длину автострад намечено довести до 12 000 километров. Скорость движения на автострадах возможна до 80 километров в час. Легковые машины

развивают скорость до 160 километров в час.

На автострадах строятся специальные автовокзалы, имеющие крупные гаражи, ремонтные мастерские, склады горючего и запасных частей, помещения для ночлега, кухни, склады продовольствия и проч. Самый крупный автовокзал находится во Франкфурте-на-Майне. Его пропускная способность рассчитана на 12—14 тысяч машин в сутки.

Германия подготовилась к войне весьма тщательно. Задолго до начала европейской войны была создана и начала функционировать широко разветвленная военно-хозяйственная организация.

Военная промышленность за последние годы сильно расширена. Создан особый аппарат для учета и распределения сельскохозяйственных продуктов. Подготовлена рабочая сила для замены мобилизованных рабочих.

Народное хозяйство Германии до войны было переведено на рельсы военной экономики, но война внесла тем не менее глубокие изменения в хозяйственную жизнь страны. Важнейшее изменение состоит, однако, в том, что с начала войны германское хозяйство было поставлено в усло-

вия блокады. Это обстоятельство потребовало величайшей экономии и строгого регулирования потребления сырья.

«...Сейчас,— говорил М. И. Калинин,— идет война между великими, руководящими европейскими державами и уже 4-й год продолжается война на Дальнем Востоке. Значит, в состоянии войны находится почти весь мир. Из больших государств фактически лишь один Советский Союз находится вне войны, соблюдая строгий нейтралитет».

В капиталистическом мире происходит страшное разрушение того, что создано поколениями,— уничтожение людей, городов, предприятий, культуры.

Только в Советском Союзе не прерывается творческий, созидательный труд. На страже мирного труда стоит Красная Армия, всегда готовая по первому зову партии и правительства дать сокрушительный отпор всем, кто осмелится посягнуть на священные границы нашего социалистического государства.

У этой армии самый устойчивый тыл, имя которому — страна социализма.

## Академик-большевик В. Р. Вильямс

(1863—1939 гг.)

### О черк

«Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему».

*Сталин*

Когда несколько лет тому назад Василия Робертовича Вильямса посетил один знаменитый иностранный ученый, он был поражен энергией и работоспособностью академика.

— Вы сохранили все качества молодого ученого, — сказал знаменитый профессор.

Вильямс на это ответил:

— Знаете, я пережил три революции, и не просто пережил, а активно участвовал в них. В этом, очевидно, и кроется секрет моей молодости.

В. Р. Вильямс родился 27 сентября (ст. стиля) 1863 года в Москве. Его отец — Роберт Васильевич Вильямс — американец, инженер путей сообщения. Он приехал в 1854 году из Соединенных Штатов Америки по приглашению царского правительства для руководства строительством мостов Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. В России он женился на простой крестьянке (из крепостных) Тверской губернии.

После смерти Р. В. Вильямса, скончавшегося в 1874 году от скоротечной чахотки, мать Василия Робертовича — Елена Федоровна — осталась одна с большой семьей, без каких-либо средств к существованию. Нетопленная квартира, чай с хлебом как единственная пища, были обычным явлением в семье.

Тяжелое детство досталось Василию Робертовичу. Жизнь заставляла и его и других членов семьи смотреть на труд, как

на необходимое условие существования. выработала настойчивость и упорство в характере, закалила и выковала волю.

С большими трудностями Елене Федоровне удалось обеспечить своему сыну первоначальное образование. В 1879 году В. Р. Вильямс выдержал экзамен в четвертый класс реального училища Мазинга. Здесь, в училище, он проявил склонность к химии.

Находясь еще в реальном училище, он мечтает о поступлении в Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве, которая славилась своими знаменитыми учеными.

### «ПЕТРОВКА»

Вопрос о необходимости высшего сельскохозяйственного образования в России для дворянского сословия был поднят в середине прошлого столетия, в связи с крестьянской реформой, «освобождением» крестьян от земли.

Отход от помещиков бесплатной рабочей силы и происшедшие изменения в экономике сельского хозяйства потребовали и изменения способов ведения его, ибо к этому времени: «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ленин. Собр. соч., т. III, стр. 466.



На Западе агротехнические науки уже достигли значительного развития, но русские помещики еще вели свое хозяйство по старинке, хищнически истощая землю. Недаром знаменитый немецкий химик Ю. Либих писал по этому поводу одному из московских профессоров:

«Русское землевладельческое дворянство должно понять, что ему необходимо записаться агрономическими знаниями, если оно не хочет идти навстречу верной гибели».

Тогда «Комитет об усовершенствовании земледелия» обратил внимание на «недостаток того класса людей, кои, имея основные теоретические и практические познания в рациональном земледелии, могли бы управлять значительными имениями и вводить в оных усовершенствованную методику хлебопашества».

14 ноября 1860 года, с санкции Александра II, казначейством под Москвой была приобретена у аптекаря П. Шульца за двести пятьдесят тысяч рублей бывшая усадьба графа Разумовского, с площадью свыше шестьсот пятидесяти десятин земли. История этого имения уходит в далекое прошлое. Оно упоминается еще в переписных книгах XVI столетия.

Для наблюдения за работами по устройству имения и заведывания в будущем этим учебным заведением был приглашен крупнейший ботаник того времени, член Академии наук профессор И. И. Железнов.

В имении был произведен ряд построек: главного корпуса академии, нескольких небольших деревянных домов для квартир профессоров. Кроме того, были приспособлены под учебные помещения старые барские постройки. Организована ферма из альгаузского скота и арденских лошадей. Разработаны севообороты для полевого хозяйства, и, наконец, за границу было послано несколько молодых научных работников для подготовки их к профессорскому званию по сельскому хозяйству.

В августе 1865 года, когда закончилось строительство (начатое в 1863 г.), Александр II лично осмотрел главное здание, которое было построено по проекту французского архитектора Бенуа, с вышуклыми стеклами в окнах.

21 ноября 1865 года состоялось торжественное открытие высшей сельскохозяйственной школы: «Из Петербурга прибыли министр государственных имуществ, генерал-адъютант А. А. Зеленый и директор департамента сельского хозяйства

Д. Д. Неелов. На открытии присутствовали московский генерал-губернатор, сенаторы, уездные представители дворянства, британские и американские консулы и генералитет. Всех приглашенных было около девятисот человек. После торжественного открытия и обеда, сервированного на двести восемьдесят кувертов», учебное заведение получило название «Петровская земледельческая и лесная академия».

В первый год слушателей в академии насчитывалось всего триста шестьдесят человек. Профессура, начавшая преподавать в академии, с первых же лет ее существования, была просто блестящей. В числе ученых мы видим такие имена, как Стебут, Железнов, Тимирязев, Шредер, Ильенков, Густавсон, Турский и др.

По первому уставу, академия была открытым учебным заведением, для поступления в которую не требовалось вступительных экзаменов. Переходных и выпускных экзаменов также не было. Слушателям дозволялось изучать как полный курс наук, так и выбирать отдельные курсы, сообразно с целями и потребностями каждого. Курс обучения в академии был установлен трехлетний.

По словам писателя В. Г. Короленко, который сам в ней учился с 1873 по 1876 год, это привело к тому, что «в академию налетели отовсюду лентяи и неодолевшие в гимназии бездны премудрости помещичьи сынки, выгнанные из низших классов, которым родители пожелали легким способом дать звание студента.

...Академия представляла из себя что-то вроде студенческой казачьей вольницы... В роще, в парке, по уединенным дачам, в лесу, над трудами, в весенние и летние ночи от зари до зари премели песни, шли попойки, и Москва была полна рассказами о необыкновенных выходках петровских студентов, вроде, например, внезапного появления перед публикой, гуляющей по главной аллее парка, какого-нибудь гуляки, выходящего из пруда в костюме Аполлона Бельведерского».

В академию в первые же годы ее существования наряду с детьми помещиков и духовенства шли люди и из среды разночинной интеллигенции.

Эта часть студенчества даже своим внешним видом резко выделялась среди учащихся Москвы.

Длинные волосы, большей частью нечесанные, широкая шляпа и обычно порванные, смазанные детем сапоги, худые

паровары, соответствующего вида рубашка, нередко без пояса, а поверх плед или пиджак, который не надевался, а небрежно накидывался на плечи, суковатая палка в руках — вот типичный портрет петровцев раннего периода.

В 1873 году последовало полное «преобразование» академии, приблизившее ее к обычному типу высших учебных заведений. Главным поводом к этому послужила недостаточная успешность хода занятий и исключительно слабая подготовка оканчивающих академию слушателей.

По этому поводу министр Муравьев писал:

«Лучше на некоторое время приостановиться на пути просвещения, чем выпустить тот недоучившийся слой, который в настоящее время обращает на себя внимание правительства».

По новому уставу от 1873 года, в академию принимались только лица окончившие среднюю школу. Учащиеся стали называться студентами. Курс обучения был увеличен до четырех лет. Пребывание в академии ограничено шестью годами.

Постепенно в стенах академии состав студенчества изменялся. Многие из «петровцев» уже испытали на себе гнет самодержавия и произвол царских чиновников. Это демократическое студенчество было проникнуто революционными настроениями. В стенах Петровки начинают властвовать идеи Маркса, Чернышевского и Добролюбова.

В середине семидесятых годов в Петровке начинаются «беспорядки», они направлены против полицейского надзора и произвола администрации академии.

В архивах академии сохранились небезынтересные сведения об одном из таких студенческих «инцидентов» (1876 г.), вследствие которого студенты академии: В. Г. Короленко (впоследствии замечательный писатель и публицист), Григорьев и Вернер были удалены из академии и высланы из Москвы.

В связи с этим в стенах академии происходит событие, необычайное для профессорской среды. Молодой ученый Петровки К. А. Тимирязев в совете профессоров бросает вызов своим «особым» мнением, выступив против исключения студентов, участвовавших в беспорядках.

Это неслучайное выступление, — через несколько лет (в 1882 г.) выходит знаменитая книга Тимирязева — «Ч. Дарвин и его учение», которая вызывает резкие

нападки антидарвинистов. В этой книге талантливый профессор Петровки смело бросил вызов «ученым» мракобесам, идущим против «безбожного» учения, защищая Ч. Дарвина от многочисленных нападок и «опровергателей».

К. А. Тимирязев, владея материалистическим методом, принес в высшую школу подлинную науку биологии, освободив ее от религиозной дикости и шредрассудков. Российская реакция в лице князя Мещерского отметила выступление ученого. «Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы», — сказал кн. Мещерский.

Воинствующий дарвинист К. А. Тимирязев превращает свою профессорскую кафедру в революционную трибуну, сочетая глубокое научное содержание своих лекций с пламенной пропагандой демократических идей.

Революционный дух господствует в Петровской академии. Ее студенты следят за передовой революционной мыслью Европы.

В 1883 году, в связи со смертью К. Маркса, в Лондоне появляется первый отклик из России — телеграмма от студентов Петровской академии:

«18 марта. Редакция «Дейли ньюс». Лондон.

Будьте настолько любезны передать господину Энгельсу, автору «Трудящихся классов Англии», близкому другу покойного Карла Маркса, нашу просьбу возложить на гроб незабвенного автора «Капитала» венок со следующей надписью: «Борьбу за право рабочих в теории и за осуществление ее в жизни».

Госпожина Энгельса просят сообщить свой адрес и стоимость венка. Расходы ему будут немедленно возмещены.

Студенты Петровской академии в Москве».

Эта телеграмма была получена 20 марта 1883 года Элеонорой Маркс, младшей дочерью К. Маркса.

Студенты Петровской академии знали труды К. Маркса и понимали значение его работы.

В 1883 году вместо директора академии профессора Арнольда, специалиста по лесоводству, директором назначается доктор медицины окулист Юнге, считавшийся одним из «одареннейших» администраторов, который к тому же сам горел нетерпением «оздоровить молодежь по своему разумению», чтобы держать ее в «крепкой узде».

— Юнге — окулист, он протрет глаза академии и уничтожит в ней «крамольный дух», — острили в «обществе» в связи с назначением Юнге.

Искоренение «крамолы» Юнге начал с пересмотра устава.

### СТУДЕНТ «ПЕТРОВКИ»

Как раз в этот-то памятный в истории Петровки 1883 год после окончания реального училища В. Р. Вильямс и поступает в академию. Семья, состоящая из семи человек, переходит на его иждивение.

Жилось нелегко. В течение целых двух лет он ежедневно ходит пешком с Остоженки в Петровско-Разумовское (что составляет почти пятнадцать километров в один конец), часто готовя уроки из-за отсутствия керосина... при свете уличного фонаря.

Вот как вспоминает о днях своей молодости сам Василий Робертович: «Это было пятьдесят с лишним лет тому назад. Стояли суровые морозы. На тихой тогда Остоженке аккуратно в шесть часов утра каждый день открывалась дверь скромного двухэтажного домика, и на свежем морозном воздухе появлялся молодой, крепко сшитый пешеход. Этим одетым в летнюю шинель виакидью пешеходом был я, в то время студент Петровской земледельческой и лесной академии. В дожди и бураны, в суровые морозы я вынужден был всегда ходить пешком в Петровскую академию, чтобы во-время попадать на занятия. А итти приходилось около пятнадцати километров».

Высокий, атлетически сложенный, полный энергии, юноша Вильямс всегда группировал вокруг себя товарищей. В часы досуга он любил заниматься спортивными развлечениями. Особенно привлекал его в это время гребной спорт.

Так, например, в год окончания реального училища он со своими сверстниками — двумя братьями Вильсонами, Гиппиусом и Бленко — поставил рекорд по гребле на дистанцию: Москва — Кунцево — Москва, после чего эта пятерка долгое время считалась на Москве-реке непобедимой.

Средства для существования семьи Вильямс-студент добывал частными уроками. Одним из его многочисленных учеников этого периода был ныне покойный народный артист СССР К. С. Станиславский, которого В. Р. Вильямс готовил на аттестат зрелости.

Несмотря на все трудности, в 1885 году молодой Вильямс перешел на третий курс. Из всех предметов наиболее сильно интересовали его химия и почвоведение.

На это обратил внимание старик-профессор А. А. Фадеев, читавший в академии курс почвоведения и земледелия. Он предложил В. Р. Вильямсу стать его ассистентом, поручив ему организацию лаборатории и заведывание опытным полем. Так началась пятьдесят пять лет назад научная работа В. Р. Вильямса.

В 1887 году, находясь еще на студенческой скамье, Василий Робертович пишет свою первую научную работу под названием «Исследование восьми почв Мамадышского уезда Казанской губернии». Работа была напечатана в «Известиях» академии за 1888 год (выпуск 3-й, стр. 241—244).

В. Р. Вильямс обращает внимание на несовершенство и неточность существовавших в то время методов механического анализа почв, дававших маловероятную картину физических свойств почв. Проверив попутно все старое, отбрасывая все непригодное, неутомимо производит он бесчисленное количество новых экспериментов.

В 1887 году Василий Робертович успешно оканчивает Петровскую академию и по ходатайству Совета академии перед министерством государственных имуществ получает стипендию высшего оклада и трехлетнюю заграничную командировку с целью углубления приобретенных в академии знаний. В начале 1888 года В. Р. Вильямс уезжает во Францию.

В Париже, в институте Луи Пастера, Василий Робертович принимается за детальное изучение бактериологии почв. В то же время он посещает лекции по химии почв, читаемые крупнейшим химиком-почвоведом того времени профессором Шлезингом. Время, оставшееся от лекций в Пастеровском институте, он отдает работе в Национальной библиотеке (св. Женеьевы), где детально знакомится с историей агрономии и агрикультуры.

Летние каникулы в институте 1888 года Василий Робертович использует для ознакомления с состоянием земледелия и сельского хозяйства Франции. С этой целью он предпринимает путешествие пешком по Нормандии, Бретани, осматривает район Орлеана, изучает пески по побережью Атлантического океана около Бордо (лапды) и, наконец, в солнечном Провансе исследует солонцы, знакомится с культурой пшеницы и многочисленными специальными южными культурами.

За границей В. Р. Вильямс входит в личное общение с крупными мировыми иностранными учеными.

В 1889 году из Парижа он едет в Мюнхен (Германия), где работает под руководством профессора Эвальда Вольни, основателя науки о физике почв. Здесь В. Р. Вильямс попадает в обстановку исключительно энергичной и многосторонней работы Вольни и его многочисленных сотрудников.

В Мюнхене биологическое образование Василия Робертовича дополняется глубоким изучением физики и химии почв, познанием методики опытов с почвами. Здесь он и приходит к теоретическому обоснованию своего метода механического анализа почв, к разработке которого он приступил, еще будучи студентом Петровки.

Одновременно В. Р. Вильямс слушает курс общего земледелия и луговодства, которые читал сам Э. Вольни. Кроме этих лекций, он посещает также и лекции проф. Сокслета, который в Мюнхенском политехникуме читал курс химии почв.

В то же время отсюда, из Мюнхена, Василий Робертович очень внимательно следит и за развитием почвоведения в России. С работами Докучаева и Костычева он знакомит Э. Вольни и его коллектив.

## НАЧАЛО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1891 году В. Р. Вильямс возвращается из заграничной командировки. Совет академии поручает ему чтение курса общего земледелия вместо ушедшего в отставку его учителя профессора Фадеева.

В 1893 году В. Р. Вильямс начинает писать свою блестящую диссертацию на тему: «Опыт исследования механического состава почв», в которой показывает себя новатором. В диссертации он дает совершенную методику механического анализа почвы, которая и до сих пор является непревзойденной.

Уже в этой своей работе, опубликованной сорок шесть лет тому назад, Василий Робертович особенное внимание уделял мельчайшим частицам почвы (почвенному илу), от которых зависит ее плодородие.

В 1894 году он заканчивает свое блестящее исследование и в качестве магистерской диссертации защищает ее 31 января на публичном заседании Совета академии, в присутствии оппонентов — профессора академии Е. Б. Шене и преподавателя Московской земледельческой школы Андриановского.

Еще не смолкли аплодисменты, приветствующие молодого магистра сельскохозяйственных наук, как директор академии Захаров предлагает всем присутствующим встать и произносит роковые для Петровки слова:

— По высочайшему повелению, объявляю Петровскую земледельческую и лесную академию закрытой.

Профессорско-преподавательский состав академии был распущен, а В. Р. Вильямса, по распоряжению департамента земледелия, назначили хранителем имущества бывшей академии. Так распорядилось перепуганное царское правительство с Петровской академией — гнездом революционной крамолы.

Закрытие академии предшествовало серьезным студенческим волнениям, которые имели место в ее стенах, особенно после вступления на пост директора Юнге.

Для того чтобы осуществить надзор за студентами, он поместил их в 1887 году в одно общежитие, выстроив для этого специальное здание.

Но эта мера, не оправдала надежд директора, а лишь только еще больше способствовала сплочению студентов.

Революционная сила студенчества Петровки становится настолько опасной, что накануне коронации Александра III московский градоначальник вынужден был заявить: «Раньше установления срока коронации нужно справиться с Петровской академией».

Царское правительство разными способами пыталось влиять на революционно настроенных студентов Петровки: менялись уставы, вводилась форма, издавались строжайшие приказы и правила. Но ничто не действовало: студенческие сходки все же собирались и часто, как известно, кончались политическими демонстрациями и забастовками.

В 1889 году в Саратове умер Н. Г. Чернышевский. В связи с его смертью студенты устроили демонстрацию, обратившую на себя внимание товарища министра внутренних дел В. Шебеко. Последний в специальном отношении от 23 октября писал директору академии:

«В министерстве внутренних дел получены сведения, что на благодарственном молельстве, отслуженном в церкви Петровской сельскохозяйственной академии по поводу годовщины избавления августейшей семьи от угрожавшей опасности 17 октября минувшего года, присутствовало из всего наличного состава студентов шест-

человек, причем студенческий хор, всегда поющий в церкви, отказался на этот случай петь. Между тем, через день, 19 октября, в церкви св. Дмитрия Солунского на панихиде по умершем в Саратове писателе Николае Чернышевском собралось до ста студентов академии. Сообщая об изложении на усмотрение Вашего Высочайшего превосходительства, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности».

В результате проведения Юнге «оздоровительных» мероприятий в Петровке, в 1889—1890 учебном году из общего количества трехсот сорока студентов было исключено семьдесят пять человек.

Наибольшей остроты борьба студентов достигла в 1890—1894 годах; это была борьба против нового устава. Движение, начавшееся на почве борьбы за сохранение старого, «либерального» академического устава, ширилось и приобрело явный антиправительственный характер.

13 февраля 1890 года в здании общежития произошла сходка, на которую студенты вызвали инспектора Бекеровича и рекомендовали ему не вмешиваться с излишней строгостью в распорядок студенческой жизни. В качестве протеста против запрещения допускать в общежитие женщин и родственников, студенты устроили 19 февраля (в память освобождения крестьян) собрание, на котором из ста пятидесяти участников одна треть была женского пола.

24 и 26-го сходки повторились. 29 февраля была составлена петиция министру за ста двадцатью четырьмя подписями об уничтожении единоличной власти директора и смещении Юнге.

3 марта состоялось новое собрание, уже в аудитории, на которое явился сам директор, но его выгнали. Тогда Юнге обратился за помощью «к власти имущим». 5 марта 1890 года сто пятьдесят девять петровцев были заключены в Бутырскую тюрьму. В связи с этим было выпущено несколько воззваний: «К студентам Московского университета», «К товарищам», «К русскому обществу» и др.

Хотя московский обер-полицмейстер и воспретил газетам помещать сведения о начавшихся «беспорядках», но это не помешало волнению перекинуться в город.

Как одно из практических мероприятий со стороны охраны по пресечению революционного движения среди студенчества Петровки, в 1890 году в нее негласно был прекращен прием. В 1892 году происхо-

дит «изъятие» жандармами из профессуры академии «неблагонадежного» К. А. Тимирязева по мотивам: «Нам не нужно защитника студентов». Знаменитый русский ученый-революционер оказался вне стен академии.

Правительство, видя свою полную беспомощность, наконец, решило окончательно избавиться от Петровки. В 1892 году академии решено было закрыть, а территорию ее отвести военному министерству под кавалерийское училище. В результате 1 февраля 1894 года Петровская академия была закрыта.

В этом же году министр земледелия Ермолов, игравший в либерализм, подает «на высочайшее» рассмотрение докладную записку и проект организации на месте бывшей Петровской академии Московского сельскохозяйственного института. В этой записке министр просил оставить территорию академии под сельскохозяйственное учебное заведение, мотивируя просьбу тем, что закрытие будет косвенной причиной постоянных неурожаев.

Голод 1892 года заставил царское правительство задуматься о дальнейшей судьбе русского сельского хозяйства.

Проект был утвержден, и 26 сентября 1894 года «официально», а фактически лишь только спустя полтора года, вместо академии был открыт Московский сельскохозяйственный институт, который и существовал до 1917 года.

В открывшемся Московском сельскохозяйственном институте подбор профессорского персонала был поручен директору института Рачинскому, который и пригласил В. Р. Вильямса в качестве адъюнкт-профессора заведывать кафедрой почвоведения и общего земледелия.

Студенческий состав института в первые годы был крайне ограничен, он не превышал двухсот, двухсот десяти человек. В этом учебном заведении, новом по названию, но старом по традициям, несмотря на различные преграды, — как, например, строгий отбор при приеме и др., — революционные настроения не исчезли. Если не официально, то по существу Петровка сохранила за собой и после своей ликвидации право попрежнему считаться «Петровской академией».

Кафедра под руководством В. Р. Вильямса начала свое существование почти на пустом месте, так как до этого в академии были лишь два кабинета: общего и частного земледелия.

Впоследствии из кафедры почвоведения и общего земледелия, руководимой В. Р. Вильямсом, выделяется кафедра общего земледелия, затем создаются первая в России селекционная станция и станция контрольно-семенная, выделяется опытное поле.

Но не успел еще В. Р. Вильямс приступить к чтению лекций, как министерство земледелия командует его в Чикаго (Северная Америка) для организации Русского сельскохозяйственного отдела на Всемирной Колумбовской выставке. В. Р. Вильямс посещает Канаду, Дакоту, Калифорнию, Юту. Это дает ему возможность изучить в Америке пшеничные хозяйства, культуры хлопчатника и южные субтропические культуры и почвы Нового Света.

«Мне,— вспоминает В. Р. Вильямс,— тогда молодому профессору... пришлось принять участие в организации пяти сельскохозяйственных отделов. В памяти встают «достижения», которыми так бедно было представлено сельское хозяйство нашей страны. Дух торгашества и капиталистической конкуренции лежал в основе организации выставки. В своем отчете генеральный комиссар выставки «камергер высочайшего двора» Глуховский прямо указывал:

«Русскому сельскому хозяйству на Колумбовой выставке предстояла самая тяжелая задача: выдержать сравнение с сильнейшим из конкурентов на поприще экспортной хлебной торговли — Соединенными Штатами Северной Америки».

...На выставке участвовали тузы мукомольной промышленности, сахарозаводчики вроде братьев Терешенко, чаеоторговцы Перловы, табачники вроде фабрикантов Богдановых. Экспонентами были графы и князья, но не было истинного представителя русского сельского хозяйства — не было ни одного крестьянина».

В ноябре 1894 года В. Р. Вильямс возвращается в Москву.

Осенью 1895 года он закладывает первую в России чайную плантацию в Чакве (близ Батуми) и изучает развитие земледелия в условиях черноморских субтропиков.

Параллельно с чтением курса и исследовательской работой в лаборатории в 1897 году В. Р. Вильямс организует первые поля орошения в Люблино.

Он не только руководит, но и сам работает на полях. Природа наградила его высоким ростом, а физическая сила его была такова, что двое сильных рабочих не могли угнаться за ним в работе.

В 1897 году В. Р. Вильямс командирован за границу для изучения организации и устройства наиболее совершенных полей орошения в столицах Западной Европы.

Эта работа вновь сталкивает В. Р. Вильямса с биологией почв, с превращением органических веществ в почве.

В 1902 году В. Р. Вильямс командирован на Всемирную Парижскую выставку, где он работает в качестве одного из председателей международной арбитражной комиссии по сельскому хозяйству.

По приезде из-за границы он приступает к работам по изучению органического вещества почв. Эта поистине огромная по своему объему и размеру работа захватывает его на длинный ряд лет. Сначала Василий Робертович проверяет все, что до него было сделано в этой области. Результаты этих работ приводят его к выводу, что органические кислоты почвы являются продуктами синтеза, совершающегося в процессе жизнедеятельности микроорганизмов почвы. Этот вывод определяет дальнейшее направление всей работы. С целью накопления органических кислот почвы и изучения как природы, так и динамики накопления этих кислот в зависимости от внешних условий среды, Василий Робертович предпринимает ряд опытов, которые по своим масштабам остаются никем не превзойденными и по настоящее время.

Параллельно он начинает другую большую работу по изучению биологических особенностей злаков и бобовых. В. Р. Вильямс в области познания свойств и биологических особенностей трав уже тогда являлся мировым знатоком. Он с увлечением берется за изучение растений, от которых зависит плодородие почвы. На свои личные средства он создает питомник злаков и бобовых, в котором собирает до трех тысяч различных видов, разновидностей и сортов.

Нужно отметить, что кроме теоретической важности этой работы, она дала целый ряд практических результатов. Например, Вильямсом была выделена чистая линия можайской формы английского райграса, который завоевал себе видное место на русских лугах.

Кроме можайской формы, им выделены чистые линии казахстанской формы английского райграса и луговой овсяницы.

Из бобовых необходимо отметить выделенные В. Р. Вильямсом желтую раульцерну и две расы гибридной люцерны, которые, как известно, потом были выведены американским профессором Ганзеном.

в США и в настоящее время известны там под названием «ганзеновской желтой люцерны» и «люцерны-казак», последняя совершенно вытеснила в США знаменитую «гриммовскую люцерну». Кроме этих растений, В. Р. Вильямсом в питомнике была выведена еще четырнадцатилетняя форма вологодского клевера.

Небезынтересно отметить, что все выше перечисленные работы производились исключительно на личные средства Вильяма. Царское правительство не находило нужным финансировать его научные работы.

В 1904 году В. Р. Вильямс выдвигает новый проект очистки сточных вод биологическим способом. Для изучения действия биологических фильтров за границей он вместе со специальной комиссией объезжает ряд центральных городов Европы.

3 января 1905 года В. Р. Вильямс возвращается из заграничной командировки в Россию.

В Петровке свирепствует дикий разгул царской опричины, производятся многочисленные аресты среди студенчества, и «спокойствие» охраняется штыками.

В эти дни институт захлестнуло революционной волной. Академический парк становится местом для нелегальных сходок рабочих и студентов. На студенческих собраниях выносятся постановления об уничтожении должности директора института, а также упразднении инспекторов.

Группа профессоров выражает коллективный протест против бесчинного налета на институт драгун и произведенного ими разрушения при повальном обыске профессорско-преподавательских квартир: «23 декабря 1905 года в Петровско-Разумовское прибыли из Москвы драгуны, солдаты Екатеринославского полка, полицейские чины, артиллерийская часть с пушками и, кроме того, много лиц неизвестных профессий в штатском платье.

Вся институтская усадьба была оцеплена войсками, привезенные орудия поставлены против главного здания и здания студенческого общежития, и приступлено было к повальному обыску во всех учебных и жилых помещениях института.

Командовавший отрядом офицер объявил, указав на пушки, что обыск будет произведен обязательно, в случае же сопротивления будут пущены в действие пушки. При обыске взламывались замки, разрушались ценнейшие коллекции, происходили хищения личного и казенного имущества и т. д.»

Революционные события 1905 года потребовали и от всей массы профессорско-преподавательского состава Петровки четкого определения своего политического лица. Профессор В. Р. Вильямс оказался на стороне революционного студенчества.

В связи с общими конституционными уступками, под напором рабочего революционного движения, царское правительство также пошло на уступки студенчеству, отменив закон о назначении и директорам в высшие учебные заведения и право их выбора было передано советам учебных заведений, тогда единогласным решением совета Петровки первым директором ее был избран любимый профессор и друг революционного студенчества В. Р. Вильямс.

### ДИРЕКТОР-РЕВОЛЮЦИОНЕР

Во время революции 1905 года и в последующий за ней период реакции В. Р. Вильямс был ярким выразителем революционного духа Петровки и истинным другом передового студенчества.

Период его директорствования (1906—1908 гг.) характеризуется расцветом студенческой самостоятельности, кружков, носивших чисто политический характер. В этот период В. Р. Вильямсом был разрешен прием женщин и евреев в институт, а также был отменен цензовый принцип приема студентов, за что ему от департамента земледелия было поставлено «на вид».

Кроме того, он разрешил запрещенные до этого студенческие собрания и добился права на проведение ежегодного празднования годовщины Петровской академии (21 ноября).

Им же было осуществлено предоставление студентам права на вступление в брак, так как до этого администрация Петровки ведала не только правами выдачи видов на жительство, а и разрешениями на... женитьбу. Студентам института было запрещено жениться. Женатых в институт не принимали, а женившихся студентов немедленно исключали.

Пользуясь своим положением, В. Р. Вильямс прикрывал нелегально живших в академии участников так называемой «Тверской группы большевиков», которые вели революционную работу в Бутырском районе Москвы.

Нередко В. Р. Вильямс вносил плату за право учения от «неизвестного» за студентов-революционеров и давал «полити-



чески неблагонадежным студентам» возможность учиться под чужими фамилиями.

Известен факт, когда в начале 1906 года, в связи с беспорядками, в Петровку приехал генерал-губернатор Дубасов и заявил В. Р. Вильямсу, как директору института, о намерении произвести обыск. Ученый, оговорившись, что на обыск нужна санкция министра, тем самыми выиграл необходимое время, чтобы предупредить участников происходившего в институте революционного собрания.

Другой случай. В аудитории кафедры почвоведения, которую возглавлял В. Р. Вильямс, происходило нелегальное собрание. Кто-то предал — нагрянула полиция, и лишь только околоточные вопли в аудитории, как В. Р. Вильямс спокойно поднялся на кафедру и начал:

«Милостивые государи и государыни, мы остановились в нашей лекции на значении комковатой структуры почвы...» и т. д. Его импровизированная лекция тянулась свыше двух часов, и полицейские должны были уйти, убедившись, что «господа» слушают лекцию «госпожина» директора.

Еще случай: явившись однажды на подобную же студенческую сходку В. Р. Вильямс заметил, что среди студентов находятся полицейские. Он заявил:

— Я не читаю лекции жандармам.

Полицейским пришлось покинуть зал.

Отнюдь не случайным было и его открытое выступление в 1906 году на стороне крестьян при экспертизе по заражению клеверных полей повилкой в Можайском уезде (бывшей Московской губернии), когда В. Р. Вильямс в результате обследования установил воровские махинации царских чиновников во главе с графом Уваровым, снабжающих крестьян заведомо негодным семенным материалом. На докладной записке-экспертизе В. Р. Вильямса, подвергшей резкой критике деятельность департамента земледелия рукой Николая II было написано: «Считать дело якобы не бывшим».

Подобных примеров можно было бы привести очень много.

В результате чрезвычайно тяжелой обстановки и напряженной работы, в результате постоянной борьбы с реакционно настроенной профессурой, всячески противостоящей его нововведениям, и с черносотенным министром просвещения Шварцом, здоровье В. Р. Вильямса сильно расшаталось. В 1908 году у него произошло кровоизлияние в мозг. После тяжелой болезни В. Р. Вильямс подает заявление с

просьбой об освобождении от обязанностей директора.

О той большой любви, которую питало студенчество Петровки к своему учителю и директору, лучше всего свидетельствует адрес, преподнесенный ими В. Р. Вильямсу по случаю его ухода с поста директора.

«У нас осталась,— писали студенты.— глубокоуважаемый Василий Робертович. Приятная уверенность, что еще долго-долго мы будем встречаться с Вами, как с нашим профессором, что же касается короткого периода Вашего директорства, то мы верим, что в истории института, являющегося естественным продолжением Петровской академии, Ваша деятельность оставит одну из светлых страниц».

После окончательного выздоровления Василий Робертович возвращается снова к научно-исследовательской работе в области почвоведения и луговодства.

В 1911 году В. Р. Вильямс получает разрешение на организацию в виде опыта при лаборатории почвоведения краткосрочных курсов луговодства. К работе на этих курсах он привлекает профессоров Дмитриева, Харченко, Кибальчича и др. В 1913 году временные курсы луговодства реорганизовуются в постоянные.

Работе на курсах луговодства Василий Робертович посвящает много времени. Он со слушателями курсов предпринимает две длинные экспедиции на специально эфрахтованном пароходе по рекам Клязьма, Оке и Волге (от Горького до Астрахани) с целью изучения почв, растительности и рельефа пойм этих рек.

В начале 1914 года Василий Робертович уезжает в Австрию и Германию с целью изучения работы высших школ по луговодству и болотоведению. По возвращении из командировки — уже в начале империалистической войны — Василий Робертович добивается организации Государственного института луговодства. Директором этого института он оставался до 1925 года.

В 1913 году выделяется группа земельных засоленных земель, которая постепенно перерастает в самостоятельный Солонцовый институт.

Василий Робертович уделяет много времени изучению почв и земледелия юго-восточной части России и с этой целью предпринимает две продолжительные поездки по юго-восточным опытным станциям.

Поглощенный организационной работой по созданию Лугового и Солонцового институтов, Василий Робертович не оставляет работу и на своей кафедре. Он



редчайший по полноте и тщательному подбору биологический гербарий, который явился демонстрационным пособием к читаемым им курсам почвоведения и луговодства.

В 1914 году, после многолетней научно-исследовательской работы, В. Р. Вильямс приступает к обобщению громадного материала.

В результате он создает стройное, совершенно оригинальное учение о почве. В 1916 году выходит первое издание его курса почвоведения, представляющее учение о почве с точки зрения единого почвообразовательного процесса,— это труд, на котором воспитывались тысячи его учеников.

С этим учением В. Р. Вильямса непосредственно связано и другое важнейшее для всего колхозного сельского хозяйства СССР учение о травопольной системе земледелия.

Овладевая научными высотами, В. Р. Вильямс, как и Тимирязев, не замкнулся «в скорлупу жрецов науки». Он был тесно связан с практикой. Трудно перечислить все то, что он сделал для развития сельского хозяйства даже в крайне неблагоприятных условиях царского строя.

### УЧЕНЫЙ-БОЛЬШЕВИК

В. Р. Вильямс проявил исключительную энергию в борьбе за повышение уровня высшего сельскохозяйственного образования и за подъем сельского хозяйства в России. Однако его мысли и стремления оказались неосуществимыми в условиях царского самодержавия. Только благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции Василий Робертович получил широкие возможности для научной работы.

Он ненавидел мелкобуржуазную ограниченность русской народнической агрономии. Он стремился выгнать науку из лаборатории на поля и применить революционные приемы агрономии.

В Великой Октябрьской социалистической революции В. Р. Вильямс так же, как и другой великий русский ученый, К. А. Тимирязев, увидел начало новой эпохи в жизни человечества — эпохи расцвета науки.

«В течение своей прежней работы,— пишет он,— я поражался несоответствием современного земледелия с той системой установок, которые были. Условия раньше были таковы, что все действительно научные работы не могли быть ни в малейшей

степени освоены ни наукой, ни производством. Причиной этому был социально-экономический строй и состояние науки в то время».

Приветствуя революцию, В. Р. Вильямс писал:

«Тернист и труден был путь многовекового рабства, нелегко будет и путь свободы, но солнце уже взошло, показался багряный край его на горизонте, и пусть это будет багрянец родной крови, великий день, который осветит солнце свободы, стоит великих жертв».

Не боясь личных нападок и ожесточенной травли со стороны врагов народа и реакционной профессуры, В. Р. Вильямс совместно со студентами-большевиками приступил к переустройству Петровской сельскохозяйственной академии.

Остро встал вопрос об изменении состава студенчества путем привлечения в вуз пролетарских слоев. Василий Робертович совместно с профессорами Демьяновым Н. Я. и Зерновым С. А. и группой студентов выдвигают в 1920 году вопрос об организации в Академии рабфака.

Он, выражаясь словами тов. Сталина, «...добровольно и охотно открывает все двери науки молодым силам нашей страны и дает им возможность завоевать вершины науки...»

Защищаемая В. Р. Вильямсом идея пролетаризации высшей школы была встречена в штыки реакционными профессорами Петровки. Первых рабфаковцев буржуазная профессура иначе как «кухаркиными детьми» не называла. Клеветали: «все разрушают, пропала академия».

Небезызвестный буржуазный «ревнитель науки» профессор Петровки А. Фортунатов, который очень любил в свое время выражаться, что он всего лишь «привратник» у храма науки, что его дело заключается лишь только в том, чтобы облегчить другим вход в этот храм — после того как свершившаяся Октябрьская социалистическая революция заставила его от либеральных слов перейти к делу, и в Петровку пришли новые студенты — рабочие и батраки, бойцы Красной Армии, только что покинувшие окопы и заявившие о своем желании учиться — профессор ужаснулся, ибо пришедшие оказались совсем не теми приличными молодыми людьми, которых звал он в «храм науки». А. Фортунатов повел яростную агитацию против рабфака.

Но, несмотря ни на что, повое, пролетарское студенчество проникло в «храм науки». Оно укрепило его революционным

духом и революционной организованностью. Как ни трудна была вначале обстановка, но рабфак все же работал.

Трудно оценить полностью ту помощь и поддержку, которую получил рабфак от В. Р. Вильямса. Его забота о рабфаке была непрерывной и постоянно действенной.

Он не только первый начинает читать лекции рабфактовцам, он отдает для них свою замечательную лабораторию — «почвоведку» — и составляет программы занятий. Он привлекает к работе на рабфаке наиболее прогрессивную часть профессуры и преподавателей академии. Рабфаковцы называли его «отцом рабфака».

...Рабочий факультет проделал огромную работу не только в отношении подготовки студентов. Он был этапом в революционной перестройке самой академии, прежде всего он пролетаризировал старую Петровку. Он нанес сокрушительный удар «либерализму», духу эсеровской идеологии, которые были присущи академии в то время.

Рабочий факультет содействовал превращению Петровки в Тимирязевку.

Позиция В. Р. Вильямса в эти годы жестокой борьбы дала основание пролетарскому студенчеству и советской общественности выдвинуть его в 1922 году на пост ректора Петровки.

В 1923 году Петровской академии присваивается имя великого русского ученого — демократа К. А. Тимирязева, чьи слова вычеканены на пьедестале памятника, поставленного ему в академии:

«Только наука и демократия, знание и труд, вступив в свободный тесный союз, все превозмогут, все пересоздадут на благо всего человечества...

Большевики, проводящие ленинизм, работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был Ваш и с Вами (большевиками)».

В том же 1923 году при непосредственном участии В. Р. Вильямса в академии им. К. А. Тимирязева создается факультет сельскохозяйственной экономики и политики — «красный факультет», по выражению В. Р. Вильямса.

Одновременно с организационной и научно-общественной работой В. Р. Вильямс усиленно трудится над дальнейшим развитием своего учения о травопольной системе земледелия, издает новые учебники и книги, пишет статьи, доклады, занимается редактурой.

В 1920 году выходит второе издание его книги «Почвоведение». В том же году выходит первая, а в 1922 году вторая

часть курса «Общее земледелие». В 1926 году в значительно переработанной форме выходит третье издание «Почвоведения». В 1927 году он издает «Общее земледелие с основами почвоведения». Кроме того, он состоит редактором целого ряда специальных журналов и советских энциклопедий. Под его непосредственным руководством проводятся широкие исследования почв Муганской степи, Кара-Кумов, Предгорья Намира, бассейнов рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья, Алтая, Западной и Восточной Сибири, Биробиджанского района, с целью изучения пригодности этого района для заселения (1927 г.), Поволжья и центральных областей Европейской части России. Эти широкие исследования дали возможность ученому создать первоклассный музей — собрание почвенных образцов и монолитов — ныне музей имени академика В. Р. Вильямса.

Параллельно с этим он принимает самое деятельное участие в работах Госплана (с момента его организации), Государственного ученого совета и Главпрофобра Наркомпроса, Наркомзема, МОЗО, РКИ и многих других учреждений. В частности, в Главпрофобре и Наркомпросе он настойчиво работает над коренным изменением вышней сельскохозяйственной школы, добываясь, чтобы она широко раскрыла свои двери рабоче-крестьянской молодежи.

В. Р. Вильямс пользуется громадным авторитетом коммунистической партии и советского правительства.

В 1923 году по заданию правительства он разрабатывает «План реорганизации земледелия в Советском Союзе на основе травопольной системы».

В архивах ГОЭЛРО и Госплана до сих пор хранятся исторические работы В. Р. Вильямса, в которых даются научно-технические основы реорганизации сельскохозяйственного производства.

Изучая труды В. Р. Вильямса, мы видим, что им проделаны глубокие научно-исследовательские экскурсии в самые передовые области биологических дисциплин. Его многолетняя напряженная работа пронизана бодрым оптимизмом, жизнерадостной уверенностью в том, что он стоит на истинных путях познания природы. Сила и ясность научной мысли присуща В. Р. Вильямсу как мыслителю, участвующему в борьбе, пришедшему в мир не только для того, чтобы объяснить его явления, но и для того, чтобы творчески воздействовать на него.

И когда в 1924 году Советский Союз праздновал сорокалетний юбилей

общественной и педагогической деятельности замечательного ученого, то это чествование превратилось в широкий смотр всей советской сельскохозяйственной науки и агрономического образования в нашей стране. Правительство достойно оценило заслуги В. Р. Вильямса, наградив его орденом Трудового Красного Знамени «как одного из первых среди деятелей науки, без колебаний принявшего важнейшую в мире революцию рабочих и крестьян и с первых же дней советской власти беззаветно отдавшего свои силы на служение трудящимся» (из приветствия М. И. Калинина).

С 1922 года В. Р. Вильямс бессменный член Моссовета, с 1928 года член ВЦИК, а с 1937 года депутат Верховного Совета СССР.

В. Р. Вильямс был одним из тех непартийных большевиков, которым оставалось лишь организационно оформить свою партийность. В 1928 году, на шестьдесят пятом году жизни, он заявляет о своем желании стать членом великой партии Ленина — Сталина.

«Я отлично сознаю. — писал он в своем заявлении в Бюро ячейки ВКП(б) Тимирязевской академии, — что по своему возрасту я не могу принять ярко выраженного активного участия в работе партии, но я осмеливаюсь думать, что мои специальные познания могут сослужить службу в самой ударной задаче партии — подготовке молодого поколения красных специалистов на фронте, имеющем в настоящий момент самое актуальное значение, — фронте завоевания командных высот науки и не менее важном фронте организации сельскохозяйственного производства. На этих фронтах я еще нахожусь в полной силе».

ЦК ВКП(б) принял в ряды большевистской партии В. Р. Вильямса без кандидатского стажа, дав ему возможность не только как крупному ученому, но и как члену коммунистической партии бороться за ее генеральную линию.

День, когда старый, заслуженный ученый стал молодым членом партии Ленина — Сталина, по словам самого Василия Робертовича, был самым радостным во всей его жизни.

Исключительная чуткость, глубокие знания в области революционной теории, непримиримая борьба со всякого рода извращениями генеральной линии партии, дисциплинированность, беспредельная преданность делу коммунизма — вот черты, характеризующие В. Р. Вильямса как большевика.

В 1929 году Василия Робертовича избирают действительным членом Белорусской академии наук, а в 1931 году — членом Академии наук СССР.

В 1934 году за особо выдающиеся работы в области агрономии, за энергичную работу в деле социалистического переустройства сельского хозяйства в ознаменование пятидесятилетия научной, педагогической и общественно-политической деятельности Президиум ЦИК СССР награждает В. Р. Вильямса орденом Ленина.

В просторном залитом светом, празднично-радостном Колонном зале Дома Союзов вся страна приветствовала в этот день своего первого агронома, ученого и учителя, трибуна большевистской агротехники — Василия Робертовича Вильямса.

Еще никого не было за столом президиума, как где-то в углу вдруг неожиданно возникли аплодисменты. Сын — профессор Тимирязевской академии Н. В. Вильямс — вел под руку отца-академика, почетного ректора Тимирязевки. На груди у В. Р. Вильямса был орден Ленина — свидетельство заслуг перед пролетарским государством. Все встали, и долго не смолкали овации.

Благодаря за награду, Вильямс заявил:

— Мне хочется сказать каждому колхознику, каждому агроному, что нет иного счастья, как жить и творить на нашей родной советской земле.

В 1936 году, в связи с пятнадцатилетием Госплана при СНК СССР, В. Р. Вильямс за выдающуюся работу в области планирования социалистического земледелия как член Государственной плановой комиссии первого созыва был награжден новым орденом — орденом Трудового Красного Знамени.

10 ноября 1938 года, в ознаменование семидесятилетия со дня рождения великого ученого, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил: организовать почвенно-агрономический музей, присвоив ему имя академика В. Р. Вильямса.

Затем Совнарком СССР присвоил имя академика В. Р. Вильямса руководимой им Почвенно-Агрономической станции Наркомзема СССР и учредил дополнительно десять повышенных стипендий его имени в академии имени Тимирязева, в том числе пять студенческих и пять стипендий для аспирантов академии.

Кроме того, Совнарком Союза ССР поручил Наркомпросу РСФСР построить в 1939 г. школу-десятилетку в Новоторжском избирательном округе Калининской

области, присвоив этой школе имя В. Р. Вильямса.

Приветствуя Василия Робертовича в день его славного семидесятилетия, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина академик Т. Д. Лысенко и вице-президент академии академик Н. В. Цицин писали:

«75-летие академика В. Р. Вильямса — большой праздник советской агрономической науки. Василий Робертович воспитал поколение агрономов. Его труды являются основой и руководством для плодотворной научной работы по земледелию. Стиль научной деятельности В. Р. Вильямса должен служить образцом для каждого ученого советской страны.

...Мы не знаем более стройного, ясного и действенного учения о земледелии, как учение Вильямса.

Неразрывная, постоянная, самая широкая связь с колхозниками, агрономами-производственниками, научными работниками служит залогом того, что академик В. Р. Вильямс попрежнему будет стоять во главе советской агрономии».

## ТВОРЕЦ УЧЕНИЯ О ПЛОДОРОДИИ ПОЧВЫ

В. Р. Вильямс — революционер в науке. С его именем связано начало развития агрономического почвоведения. Он является творцом травопольной системы земледелия, стройной научной теории о едином почвообразовательном процессе и научной теории обработки почвы. Он борется за восстановление структуры почвы, за глубокую пахоту.

После долгих лет глубокой исследовательской работы В. Р. Вильямс создал классический труд, излагающий учение о едином почвообразовательном процессе и травопольной системе земледелия. Со всей силой своего замечательного таланта В. Р. Вильямс развил в науке о почве идеи Дарвина о единстве органического мира, о законах эволюции растительных и животных миров.

В. Р. Вильямс поднял завесу, скрывавшую многие тайны природы, открыл законы, управляющие эволюцией почвы, ее возникновением и развитием. Он дал в руки человечества ключ к тому «кладу», который извечно существовал в мечтах тружеников земли. «Клад» этот — плодородие почвы.

Весь исторический опыт, все богатство мысли предшественников В. Р. Вильямс связал со своими многолетними исследованиями и подчинил единой руководящей

идее — диалектическому развитию. Он показал, что не было когда-то тех почв, на которых стахановцы Узбекистана получают высокие урожаи хлопка, что не всегда пустыня дышала палачим зноем, не всегда тучные черноземы залегали в районах Кубани.

Опираясь на учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, В. Р. Вильямс вскрыл в научно и практически обосновал полную несостоятельность и реакционную сущность буржуазного «закона» прогрессивно-убывающего плодородия почвы и наметил грандиозные перспективы подъема урожайности в условиях социалистического сельского хозяйства.

Его учение послужило научной основой для широкого опыта стахановцев сельского хозяйства. В начале своей деятельности, еще лет пятьдесят тому назад, он лично в течение двадцати лет на опытном поле Петровской академии, на своем участке, собирал средний урожай в шестьдесят восемь центнеров (четыреста десять пудов) ржи с одного гектара.

Можно ли найти более убедительное доказательство, чем практический опыт самого ученого, полной возможности создания устойчивых урожаев при любых погодных условиях в нашей стране?

В. Р. Вильямс ведет борьбу за новое, социалистическое земледелие. Им разработана для колхозов и совхозов система агротехнических мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур — травопольная система земледелия.

Чтобы правильно понять травопольную систему В. Р. Вильямса, необходимо уяснить себе следующие его основные положения.

«Ни в коем случае трава не должна заменять зерновые культуры».

«Травяное поле полевого севооборота должно быть занято многолетними травами не более двух лет».

«В самых худших условиях на юге, где трава из-за сухости растет плохо, там нужно два года для того, чтобы она могла полностью восстановить структуру и прочность почвы, а в северных и центральных черноземных районах для этих целей достаточно и года».

«Для полевого севооборота служит как правило, именно сочетание многолетних трав, — рыхлокустового злака и бобового, например, тимофеевки и клевера на севере, житняка и люцерны на юге. Травы восстанавливают структуру и прочность почвы, дают органическое удобрение. Бобовые обогащают почву азотом».

В. Р. Вильямс пишет колхозникам: «Когда травопольная система земледелия получит полное осуществление на полях ваших колхозов, тогда вы будете получать невиданные урожаи всех культур, высеваемых вами в севооборотах, а животноводство получит прочную высококачественную базу, из навозного шреватится в высокопродуктивное».

«Что именно дает нам право называть В. Р. Вильямса революционером науки в нашем советском смысле? — говорит один из старейших академиков Б. А. Келлер. — Я хорошо помню состояние соответствующих научных отраслей — почвоведения, геоботаники — в прежнее время. Та задержка роста, тот застой, в котором насильственно держало страну старое, царское правительство, действовали омертвляющим образом на научное мышление. В науке преобладало, если можно так выразиться, мертвое, статическое мировоззрение. Устанавливались формальные связи различных типов растительности и почв между собой и в их отношении к современным условиям климата.

...Были и у нас одиночки-ученые, которые на общем мертвом статическом фоне выделялись своим динамическим революционным мировоззрением. Яркий пример этого типа представляет собой В. Р. Вильямс.

Он в своих научных курсах буквально взрывал старый, застывший статический мир почвоведения и геоботаники и привел его во всеобщее движение.

...Почва и растительность, теория и производство здесь переплетены самым действенным динамическим образом».

Центральным вопросом земледелия В. Р. Вильямс считает изучение почвенного плодородия.

«Человеческое общество, — говорит он, — уже имеет в своем распоряжении достаточно научных данных, достаточно развитую технику, чтобы овладеть основными факторами плодородия почвы, чтобы создать условия, обеспечивающие растение водой и пищей во все время его произрастания».

Но — указывает он: «Вопросы плодородия почвы не решаются только введением правильной пахоты, они должны решаться всей системой мероприятий агротехники, пригодной для социалистического сельскохозяйственного производства. Например, применение в условиях СССР результатов работ опытных учреждений, полученных на мелких делянках, недопустимо; недопустимо перенесение к нам результатов зарубежных деляночных опытов по вопросам

вспашки, по вопросам удобрения и т. д., потому что метод мелких делянок рассчитан исключительно на хозяйства кулацкого типа, а не на крупное социалистическое сельскохозяйственное производство. Изменилась основа сельскохозяйственного производства, — должна измениться соответственно и разработка научных агрономических вопросов».

Основное место в борьбе за повышение плодородия почвы В. Р. Вильямс отводит задачам восстановления и улучшения ее структуры. Однако он никогда не рассматривал структуру почвы как самоцель, а всегда подходил к ней под углом зрения улучшения роста сельскохозяйственных растений, повышения качества почвы, как средства производства.

Почва изучается им и как природное тело, и как средство производства, и как предмет труда в их диалектическом единстве, где за основу взят процесс развития плодородия.

«Ибо почва и ее плодородие, — говорит В. Р. Вильямс, — неотделимы друг от друга, как количество и качество, как форма и содержание».

Широко проведенное под руководством В. Р. Вильямса изучение почв и растений самых различных территорий Советского Союза позволило ему создать стройную науку о едином почвообразовательном процессе. В его теории нет места отдельным почвенным типам как мертвым и неизменным образованиям. Напротив, он считает, что почва непрерывно переживает процесс изменения и развития, который находится в прямой зависимости от климата, растительности и других факторов.

Научные исследования В. Р. Вильямса в области структуры почвы являются непревзойденными. Он доказал, что потеря почвой структурного состояния неизбежно влечет за собой падение плодородия и стийность урожая, что структура почвы и ее прочность обуславливаются механическим и биологическим воздействием на нее многолетних злаков и бобовых растений.

Величайшая заслуга В. Р. Вильямса заключается в его борьбе за единство теории и практики, за производственный подход к науке. В созданной Вильямсом науке — агропочвоведении — нет грани между «чистой наукой» и практикой. Основной ее целью является повышение урожайности.

Травопольная система земледелия, созданная В. Р. Вильямсом, получила права гражданства только после великой Октябрьской социалистической революции. В настоящее время она представляет собой

единственную научно обоснованную систему социалистического земледелия.

В учении Вильямса процесс развития природного плодородия (общее почвоведение) изучается одновременно и неразрывно с развитием эффективного плодородия (общее земледелие), создаваемого воздействием человека. Почвоведение и земледелие или агропочвоведение в учении Вильямса — наука единая.

Перспективность — вот основная черта этой науки. Повышение производительности сельского хозяйства — такова ее цель. В вопросах развития сельскохозяйственного производства Вильямс следует положениям Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Еще в 1923—1924 годах, он заявляет, что для сельского хозяйства единственный путь повышения его производительности — это коллективизация.

В. Р. Вильямс — знаменитый ученый, которым по праву гордится наша страна. Его труды явились ценнейшим вкладом в сокровищницу агрономической науки. Его имя широко известно не только в Советском Союзе, но и за границей.

«Академик В. Р. Вильямс, — пишет президент международного общества почвоведов, известный английский ученый Е. Д. Рассель, — один из наиболее известных русских почвоведов. Знание им в совершенстве английского языка дало ему возможность непосредственно общаться со своими британскими и американскими коллегами...

Как профессор Тимирязевской академии в Москве, он заслужил всеобщее почитание, и при каждом моем посещении СССР я с большим интересом наблюдал глубокое уважение, которым его окружают как его ученики, так и коллеги.

Изучение его наиболее известных трудов «Почвоведение» и «Общее земледелие с основами почвоведения» открывает в нем оригинального мыслителя с большой силой выражения, и его взгляды всегда заслуживают выдающегося уважения».

Даже «в далекой Австралии, — пишет профессор Прескотт о Вильямсе, — уже много лет... знакомо его имя и как одного из редакторов и как сотрудника «Почвоведения». Поэтому я с огромным удовольствием посетил его летом 1934 года, ознакомился с его лабораторией и замечательной коллекцией находящихся там почвенных образцов.

Его взгляды на поддержание плодородия почв через надлежащее сочетание севооборота и животноводства с травосеянием от-

вечают тем задачам, которые стоят перед нами в Австралии».

В Советском Союзе Вильямс настолько популярен среди самых широких колхозных масс, что его именем названы многие лучшие колхозы, МТС, хаты-лаборатории, опытные станции, школы и институты. Нет такого уголка в нашей обширной стране, нет такого колхоза, где не произносили бы с уважением имя знаменитого ученого.

В. Р. Вильямс завязывает многочисленные дружески-деловые связи с колхозниками, оказывая им деятельную помощь в борьбе за сталинские урожаи. Заочные курсы колхозного актива Московской области, организованные по инициативе Н. С. Хрущева, охватившие сто тысяч колхозников, нашли поддержку со стороны В. Р. Вильямса. Он редактирует для этих курсов ряд лекций и дает ценные указания.

В Москве Всесоюзное Сельскохозяйственное инженерное научно-техническое общество организовало для сельскохозяйственной интеллигенции общественный агрономический университет, который носит имя В. Р. Вильямса и работает под его руководством.

Руководимая Вильямсом кафедра почвоведения много уделяет внимания повышению теоретических знаний агрономов-производственников, низовых работников сельского хозяйства и колхозников.

Только в 1935 по 1938 год эта кафедра обучила на различных курсах три тысячи колхозников, триста сорок пять заведующих хатами-лабораториями, четыреста шестьдесят восемь агрономов. Кроме того, ею проведены заочные занятия в тысяче агротехнических колхозных кружков и заочно обучено семьсот агрономов.

Кроме того, Василий Робертович руководил работой большого коллектива учеников и сотрудников почвенной исследовательской станции Тимирязевской академии. В последние годы эта станция осуществила перестройку земледелия в ряде совхозов и МТС на основах травопольной системы земледелия.

## ПРОФЕССОР ТИМИРЯЗЕВКИ

За много лет своей научной, общественной и педагогической деятельности В. Р. Вильямс создал целую научную школу и воспитал плеяду широко известных ученых.

Труды В. Р. Вильямса изучают многие тысячи студентов. В одном из обширных корпусов Тимирязевки, выстроенных после

революции, разместилась кафедра почвоведения, возглавляемая В. Р. Вильямсом. При кафедре находится музей, богатейший в мире по своим экспонатам. Здесь собрано до двадцати тысяч образцов различных почв. Кафедра располагает ценнейшей библиотекой, где собрана литература по вопросам почвоведения. Эта библиотека принесена кафедре в дар В. Р. Вильямсом.

В многочисленных прекрасно оборудованных лабораториях с утра до ночи кипит учебная и научная работа. В одной из аудиторий преподаватель излагает студентам основы учения В. Р. Вильямса. На столе — два стеклянных цилиндра, которые наполовину заполнены пахотной землей. В одном цилиндре находится земля, взятая с поля, засеянного многолетними травами — клевером, тимефеевкой и др. В другом цилиндре — «старопашка», то есть земля, взятая с пашни, засеваемая из года в год однолетними культурами. Рассматривая эти образцы, студенты замечают, что почва в первом цилиндре имеет рыхлое мелкокомковатое строение. Старопашка же представляет собой бесструктурную, плотно слежавшуюся массу.

Преподаватель наливает в оба цилиндра равные количества воды. В одном случае влага быстро, жадно впитывается почвой, не размывая ее, а во втором цилиндре держится на поверхности, просачиваясь внутрь очень медленно и незаметно.

Комковатая структура почвы является одним из основных условий высокого урожая. Такая почва полностью поглощает атмосферные осадки, длительно сохраняет их и снабжает этой влагой растения. Поэтому на структурных почвах, даже в засушливых районах, где выпадает мало осадков, влаги может хватить для высокого урожая.

Кроме того, между комочками структурной почвы остается воздух, что обеспечивает жизнедеятельность так называемых аэробных бактерий. Они ведут в почве большую полезную работу, разлагая органические вещества на составные части и облегчая растениям усвоение питательных веществ.

В бесструктурных распыленных почвах влага движется по тончайшим порам — капиллярам. Если выпадает много осадков, то, не успевая просочиться по капиллярам, вода растекается по склонам в овраги, реки, смывая с поверхности почвы питательные вещества, и лишь немного осадков входит в почву. А когда земля нагревается солнцем, то поглощенная влага поднимается вверх по капиллярным каналам и быст-

ро испаряется. Поэтому даже при частых дождях растение на бесструктурной почве страдает от недостатка влаги. Неблагоприятны здесь условия для жизнедеятельности аэробных бактерий: если капилляры заполнены водой, то бактериям нехватает воздуха; если же вода из почвы испаряется, им нехватает влаги.

Как же быть с такими почвами? Можно ли их сделать структурными? Вильямсом эта проблема решена. Он установил, что если на бесструктурной почве высеять смесь многолетних трав, то через два года почва приобретает прочную мелкокомковатую структуру. Корни этих трав, проникая в почву, разделяют ее на мелкие комочки и «цементируют» их своими органическими веществами. На такой почве можно в течение пяти-семи лет получать высокие урожаи однолетних культур — пшеницы, проса, свеклы и др. За это время почва утрачивает структурное строение, и поэтому необходимо снова высевать многолетние травы. Как раз это учение Вильямса и легло в основу построения травопольных севооборотов в нашем социалистическом земледелии.

Почвоведение составляет один из главных разделов агрономического образования.

Учиться у Вильямса, слушать его лекции была заветная мечта многих.

«Когда я приехал учиться в Тимирязевскую академию, — вспоминает один из бывших ее студентов, — то первое, что я услышал, было имя Вильямса.

Наступил день встречи с ученым. За целых полчаса до лекции аудитория, «большая почвоведка», была уже заполнена студентами. Каждый из нас старался занять место как можно ближе к кафедре.

А В. Р. Вильямс в это время спокойно уже сидел в своем кабинете-музее, смежном с аудиторией, подготавливая к лекции. Обычно в день своей лекции, с утра Василий Робертович с час сидел, глубоко задумавшись, перебирая основные пункты предстоящей лекции.

Около него — неизменные часы, папиросы и трость. Он ожидал нас настолько же спокойно, насколько нетерпеливо ожидали его мы.

Наконец, в дверях появилась его высокая фигура, он медленно шел к трибуне. Поступь его была тверда, несмотря на то, что он не совсем был в этот раз здоров. Мы все встали. Хотелось аплодировать ему, хотелось радостно приветствовать его. Но мы молчали, как бы связанное его побеждающей силой.



Он поднялся на трибуну и негромко, с дружеской улыбкой сказал: «Здравствуйте, товарищи», и начал лекцию.

Он говорил тихо, но в его словах звучала непреклонная воля большевика. Мы поражались продуманности и ясности его мыслей».

Другой эпизод. Студенты жадно слушали увлекательную лекцию Вильямса. В конце лекции посыпались записки. Василий Робертович не спеша их собрал. Все ждали ответов, но он аккуратно сложил записки и сунул в карман блузы. Затихшая аудитория недоумевала. Василий Робертович весело взглянул на студентов и сказал:

— Маленький внук грыз купленные дедом орехи, самый большой и крепкий он дал деду, чтобы тот раскусил его. Но дед сказал внуку: ты молодой, у тебя крепкие зубы — не чета моим, ты сам и раскуси его. Так вот и вы раскусите сами эти орехи».

Аудитория разразилась смехом, а Василий Робертович спокойно направился к себе в лабораторию.

В. Р. Вильямс был требователен к окружающим и строг к самому себе. Он не только учил, но и учился сам. Глубоко и систематически изучал В. Р. Вильямс великие творения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Вот что, например, писал В. Р. Вильямс в 1938 году в связи с тридцатилетием работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

«Бессмертный труд Ленина дал мне руководящую идею в разработке учения о едином почвообразовательном процессе и травопольной системе земледелия. Он послужил для меня мощным источником света, озаряющим сокровенные тайны познания природы. Для меня стало очевидным, что естествоиспытатель должен быть непременно материалистом-диалектиком».

До самых последних дней своей жизни В. Р. Вильямс внимательно, всесторонне изучал историю ВВП(б). Особо большое значение он придавал четвертой главе «Краткого курса истории ВВП(б)» — «О диалектическом и историческом материализме», написанной И. В. Сталиным. Вильямс готовился написать книгу о значении этой гениальной работы товарища Сталина для естествоиспытателя-агронома.

В. Р. Вильямс придавал огромное значение философскому образованию. Он выписывал литературу по истории философии, логике и т. п.

«Хорош я был бы ученый, если бы читал книги только по своей специальности,— говорил он и добавлял:— Ленин считал, что всем естествоиспытателям надо познать историю философии. У нас не только ученые, а и стахановцы скоро будут читать Аристотеля».

## СЛУГА НАРОДА

Когда на основе Сталинской Конституции великий советский народ посылал своих избранных в Верховный Совет СССР, трудящиеся Новоторжского избирательного округа Калининской области единогласно избрали своим депутатом замечательного ученого В. Р. Вильямса.

В. Р. Вильямс ответил статьей «Моим избирателям», которая начинается взволнованными словами:

«Счастлива и радостна моя старость. И как-то не веришь себе: старость ли это?!»

С глубочайшей силой убеждения рисует В. Р. Вильямс грядущий день, когда не только бригадиры и звеньевые, а все колхозники будут знать то, что знают сегодня ученые агрономы.

И когда в конце декабря 1937 года делегация от избирателей торжественно вручила академику удостоверение депутата Верховного Совета СССР, В. Р. Вильямс сказал:

«Огромны и ответственны обязанности депутатов советского народа, но большевики никогда не боялись ответственности. Высшее доверие советского народа каждый депутат должен оправдать не словами, а конкретным делом и только делом на любом участке строительства социализма.

Яркий и незабываемый образ депутата народа дал нам товарищ Сталин...

Мои избиратели дали мне строгий наказ — на историческом пути к коммунизму быть непрестанно бдительным и вместе со всем советским народом безжалостно разить врагов социалистического строя, как бы они ни прятались.

Мои избиратели дали мне строгий наказ — бороться за чистоту агрономической науки, за торжество в ней метода материалистической диалектики, за полный разгром неправильных, чуждых и вредных теорий в агрономии.

Мои избиратели дали мне строгий наказ — бороться за самый высокий урожай в мире с каждого гектара советской земли, помогая совхозам и колхозам успешно внедрять травопольную систему земледелия на свои поля.



Эти указы моих избирателей для меня — программа каждодневной работы, как депутата Верховного Совета СССР.

Я буду отдавать все, что имею, — свои силы, знания, а если понадобится — и жизнь, но ни товарища Сталина, ни своей партии, ни своего народа никогда не подведу».

Слова В. Р. Вильямса никогда не расходились с делом.

## НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК

Трудовой день Василия Робертовича, несмотря на его годы и физический недуг, начинался ровно с восьми часов утра и длился как минимум до одиннадцати часов вечера, а иногда и до часу ночи. Работал он без выходных дней.

Ежедневно ровно с восьми утра приходил знаменитый ученый в свою лабораторию, поражая неутомимостью и трудовой дисциплинированностью окружающих его сотрудников и учеников. С двенадцати до трех часов ежедневно у него свободный прием для всех, кто нуждается в его помощи, как депутата Верховного Совета и как ученого.

А потом опять напряженная, творческая работа в неизменной комнате — в конце лаборатории, обставленной почвенными монолитами и редчайшими почвенными образцами.

В этой комнате он работал над материалами развития сельского хозяйства нашей страны во второй пятилетке. В ней он писал свои научные приговоры вредительским теориям мелкой пахоты, монокультуры и проч. Здесь В. Р. Вильямс разрабатывал программы и писал учебники для сельскохозяйственных вузов и стахановцев сельского хозяйства.

Каждое утро со всех концов Советского Союза получал Василий Робертович объемистые пачки писем. И ни одно из них не оставалось без чуткого, внимательного ответа, который отправлялся им обычно в тот же день, в крайнем случае на следующий.

Но Вильямсу не только писали, к нему шли за советами избиратели, колхозники, студенты, ученые, агрономы, представители различных паркоматов, работники печати и многие другие.

Только за 1937 и 1938 годы Василий Робертович проконсультировал свыше пяти с половиной тысяч человек. За то же время он написал по агротехническим вопросам около тысячи обстоятельных писем.

О том, кто и с чем приходил к Вильямсу, лучше всего говорят скупые строчки записей в синей тетрадке, которую вела работница лаборатории Мария Павловна Санина.

Вот перед нами случайно открытая страничка. Пишут представители колхоза «Победа», Дмитровского района, Московской области:

«Василий Робертович, несмотря на свою занятость, принял нас как самых дорогих гостей. Наши колхозники не раз бывали у него. Как всегда, и в этот раз Василий Робертович дал нам очень много советов и ответил на все вопросы.

Великий ученый просил рассказать о нашем опыте. Он внимательно слушал нас, и его замечания показывают, как много он уделяет внимания работе колхозников — стахановцев и опытников. На наш вопрос, можно ли одновременно высевать селюшкой рожь и клевер, он ответил, что наши ученые думают еще над изобретением такой сеялки и, вероятно, колхозники скорее ученых придумают, как это сделать...»

Прощаясь с нами, Василий Робертович выразил надежду, что он доживет до того времени, когда в нашем, Дмитровском районе будут такие урожаи зерна, что их трудно будет уместить в амбарах. И это не праздные слова. Он сам помогает нам завоевывать такие урожаи.

Желаем Василию Робертовичу проработать еще долгие-долгие годы на благо нашей социалистической родины».

Подписали: депутат Верховного Совета СССР орденоседец В. Сидоров, колхозник С. Морозов, агроном М. Катышев и другие.

Читаем дальше: «Академика В. Р. Вильямса посетили испанские дети». И вдоль всей странички в беспорядке пестрят ребячьи записи: «Дедушке-академику за теплый прием».

Или вот:

«Получил обстоятельное разъяснение от В. Р. Вильямса по вопросу севооборота. Он внес коррективы в проекты моих севооборотов. Особо хочется отметить, как просто, по-отечески Василий Робертович принял меня. Эта встреча с простым, задушевным и великим человеком навсегда останется в моей памяти. Агроном Л. Т. Гаврилов».

## ТРУДЫ В. Р. ВИЛЬЯМСА НА ВЫСТАВКЕ

Величайший трудовой и политический подъем переживает наша могучая социалистическая родина. На колхозных полях

миллионы работников сельского хозяйства борются за ежегодное производство восьми миллиардов пудов зерна, за почетное право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В участники выставки выдвигаются лучшие люди, показывающие высокие образцы социалистической производительности труда. Эта честь оказана и тем, кто своими открытиями двигает вперед сельскохозяйственную науку.

Наша страна знает немало выдающихся деятелей советской науки, которые обогащают теорию и помогают колхозам завоевывать высокие урожаи.

Выступая на историческом XVIII съезде ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) товарищ А. А. Андреев сказал:

«У нас есть среди людей науки замечательные новаторы, двигающие науку вперед, такие как Лысенко, Вильямс, Цицин и другие».

Учитывая заслуги В. Р. Вильямса, как основоположника агрономического почвоведения, как учителя нескольких поколений агрономических работников и широчайших колхозных масс, Главный выставочный комитет утвердил его участником выставки.

Эту высокую честь, оказанную ему советской страной, Василий Робертович заслужил по праву.

В исторический день — день открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1 августа 1939 г.) в своей статье «Торжество советской агрономической науки» В. Р. Вильямс писал:

«Неужели до Великой Октябрьской социалистической революции в России не было сельскохозяйственной науки? Нет, она была. Мало того, она еще есть — дореволюционная наука, та наука, которую метко назвал В. И. Ленин — «ползучим эмпиризмом». До революции такая наука нужна была господствующим классам, ибо за ней скрывалось искусство, которое К. Маркс назвал «искусством ограбления почвы и вместе с тем ограблением эксплуатируемого народа». В настоящее время стимул грабежа отпал, однако, люди подобного «искусства», привыкшие годами «переливать из пустого в порожнее», до сих пор у нас есть, и они продолжают свои занятия...

Борясь, якобы, за чистоту научных принципов, формалисты от науки проповедывали монокультуру целых районов, республик и краев — то один хлопчатник, то одно зерно, то одну свеклу и т. д. И на предложение ввести самую социалистическую систему земледелия — травопольную — от-

зывались остроумной шуткой, что «мы мол, Зернотрест, а вы хотите нас обратиться в Сенотрест». Но жизнь посмеялась над ними и обратила их в «Бурьянотрест».

За годы сталинских пятилеток в деревне проведена колоссальная работа. Ликвидировано кулачество как класс, разгромлены вредители, организовано самое крупное в мире социалистическое земледелие. Широко развернута агитация и пропаганда социалистической системы сельского хозяйства вызвала могучее стахановское движение.

Все это создало прекрасные условия для широкого применения агрономической науки. Сегодня мы присутствуем на торжестве этой науки, жадно осваиваемой миллионами колхозников и немало послужившей для социалистического земледелия.

Успехи наши действительно велики. Инерция еще действует кое-где, и в преодолении ее заключается дальнейшая работа советской агрономической науки...

Мой горячий привет участникам выставки, подлинным создателем советской агрономической науки, творимой не в тиши кабинетов, а на полях самого крупного в мире социалистического земледелия, в борьбе за его укрепление и дальнейшее процветание».

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке труды В. Р. Вильямса, претворенные в жизнь, показаны в Главном павильоне выставки и в павильоне «Зерно».

В отделе сельскохозяйственных наук Главного павильона развернуто демонстрируются результаты разрушающей критики Вильямсом так называемого «закона» убывающего плодородия почв.

В павильоне «Зерно» наглядно проиллюстрированы теории Вильямса работой травопольных МТС, агропочвенной станции НКЗ СССР имени В. Р. Вильямса, а также лучших колхозов. Эти колхозы добились высоких урожаев, что дало им право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В павильоне «Зерно», рядом со стендом, посвященным В. Р. Вильямсу, находится портрет одного из инициаторов ефремовского движения — И. Е. Чуманова, заведующего хатой-лабораторией колхоза «Молодая гвардия», Белоглазовского района Алтайского края. В 1937 году товарищ Чуманов добился мирового рекорда урожая яровой пшеницы.

Эти рекордные урожаи, собранные стахановцами-ефремовцами, являются лучшим доказательством правильности учения

Вильямса. Товарищи Ефремов и Чуманов не только добились рекордных урожаев, но они теоретически обосновали и обобщили всю проведенную ими работу. «В основу нашей работы,—говорит зачинатель стахановского движения высоких урожаев зерновых М. Е. Ефремов,—легли слова академика В. Р. Вильямса: «Если растения обеспечить всеми жизненными условиями, то урожай ничем не может быть ограничен».

Стахановцы социалистического земледелия и новаторы в агрономической науке своей блестящей практикой получения высоких и рекордных урожаев опрокинули все предельческие теории урожайности, показав на деле, что рост плодородия беспредельно. Немало ученых оказались научно обезоруженными перед лицом столь неожиданных открытий людей не науки, а практиков своего дела.

Здесь же в этом отделе на примере многих колхозов, участников выставки, отражена практическая реализация постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) (от 27 октября 1938 г.) «О мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР», которым открывается новая страница в борьбе за плановую переделку природы, за высокие, устойчивые урожаи.

Как известно, в основе намеченных правительством и партией мероприятий лежат разработанные и проверенные наукой и практикой приемы борьбы за подъем урожайности в условиях засушливых районов. В качестве одной из важнейших мер повышения урожаев в постановлении указана глубокая вспашка почвы, не менее чем на двадцать-двадцать два сантиметра.

Вредители-упроштенцы от «науки», стремясь подорвать развитие социалистического сельского хозяйства, старались доказать и осуществить на практике «теорию» преимуществ мелкой вспашки.

Эта теория была разгромлена большевистской партией и советским правительством. Исключительная заслуга в этой борьбе принадлежит В. Р. Вильямсу, его учению.

В числе мероприятий по борьбе за высокие и устойчивые урожаи на юго-востоке СССР намечено и осуществляется введение восьми-девяти-десятипольных севооборотов с черными парами и посевами многолетних трав. Предусмотрен перевод части колхозов на травопольные севообороты, для чего созданы специально травопольные МТС в ряде засушливых районов. Это и есть

воплощение в жизнь научных идей В. Р. Вильямса.

Теоретическое учение В. Р. Вильямса о природном плодородии почвы, о переделке почвы в высокоплодородную культурную почву, его учение о травопольной системе земледелия — гордость советской агрономической науки.

Это учение выросло сегодня в классическую научную теорию о переделке почвы, превращении ее в высокоплодородную культурную почву, способную обеспечивать высокие и устойчивые урожаи и высокую производительность труда в социалистическом сельскохозяйственном производстве.

«Агрономическая наука,—говорит В. Р. Вильямс,—сейчас обязана прежде всего помочь колхозам и совхозам с минимальными затратами труда, меньшими, чем приходилось делать пионерам-стахановцам, получить ныне рекордные урожаи не на отдельных участках, а на всей посевной площади без изъятия».

Учение Тимирязева, В. Р. Вильямс явился продолжателем его научных традиций. На его долю выпала счастливая участь приобщения широчайших народных масс нашей страны к неиссякаемым источникам знаний, та самая участь, которую Тимирязев считал единственно важным делом, достойным подлинного ученого.

Василий Робертович был подлинным ученым-революционером; не случайно поэтому он оказался в числе первых русских ученых, понявших глубочайший исторический смысл Великой Октябрьской социалистической революции. Он безоговорочно и прямолинейно связал свою судьбу с судьбами пролетарского государства и большевистской партии. Недаром Василий Робертович был так высоко ценен Владимиром Ильичем Лениным.

## ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

...Академик почувствовал себя плохо. Это было 9 ноября 1939 года. Но и в этот день, несмотря на уговоры, он наотрез отказался покинуть свою лабораторию раньше срока. Василий Робертович не любил болеть, с равнодушием выслушивал советы врачей. И даже сердился, когда заводили разговор на эту тему.

Вот простое деревянное крыльцо, по которому академик входил в свою квартиру. Дверь, обитая клеенкой. Маленькая кухня. Коридор, ведущий в рабочий кабинет великого ученого. Простая домашняя обста-

новка. Все просто, как был прост и скромен сам Василий Робертович.

Небольшая комната. Направо у стены письменный стол. Налево — большой мягкий диван, на котором спал и отдыхал Василий Робертович.

Два мягких кресла, несколько венских стульев. Простая полка для книг, тумбочка. В углу — шкаф с рукописями. На стене два групповых снимка, портрет любимой внучки.

В глубине комнаты висят пальто, пиджак, на кресле — теплый жилет. На рабочем столе — книги, рукописи. Все так, как всегда. Как будто ничего не случилось... Вот кресло Василия Робертовича с мягкой подушкой; на полу под столом — волчья шкура. Деревянная трость, висящая на крюке.

На столе — следы недавней работы. Как всегда — остро отточенные карандаши. Простая стеклянная баночка с чернилами, в другой баночке скрепки... Блокноты, тетради с различными записями. Пепельница, папиросы, которыми он обычно угощал посетителей. Вот открытый на двадцать второй странице журнал докладов Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук: Василий Робертович просматривал статью «Естественный (биологический) метод крепления размываемых берегов рек и каналов».

Тут же лежит сигнальный экземпляр новой книги Василия Робертовича «Основы земледелия». Это его последний труд, изданный массовым тиражом.

Он посвящен «мастерам социалистического земледелия, участникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года». В своем предисловии к этой книге, которое фактически стало научным завещанием Вильяме, Василий Робертович писал:

«Предлагаемую вниманию читателей книгу я посвящаю знатным и знаменитым мастерам социалистического земледелия, стахановским трудом завоевавшим почетное право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.

Я посвящаю им весь свой научный труд потому, что не было и нет у меня в жизни иной цели, кроме служения народу. Я всегда стремился сделать агрономическую науку достоянием широких масс, сделать ее действенным помощником создателей земного плодородия.

Победа социализма родила крепкий и всепобеждающий союз труда и науки. Аг-

рономическую науку взяли в свои руки миллионы свободных тружеников деревни. Наука благодаря такому союзу приобрела могучую силу и новое направление в своем развитии.

Славные участники ефремовского движения, борцы за высокие и устойчивые урожаи зерновых на больших площадях правильно определили суть той задачи, которую должна решать сегодня наша советская агрономия.

На «дождичек» и «волю божию» больше всего рассчитывала и рассчитывает старая агрономия. Такой агрономии сейчас пришел конец, «скорый и неблагоприятный». Стахановцы сломали устой этой агрономии, расчистили путь для агрономии передовой и двинули ее вперед.

Советская агрономия обязана вооружить тысячи растущих мастеров социалистического земледелия знаниями научной теории, помогающей по заранее намеченному плану достичь определенной высоты урожайной. И не только достичь, но однажды полученный рекордный урожай сделать устойчивым, то есть стремящимся только вверх. Основу такой теории составляют диалектические законы, управляющие сельскохозяйственным производством.

От советского агронома, будь то агроном с дипломом или агроном, выросший на совхозно-колхозных полях и защищающий диплом рекордными урожаями, требуется точное знание указанных законов, знание всех следствий, вытекающих из действия их или воздействия человека на них. Такова основа всех основ научной агрономии.

В своей книге я не увлекался изложением деталей агрономической техники. Многочисленные описания стахановского опыта, повторять которые здесь нет нужды, определенно говорят нам о том, что мастера нашего сельскохозяйственного производства в совершенствовании деталей этой техники доходят буквально до виртуозности, что они правильно поняли сложные процессы, протекающие в земледелии, правильно, пускай интуитивно, подсознательно, но, главное, правильно, уловили смысл сложных законов, управляющих этими процессами.

Выпуская эту книгу, я ставил перед собой задачу помочь растущим мастерам земледелия разобраться в той исключительной сложности процессов, которая неизменно создается в сельскохозяйственном производстве. И если данный труд поможет растущим мастерам понять главные основы научного земледелия, поможет

их в свои руки, я буду считать свою задачу разрешенной, а цель достигнутой».

...На столе множество книг, журналов. Василий Робертович успевал следить за новейшей литературой. В особой книжной стойке аккуратно и любовно сложены книги, которыми постоянно пользовался Василий Робертович. Здесь доклады товарищей Сталина и Молотова на XVIII съезде партии, решения XVIII съезда ВКП(б), Устав ВКП(б), Конституция Союза ССР. На полке — «Капитал» Маркса. Эти книги были для Василия Робертовича настольными, они обогащали его творческую, научную мысль.

Рабочий день Василия Робертовича был расписан по часам, до единой минуты. Он умел ценить время. В скудные минуты отдыха он любил пошутить, посмеяться. Любил музыку. Когда передавали оперу или симфонический концерт, он просил включать репродуктор. Работал и слушал.

Василий Робертович находил время и для чтения художественной литературы. Его любимыми писателями были Пушкин и Гоголь. Пушкина он знал почти всего наизусть.

Из окна рабочей комнаты Василия Робертовича открывался вид на стройку музея его имени. В. Р. Вильямс часто подходил к окну, по-хозяйски всматривался. Строил планы размещения экспонатов в музее.

Ничто не предвещало конца замечательной жизни Василия Робертовича. Еще в дни октябрьских торжеств он работал как всегда. Просмотрел семьсот страниц корректуры. Он видел отдых в напряженном труде на благо дорогой родины.

Утро 10 ноября. Привычным движением ученый пытался еще встать с постели. Но силы изменили ему. Тогда он попросил у своего секретаря деловые бумаги... Обесиленный болезнью, он все же ткнулся к рабочему столу, к своим полкам с книгами, рукописям.

Но вот наступил роковой день 11 ноября 1939 года. В 17 часов 55 минут перестало биться горячее и благородное сердце Вильямса...

Холодный ветер на улице колышет опущенные алые знамена с черными лентами. Фонари у подъезда главного здания академии сквозь осеннюю мглу освещают собравшуюся многотысячную толпу. Из широко распахнутых дверей доносятся печальные и торжественные звуки траурной мелодии.

В огромном актовом зале установлен гроб с прахом Василия Робертовича Вильямса.

Нескончаемой вереницей идут люди, чтобы последний раз запечатлеть образ пламенного борца за плодородие советской земли. Сюда шли студенты, агрономы, ученые и колхозники, чтобы проститься с дорогим учителем и другом.

Люди объаты глубокой скорбью. На стене портрет Василия Робертовича, увитый черными и красными лентами, убранный живыми цветами.

На высоком холме из цветов установлен гроб с телом великого ученого. Вокруг множество венков. На алых шелковых лентах надписи: «Академику-большевику Василию Робертовичу Вильямсу от Центрального Комитета ВКП(б)», «Другу молодежи, великому ученому В. Р. Вильямсу от Центрального Комитета ВЛКСМ», «Дорогому учителю — от студентов». Вот венки от Московского городского комитета партии, от Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, от Комитета по делам высшей школы при СНК СССР, от Наркомзема СССР и РСФСР, от Всесоюзного общества культурной связи с границей, от Международной ассоциации почвоведов, от Тимирязевской сельскохозяйственной академии, от Академий наук СССР и БССР и многих других организаций и учреждений.

В почетном карауле сменяются профессора, студенты, убеленные сединами академики, агрономы, колхозники и пионеры. Всем им одинаково дорог этот незабвенный друг и большой человек. Народ прощался со своим любимым сыном, великим гражданином нашей родины, Василием Робертовичем Вильямсом.

...14 ноября. Оркестр играет траурный марш Шопена... Урну с прахом ученого устанавливают на катафалк и выносят в академический парк.

Мптинг...

На трибуну поднимается президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина академик Т. Д. Лысенко. Он говорит:

— От нас ушел крупнейший ученый в области агробиологии и агрофизики. Это был революционер в науке, ученый-большевик, равного которому по силе анализа, по способности широкого научного обобщения и глубокому практическому опыту нет среди современных ученых в его области. По значимости научной и практической деятельности и по стилю работы его мож-

но сравнить только с такими гигантами дарвинизма, как К. А. Тимирязев и И. В. Мичурин...

...Пройдут годы, колхозы и совхозы осуществят на своих полях всю систему, предложенную Вильямсом, совершенно закончат с зависимостью от стихийных сил природы, — и тогда величие научного творчества Вильямса предстанет перед нами с еще большей полнотой и силой.

Многие поколения будут читать и перечитывать замечательные труды этого великого ученого сталинской эпохи, учиться на этих трудах, двигать с их помощью вперед нашу агрономическую науку и свято чтить дорогое имя Василия Робертовича Вильямса — имя ученого-большевика, беззаветно служившего делу советского народа и великой партии Ленина — Сталина.

...В конце 1940 г. советская сельскохозяйственная наука и общественность отметили две даты. Первая — годовщина со

дня смерти академика-большевика В. Р. Вильямса (11 ноября). Вторая — семьдесят пять лет (3 декабря) со дня открытия Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, которая за три четверти века прошла большой исторический путь от помещичьей-крепостнической Петровки до Тимирязевки — крупнейшей кузницы кадров социалистического земледелия.

Своим прекрасным состоянием и мировой славой ордена Ленина академия имени К. А. Тимирязева во многом обязана своему почетному ректору В. Р. Вильямсу, который немало потрудился над ее преуспеванием, составляя в то же время многие годы ее законную гордость и славу. Неслучайно биография этого выдающегося ученого, если можно так выразиться, является в то же время и «биографией» Тимирязевки, как ее называют многие тысячи питомцев. Ей Василий Робертович оставил свои замечательные традиции живой и творческой связи науки и практики. И традиции эти с годами будут крепнуть.

# Лев Толстой о капиталистическом рабстве

## Неопубликованный вариант статьи Л. Толстого

Статья «Рабство нашего времени» писалась Толстым с конца 1899 года по август 1900 года. Происхождение этой статьи таково:

В конце декабря 1899 года к Толстому в его московский дом в Хамовниках пришел знакомый ему крестьянин Агеев, из ближней к Ясной Поляне деревни, служивший весовщиком на товарной станции Москва Московско-Казанской железной дороги, и разговоровшись об условиях труда рабочих на железной дороге, рассказал, что грузчики у них работают без перерыва 36 часов сряду.

Толстой был поражен рассказом Агеева. Чтобы проверить справедливость его слов, он сам поехал на станцию и собственными глазами убедился в том, что весовщик говорит ему правду. Грузчики становились на работу утром, работали день и ночь и продолжали работать, не дожась спать, следующее утро и работали еще день.

Взволнованный увиденным им зрелищем невероятной эксплуатации труда рабочих, Толстой сейчас начал писать об этом статью, озаглавленную им «Самый дешевый товар». «Самый дешевый товар» в капиталистическом обществе — жизнь рабочих.

Первоначально Толстой хотел написать лишь небольшую заметку, обличающую людей господствующих классов; но по мере работы тема статьи все более и более захватывала его, ему хотелось изложить все то, что он думал об этом, и статья все более разрасталась. Несколько раз Толстому казалось, что он кончил статью, но вскоре он опять принимался за ее переработку. 11 июля 1900 года Толстой писал своей дочери М. Л. Оболенской: «Я все переделываю свою статью, которую думал, что кончил, и теперь еще поправляю и все делаю ее ядовитее и ядовитее».

В эти дни Толстой прерабатывал XIV главу статьи, в которой давал самую резкую характеристику современным ему правительствам капиталистических государств. Так, в одной из рукописей эти правительства характеризуются как «в высшей степени зловерные, презренные и отвратительные шайки грабителей, убийц и растлителей нравственности».

30 июля 1900 года статья была отправлена для издания В. Г. Черткову в Англию, где и вышла в свет в том же году в руководимом Чертковым издательстве «Свободное слово». Некоторые дополнения Толстой прислал Черткову позднее. В России статья по цензурным условиям появиться не могла. Еще в марте 1900 года редакция газеты «Северный курьер» обратилась к Толстому с просьбой предоставить ей эту статью, которая тогда носила заглавие «Новое рабство». Толстой согласился и передал редакции первые главы своей работы. Статья была набрана и исправлена Толстым в корректурах, но не увидела света. 13 апреля издатель «Северного курьера» В. В. Барятинский уведомил Толстого, что министр внутренних дел Сияягин и начальник Главного управления по делам печати кн. Шаховской категорически предупредили его, что появление статьи Толстого на столбцах «Северного курьера» «немедленно повлечет за собой третье предостережение, иначе говоря — смерть газеты».

В 1911 году статья была включена С. А. Толстой в XVI том выпускавшегося ею собрания сочинений Толстого, но по постановлению Московской судебной палаты от 19 апреля 1911 года статья была вырезана из тома.

В печатном виде статья «Рабство нашего времени» содержит 77 страниц в восьмую долю листа. Предварительная работа

Толстого над статьей была огромна. В рукописном отделении Государственного Толстовского музея хранится всего 1885 листов автографов и исправленных автором копий, относящихся к статье «Рабство нашего времени». Некоторые главы были переделаны Толстым десятки раз. По своему обыкновению Толстой стремился изложить свои мысли возможно короче, яснее, доступнее и образнее, вследствие чего часто вычеркивал из своей рукописи целые страницы. Однако многие из этих первых вариантов статьи, несмотря на не-

которую шероховатость слога, нисколько не уступают основному тексту статьи.

Ниже мы печатаем отрывки из вариантов статьи «Рабство нашего времени». Известно, что Ленин, отрицательно относившийся к толстовству как учению, писал, что в критической части своих произведений Толстой «с громадной силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства»<sup>1</sup>.

*Е. Серебровская*

Л. Н. ТОЛСТОЙ

## РАБСТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Черновые варианты)

### 1

В том, что в наше время и при нашем устройстве есть рабы и рабовладельцы, не может быть никакого сомнения. Люди, которые идут на работы, явно губящие их жизнь, и всю жизнь работающие чужую, противную и ненужную им, но нужную их хозяевам работу, могут делать это только потому, что они рабы тех, которые их заставляют так работать. Люди же, которые могут заставлять других людей для своей выгоды и удобства по своему произволу работать ненужную рабам и губительную для их жизни работу — это, несомненно, рабовладельцы.

Рабы — это все те, которые нуждаются в продаже своего телесного труда и потому каждый день работают от утра до вечера, это те, которые живут или в казармах или по домам, сами готовя себе еду, обмывая и очищая себя, те, у которых с черными ногтями мозолистые руки и которых называют черным народом и которые сами себя так называют в противоположность господ, которых они сами считают совершенно отличными существами. Рабовладельцы же — это все те люди, которые не нуждаются в продаже своего физического труда и ничего не работают руками, кроме гимнастики для здоровья, большей частью ничего не работают даже и головой, а только развлекаются удовольствиями, это те, которые живут в просторных квартирах, едят пищу, приготовлен-

ную прислугой, и сами не чистят своих жилищ и одежд, заставляя делать это прислугу, это те, у кого белые мягкие руки, это те, которых называют господами и которые сами себя считают в праве пользоваться трудом черного народа.

### 2

Если грузчики под угрозой лишения заработка покоряются требованиям надсмотрщиков, отрывающих их от обеда, сна, заставляющих перекатывать вагоны и делать все то, что понадобится или захочется распорядителем, то разве это не полное рабство, хотя закон и не признает их рабами? И если на шелковой фабрике все женщины находятся в такой полной зависимости от хозяина, директора, смотрителя работ, что самая редкая из них может сохранить свою честь под давлением угрозы лишения заработка и приманкой увеличения его, то разве это не такие же невольницы, какими были крепостные?

Разве не такие же рабы лакеи, повара, горничные, переносящие всякие капризы, ругательства, иногда побои и исполняющие непосильные работы, только бы не потерять место? Рабство состоит в том, что всякий рабочий, продавший свой труд, отдается весь во власть хозяев, которым он продается.

### 3

Различие от прежнего рабства только то, что, во 1-х, теперешний раб может (это не всегда, а при весьма затруднитель-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение». Собр. соч., т. XIV, стр. 404.



ных условиях) перейти от одного рабовладельца к другому, в роде того как это делалось за 50 лет тому назад в Юрьев день, и во 2-х, то, что раб не числится по закону принадлежащим рабовладельцу, хотя в действительности он вполне, иногда больше, чем прежде, принадлежит ему.

Главная причина распространенного и укоренившегося убеждения о том, что в нашем обществе нет рабства, заключается в том, что мы только что отменили в России и Америке то, что мы называли рабством, хотя то, что мы отменили, была только дополнительная и исключительно жестокая форма рабства. То, что мы отменили, подобно тому, что бы сделал тюремщик над скованным по рукам и ногам, прикованным к стене арестантом, когда бы он снял с него железный аркан, который еще был надет ему на шею.

Правда, что уничтожение крепостного права в России и рабства в Америке упразднило одну из самых грубых и жестоких прибавок к общему рабству всего народа, но несколько не уничтожило и даже не затронуло самой сущности рабства, в котором находится народ у господ со времен Сезострисов и до наших дней.

#### 4

В старину завоеватель прямо, непосредственно заставлял рабов работать на себя и за неисполнение сам мучил, лишал свободы и убивал своих рабов. Если теперь капиталисты заставляют рабов работать на себя и платить себе дани не тем, что они сами прямо мучают, лишают свободы, убивают рабочих, а тем, что правительство, с которым капиталисты всегда в сделке, делает это через своих агентов, чтобы поддержать узаконения, заставляющие рабочих отдаваться в волю капиталистов, то рабство — всё такое же рабство и основано на том же насилии: на побоях, лишении свободы, убийстве. Рабство нового времени мало заметно нам, во 1-х, потому, что главные двигатели рабства: побои, лишения свободы, убийства употребляются те же, но только во времена стачек и так называемых бунтов, а во 2-х, потому, что насилие нового времени совершается не непосредственно, а через передачу, как через передачу действует на фабрике механический двигатель, стоящий в другом помещении.

#### 5

Если в прежнее время, когда одни люди завоевывали других и убивали, били,

брали дани и заставляли на себя работать, насилие было очевидно, потому что насилие повторялось постоянно, если же теперь, когда отбирают только произведения труда рабочих в виде податей и не дают им пользоваться землей и теми предметами, которые им нужны, насилие более скрыто, то это не изменяет сущности самого рабства. Точно так же, как и тогда, раб находится в полной власти рабовладельца, и точно так же, как и тогда, в случае его неповиновения, выступает то же грубое насилие, убийства, побои, заключение в тюрьму. Разница только в том, что теперь, кроме прямых насильников и рабовладельцев, правительства с войском и всякими чиновниками, есть еще большое количество посредствующих рабовладельцев: землевладельцы, капиталисты, заводчики, члены компаний и еще более отдаленные от прямого насилия, но столь же могущественные, как и первые — банкиры, торговцы, их агенты и вся армия ученых, художников, духовенства.

#### 6

Рабство нашего времени в сравнении с тем, которое было прежде, подобно фабрике, движимой электродвигателем, находящимся вдали от того места, где он производит свое действие. Но удаление и невидимость двигателя от того места, где он производит свое действие, никак не может и не должно вводить людей в тот обман, что двигателя нет и что движется все само собой. Так и большая, чем прежде, отдаленность той силы, которая производит рабство нашего времени, не должна вводить нас в заблуждение, что рабства этого нет. Если есть поработанные люди, то есть та сила, которая поработает их. А сила, поработавшая одних людей другим, есть только одна: насилие. Рабство не может быть основано ни на чем другом, как на насилии, на том, что одни люди должны исполнять волю других под угрозой побоев, лишения свободы, убийства.

Если в наше время человек не захочет отдать в виде податей части своего труда и тем поставить себя в необходимость продаваться в рабство, то придут вооруженные люди и отнимут у него произведения его труда. Если же он будет противиться, то прибудут его, лишат свободы, а иногда убьют, т. е. сделают то самое, что делали и что делают теперь в Африке. То же будет с человеком, который не признает права неработающих собственников на землю, которая ему нужна, не испол-

нит условий, предъявляемых ему собственниками земли. Придут вооруженные люди, сгонят его с занятой им земли, и если он не покорится, прибьют, лишат свободы или убьют. И то же произойдет с человеком, который захочет воспользоваться предметами, нужными ему для удовлетворения его потребностей, несмотря на то, что они находятся в величайшем изобилии и без употребления и что большею частью он произвел их. Придут вооруженные люди, отнимут у него то, что он возьмет, и если он воспротивится, прибьют, лишат свободы и убьют его.

Во всех трех случаях проявится то самое насилие, которое было и есть основой всякого рабства.

## 7

Оправдание лишения рабочих возможности пользоваться предметами, нужными им для удовлетворения их потребностей, ими же сделанными, основывается на понятии собственности, которое считается краеугольным камнем всякого общественного устройства и потому с особенным ударением называется священным. (Эпитет этот и подобные ему всегда прилагаются к таким лицам и учреждениям, которые по существу представляют самую явную противоположность значению эпитета. Так, «священна» особа распутных королей и королей, императоров и императриц, «Святейший» Синод, «святой» папа и т. п. Так что слово «священный», прибавляемое к понятию собственности, уже вперед вызывает сомнение не только в священности, но в разумности и не беззаконности этого права.)

## 8

Все правительства заботятся об общественной пользе и ограждают священные права собственности.

Но общественная польза не может состоять в том, чтобы, отбирая последнее у бедных рабочих, вынуждать их продаваться в рабство, и если есть какая-либо собственность и какая-либо собственность может называться священной, то это для каждого человека собственность своей жизни, своего труда.

Правительства, под видом общественной пользы отнимая у нищего, отдают отнятое богатому и под видом охранения произведений труда, охраняют награбленные произведения чужого труда, признавая их собственностью тех, которые их ограбили или наследовали от грабителей.

Правительства охраняют не собственность, а status quo общественного устройства. Начали же охранять это status quo правительства с древнейших времен, тогда, когда этот status quo был очевидной несправедливостью, возникшей из завоеваний, и потому эта несправедливость в продолжение веков не только не уменьшилась, но значительно увеличилась. Сначала правительства ограждали status quo, при котором одни люди владели другими, потом то, что один владел всеми землями, потом — что те, которые успели завладеть капиталами, благодаря основным несправедливостям, захватили все орудия труда и средства существования народа, и правительство продолжает ограждать собственность.

Все правительства ограждают священные права собственности. Но если есть какая-либо собственность и какая-либо собственность может называться священной, то это собственность своей жизни, своего труда. Какую же собственность ограждают все правительства, называя ее священной? Собственность, которую охраняют правительства, не есть собственность жизни, собственность труда, т. е. то, что никто не может отнять у другого человека — его жизни и его труда. Напротив, все правительства охраняют награбленные произведения чужих жизней и чужого труда. Человек, грабящий труд рабочих — отдающий им  $\frac{1}{3}$ , а  $\frac{2}{3}$  берущий себе, будет пользоваться помощью правительства, его насилием для того, чтобы заставить рабочего продолжать отдавать свой труд неработающему и не принимать просьбы рабочего о том, чтобы поддержать его требования о возвращении ему хотя  $\frac{1}{100}$  отнятого у него же. Купец за бесенок скупал хлеб у крестьян — и правительство помогает ему взыскивать долги разоренного им мужика. Если же голодный мужик похитит пуд муки, его сажают в тюрьму. Землевладелец обманул крестьян в пору нужды — требования податей — и нанял за бесенок на свою работу. Если крестьянин не исполнит работы, правительство отнимает у крестьянина последнее. Если же крестьянин пустит лошадей, на которой он работал, в луга [помещика], его сажают в тюрьму. Существующий порядок с своими землями, отнятыми у рабочих и во власти дармоедов, с своими орудиями производства и огромными капиталами и товарами в одних руках, с своими насилиями податей прямыми, на т...

нях и с своими усмирениями стачек, есть постоянная вопиющая экономическая несправедливость, есть поощрение плутов, разбойников, бессовестных и угнетение тружеников, и правительство насильем поддерживает это положение, считая его законным и незаконным всякое нарушение этой незаконности — нарушением священного права собственности.

Помню, один умный человек из народа сказал мне, говоря про царствующую несправедливость: «Все оттого, — сказал он, — что правительство прежде ограбило народ, отняло землю, подати, произведения труда, а потом установило законы, что нельзя грабить. Оно прежде, чем само грабить, установило бы эти законы».

Ведь в сущности оно и не может быть иначе. Ведь не прежде был разбор того, чем справедливо и чем не справедливо владеть, а потом закрепление владения насильем, а прежде было насилие, а потом наложена печать законности на то, что захвачено насильем или обманом, хитростью, которые всегда пристраиваются к насилию. Захвачена земля у тех, кто работает на ней, и собственность земли считается законною; отбираются и требуются подати, и это требование считается законным; захватываются сами рабы — и то, что произвели рабы, считается законной собственностью. А как скоро есть незаконное насилие земли, податей, имущества, так неизбежно рядом с этим есть люди, пользующиеся нуждой тех, у которых отнята земля, отняты подати и которым нужны предметы, находящиеся во власти других. Является, кроме прямых насильников, около них армия мошенников, приобретения которых все признаются законными и поддерживаются насильем.

## 10

Люди правительства могут непродуманно, праздно, на войны, на безумную роскошь — растратить собранные с рабочих миллионы, и это считается вполне законным, рабочий же, взявший в долг деньги на пропитание или орудия труда и не заплативший в срок, лишается необходимого имущества и дома.

Все, в продолжении десятков лет, награбленное фабрикантом имущество, возникшее из обмана рабочих, будет считаться вполне законно и будет ограждаться правительством; попытка же рабочего, заражающегося чахоткой, уйти с фабрики до срока контракта будет преследоваться правительством, как незаконный поступок и наказываться.

Деятельность чиновника, получающего десятки тысяч и ничего не делающего, считается вполне законною, — нищая же вдова, для прокормления торгующая без патента вином, контрабандист или уклоняющийся от платежей — судятся, как преступники.

Купец рядом мошенничеств скупил хлеб у крестьян, давимых податями, во время голода не отдает его ниже, а втрое больше покупной цены, и его деятельность законна, и правительство ограждает его собственность; если же голодный похитит пуд этой муки — его сажают в тюрьму. Землевладелец в пору требования податей подрядивший для своих полей будущую работу крестьян вдвое дешевле, чем оно стоит, будет пользоваться помощью правительства для требования исполнения крестьянином всего того, что он был вынужден обещать во время нужды, хотя бы исполнение этих требований разорило его. Если же крестьянин пустил лошадь в луга или собрал вязанку сучьев [в лесу помещика] — его сажают в тюрьму.

Рабочий, всегда обманутый, нигде не получающий цены своей работы и своей жизни, покупающий все, что ему нужно, втридорога, нигде не найдет суда на тех, кто его обманывает, — чиновник же, землевладелец, ростовщик, фабрикант, не переставая обманывать и грабящие народ, во всех своих столкновениях с рабочими всегда пользуются покровительством и охранением закона.

## 11

Десятки тысяч десятин земли, принадлежащие человеку, который наследовал их от грабителя или плута, и не отдает иначе, как под условием закабаления к нему в работу, или сотни тысяч пудов хлеба у купца, дожидającego голода, чтобы продать их, или фабрика, на которой погибли поколения людей и теперь гибнут, потому что попали во власть фабриканта, или компании, банки, тресты, поднимающие цены — вот это нужно ограждать; но среди людей, живущих в равных условиях, нет никакой надобности в ограждении ни поля, которое вспахал и посеял человек, ни дома, который он построил, ни сапог, которые он сделал, ни рыбы, которую поймал, или скотину, которую вывел.

## 12

Рабство нашего времени находится теперь в таком же периоде, в каком было

рабство в Европе в XVII столетии, у нас в XVIII.

Положение крепостных в Европе в XVIII столетии представлялось людям того времени не рабством, а только естественным и неизбежным устройством жизни. Точно то же и по отношению к невольничеству: нужны были руки на плантации в колониях, и из Африки привозили для этого негров, и это казалось не рабством, а средством обработки сахарных плантаций.

Рабство было, но не сознавалось как нечто установленное, а признавалось экономической формой жизни, без которой нельзя было быть и об изменении которой никто поэтоту и не думал. Только к концу XVIII столетия люди Европы лонемногу стали понимать, что положение рабочих нехорошо, несогласно с их мировоззрением, и началась работа, которая кончилась освобождением крепостных, в Европе раньше, у нас позже. Вот такое же, еще не вполне сознаваемое нашим обществом, рабство существует среди нас теперь. До первой четверти нынешнего XIX столетия никому в голову не приходило, чтобы то положение, в котором находились рабочие в Европе, было рабство, и чтобы надо было изменить это, казавшееся естественным экономическое положение. Рабство было только в России и невольничество в Америке. И это осуждалось, положение же европейских рабочих считалось вполне нормальным. Но в середине столетия, в особенности после освобождения рабов в России и Америке, стали чаще и чаще слышаться голоса, признававшие положение рабочих неестественным, несправедливым и подлежащим изменению. И теперь, как я думаю, положение рабочих нашего времени начинает представляться уже большинству людей таким же неестественным и подлежащим изменению, каким представлялось старое рабство в конце XVIII столетия.

Сущность рабства есть то, что одни люди отдают весь труд всей своей жизни другим людям — господам. Господа же употребляют этот труд по своему произволу.

В этом рабство, и потому положение всех рабочих в нашем обществе есть положение рабское, с тою только разницею от прежнего рабства, что прежде были определенные рабы известных господ, которые властью правительства принуждались к полному повиновению известным господам, теперь же рабы суть те люди, которые, будучи правительством лишены имущества, постоянно держатся в необходимости продавать труд всей своей жизни тем, которые владеют имуществом, ограждаемым правительством.

Сходство между положением общества перед освобождением крестьян и рабов в том, что так же большинством не сознается незаконность положения, что малая часть видит эту незаконность, считает невозможным исправить ее сейчас, а успокаивает себя теориями о том, что это сделается само собою, и малая часть людей, которые считаются безумными, хотят сейчас же изменить положение. Так было прежде, так и теперь. Но разница в том, что теперь вопрос поставлен гораздо глубже и сложнее, радикальнее, и потому решение гораздо труднее и должно встречать еще больше препятствий.

Прежде вопрос был в том, как отменить одну из явно возмутительных форм насилия, и это легко могло быть сделано правительственной властью; теперь вопрос о том, как уничтожить пользование одними людьми трудом других, пользование, основанное на неравномерном распределении собственности.

## Рассказы о Ленине

### 1

«— Сыграть Ленина? Да разве можно сыграть революцию?» — спросил украинский артист Бучма, когда ему предложили роль Ленина в пьесе Корнейчука «Правда».

«— Написать пьесу о Ленине? Невозможно!» — воскликнул сам Корнейчук, когда ему впервые подсказали эту тему.

«— Создать образ Ленина? Это дело поколений», — утверждал другой артист Штраух.

Барбюс писал в книге о Сталине: «Грандиозная задача — создать облик человека, сквозь который видны миры и эпохи».

На двадцать третьем году революции написал о Ленине один из крупнейших наших писателей — Федин. И что написал? — Очаровательный рассказ, к нему мы еще вернемся, в котором каждое слово живописно и осязаемо — о том, как молодой, искренний и талантливый художник не смог нарисовать Ленина.

Вспомним, наконец, и ту первую книгу о Ленине, которая стоит особняком среди других, которая написана в год смерти Ленина, когда еще была даже «улица, как рана сквозная, — так болела и стонала так». И в этой книге, в этой поэме, самый отважный из наших поэтов, подойдя вплотную к величественному образу, признался: «Как бедна у мира слова мастерская — подходящее откуда взять».

У него, конечно, многое и от скромности. И нашел, и взял. И «самого земного

изо всех прошедших по земле людей», и как «к товарищу милел людскою лаской» и про рабочего, который «был безграмотным, не разжевывал еще азбуки соль, но он слышал Ленина и он знал все».

И все-таки поэт волновался, как справиться с немислимой задачей — писать об эре, если «эта эра проходила в двери даже головой, не задевая о косяк».

И, все еще недовольный собой, завещал оставшимся: «бурей восстаний, дел и поэм — размножить то, что сегодня видели».

Оставшиеся размножают. Только вот поэмами, только вот в искусстве пока еще мало.

Уже сказало свое слово искусство изобразительное. Альтман, Андреев, Бродский, Меркуров и многие другие. О них можно спорить, кого-то можно предпочесть, еще не у каждого те «рембрандтовские» тона, которых требовал для такой тематики Маркс. Но во всяком случае это реально, это уже существует.

Есть отклики в народном творчестве. Тысячами рук высечены ленинские черты на моржовой и мамонтовой кости, вытканы на коврах, вышиты на холсте, шелке и рыбьей коже, выжжены на дереве, вылеплены из глины. Все виды труда увековечили родной лик того, кто поднял труд на такую высоту. В этой грандиозной задаче приняли участие миллионы тех, «чьим дедам в гробах засеянным снятся земли, что Ленин велел назвать своими».

Народ откликнулся и в слове. На десятках языков проречены о Ленине народ-

ные песни. Ленин и Сталин стали героями народных легенд и сказаний.

Ленин проходит — где зримо, где незримо — и во всех литературных произведениях революционных лет — от «Разгрома» Фадеева до «Земли» Вирта.

В пьесах Тренева, Погодина, Корнейчука еще без сквозной функции, еще хроникально, эпизодически, но уже дан живой Ленин.

И первые артисты театра и кино уже сыграли впервые Ленина. Сыграли так, что, едва удерживая слезы и затаив дыхание, смотрели их миллионы людей, которые никогда не видели Ленина. Так, что мелкой дрожью дрожала на барьере ложи бледная рука Надежды Константиновны.

Вот тут-то, может быть, и начинается одна из основных трудностей в подаче ленинского образа. Только подумать — какая ответственность, ведь на спектакль могут придти, книгу могут прочесть те, кто знал и видел Ленина, для кого он еще живой «человечный человек», современник, и для которых важно и бытовое правдоподобие. Стоит вспомнить статью Крупской о первых постановках «Человека с ружьем» и «Правды» — вот она услышала в голосе Штрауха нотки Ильича; у Шуккина одобрила ленинскую манеру говорить на большом собрании; категорически протестует против «суетливости», против «менторства».

А ведь внешнее правдоподобие — это только начало образа того, «кто за всех мог направлять потоки явлений», кто был «от рабства десяти тысячелетий сияющий перевал».

В прошлом году прошла в Москве интереснейшая конференция об образе Ленина, которая как-то особенно выявила сложность и ответственность задачи.

Нельзя переоценить значение этой конференции, даже учитывая многие ее недостатки. Начиная с докладов о высокой задаче создания образа вождя и кончая рассказом кремлевского курсанта, упавшего в обморок после того, как ударами сердца отчитал он все ступени, по которым, пятная их кровью, поднимался к себе раненый Ильич, — вся конференция прошла под знаком высокого волнения и огромного творческого напряжения.

Ничто из того, что могло помочь делу создания образа и борьбе за него, — не было как будто упущено.

Каждый участник конференции принес что-то свое. Теоретики пришли с принци-

пиальными вопросами, вопрос о котором связан с созданием положительного образа вообще. Писать о Ленине, помнить его, играть его — значит языками всех искусств говорить о гении русского народа, о торжестве знания, об эпохе невиданных катаклизмов, борьбы и побед.

Но дать образ Ленина — это значит также и жить с ним одной жизнью. Идти по улицам рожденных им городов, говорить с людьми, которых он создал, жить всей советской жизнью, которую он для нас создал. И черты героя, черты Ленина, черты Сталина надо вкачать в каждом советском человеке — только в связи с народом познать вождя.

Так сложна эта задача, что даже поэзия — источник познания человеческого души — как будто останавливается перед нею в нерешительности.

Тут на помощь спешат современники. Они принесли драгоценные воспоминания, чтобы оживить в памяти человеческие черты вождя, чтобы снабдить художников деталями, вне которых не живет образ.

Сколько раз прозвучали в зале слова Сталина о Ленине — горном орле, мастере революционных взрывов, гениальном прозорливце революции. Клара Цеткин рассказала о простоте и правдивости Ленина, о великой любви его. И тут же Фотиева напомнила о том, как Ленин требовал расстрела взяточников и исключения из партии их мягкосердечных судей.

И все это никак не противоречит одно другому, это все разные стороны одной многогранной гармонической личности. «Эра», но входит в двери, не задевая о косяк головой. Только это не сделаешь механически, не сбалансируешь — столько-то тепла, столько-то суровости. Гармонию нельзя подменить арифметикой, как это иногда пытаются сделать.

А как дать гармонический образ?

На этот вопрос уже отвечали практично. Хотя конференция ставила и вопросы искусства вообще, — все-таки в центре внимания были театр, кино и драматургия. Отсюда масса производственных деталей. И каких волнующих! Ну как, скажите, писать пьесу или играть в ней, если постановки превращаются в демонстрацию народной любви и восторга, репетиции становятся изучением марксизма-ленинизма.

Красноармейцы в Свердловске догоняют на улице Шейна и, спросив «это вы

рали Ленина?», просят разрешения поцеловать его. Реквизиторша в театре Вахтангова разрыдалась, когда впервые вышел из своей уборной Ленин-Штраух, а пожарник почтительно встал при его приближении.

Артист Бучма, который сыграл за тридцать два года тысячу ролей, не может выйти на сцену без камфары, так волнуется его роль Ленина.

На бесчисленные вызовы актеры выходят, сняв парик,— тончайшая черта, которой они отделяют себя от своей роли.

А проблема этого парика? Старый гример Мосфильма Ермолаев, с сорокалетним стажем, впервые в жизни не смог сразу овладеть париком — «вздохали вместе со Щукиным».

Это все, конечно, еще только внешнее. Но может быть достаточно только походить на Ленина, говорить как Ленин, остальное же придет само собой и все будет принято с одинаковым восторгом, все покроет эта любовь миллионов?

Страшная ошибка думать так. И мало того, что это дешевый успех и позор для художника. Нет — и зритель требователен к такому образу более чем ко всякому другому. Он не прощает ни фальши, ни бедности. Ему нужен не только грим, но и характер. Ему мало видеть Ленина в ночь взятия Зимнего, — он хочет знать, что Ленин видит впереди за этой ночью. Он хочет не только наблюдать поступки, но и понимать их мотивы. Пьеса, спектакль должны служить делу коммунистического воспитания масс.

## 2

Вот так готовятся. Это лаборатория каждого художника, мастерская, где идет переплавка и обработка материала. Какой-то кусочек завесы приподнялся над нею на одно мгновение. Это полезно знать художнику, это важно для критика. Но читателю, но зрителю нужен не процесс, а результат, не анализ, а синтез, не разговор об образе, а живой Ленин. Как дает его наша литературная практика?

Несколько книг о Ленине вышло за последнее время. Посмотрим три из них — Зошенко, Федина, Кононова.

Как работали писатели — мы не знаем. Что же у них получилось, — хотя бы у Зошенко.

Книга Зошенко написана для детей и вышла в Детиздате, но это не только детская — это книга, которую с одинаковым

волнением прочтут люди всех возрастов. В книге тринадцать рассказов, расположены они в хронологическом порядке и необычайно прозрачно просты. В каждом говорится о какой-либо черте ленинского характера, каждый штрих в отдельности скромен, иногда может быть даже кажется не слишком значительным, а когда прочтешь последнюю строку последнего рассказа — внезапно собранным, цельным и обаятельным стопт перед тобой Ленин.

Первый рассказ «Графин» о ленинской правдивости начинается так:

«Когда Ленину было восемь лет, с ним случилась одна маленькая история, о которой впоследствии, много лет спустя, рассказала его старшая сестра Анна Ильинична».

В этой же простой манере, с каким-то, хочется сказать, подчеркнутым уважением к своему читателю, Зошенко рассказывает, что вот маленький Ульянов был шалуном, но в то же время был чрезвычайно правдив — никогда не врал и всегда признавался в своих шалостях. А вот однажды был он в Казани у тети Ани, детей собралось много, они развозились, и Володя нечаянно разбил красивый хрустальный графин. Дети даже не заметили кто это сделал, и когда тетя Аня спросила — кто разбил графин, все стали говорить «не я». И Володя тоже сказал «не я». Он очень испугался, — он был самый маленький из всех и первый раз был в чужом доме у малознакомой тети Ани.

Тетя Аня умело замяла инцидент, — решила, что графин разбился сам, потому что ему стало скучно стоять на столе.

С тех пор прошло два месяца, и однажды, когда Володя был уже дома, мать вечером услышала, что он плачет. О чем? О том, что он сказал тете Ане неправду. Только обещание матери непременно написать ей — успокоило мальчика.

Таков первый крошечный рассказ. Невольно волнует нас этот мальчик, который способен мучиться два месяца из-за случайно сказанной неправды. И как странно переключается этот эпизод из далекого детства Ильича с теми словами, которые сказала о нем Клара Цеткин: «Он был велик в своей простоте и правдивости всего своего существования».

Второй рассказ называется «Серенький козлик». Это рассказ о храбрости. Володя в детстве почти ничего не боялся — входил в темную комнату, не плакал, когда рассказывали страшные сказки. Брат же его Митя был чрезвычайно жадостлив.

Песенка о сером козлике приводила его в такое отчаяние, что он никогда не мог донести ее до страшного конца, когда от козлика остаются только рожки да ножки.

Володю это очень огорчало. Однажды он начал поддразнивать брата. Его упрекнули — зачем он обижает маленького. Володя вспыхнул: «А зачем он боится? Дети должны быть храбрыми!» Тогда устыдился Митя и храбро съел всю песенку, только одна маленькая слезинка потекла у него по щеке, когда от козлика остались рожки да ножки. Володя поцеловал его и сказал: «молодец».

Пересказывать Зоценко — неблагоприятная задача, его язык такой же, каким говорят народные сказки, — в них ничего нельзя не изменить, ни переставить — все главное сказано и все в полной мере детского разума, хотя бы и для самого маленького ребенка.

«Дети должны быть храбрыми» — кажется слышишь, как Володя это говорит. Ему ведь самому и странно и жалко, Ленина всегда волновала музыка и он всегда был полон жалости к страждущему существу, — но он знает, что не в слезах должна выражаться жалость.

И вот исчезает маленький мальчик Володя, взрослый Ленин сидит с Горьким. Он только что прослушал «Патетическую сонату», он взволнован и он говорит: «Часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головкам никак нельзя — руку откусят. И надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против насилия над людьми».

Неправда ли, это ведь тот же самый Ленин, что и в эпизоде с Митей? Дети должны быть храбрыми, люди должны быть храбрыми, они не должны плакать от жалостных слов и звуков, пока еще есть безжалостная, грязная и страшная жизнь.

Рассказывать — это не только передавать свои мысли. Рассказывать — это значит также возбудить в другом новые, собственные мысли. Как тонко и умело делает это Зоценко.

Третий рассказ — о настойчивости и работоспособности. «Ленин всегда хорошо учился, даже в гимназии получил золотую медаль. Учился бы и дальше, но начальство исключило его из университета, потому что он революционер, а этого на-

чалство не могло терпеть и царь не дозволял революционерам учиться. Другой человек так и остался бы без образования, но Ленин этого не захотел».

Местами Зоценко говорит с ребенком так, как говорил бы сам этот ребенок. Поэтому рассказы Зоценко о Ленине рассказываются устно и живой цепочкой бегут по стране, пополняя книги, которые нам всегда недостаточно.

Дальше у Зоценко рассказана вся история подготовки Ленина к экзаменам в высшую школу. Разрешение на экзамены он получил — «Министр удивился, разрешил — все равно не сдаст». А Ленин сдал.

И тот, кто носит в сердце своем Ленина, вспомнит по этому поводу все случаи изумительной его работоспособности, которая позволяла ему работать и в тюрьме, и в ссылке, и даже в шалаше в Разливе. И то, что по одному 1905 году опубликовано свыше ста печатных листов ленинских выписок из газет на четырех языках.

А тот, кому еще нечего вспоминать, — все равно поймет главное: настойчивость, мужество, работоспособность — вот черты гения, вот каким надо быть.

Есть еще рассказ о силе воли — как Ленин бросил курить по просьбе матери, которая уверила его, что траты на папиросы причиняют ущерб ее хозяйству, «хотя она и сказала это нарочно, на хозяйстве это не отразилось».

Необычайный восторг вызывает у детей рассказ о том, как Ленин в тюрьме кушал чернильницы. Он делал их из хлеба и наливал в них молоко, которым писал между строк и на полях переданных ему с воли книг. А писать запрещено. входил надзиратель, радовался, что вот он застал Ленина за недозволенным занятием — Ленин пишет. — «Ничего подобного», — отвечал Ленин, — «вам это показалось», — и отправлял в рот очередную чернильницу. Однажды выдался такой неудачный день, что Ленину за два часа пришлось съесть шесть чернильниц.

Штрих вполне понятный для самого маленького ребенка, а между тем и не ребенку полезно будет вспомнить о железной настойчивости человека, которого бросили в тюрьму, запретили работать, а он в этих условиях писал, работал, создал не одну книгу.

Рассказ «Как Ленин перехитрил жандарма» — подлинный маленький шедевр. Дело было в ссылке. Незадолго до оконча-



ния срока пришли с обыском, это грозило продлением ссылки, если бы у Ленина что-либо нашли. Запрещенная литература была, и лежала она на самой нижней полке. Надежда Константиновна очень волновалась, но Владимир Ильич ни на мгновение не потерялся. Жандарм был маленького роста — Ленин любезно подставил ему стул и этим предрешил, что обыск начнется с верхней полки. Книг было много, дело затянулось и все вышло так, как рассчитал Ленин: ничего не найдя на верхних полках, жандарм не захотел рыться и на последней.

Таковы и все остальные рассказы: о ленинской любви к детям (мальчик в Цюрихе); уважении к человеку и человеческому труду, о его простоте в обращении с людьми, о никогда ему не изменявшей деликатности в быту (Ленин в парикмахерской, Ленин и печник). Никогда никакого срыва — простота, естественность, человечность — «самый человеческий человек».

Еще один «человеческий» штрих в рассказе «Охота». Ленин очень любил охотиться, особенно в лесу. Тут в рассказе чудесная вставка о лисе, о ее повадках, как она отбирает у барсука нору: барсук приходит — здравствуйте, уже кто-то живет в его норе. Затем описана охота, прекрасный зимний лес. Лисица вышла прямо на Ленина, — растерялась и замерла. Ленин хотел уже выстрелить, но вдруг опустил ружье. Лисица исчезла. Надежда Константиновна спросила: «Почему ты не выстрелил?» — «Не мог», — ответил Ленин, — «очень она красива, пусть живет». — Все удивились, один охотник сказал: «чем красивее лисица — тем ценнее, я бы выстрелил». — Ленин на это ничего не ответил.

Ничего и не надо отвечать, всякий сам поймет. Как не понять философии в вещах так хорошо предъявленных? — как говорит Мишле о Плутархе.

Рассказ «Пчелы» начинается сказочным запевом: «в очень-очень старое время люди жили в пещерах. В пещерах, конечно, не было магазинов; «если ребенку хотелось сладкого, мамаша сорвет в лесу дикое яблоко и все. Но люди не растерялись, что не было сладкого, увидели, что пчелы как-то подозрительно себя ведут, проследили их и нашли мед».

Так, в нескольких строчках изложив историю пчеловодства, Зошенко рассказывает, как Ильич старался развивать это полезное дело. И вот раз в нужную мину-

ту не оказалось около него пчеловода и никто не знал его адреса. Ленин вышел в поле, увидел клевер и пчел, пошел за пчелами и дошел до пасеки, чем крайне изумил пасечника: «Вы, — говорит он, — Владимир Ильич — гений, в каждом деле особенный».

Здесь удивительна не только наблюдательность. Удивительно, что народ всегда требует от героев своих легенд и сказок этой наблюдательности, этой близости к природе и облекает ее в чрезвычайно поэтичные формы. В этой новелле Зошенко перекликается с таджикской народной легендой: боролся Ленин с Кучук-Адамом, злодеем, который хотел его погубить, но вся природа выступила на защиту Ленина: деревья прятали свои колочки, птицы указывали дорогу, светлячки ее освещали, горные орлы бились с его врагами. Так обращается природа только с своими любимыми детьми, которым «и звездная книга ясна, с которыми говорит морская волна». Ленин легенды, которому указывают дорогу птицы, тот же живой Ленин, которому открыт язык пчел, ведущих его на пасеку.

Изумительно написан рассказ о покушении на Ленина.

«У Ленина было очень много врагов, потому что он хотел заново переделать всю жизнь, чтобы те, кто работает, жили хорошо, и не любил, кто не работает, — говорил — пусть совсем не кушают».

Верх мастерства изложить языком, доступным трехлеткам, сложнейшую социальную тему.

Так вот после того, как даже трехлетки убедились в неизбежности для Ленина иметь врагов, появляется на сцене злодейка, которую враги договорились убить Ленина. Она одела черное платье и четыре раза выстрелила в Ленина.

Драматизм, достигнутый очень простыми средствами. Разве дети когда-нибудь забудут эту злодейку и это черное платье, и эти четыре выстрела? Они врежутся в их память, как когда-то ступа бабы-яги или три головы Змея Горыныча, оставив на всю жизнь зловещую по себе память. А Ильич упал тяжело раненый. Но нести себя не позволил — «жена и сестра испугаются». И все поразились, что в такой момент он думал не о себе.

А когда Ленин вообще думал о себе? — спросит каждый малыш и каждый взрослый, когда превозможет свое волнение после этих бесхитростных слов.

Так законченны, так гармоничны эти маленькие рассказы, так гармонирует в них форма с содержанием, идея со словом.

И когда книга закрыта, образ величайшего из гениев человечества встает перед вами в благоуханной свежести, величавости и чистоте — это, разумеется, еще не полный, всесторонний образ величайшего борца, вождя трудового человечества. Отдельные черточки, но все, направленные к одному. Не частное, не случайное, все общее и все необходимое. Труд, воля, бесстрашие, мудрость, правдивость и глубокое знание природы и людей, необычайная бережная любовь к людям, сердце, широко раскрытое для всякой красоты и радости и всегда для других, для всех, и всегда подстерегаемый злом, но всегда в борьбе и в победе.

После первого представления шиллеровских «Разбойников» много молодых людей той эпохи отправились в леса по следам Карла Моора. Секрет всякой талантливой книги — немедленное воздействие. Книга Зощенко усиливает в ребенке желание быть таким, как Ленин. И это-то и называется коммунистическим воспитанием, хотя слово это в книге не произносится.

### 3

Вторая из книг о Ленине — Кононова — гораздо проще. Это хорошая честная книга, в которой добросовестно и любовно собран большой и интересный материал. Сделана она по тому же принципу, что и книга Зощенко, — отдельные эпизоды из жизни Ленина, расположены так же в хронологическом порядке, только начинает Кононов не с детства, а с жизни Ильича в Разливе. За этим следует эпизод о переезде Ленина в Финляндию — живой рассказ под названием «Кочегар поезда № 71» о том, как Ильич, благодаря помощи машиниста, проскользнул перед самым носом офицера, руководившего проверкой документов. Третий рассказ о пребывании Ленина в семье финского рабочего, затем переход Ильича через один из ленинградских мостов в ночь на седьмое ноября.

Один из лучших рассказов — «В Смольном», хотя он несколько растянут. Старик крестьянин приехал поговорить с Лениным о своей жизни и попал в Смольный на выступление Ленина. Когда молодой матрос, встретивший старика у Смольного, спрашивает — удалось ли ему поговорить с Лениным, — старик отвечает: «Нет,

Ленин сам говорил про мою жизнь». В волнует и запоминается.

Хороша также история паровоза У-127, выстроенного (не собранного ли?) на железнодорожных субботниках. Ленин считался его почетным машинистом, а плату отдавал на клуб железнодорожников. Последний рейс паровоза был из Горького, когда он привез в Москву тело своего почетного машиниста.

Интересны и елка в Сокольниках, и субботник в Кремле, открытие Кашинской электростанции. Хорош рассказ о парижской выставке, куда «посмотреть» Ленина приходит старый французский солдат, потерявший на войне оба глаза. Он может только ощупать бронзовую голову Ленина и плачет от радости, что он ее видел.

В общем книга, конечно, и полезная и нужная. Но вот не хватило автору творческого волнения, книга не побывала в творческой переплавке, и образа Ленина не получилось, остался только интересный материал для него.

Особенно ярко выступает это от соседства с Зощенко. На однородном материале разительна разница в выполнении. «Для непосвященному глазу ясно, какая неперимая пропасть между созданием и притворной копией природы» (Гоголь). Если Зощенко начинает с фразы, понятной каждому ребенку «В очень-очень старое время», то Кононов пишет: «Кто ездил в двадцатом году по нашим железным дорогам, тот знает, тот видел кладбище паровозов», — хотя ни один из его юных читателей никак не мог ездить в двадцатом году по нашим железным дорогам.

Если Зощенко начинает рассказ о покушении сразу по существу: «У Ленина было много врагов, потому что он хотел заново переделать всю жизнь», — то этот же эпизод Кононов начинает фразой: «В главных мастерских завода уже начался митинг».

Если Зощенко уверенно, как большой мастер, говорит сам за своего Ленина, то Кононов предпочитает или короткие реплики или цитату. А это всегда выпадает из общего ритма.

Язык персонажей Кононова мало выразителен, все они говорят одинаково.

Вот фразы, взятые наудачу:

«Жалованье-то, между прочим, каждый месяц будет идти».

«Что же вы не стреляете-то?»

«Ты куда идешь-то?»

«Как сильно болел-то Ильич».

Это говорят разные люди — железнодорожник, рабочий, охотник, деревенский мальчик, работница, но у всех это однообразное навязчивое «то».

Если Зошенко берет небольшое количество эпизодов и в каждом выделяет какую-то важную черту характера и облика Ленина, которую потом каждый из нас может примерять к различным этапам его жизни, то Кононов, наоборот, берет все подряд — и важное и неважное.

Вот встреча Ленина с мальчиком. Мальчику очень хочется поглядеть на Ленина; он расспрашивает — каков Ленин из себя. Ленин отвечает «похож на меня». Мальчик усомнился и рассмеялся, в это время они подошли к дому; Ленин попрощался и ушел. Что прибавляет этот эпизод к образу Ленина?

Таких внешних вещей много. Даже Ленин иногда воспринимается чисто внешне — вот вошел, вот сказал какие-то слова, но этими словами ничто не раскрывается.

Это не формальные придирки — это различные методы показа. У Зошенко маленькие сюжетные рассказы, из которых ничего не вынешь без ущерба для книги — все главное и необходимое. У Кононова же почти фотографическое описание с деталями, которые не всегда прибавляют что-то к художественным достоинствам книги.

Но, конечно, и та и другая книга имеют полное право на существование, тем более что бесхитростно рассказанные Кононовым эпизоды и не претендуют на большое полотно. А свою долю в знакомство детей с Лениным они, конечно, внесут.

#### 4

Совсем не похожа на две предыдущие книга Федина. Опять-таки разница делается яснее при сравнении на этот раз с книгой Кононова.

Книга Федина — это, если хотите, тоже «внешняя книга». Она так и построена. Даже больше — она изобразительная, почти живописная, так сказать, демонстративно внешняя.

А между тем, если у Кононова это внешнее — порок, то у Федина через это внешнее и раскрываются глубочайшие переживания героя. Особый прием, при помощи которого дан образ Ленина.

Трудно даже точно ответить на вопрос — как это сделано, каким-то неуловимым боковым ходом.

«Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашел в редакцию поговорить об одном деле.

Он бросил рисовать; помыл руки; сунул в карман гимнастерки карандаши с блокнотом и вышел на улицу...»

Это почти утраченное старинное искусство — вот так взять доверчивого читателя под руку, ввести его в дом Облонских, или познакомиться в поезде с Рогожиным, или втолкнуть в картинную лавочку на Щукином, где среди хлама валяется старый портрет с дьявольскими глазами, — и, уже не давая ему ни секунды передышки, влечь за собой по всем извилинам авторского воображения.

Федин делает это с особым блеском. Раз он вас зацепил, так, не давая опомниться, и доведет до конца, — не спеша, покаяя вас медленным разворотом событий, необычайной их убедительностью и выпуклостью.

Вы в самом деле видите все, что видит в эти несколько часов герой рассказа. Вы вместе с ним по дороге в редакцию разглядываете портреты Ленина в кумачевых рамочках; как и он недовольны фотографией, потому что художник, конечно, мог бы тоньше уловить особенности лица.

Поэтому вы вместе с ним радуетесь, что газетное поручение в том и заключается, чтобы зарисовать завтра Ленина на конгрессе Коминтерна. Вам приходится вместе с художником выбирать альбомы и карандаши, мечтая потом по рисункам написать большой портрет.

Год от году возрастает у Федина эта необычайная убедительность. Отличительная черта большого художника.

Если идея, для того, чтобы стать плотью, должна быть полностью проведена через собственную натуру и получить отпечаток личности, то Федин выполняет это чрезвычайно добросовестно. Этот маленький — всего на пятнадцать страницек — рассказ написан, так сказать, во всю силу мастерства, со всеми отличительными чертами Фединской прозы.

Вот писатель привел вас вместе с художником во дворец Урицкого. Это двадцатый год. Поляки разбиты, кончается Врангель, но молодая советская земля еще окружена, иностранцы приехали с трудом. Состав их необычайно пестр. Сергей собирается зарисовать одного немца (Ленин будет только завтра), во время германской революции три дня возглавлявшего браунг-

швейцскую республику, которую разгромили социал-демократы.

Немец никак не может понять, почему советской стране понадобилось упразднить торговлю.

В Фединской картине участвует даже пейзаж. Сергей смотрит в окно — на мостовой еще видны вторых засыпанные окопы и остатки бруствера. Пейзаж подсказывает ответ — «целое сонмище врагов онолчилось против нас — мы думаем об одном — победить их».

— Но почему закрывать лавочки? —

— Лавочники заодно с нашими врагами».

— Но, если у меня завтра оторвется пуговица?»

Тут Сергей внезапно понимает, что из этого рисунка ничего не выйдет.

Зрительно необычайно ярко дан Фединным зал во дворце Урицкого. Алые полотна знамен, их перекличка с красными гвоздиками, белые крылья газет, трепет неисчислимых пятен. — И все это напряжено ожиданием.

Внезапный гром рукоплесканий, Сергей ищет Ленина и вдруг альбом падает у него из рук и он начинает аплодировать. «Прямо на него шел Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая его встречный поток воздуха».

Удивительная удача, когда художник слова обладает еще и таким живописным мастерством. О рассказе все время хочется говорить, как о картине, но о картине непрерывно движущейся и изменяющейся, какое преимущество перед неподвижностью живописи.

Вы ни на секунду не перестаете вместе с художником видеть Ленина — невысокого, легкого. Вот он взбегает наверх поздороваться с Цхакая, потом садится с какими то бумагами на ступеньку в проходе — этот человек везде чувствует себя, как дома.

Прекрасная поза, соседи-художники уже рисуют, а Сергей — и вы с ним, — все не можете начать, все не отвести глаз от его необычайно большой головы, от взмаха его лба, от затылка с завитушками желтых волос. Сергею и вам хочется сравнить Ленина с кем нибудь, но Ленин никого не повторяет, каждая черта его принадлежит только ему.

Вместе с художником коснулись вы бумаги, прочертили контур ленинской головы и подыали глаза — Ленин уже исчез.

Второй раз Сергей видит Ленина во время доклада «в движении, передающем

мысль» — как раз это он мечтал изобразить в рисунке. И вдруг оказывается, что черты Ленина, как будто бы уже зачерченные на бумаге, исчезли, заменены новыми. Сергей хочет их отметить, но они возникают и не повторяются, он боится их утратить и все не начинает рисовать.

И в то же время он не может не слушать Ленина.

Как все это близко каждому художнику — вот еще одна из трудностей, почти непреодолимых, вовлечение в действие, которое затрудняет наблюдение. Но раз преодоленная трудность эта становится залогом успеха, поднимает художника на следующую ступень овладения предметом.

Вслушиваясь в слова, Сергей поражен тем, как слито у Ленина слово с жестом. «будто жидкий металл влит в податливую форму — так бурно протекала передача огненного смысла слов». Ленин разоблачал Англию, которая посредничала между нами и Врангелем, утверждая, что во всем мире создалось беспокойство. — и все тело Ленина иронически изображало это беспокойство и это был разящий саркастический образ.

Ленин приводит цифры, но не делается от этого профессором, оставаясь трибуном. Его голос неутомим, язык нагледен и прот.

Сергей рисовал эту приподнятую голову, вытянутые руки, сильно разогнутую сильную спину, круглую вытянутую грудь, бросал один рисунок, начинал другой и вдруг испугался, заметив, что несколько не приблизился к цели.

И вы вместе с ним уже задохнулись от усилий и волнения.

Федин нигде не говорит о себе, и все-таки он именно говорит о себе и о всех. Кто над чем-то работает, чем то овладевает или в чем-то терпит неудачу, и вы мечетесь вместе с ним в поисках лучшего места, возвращаетесь обратно, но сесте некуда, приходится стоять и вот тут-то и видите вы вдруг вместе с Сергеем Ленина, таковым как он есть.

Сразу сказала вся подготовка, все сделанное будто наощупь — отдельные черты стали превращаться в связный рисунок, в близкий к правде образ, в живого Ленина.

Какой блестящий анализ творческого процесса, как выделены в нем основные черты — общие для всякого искусства. Какое подлинное наслаждение идти шаг за шагом, как зачарованному в этом мире

художника, который овладевает, наконец, своим образом, «покоряя все кисти, но во всем находя внутреннюю мысль».

А Ленин уже легко сбегал с трибуны.

Из дворца процессия двинулась к братским могилам. Ленин шел во главе делегации, говорил то с одним, то с другим, с третьим, без пальто, заложив руки за спину — будто в комнате, чувствуя себя просто и свободно во всеобщем неудержимом тяготении людей к нему.

Здесь Федин дает замечательную по краткости и убийственному сарказму сцену между Лениным и браунгшвейцем — двумя председателями двух республик — социалистической победоносной и... трехдневной.

Слов Сергей не слышит, но только видит, как Ленин сначала слушает серьезно, потом улыбается, потом отшатывается. «Две-три фразы кратких», каких то бесповоротных, и вдруг Ленин легко хлопнул немца по плечу и начал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шаг и уже больше не оглядываясь на него». Какой беспощадный смех, какие важные штрихи для будущего рисунка. Незнакомое волнение гордости потоком захватило Сергея.

Как внезапно раскрывается перед вами тайна фединской магии, тайна боковых ходов и озарений: только страстной любви знакомы они, они только ее примета.

Сергей приблизился к Ленину, протя-

нул альбом. Разговор мгновенен: «Как вы находите?» — «А вам нравится?» — «Нет. Но сходство есть». — «Не могу судить, я не художник».

Ободряюще кивнул, отвернулся, ушел вперед.

Сергей захлопнул альбом. Рисунок никуда не годился.

Горький написал в «Климе Самгине»: «Ленин врос в толпу, исчез, растворился в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла».

Так же Ленин вошел и в искусство своей родины и растворился в нем и оно тоже стало от этого еще более грозным и как бы выросло. И оно даст в свое время прекрасный плод.

Рисунок никуда не годился. — «Но он получится», — говорил Сергей своему учителю, — «даю вам слово — непременно получится».

Это и оправдание и объяснение. Это в блестящей художественной форме очередное признание в трудностях, перед которыми стоит каждый художник, стоит вся страна, сосредоточенная в одном порыве — ценой напряженнейшей работы — отразить в своем творчестве гений своего народа, дать облик, сквозь который видны миры и эпохи.

И у нее это получится, честное слово непременно получится!

## Начало поэтической зрелости

(О стихах М. Алигер)

Согласно сложившимся в нашей литературе понятиям молодой поэт — это далеко не то же самое, что начинающий. Никому, например, не придет в голову назвать Евгения Долматовского начинающим поэтом, но всякий раз, когда раздается вопрос: «А кто у нас молодые?», имя Долматовского называют первым. А, между тем, Долматовский пишет добрый десяток лет, имеет несколько книжек стихов и вполне определившееся поэтическое лицо, лицо «молодого».

Что же это за лицо? Наиболее характерным его признаком, как известно, является бодрость и оптимизм. Это очень хорошо, но, к сожалению, бодрость нередко превращается у молодого поэта в бодрячество, а оптимизм приобретает приторно-розовый оттенок. Причем мы никак не можем сказать, что это случайная беда одного Долматовского. Нет, этого зла в свое время не избежал даже такой серьезный поэт, как Твардовский (см. его стихи о колхозной молодежи) и ряд других поэтов, начиная с Маргариты Алигер и кончая Сергеем Смирновым. В чем же корень зла, почему талантливые искренние поэты часто низводят лучшие качества своего времени и своих стихов до их противоположности?

Нам думается, что корни бодрячества и «розового оптимизма», о которых так много говорилось и писалось, исходят из ложного представления о том, что счастье молодого человека заключается якобы во всестороннем душевном и материальном комфорте, при котором все трудное, трагическое и даже просто тревожное раз и навсегда исключено из его жизни. Исходя из этой «теории» житейского комфорта, молодой поэт оказывается перед почти не-

разрешимой проблемой отсутствия всяких проблем. Если заранее дано, что мир окончательно переустроен и даже благоустроен старшим поколением, что молодого человека исключена необходимость и потребность какой бы то ни было борьбы и серьезного труда, то поэту остается лишь подыскивать оправдания всем без исключения явлениям жизни.

Подкинули ребенка — чудно, ребенка подкинутый в наше время и на нашем эстраде, — счастливец: «и я завидовал тому, кто многим людям станет сыном в большом и ласковом доме» (Долматовский); друга детства и юности убили на границе — тоже не плохо: «И мы его имени клуб назовем», да еще по датам его жизни и смерти замечаем «как тянется время» (Алигер); девушка, в которую «три года парень «был влюблен», вышла замуж за другого — можно повеселиться на свадьбе: «И нет претензий никаких у нас ни у кого, невеста потчует двоих, а любит одного» (Твардовский).

Поэт не знает и не хочет знать, что происходит в том или ином случае в реальной жизни. А раз так, его поэзия становится не отражением действительности, а своего рода литературным баловством. Вот этот-то элемент баловства и составляет один из существеннейших минусов «молодой» поэзии. И до тех пор, пока так легкость и неправда, которая заключается в этом баловстве, будет оправдываться требованиями «литературного направления», до тех пор будет существовать и бодрячество, и «розовый» оптимизм, и закировка. Рано или поздно, молодому поэту предстоит столкнуться с настоящей большой жизнью и понять, что подлинный оптимизм заключается не в «бодром» приме-

рени с отрицательными явлениями действительности, а в неуклонном их преодолении, что счастье не в бездумном покое, а в полноценной творческой жизни. Если поэт поймет и почувствует, что действительность наша требует напряженного творческого труда и непрерывного роста человеческой личности — и в этом ее красота, — поэт уже стоит на пороге зрелости. И тогда ему не нужен уже ярлычок «молодой», служащий синонимом «молодо — зелено». Недаром поэта Твардовского очень давно перестали называть «молодым», недаром Симонов, с первых же своих строк заговоривший о мужестве и героизме, публично отказался от этого, по сути дела такого хорошего, но опороченного звания. Недаром Долматовский, побывав на Дальнем Востоке, пройдя боевую закалку на финляндском фронте, написал ряд серьезных и бодрых, но совсем не «розовых» и не «бодряческих» стихов.

Перестав быть «несовершеннолетними», наблюдающими жизнь взрослых людей из-за порога своей искусственно оберегаемой детской, поэты вступают как равноправные участники в подлинную большую жизнь и создают полноценные произведения искусства.

Маргарита Алигер, начав свою творческую деятельность как типичный «молодой» поэт, прошла недлинный, но тяжелый путь к поэтической зрелости, путь полный исканий, ошибок и срывов, но все же приведший ее к победе.

Маргариту Алигер критика в свое время обвиняла в равнодушии. Пожалуй то, что названо было равнодушием, на самом деле являлось неведением. Если смерть друга представлялась Алигер лишь вехой, отмечающей движение времени, то это происходило не столько от равнодушия, сколько от того, что она отмечала лишь ту сторону вопроса, которая затронула непосредственно ее; трагизм потери близкого ей был, по видимому, незнаком. Кроме того у нее был все объясняющий и оправдывающий тезис благоустройства жизни, пресловутая этика «молодых», объявляющая трагическое непристойным. Маргарита Алигер с первых дней своей работы обратилась к поэтическому оправданию житейских горестей и неудач, представлявшихся ей подлежащими всесторонней реабилитации.

Этого своеобразного принципа «всепрощения» она придерживалась долго и стойко. Особенно ярко в этом отношении стихотворение «Железная дорога», написанное в 1938 году и открывающее одноименный

сборник стихов Алигер. Здесь она пытается возвести на принципиальную высоту, обосновать и оправдать далеко неотрадные и не обязательные явления действительности, изобразить случайные несчастья неудачно сложившейся жизни, как типический образ бытия.

«Есть в движении сладость и тревога.  
Станция, внезапный поворот...  
Жизнь моя — железная дорога,  
Вечное стремление вперед.  
Желтые вокзальные буфеты,  
Фикусы, которым не цветы,  
Черные, холодные котлеты,  
На стене суровые запреты,  
Тихое, шепчущее «прости».  
Слишком много дальних расстояний...»

Картина безотрадная, но автор, по видимому, считает ее закономерным и похвальным образом жизни: «только бы хватило кратких дней», — заботливо восклицает М. Алигер.

«Слишком много встреч и расставаний  
На вокзалах юности моей».

Жизнь в стремительном движении к неизвестной цели среди случайных, как дорожные спутники, людей, казалось бы, это очень далеко от радостного целеустремленного существования советского человека. Но М. Алигер «все встречает, все приемлет»:

«Так лети, судьба моя, лети!

Вот они

твои,

перед тобою

Железнодорожные пути.

Чтоб в колесном гомоне и гуде,

Чтоб в пути до самого конца,

Вкруг меня всегда дышали люди

разные,

несхожие с лица».

Замызганный вокзал, подчеркнуто «разные», значит все новые и новые лица вокруг, — во имя чего же обречен человек на такое страшное и пустое одиночество?

«Чтобы я забыла боль и горечь

разочарований и невзгод,

Чтобы мне осталась только скорость,

Вечное стремление вперед».

Вот оно куда обернулось бодрячество: долой все во имя абстрактного и одинокого стремления вперед! Болезненным надрывом звучат эти стихи, растерянностью человека, тщетно пытающегося втиснуть противоречия подлинной жизни в

игрушечную рамку поверхностного оптимизма.

Неумение отделить положительные стороны нашей действительности от подлежащих уничтожению остатков старого, от отдельных недостатков, приводит поэта к своему рода модернизированному «непротивленчеству». Вместо типического характера советского молодого человека, борющегося за коммунизм и вместе с тем и за свое полноценное бытие, перед читателем возникает все тот же «хлюпик», жертвенно возлагающий на себя вериги железнодорожного аскетизма. Впредь он будет кушать только «черные», только «холодные» котлеты, всю красоту цветущего мира он предоставит другим, а сам удовлетворяется «фикусами», которым «не цвести», радость общения с близкими дорогими людьми он также отдаст «людям», оставив себе лишь «скорость»! Образ молодого героя нашего времени разрушается.

А там, где разрушается образ, как бы взамен образа возникают детали и аксесуары, поэт пытается возместить отсутствующий характер нагромождением деталей. Вот автор хочет поймать и, как в зеркале, отразить в стихотворении первые, охлаждающие любовь, моменты и силу подлинной «неподкупной» любви, крепнущей в житейских непогодах. И тут на подмогу поэту являются аксесуары и детали:

«В городском саду цвели девчата  
В летней неприкрашенной красе,  
Хлопали проделкам акробата  
В огненном высоком колесе.  
Мы смеялись в лад веселым парам,  
Каждой клумбе, каждому кусту,  
Поняли любовь свою на старом,  
Почерневшем, кривеньком мосту.  
Тихие,

счастливые  
блуждали

По путям,  
по шпалам,  
по песку.

Вспоминали,  
волновались,  
ждали

Поезда, идущего в Москву» и т. д.

Аксесуары и детали, детали и аксесуары, а людей не видно, а образ их любви попрежнему далек и непонятен читателю. Ни сообщение о том, что герои с собой везли «баул и два узла», ни «гребень на затылке» проводницы, ни то, что в Московском метро они «на лотке купили

настилу», не делает их жизнь ближе читателю. Слово по о своем герое автор говорит как сторонний наблюдатель, бесстрастно регистрирующая все подряд: и «пестерпимую муку», и «гребень» проводницы, и «настилу». Включенная в длинный ряд «психологических» перечислений «пестерпимая мука» превращается в аксесуар, как и «важные» безликие «люди», о которых не стоит говорить Алигер.

Но, приобретая жизненный опыт, поэта творчески вырастает из ограниченных и стеснительных уз поверхностного «оптимизма». Стремление двигаться вперед, совершенствоваться — не остается декларацией, написанной на бумаге. Выливающий оптимист и вдумчивый человек борется в ее творчестве с искусственными рамками «бодрчества».

Алигер ищет типический образ молодого человека наших дней. Ее стихи, даже самые ранние, характерны раздумьем о жизни, попыткой осмыслить жизнь философски. Правда, попытки эти иногда выглядят комично, багаж житейского опыта поэта был мал, и истина о том, что звезда оказывается, не прибыв к небесам гонимиками, представляли Алигер открываем. Но дело не в этих ранних неудачах молодого поэта, а в стремлении мыслить и постигать, в умении смотреть на мир серьезно и вдумчиво, в умении пробовать, испытывать, находить и двигаться дальше на поиски истины.— словом дело в большой строгой и честной работе над собой в своих стихах. Алигер работает упорно и много. Как поэт она проходит первые многообразных поэтических влияний. В ее ритмах звучат то Маяковский, то классические ямбы. Ритмическое разнообразие ее стиха не является просто пестротой стиля неустоявшегося молодого лирика,— нет, это поиски разговорного ритма, ритма простой душевной речи, который позволит полнее и ближе к читателю донести настроение, свое душевное состояние.

Алигер очень искренна, она хочет раскрыться перед читателем до дна, ничего не утаив, возможно точнее передав свою мысль и чувство. А потому она ищет упорно «мысли точной и нагой» и способных выразить эту мысль слова и ритма.

Как образ вечного беспокойства и неустанных исканий поэта стоит в стихотворении «Песок» фигура человека, тоскующего в родной Москве о трудных и знойных днях своей работы в Узбекистане.



Алигер не канонизирует свой опыт. В пути она находит и пробует многое и без сожаления оставляет ненужные находки. Так прошла она полосу манерности и дешёвенького изыска, «кривая вода», прыгающие по крышам таинственные кошки и «щеголеватые» псы остались далеко позади. Позади осталась и наивная подчас весьма утомительная философия, гласящая, что «луна планета», а «Азию обманывать нельзя». Как и многие наши поэты, Алигер обращается к тематике гражданской войны, ее привлекает монументальный образ Кирова. Она пишет серьезно и тщательно, но, лирик по природе, в эпосе она становится излишне обстоятельной, ей кажется, что все нужно объяснить и доказать читателю, и ее поэма «Старик» получается суховатой, ее длинные стихи о гражданской войне («Матрос») бледны и растянуты. Алигер занимается и переводом, являющимся прекрасной школой для молодого поэта, и, надо отдать ей справедливость, ее переводы Леси Украинки дают ей право называться сестрой талантливой украинской поэтессы.

Как своеобразный поэт М. Алигер раскрывается в своей первой большой поэме «Зима этого года». Накопленный за предыдущие годы творческой деятельности опыт, искания пошли впрок талантливому художнику. В этой поэме М. Алигер впервые прямо посмотрела в глаза настоящей живой жизни. Ей открылось многое, чего она не знала до сих пор, открылось дорожкой ценой в тяжелом жизненном конфликте. И не разбуждающую горечь отчаяния вынесла она из жестокой жизненной бури, а подлинный оптимизм советского человека и гражданина. Недаром эпитафией своего первого значительного произведения Алигер взяла слова Горького: «Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община»: «Всякое существование суть — страдание» — это глубоко возмутило меня, я не очень много испытал радости в жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом». Беря эпитафией своей поэмы эти слова Алексея Максимовича, М. Алигер отрекается от своей старой системы оправдания зла. Железнодорожный аскетизм остается позади. Перед читателем — сама жизнь во всей своей полноте и многогранности, со всеми своими противоречиями, с тяжестью утрат и радостью побед.

Человеческая личность, раньше отодвигавшаяся на задний план во имя некоей

абстрактной всеобщности, здесь — в центре внимания:

«быть может личные дела  
чужды поэме?

Полно, нет».

Герой поэмы — полноценный советский человек, далекий от порочного противопоставления личного общественному. Интересы общества являются личным делом каждого человека, в личной судьбе которого в свою очередь заинтересовано общество.

Колеблясь перед вступлением в большую жизнь, молодая поэтесса размышляет о том, как повлияет материнство на творческий труд. Она спрашивает песню, требует ли она от поэта жертвы, отказа от личной жизни.

Но песня отвечала:

« — нет.

Ждала ты слова моего?

Ступай, не бойся ничего.

Изведай все в свои года,

От ненависти до любви.

Все претерпи, переживи

И, переживши, мне отдай».

Поэт должен быть не схимомонахом литературы ради, а полноценным участником жизни. Поэт покидает наблюдательный пост «молодого» и вступает наравне со всеми в настоящую жизнь. Перед читателем встает образ подлинного молодого героя наших дней: комсомолка и матери, мужественно преодолевающей горе и невзгоды тяжелой «зимы этого года». Благодаря большой и серьезной насыщенности образа, поэма о личных переживаниях героя становится произведением большой социальной значимости. Лирический герой решает для себя проблему творчества и проблема эта общезначима. Обвиняемая перестраховщиками в близости с врагами, комсомолка ставит перед собой вопрос о том, что же такое подлинная бдительность и настоящая дружба.

«И без друзей прожить нельзя,

И без друзей не стоит жить.

Но чтоб тебе нашлись друзья,

Ты должен сам уметь дружить.

Без пошлых фраз, умильных слез,

Не ради красного словца,

Дружить сурово и всерьез,

Поверив другу до конца

Но помни:

если ты погряз

Среди недостойных склок и дрызг

И сам себя зарыл в беду,

Друзья на помощь не придут».





## О творчестве Алио Машашвили

### 1

За последние годы мы много интересно узнали о богатой и своеобразной грузинской поэзии, имеющей многовековые корни. Однако до сих пор уделялось недостаточно внимания одному из наиболее крупных поэтов советской Грузии — Алио Машашвили. Ни одной статьи о нем еще не имеется на русском языке.

Родившись в 1903 году в Мингрелии, Алио Машашвили (Мирцхулава) очень рано пристрастился к художественной литературе и начал писать стихи. На воспитание его литературных вкусов немалое влияние оказало пребывание в Московском Высшем Литературно-Художественном Институте, руководимом замечательным русским поэтом и ученым Валерием Брюсовым.

Вернувшись в начале двадцатых годов на родину, Алио Машашвили принял самое активное участие в литературной жизни. Этот период развития грузинской литературы характеризовался явлениями ожесточенной классовой борьбы. Напомним, что после установления советской власти в Грузии в феврале 1921 года писатели оказались разобращенными на два враждебных лагеря. Часть писателей старой формации, сложившихся задолго до октября, нередко проявляла полное непонимание исторического смысла великих революционных событий. Некоторые из них, настроенные враждебно по отношению к молодой власти советов, оплакивали прошлое и проявляли пеприкрытую злобу. Зато наиболее одаренные и жизнеспособные дореволюционные писатели-интеллигенты (например, Галактион Табидзе) нашли в себе силы и мужество пойти на полный разрыв с прежним. Они переоценили свои старые эстетические «ценности» и присоединились к строителям социализма. Однако далеко не

все из них смогли сразу избавиться от тяжелого груза прошлого и от ряда существенных идейнотворческих противоречий.

Возникшие уже после революции литературные группировки (в особенности — грузинский «Леф» — «Мемарцхенеоба» во главе с Симоном Чиковани) принципиально отличались от дореволюционных писателей, но на первых порах не были в состоянии давать полноценное художественное отражение революционной действительности.

В этой сложной литературно-политической обстановке немногочисленным тогда революционным писателям Грузии пришлось вести упорную и обостренную борьбу за создание подлинно советской литературы. Ее основы заложило старшее поколение пролетарских писателей (Сандро Эули, Иона Вакели и другие), начавших свою деятельность до революции и нередко подвергавшихся всевозможным гонениям со стороны меньшевистских властителей. Но в большинстве случаев их поэтическое творчество отличалось тогда некоторой абстрактностью и своеобразным «космизмом». Подобно некоторым писателям из московской группы «Кузница», они воспевали революцию, как грозу, обновляющую вселенную, но уделяли недостаточно внимания конкретным явлениям революционной действительности.

Между тем советской стране была необходима качественно новая литература, соответствующая эпохе строительства социализма. И вот в начале двадцатых годов появилось новое поколение совсем молодых писателей, вышедших преимущественно из комсомольской среды. Сюда относятся Алио Машашвили, Константин Лордкипанидзе, Карло Каладзе и другие. На долю этой талантливой молодежи выпало не только продолжение, но и более углубленное развитие борьбы на литературном

фронте, начатое старшим поколением пролетарских писателей Грузии.

В сущности, как творческая индивидуальность, Алио Машашвили сложился сразу. Правда, и он немного грешил в самом начале несколько абстрактным разрешением революционных тем. Но так продолжалось совсем недолго. Пройдя прекрасную школу ленинского комсомола, Машашвили быстро окунулся с головой в литературно-политическую борьбу. Он оказался целостным и целеустремленным. Ему не пришлось метаться в мучительных противоречиях и сбрасывать со своих крепких юношеских плеч излишнюю тяжесть литературных традиций. Его сознание никогда не было чрезмерно перегружено старыми эстетическими ценностями.

Вместе со своими товарищами по литературе Алио Машашвили стал проявлять прекрасный задор молодости, сознание своей силы и правоты. «Дружно в жизнь шагнем, молодые и упрямые», — заявлял в стихах Алио Машашвили, кое в чем напоминая Владимира Маяковского. Он стремился быть поэтом-трибуном и определял себя как «воспитанника толпы», коллектива трудящихся.

Машашвили явно переоценивал победы пролетарской молодежи на литературном фронте. Первый журнал комсомольских писателей Грузии «Будущее», в котором высказывалось немало незрелых мыслей, казался ему в те годы своеобразной цитаделью социалистической литературы:

Мы воздвигли твердыни,  
Чтоб бить по врагам.  
Стояло «Будущее»  
Неприступно и прямо  
И подобно большим  
Комсомола шагам  
Мы все росли.  
По-гигантски упрямо.

(«Тяжелая индустрия литературы»).

Порою молодые грузинские поэты бывали чересчур самоуверенны и совершали немало существенных ошибок. Но их основная работа была несомненно положительной и знаменовала собою новый этап в развитии литературы советской Грузии.

Алио Машашвили оказался в первой шеренге тех воинствующих молодых грузинских писателей, которые повели непримиримую борьбу за создание подлинно-революционной литературы. Он считал необходимым стремиться к повышению политического значения поэтического слова. Если великий Маяковский говорил: «Я хо-

чу, чтоб к штыку приравняли перо», то Машашвили слагал стихи о неизменности революционной борьбы и стремления вперед. Он продолжал эту тему так:

Поэтому стих

Ободряет порой,

Порою он пулями

Сам весь изранен;

Ведь в классовых битвах —

Не за игрой —

Стих, как солдат,

Сражается рьяно.

Вместе со своими единомышленниками Алио Машашвили довольно самоуверенно уподоблял свое перо динамиту, которым «взрывается чувство», а стихи — бомбам, разрушающим основы старого искусства. Молодежь презирала тех

Кто новым не дышит,

Кто старым живет.

Немало левацких загибов было допущено молодыми грузинскими поэтами. В 1925—1926 году Алио Машашвили написал поэму «Я и Бараташвили», представлявшую собой своеобразный литературный манифест пролетарских писателей младшего поколения. В этом интересном произведении поэт очень запальчиво и резко противопоставлял активных борцов за революционное искусство советской страны всем энигонам старой литературы. При этом, наряду с совершенно правильной оценкой ряда классово-враждебных явлений в грузинской литературе он допустил несправедливые выпады по адресу Галактиона Табидзе, Иосифа Гришашвили, Александра Абашели и других. Всех их он причислял к живым покойникам, жителям старого тбилисского кладбища Дидубэ. Безапелляционно заявляя, что прошлое умерло, он отрицал за ними какие бы то ни было творческие возможности в настоящем и будущем.

Между тем, как мы уже отмечали, выдающийся грузинский поэт дореволюционной поры — Галактион Табидзе одним из самых первых примкнул к строителям социализма. Иосиф Гришашвили, долгое время элегически воспевавший уходящий старый Тбилиси, тоже сумел несколько позже перестроить свою «лиру» и запеть новые песни о советской стране. Крупный поэт демократического направления Александр Абашели, проявлявший в первые годы революции упадочные, пессимистические настроения, постепенно стал полноценным



зии из отсталой аграрной страны в передовую социалистическую республику с развитой индустрией, с новыми цитрусовыми садами и чайными плантациями. Например, в стихотворении «Мткваристан» (1925) воспевается «солнце Загэса» — первый венец грузинской электрофикации.

Заслуживает внимания стихотворение «Лаитурский комсомол» (1931), в котором отчетливо передана радость свободного труда, массовое увлечение строительством социализма. Здесь удачно передано закономерно-горделивое самосознание советских людей нового типа, соревнующихся между собой и преображающих лицо земли под мудрым руководством великой партии Ленина-Сталина.

Вот как звучит в стихах Машавили бодрый голос гурийского комсомольца:

Просторы полей Горы встали горбато.  
И мощный в пространствах я ключ различаю:  
«Отчизна моя, как ты стала богата,  
Как много плантаций советского чая!»

Однако поэт всегда отчетливо сознавал, что строительство социализма является напряженным трудом, начатым в ожесточенной борьбе с врагами, с остатками отживших и обреченных на гибель классов. Поэтому тема труда переплеталась у Машавили с темой борьбы и нередко перерастала в особую тему защиты наших достижений от всякого рода классово-враждебных посягательств. Несомненно, что грузинский поэт одним из первых заговорил в стихах о необходимости неусыпной революционной бдительности. В этом — его большая заслуга.

Еще в раннем стихотворении «Приговор» (1925) Алио Машавили с большой силой и выразительностью описал неудачную попытку диверсанта нарушить мирное течение жизни в советской Грузии. Гневным презрением и беспощадностью к врагам народа проникнуты заключительные строки этого стихотворения:

Что ж! Итог теперь  
Подвести пора,  
Ты не жалуйся —  
Сам того хотел!  
Ваша кончена навсегда игра.  
Вам, предателям,  
Приговор: расстрел!

Не менее интересно другое стихотворение «Инцидент в ячейке» (1927). В яркой художественной форме здесь изображено разоблачение классового врага обманым

путем пробравшегося в большевистскую партию.

К теме о политической бдительности Алио Машавили возвращался не раз и после.

Одним из первых в грузинской поэзии Алио Машавили воссоздал величественный и удивительно простой образ Ленина. Ему удалось поведать в стихах о любви народных масс всего мира к своему вождю. На смерть Ильича поэт откликнулся стихами, в которых большая скорбь сочеталась с уверенностью, что ленинское дело находится в надежных руках.

Немало своих произведений Машавили посвятил образам прошедших времен. Например, в «Балладе о прошлом» (1934) он просто и реалистически-правдиво, несколькими резкими штрихами показал старую фабрику при царизме и ужасающую безысходность жизни семьи умершего рабочего. Следует отметить также сделанный в том же году выразительный портрет предшественника пролетарской литературы в Грузии — Эгнате Ниношвили (1861—1894). Умело используя образы повестей и рассказов Ниношвили, поэт подчеркивал преемственность революционной борьбы, приведшей к победе трудящихся. Грузинские крестьяне, которых автор «Симона», «Пустыря» и «Палеостомского озера» изображал в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века как жертв бесчеловечной эксплуатации, — восстали, победили и сделались полноправными хозяевами страны.

Одной из характерных особенностей творчества поэта является широта мировоззрения. Большевиетское ощущение братских интернациональных связей, как внутри СССР, так и за его рубежами, — вот что лежит в основе творческих установок Машавили. Еще совсем юношей в очень оригинальном стихотворении «Путешествие по Сахаре» (1923) поэт выражал свою кровную заинтересованность в судьбе угнетенных «цветных» народов и рассматривал их как своих товарищей в революционной борьбе:

Будем рады мы освобожденью Индии,  
Шуму на песке под конями и верблюдами,  
С жителем пустынь, как соратник в битву выйду я,  
Черным племенам братьями родными  
будем мы.

А в стихотворении «Рикша» (1927) грузинский поэт удачно создал картину при-

ниженного положения китаЙца, покорно  
возящего на себе надменных, высокомерных  
европейцев. Эта тема совсем не нова. Но  
Машашвили сумел добиться нового ее зву-  
чания и обошелся без всякой риторики.  
С простым товарищеским сочувствием со-  
ветский поэт-гуманист восклицает:

Ох, мой рикша, китайский брат!  
Долго ль судьбе тебя мучить и горбить?  
Иль один ты на свете богат  
Неисчислимым запасом скорби?

Горячим призывом к активности, к во-  
оруженной борьбе за свободу полно это  
прекрасное стихотворение:

Вставай! Ниспровергнуть нужно мир,  
В котором насилие, гнет и муки!..  
Чтоб рабство сбросить, брат, пойми:  
Нужно

винтовку  
взять  
в руки.

Вновь обращая свое внимание к совет-  
ской стране, Машашвили восхищается той  
сталинской дружбой советских народов,  
которая сменила навсегда уродливую ве-  
ковую вражду:

Племя убивало племя, жили мы враждой  
старинной.  
Край от края отгорожен был чужих  
штыков щетиной,  
Но исчезли все границы, будто взорван-  
ные миной.  
Ты, как совесть, в вечном братстве слил  
народы воедино.  
Где вражда грузин к армянам, ненависть  
кистина к пшаву?  
Словно реки в общем русле мы слилися  
величаво.  
В черном пограничном небе штык Советов  
блещет славой,  
И в лицо врагам, как буря, веет шелк  
знамен алых.

У настоящего советского поэта интерна-  
ционализм подкрепляется большой любовью  
к родной стране. Свою прекрасную роди-  
ну — социалистическую Грузию Алио Ма-  
шашвили полюбил с юных лет. Он привык  
восхищаться и красотами ее природы, и  
людьми, привык любовно прислушиваться  
к музыке родной речи.

Солнце теперь нам укажет дорогу.  
Видим времен грядущих простор.  
Мчится потоком по внешним отрогам  
Говор грузинский, сбегаящий с гор.

Поэт снова и снова возвращается к из-  
любленной теме преобразования родной зем-  
ли на социалистической основе. Посетив в  
1934 году после десятилетнего отсутствия  
свое родное мингрельское селение Хорга,  
поэт не узнал его — так все изменилось к  
лучшему. Там, где древесные лягушка  
оглашали несносным гамом болотистые,  
глубые земли, — возникли великоленные  
фруктовые сады. И Машашвили в художе-  
ственных образах показывает, как расцве-  
ла древняя колхидская земля, оваянная  
бессмертными легендами об аргонавтах. Он  
не перестает любоваться своей страной, и  
его патриотическое чувство остается све-  
жим, непосредственным, неизбывным:

Синее небо, луна золотая,  
Словно впервые увидел я вас.  
Как не любить мне родимого края?  
Не отвести мне от родины глаз.

Патриотическая тема отчетливо звучит  
и в других стихах Алио Машашвили. Лю-  
бовь к родине неотделима в сознании поэта  
от стремления бороться за нее и от высо-  
ких представлений о бескорыстной дружбе,  
являющейся основой человеческих отно-  
шений в советской стране:

Ты — человек. Так помни родину.  
Бори невзгоды — рад будь просто  
И росту друга в жизни пройденной,  
Как рад ты собственному росту.  
Помни, что выше всего —  
К родине нежность сыновья.

### 3

Таким образом, Алио Машашвили сле-  
дует определить как представителя боевой  
политической поэзии. Однако мы соверши-  
ли бы существенную ошибку, если бы не  
отметили, что одновременно он является  
и лириком, способным передавать меняю-  
щиеся оттенки человеческих переживаний.  
В его стихах содержится немало образов  
любви. Он любит пейзаж, солнечные про-  
сторы, свежий ветер.

В основе машашвилевского творчества  
лежит бодрость, мужественное отноше-  
ние к жизни со всеми ее испытаниями.  
Упрощенный, поверхностный оптимизм не  
удовлетворяет поэта. Порою в его стихах  
слышатся скорбные, трагические ноты. Но  
нигде мы не находим у Машашвили безна-  
дежности. Мысль о смерти приводит его  
не к отчаянию, а, напротив — к усиленно-  
му стремлению полноценно жить и рабо-  
тать. Одно из своих «новогодних» стихо-  
творений поэт заканчивает так:



Что ж, мы не ропщем. И мрак невзгод  
К будущему не угасит жажды.  
Радостна жизнь. Пусть же новый год  
Встретить сумеем мы не однажды.

Лирическим раздумием философского типа проникнуты лучшие из его «миньютур», представляющих собою цикл четверостиший. Поэт знает, что жизнь немыслима и неинтересна без борьбы, а в борьбе содержится немало противоречивых начал. Он видит сложность жизни и вовсе не старается обойти ее противоречия.

Необходимо отметить, что в поэзии Алио Машашвили отчетливо выражено эпическое начало. Стремление к устойчивым повествовательным формам эпоса характеризовало грузинского поэта уже давно. Но если поэма «Я и Бараташвили», в сущности, была большим лирико-политическим стихотворением, то к эпосу Машашвили подошел вплотную, задумав большую поэму о строительстве бумажного комбината на реке Ингуре (Энгури). Было бы неправильно утверждать, что свой творческий замысел поэт осуществил полностью. В «Ингуре» нехватает стройности развития сюжета. Чересчур велики отступления от основной линии повествования. Но несмотря на ряд существенных недостатков, поэма свидетельствует о дальнейшем творческом росте Алио Машашвили.

Очень удачным введением в поэму «Ингур» служит описание лесистого ущелья бурной реки, несущейся из сванских гор к мингрельской низине и еще дальше к Черному морю. Хорошо показано, как в лесную глушь входят сильные люди — строители социализма. Вековая тишина нарушается стуком топоров, скрежетом пил и шумом падающих деревьев. Здесь Алио Машашвили умело и обдуманно развил столь ценную великим Максимом Горьким тему борьбы человека с природой. Он приводит характерную для советской литературы мысль о том, что все силы природы должны быть подчинены творческой воле человека и служить делу построения социализма. Далее перед читателем возникают очень колоритные, опозитивированные картины социалистического труда в своеобразных условиях лесоразработок. Но Машашвили не дает нам упрощенного представления о победах на трудовом фронте. Он вскрывает ряд жизненных противоречий и снова развивает тему о борьбе с врагами. Мы видим в поэме замаскированную вредительскую работу бухгалтеря, задерживающего выплату зарплаты рабочим, а также попытки бывшего

лесника Беса Букия, не изжившего старой зверино-собственнической психологии, сорвать работу и разжечь национальную рознь. Снова автор затрагивает вопрос о трагической незащищенности человека от разных несчастий.

Давая положительную в основном оценку первой попытке Алио Машашвили создать большую эпическую поэму, следует отметить, что не все в ней разрешено правильно. Очень хорошо, что автору чужд примитивный оптимизм, не дающий возможности оценивать и изображать явления жизни во всей их сложности. Однако не следует чересчур сгущать мрачные краски. Нельзя признать достаточно правдоподобной и типичной для нашей советской действительности судьбу молодого энтузиаста Бурду Шелия, искалеченного во время работы. Даже мажорная концовка не рассеивает тягостного впечатления от предшествующих описаний одиночества юношгероя. Жаль, что Алио Машашвили, написав интересную и заслуживающую внимания поэму, недооценил это обстоятельство<sup>1</sup>.

#### 4

«Родина вождя» — так назвал Алио Машашвили свое большое и очень значительное стихотворение 1936 года, написанное в эпических тонах руставелевским размером «шайри». Здесь поэт дал развернутую картину величавой сталинской родины. Описывая во вступлении красоты природы, он сумел колоритно передать неповторимую прелесть грузинской земли с ущельями, родниками, пшеничными полями, виноградниками и стадами овец на горных склонах. Далее перед читателем возникают образы новой социалистической Грузии с цветущими городами, с колхозным изобилием. И над всей радостной советской жизнью возвышается исполинская фигура ее создателя — товарища Сталина:

Вождь! Сбылась мечта столетий! Завоевана свобода!  
Долго ты из недр народных солнечного ждал восхода.  
Зацвела твоя отчизна, блещут горы, блещут воды.  
Озарен твоей улыбкой лик великого народа.

Заслуживают внимания и другие попытки Алио Машашвили хотя бы эскизно запечатлеть в стихах величественный и в

<sup>1</sup> Подготовляя к печати свои стихи для русского издания, автор несколько ослабил мрачность этого эпизода.

то же время простой образ вождя народов. Хорошо, что в машашвилевских стихах о Сталине отсутствует напыщенность оды; они овеяны теплым лирическим настроением. Характерно в этом смысле стихотворение «Товарищу Сталину», написанное в декабре 1939 года тем же шестнадцатисложным классическим размером «шаири». Описывая рождение и детство вождя, проведенное в небольшом карталинском городе Гори, поэт создал обаятельный образ любящей матери, поющей колыбельную песню о сыне — будущем важкаци (герое), освободителе народа:

Мой важкаци, люди молят,  
Руки тянут, не к тебе ли?  
Для людей добыть свободу,—  
Нет на свете лучшей цели.

Далее поэт находит удачные поэтические выражения для описания внутреннего роста Сталина, его революционной борьбы вместе с Лениным, победного шествия по необъятной стране. Основная идея, которую проводит здесь автор, заключается в следующем: никто и ничто на свете не может помешать осуществлению воли народа, лучшим выразителем которой является товарищ Сталин.

Сейчас Алио Машашвили находится в поре творческой зрелости. Большевистская партийность, патриотизм, любовь к советскому народу и ненависть к его врагам — вот что характеризует весь его творческий путь. За заслуги в области художественной литературы он награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета.

# Айни—основоположник таджикской прозы

## I

С чрезвычайной, непростительной медленностью идет включение литератур братских национальных республик в общий культурный обиход СССР; скуден пока наш творческий обмен. И идет он в значительной мере «беспризорно»: появления прозведений национальных писателей в переводах в значительной мере еще зависит от личной энергии авторов, от личной их инициативности, от личных их связей; организованное «выдвижение» лучших работ писательскими организациями до сих пор не практикуется.

Особенно справедливо это, пожалуй, по отношению к Таджикистану, одной из чудеснейших стран Советского Союза, на территории которой гигантские хребты, сходящиеся к «Крыше Мира» — Памиру, снежные пики и ледники соседствуют с роскошью субтропических культур на плантациях Кировобада, с полями египетского хлопка, с массивами дикого миндаля. Геологи — от года в год все настойчивее стучась в недра этих гор — от года в год вскрывают их богатства: золото и уголь, железо и серебро, вольфрам и молибден, лапис-лазурь и рубины — и даже алмазы. Стране предстоит замечательное будущее: вход в это будущее раскрыт советской властью. Особенно широки перспективы развития горного Таджикистана с нынешнего года с открытием Большого Памирского тракта, пробитого от Сталинабада до Хорога, почти на шестьсот километров, коллективным и вольным трудом колхозников Памира и Восточного Таджикистана, — по следу троп, через скалы, по которым недавно еще осторожно и напряженно ступала нога даже опытного охотника.

Горы и равнины эти овеяны легендами о Дивах и Пэри, о богатырях, плечами проламывавших горы, об отшельниках, в

столбах пламени подымавшихся в небо, о людях-гигантах, по воздуху перепосившихся над снежными перевалами, где ныне режут воздух серыми крыльями советские самолеты. Где-то, в ущельях Восточного Бадахшана затерялись, пока без следа, рубиновые копи царя Соломона. На неприступной круче, выше льдистых вершин, подымаются развалины сказочного замка Зобеиды, жены прославленного «Тысячью и одной ночью» Халифа Гаруна-аль-Рашида. Неподалеку закрыт утесами, сброшенными «нездешнею силой» (шопотом благоговейным говорили о ней до революции горцы), вход в подземное царство, которым прошел, в далекие годы, Искандер Зюлькарнайн, Александр Двурогий — неутомимый и вечный искатель: любимый герой среднеазиатских легенд.

Близ кишлака Иемгон есть пещера, ход из которой идет под горами, под руслом бурного, непереходимого Пянджа, и выводит в Читрал, в Индию. По преданию, конечно, ибо мы узнаем об этой пещере из «жития» похороненного в ней, воскресшего и ушедшего этим ходом в Индию Абу-Муин-ад-Дин Носири Бинно Хисрау Кабационского, неистового политического борца XI века, непримиримого врага суннитских властителей, поэта, философа и «святого». Загнанный поражениями в неприступный Кухистан — «страну гор» Восточного Таджикистана, он утвердил здесь учение исмаилитов, крайней из крайних шиитских сект, от которой отступились даже сами шииты: от мусульманства в ней осталось только обрезанье.

Исмаилиты — живучи. Они сохранились еще и посейчас, не только в Индии, где под покровительством англичан живет в Бомбее их «глава» Ага-Хап, «живой бог», но и в Персии, Афганистане, Китайском Туркестане, и счет им несколько

лет назад (я не располагаю данными на сегодня) шел еще на миллионы. Сохранились они кое-где и в Советском Бадахшане; вплоть до недавних лет высылали они, по весне, «боговидцев», призывавших резать, в жертву богу, рабочий скот — на срыв посевной кампании: исмаилиты с 1840 года — английская агентура. Борьба с ними трудна, ибо у них нет ни мечетей, ни обрядов, ничего, что «внешне» указывало бы на существование общины. И первая строка исмаилитского устава предписывает «керман» — строжайшую маскировку: исмаилит обязан ничем не обнаруживать себя.

Шо-Носири Хисроу (как зовут сокращенно «просветителя» Кухистана) оставил потомкам ряд религиозно-философских трактатов, изучение которых обеспечивает спасение души: Зод-ал Мусофирин (Путевой запас путника), Ваджи-дин (Лик веры), Бустонал-укул (Цветник умов), Хонин Ихвон (Братская трапеза) и другие. Для спасения же душ «простецов», не владеющих грамотой и неспособных к философскому мышлению, им составлено популярное руководство — «Ишкар» (Возвращение). Сорок лет назад, в годы первых моих поездок к верховьям Пянджа, эту книгу приходилось видеть не раз рядом с «Искандер-Намэ», сборником легенд об Александре, любимой книгой горцев, — в Шугнана, Вахане, Рушане.

Но Шо-Носири-Хисроу не только «святой». Он считается одним из родоначальников Таджикской литературы. На будущий год, или в 1942 (точная дата еще не установлена), Союз Советских Писателей Таджикистана готовится праздновать его юбилей. Молодой и талантливый, быстро растущий поэт, Мирсаид Миршакаров, сам родом памирец уже опубликовал очень звучные и образные стихи «Родник рассказывает», посвященные «великому старцу». И в газетах Таджикистана уже появились первые статьи о Хисроу, утверждающие, что «..исмаилиты после смерти Носири Хисроу искусственно сделали его святым» (sic!), хотя, по существу, проповедуя исмаилизм, он в то же время противоборствовал ему: «в философских произведениях его об исмаилизме есть много положений, фактически направленных против исмаилизма» («Коммунист Таджикистана», 1940, № 186).

Здесь не место анализировать наивную эту и ни к чему ненужную «реабилитацию»: чтобы зарегистрировать в истории русской литературы «Слово Даниила За-

точника» нет никакой необходимости сочинять ему биографию атеиста. И для советской литературы — по самому существу ее — совсем не нужны знатные только «древностью рода» предки. Ленин с исчерпывающей, как всегда, ясностью определил границы «литературного нашего наследства»: «мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации» (XVII. 139). Ясно, что в эти грани никак не влезет основоположник исмаилизма в Таджикистане, как не влезет целая галерея мистиков и мракобесов, «канонизированная» в «Хрестоматии» Бекташа (1932—1933) в недавний еще период засилья националистов в таджикской литературе. К чему ведет такое «классическое наследство» — свидетельствует под руководством того же Бекташа составленный словарь таджикского языка, оказавшийся настолько засоренным арабскими и персидскими словами, омертвевшими еще в XIII веке, терминами шариата и исмаилитской терминологией, вплоть до подробнейшей иерархии секты, что при пересмотре его, после разоблачения Бекташа, пришлось изъять из одного первого тома свыше 30 000 слов.

В построении «литературной родословной» националисты исходили из отрицания самого существования таджикского литературного языка и стремления строить советскую литературу на базе старой персидской литературы. Влияние последней, точнее, прямую связь между таджикской и персидской, конечно, нелепо было бы преуменьшать. И по сейчас еще широко популярны — отнюдь не в одних только литературных кругах — Гафиз и Низами, которых в Таджикистане читают в подлиннике. Низами по праву включен в «Антологию таджикской поэзии», изданную недавно. Ясное представление об объеме и характере персидских влияний дает книга С. Айни «Образцы таджикской литературы» (Намунаи адабийоти таджик). Но первоосновы и литературного языка и поэтики советской литературы бесспорно надо искать в народном языке и богатом, веками сложенном народном творчестве, которое националисты держали под спудом.

Разгром националистов, открывший путь развитию подлинной советской лите-

ратуры Таджикистана, первым следствием своим имел «восстановление в правах» таджикского литературного языка. Мы говорим «восстановление», так как он не только существовал, вопреки утверждениям классовых врагов, но и достиг высокого развития, особенно в произведениях крупнейшего из современных писателей Таджикистана Садрэддина Айни, сочетавшего глубокое знание народного языка со знанием обогативших его словарь и его манеру письма персидских (и арабских, отчасти) классиков. И если «отцом новой таджикской литературы» можно, хотя и с оговорками, считать Ахмада Каллэ (середина XIX века), влияние которого сказало не только на последующей дореволюционной литературе Таджикистана, но передалось в определенной мере и за Октябрьский рубеж, то подлинным основоположником таджикской прозы по праву является Айни. Влияние его, впрочем, чрезвычайно высоко и в Узбекистане и в Туркмении: тем более, что пишет он не только на таджикском, но и на узбекском языке, и некоторые произведения его даже печатались на узбекском языке раньше, чем на таджикском. Равного ему по значению до сих пор еще не выдвинули ни литература Таджикистана, ни литература Узбекистана.

## II

На праздновании 30-летнего юбилея литературной деятельности Айни в Ташкенте юбиляр сказал, отвечая на приветствия:

«Все, что в творчестве моем заслуживает действительно одобрения, есть только плод Октября. Октябрьскую революцию я встретил в сорокалетнем возрасте, и, став сорокалетним учеником Октября, я вступил в его школу. Школа Октября, принявшая меня в моей старости, тут же сразу возродила мою молодость. Компартия и Советская власть обладают мощной воспитательной и преобразующей силой».

Так в действительности и было. Вся работа Айни в области художественного слова, принесшая ему славу, связана с Октябрьской революцией. До революции он работал главным образом как педагог, составитель нескольких учебников для «новометодных» (европеизированных) школ, и... как автор подпольных воззваний и листовок, джадидов («младобухарцев»), к которым примкнул еще в 1907 году. «Легальным» писателем он стал после революции 1917, когда народилась открытая джадидская пресса: с тех пор он стано-

вится постоянным сотрудником таджикских газет и журналов, печатая в них статьи, стихи и рассказы. Наиболее интенсивно сотрудничал он в 1919 году в газете «Мехнеткашлар Фауши» и журнале «Шулей Инкиляб».

Первое крупное художественное произведение его — «Бухарские палачи» — появилось в издании УЗГИЗ в 1922 году, новое, переработанное издание вышло в 1936 году; в 1926 году опубликована на таджикском языке повесть «Одина», переведенная на узбекский, русский, украинский и в отрывках на английский, немецкий и французский языки. На русском языке «Одина» выдержала три издания. В 1931 году вышел на узбекском и таджикском языке роман «Дохунда», лишь в 1934 году переведенный на русский, а с русского на украинский и некоторые европейские языки. В 1935 году издан роман «Рабы» (на узбекском и таджикском языках): русский перевод затянулся на несколько лет. В том же году Айни выпустил сборник стихов на таджикском языке и повесть «Старая Школа» на русском и таджикском. В 1939 году вышла повесть «Смерть ростовщика», в 1940 году — повесть «Сирота».

Айни вступил на путь художника слова зрелым, много пережившим человеком, во всеоружии обширного жизненного опыта, о котором говорит его биография. Первооснова этого опыта — общественная деятельность его — тесно связана с движением джадидов, идеологов подымавшейся местной торговой буржуазии, рост которой тормозился старым укладом эмирата и формами скованной шариатом культурной жизни. Начавшись с организации «новометодных» школ, в противовес старой духовной школе, — движение в дальнейшем привело к острому конфликту со сторонниками «старого режима» и жестоким преследованиям, казням и пыткам джадидов правительством бухарского эмирата. Это создало «младобухарцам» ореол революционеров, хотя, по существу, они были всего лишь сторонниками реформы эмирата, ни мало не покушаясь на его устои и на основы социального строя эмирской Бухары: в отношении же национализма они шли дальше самых убежденных улемов, являясь носителями и пропагандистами идей пантюркизма и панисламизма. Они шли с большевиками, пока не закончилась борьба против эмира; но с момента победы советской власти стали в ряды ярых ее врагов; именно из их среды вышло большинство вредителей, врагов

народа. В литературе влияние националистов — бывших джадидов — было особенно сильно, так как в первые годы после крушения царской власти и эмирата именно они составляли ядро узбекских и таджикских литературных сил: Бехбуди, лидер джадидов, был даже открыто объявлен «отцом современной узбекской литературы».

Айни не примкнул к воинствующим националистам, хотя в первое послеоктябрьское время писал, по собственному признанию, националистские стихи. Уже с 1918 года он работал в Советской школе, затем — в советских учреждениях, сотрудничал в советских изданиях, служил редактором и литературным сотрудником в советских издательствах. Но на идеологию его джадидизм наложил на долгое время определенную печать — несмотря на «школу Октября», о которой он говорил в своем юбилейном выступлении. Этому способствовало, несомненно, то обстоятельство, что Айни не знает русского языка (даже в «простом разговоре» он изъясняется по-русски с трудом) и тем самым воздвигнув на него русской — советской — культуры в значительной мере ограничено.

Айни принимает искренно новую, изо дня в день все глубже и ярче меняющуюся жизнь горожан и дехкан, наблюдателем которой он является; но бытовой жизненный уклад среднеазиатского города и деревни, в котором он жил так напряженно и полно, — вековыми обычаями определенный уклад, — остался для него близким.

Этим определился характер всего его творчества. И прежде всего его тематика: она вся в прошлом. «Бухарские палачи» дают на фоне мартовских массовых казней джадидов 1918 года характеристику основных «столпов» старого, эмирского порядка: миршаба (начальника полиции), шейха и мулл — в рассказах палачей, коротающих время, пока вернутся, за новым грузом, арбы, отвозящие трупы казненных; «Одина» рисует жизнь бедняка-таджика в ту же прошлую эпоху; в романе «Дохунда» развертывается широкая картина жизни Таджикистана и Узбекистана в последние годы эмирата и борьбы с басмачеством — до 1926 года; «Рабы» схватывают «рабью жизнь» трудящихся Средней Азии почти на протяжении столетия — от эпохи эмира Хайдара (1802—1826), когда рабов продавали на базарах, до полного освобождения бедноты — уже в наши, колхозные дни. «Смерть ростовщика»

переносит читателя в быт Бухары конца 1890-х годов.

Современной, советской тематики Айни по существу, не касался до последнего своего произведения «Сироты». Но эта повесть в художественном отношении, надо сказать прямо, не может считаться творческой удачей автора: она бледна по краскам, композиционно неудачна, центральный образ не правдив. В прежних же работах, хотя действие последних частей «Дохунд» и «Рабов» происходит уже в советское время, эти части, по существу, только короткие «концовки» — вроде тех, которыми заключаются народные сказки. «Концовки», удостоверяющие, что все беды и испытания, о которых рассказывалось, кончились и героев ожидает в дальнейшем спокойная и счастливая жизнь. «Концовки» эти и в художественном отношении несравнимо ниже «основного текста» романов и повестей Айни. Они схематичны, рассказаны скороговоркой, подчас чисто газетным языком. В них нет той яркости красок, которые находит Айни, рисуя прошлое. Там он — хозяин, здесь — только почетный гость. Особенность эта сказывается тем сильнее, чем Айни, как художник, работает только на материале непосредственно виденного и пережитого. Когда он описывает медресе — это то самое медресе, в котором он был мударрисом (преподавателем) или уборщиком; когда он описывает тюрьму — это та самая об-хана, в которой он, при эмире, «ел собственное тело»; палки палачей — те самые палки, которые оставили на его спине сохранившиеся до сих пор рубцы; хлопковый завод в «Рабах» — тот самый, на котором он год проработал. Он приурочивает действие к местностям, где прошла его жизнь. И даже при отборе не только «главных», но и «эпизодических» действующих лиц своих романов он берет уроженцев мест, в которых сам жил. Особенно предпочитая земляков-гиджуванцев. Этим лимитом не сужается круг изображаемой Айни жизни: биография его настолько богата, что он имеет возможность с одинаковой наглядностью, со знанием мельчайших деталей рисовать и тяжкий труд батраков и бедноты, и роскошь байских празднеств, эмирский дворец и казарму сарбазов, тихую худжру студента медресе и кошмарные ужасы бухарских застенков — воистину полную картину старой, уже отошедшей в историю, жизни Средней Азии.

Но с точки зрения исторической романы и повести Айни не могут быть прина-

ты без существенных оговорок: потому что хотя Айни и является автором нескольких трудов по истории Бухары и истории революции в Средней Азии, в этих научных трудах, в своих романах и повестях он не всегда дает верный анализ описываемых им событий.

Айни находит яркие, до рези в глазах, краски для изображения зверств и грабежей эмира, его приспешников, его администраци, муфтиев и мулл, и позднее, вождей басмачества. Он пишет о них с ненавистью и страстью «кровника»: младший брат Айни, джадид,— был казнен эмиром после страшных пыток; старший, со всей семьей, погиб под ножами басмачей. Сам Айни прошел ужасы тюрьмы, ожидания смертной казни и истязание: не случайно при описании наказания палками во всех повестях и романах неизменно фигурируют 75 ударов — то самое число, к которому был приговорен автор. В этих условиях естественно, что весь этот мир былых своих врагов он дает в образах, доведенных до гротеска: он не оставляет им даже проблеска человеческого чувства: в изображении его это не люди, а звери. Эмир в романе Айни показан только, как «изобретатель» специальной постели для мужеложства и методов казни, дающих наибольшую длительность мучений, которыми любитесь этот сладострастный палачества; «благочестивого» шейха он рисует завсегдаем притонов и публичных домов, и т. д. Для каждого представителя этого мира он подыскивает наиболее мерзостное положение, в котором его можно было бы показать. И показ этот проводится в формах настолько резких, зачастую сверхнатуралистических, что образы выходят даже за пределы художественности. Трактовка эта является слишком упрощенной. Система эмирата приведена к простой «машине для ограбления страны», басмачество изображается как грабительство и зверство. На деле (надо ли говорить?) и эмират, и басмаческое движение значительно более сложные явления, особенно басмачество. Если бы басмачи были только скопищем воров (смотри «Дохунда»), с ними не пришлось бы так долго и напряженно бороться. Тот же Ибрагим-бек, выведенный в «Дохунда», был не просто «вор» и «человек с толстой шеей», как рисует его Айни, а опасный, опытный и тонкий политический враг.

Значительно толще, по рисунку, дается обличение байства: этим нисколько не снижается его беспощадность. Бай в изображении Айни уже человек, хотя чело-

век этот — беспросветно гнусный эксплуататор и вор. «Не тот храбрый вор, что выходит ночью с оружием в руках и, одолев в борьбе, забирает имущество, а подлый вор, обкрадывающий днем, незаметно для всех, обкрадывающий и на той муке, которую замешивают, и на той, в которой обваливают тесто, ворующий и те нитки, что идут в основу, и те, что идут на уток» («Рабы»).

Профессиональные вору рисуются Айни по нравственным качествам своим гораздо выше, чем люди господствующих классов. Эту мысль он с чрезвычайной наглядностью проводит в «Палачах Бухары», где палачи эти, наворованные из заключенных-воров и разбойников, противопоставляются палачам, охранителям престола эмира и шариата.

Свою характеристику господствующих классов Айни подтверждает показом приемов эксплуатации дехкан — воистину исчерпывающим: он восстанавливает весь регламент обирания и эксплуатации трудящихся, который был установлен «законом и обычаем» в эмирате, в точном согласовании с тогдашней социальной иерархией. Не перечить эпизодов, рисующих высасывание жизненных соков из дехканства — эмирской администрацией, эксплуататорами-баями, ростовщиками, и духовенством, ревностно помогающим и чиновникам, и баям, и ростовщикам: «Когда Амлякдар бьет дехканина, дамулла показывает: «Вот сюда ударь, сразу испустит дух». Основная мысль «Рабов» — в том, что в сравнении с закабаленным, к беспросветной нищете и несправии приведенным дехканством положение «настоящих» рабов было менее тяжелым, так как владелец раба все же хоть в какой-то мере щадил его из опасения потерпеть убыток в случае болезни или смерти этого живого инвентаря — блестяще обоснована всеми произведениями Айни. Быту подневольного, закрепощенного крестьянства отведены лучшие страницы его повестей и романов. Они написаны с большой художественной силой и теплотой.

С особой пиротой развевывает Айни картину байской эксплуатации в «Дохунде», где показаны все стадии закрепощения баем дехкан, при посредстве мулл и администрации. Страницы романа рисуют, как зажиточный крестьянин Бозор, имевший землю и двух быков, благодаря хитрым маневрам местного ишана и бая, вовлекающих его в непосильные расходы: то по устройству «достойных похорон» брату, то по устройству праздника —

«тоя» в честь рождения сына, навязывая ему для покрытия этих расходов кредит, закабаляют его постепенно, отбирают у него, при помощи казия (судьи) — продажного, как все казии — землю, приводят его к батрачеству у бая; как начатами за баранов, пропажу которых не сумел предотвратить Бозор, ростовщическим тридцатипроцентным начислением на образовавшийся долг батрак обращается в проданного на всю жизнь раба. И когда он умирает, не успев отработать год за годом нарастающий долг, кабала переходит на сына. Иодгор, герой романа, сын Бозора, оказывается закрепощенным на десять лет; но уже с первых лет его службы у бая становится ясно, что ему не освободиться от кабалы до конца дней. Не освобождает и побег: потому что на защиту париатом освященных «прав собственности» поднимаются все силы старого строя, весь аппарат эмирата: Иодгор проходит сквозь строй бесприютных скитаний, пыток, издевательств, кошмарных тюремных годов.

То же «личное» чувство, которое приводит Айни к гротеску при изображении врагов, лишает его объективности и в изображении «своих». Если в стане «господствующих» он не видит ни одной человеческой черточки, то в стане трудящихся он не видит ни одной отрицательной черты. Здесь он дает только положительные образы. Сельский быт, сельские нравы, весь старый жизненный уклад, явно идеализируются им. В ряде мест он подымает их до идиλλии.

Он не находит «красок укора», изображая пассивность дехкан под гнетом эксплуатации, доходящую до «выдачи» односельчан, решающихся поднять голос против насилия и произвола; обличение мулл не сопровождается обличением религии; обличение бая, эксплуатирующего приверженность дехкан к стародавней обрядности, не затрагивает самую обрядность: она дается отнюдь не как отрицательное, закрепощающее жизнь явление.

Но еще сильнее сказывается «личный момент» в трактовке джадидизма, которому в романах Айни естественно — в силу уже самого метода его работы на материале собственной жизни — отводится очень значительное место.

С одной стороны, он как будто «обличает» джадидов: и в «Дохунде» — устами большевика Абдуллы Ходжи, и в «Рабах», где джадид Шакира Гуляма, в споре о программе джадидов, высмеивают и разбивают на голову ясной классовой логикой

своей простые пастухи; против джадидского тезиса: «если бы эмир и его люди были бы действительно людьми, стали бы хорошими и бай» они выдвигают обратное положение: «Хорошее мясо — хорошие шурпа (суп), хорошее молоко — хорошие катык». «Эмир и его люди — только то что вышло из этих баев, арбобов, аксакалов, то есть они — шурпа из этого мяса и катык из этого молока».

В другом месте романа обличение сформулировано в еще более резких словах: «Джадиды не могут понять дехкан, потому что не знают горестей бедняка-дехканина. А если вы и знаете, то не найдете способов излечить их. А если и найдете, то не захотите этого сделать».

Но обличения эти только «мнение», высказанное тем или иным действующим лицом (при том — второстепенным, эпизодическим): слова, затерянные в вихре дел. А в описании дел джадиды даны Айни всюду бойцами за народ, мучениками за свои идеи, революционерками, идущими в одном ряду с большевиками. Их «союзничество» всемерно подчеркивается. В «Рабах» — царский чиновник Петров, перебежавший после революции на службу эмира, говоря о русских большевиках, добавляет: «Ваши джадиды уже сделались их задушевными друзьями. Ничего не будет удивительного, если некоторые из них постепенно сами станут большевиками, так же, как многие из туркестанских босяков мусульман». В цитируемой Айни фатихе (Воззвании) о священной войне в одну строку поставлены «джадиды, большевики, неверные, богоотступники». Описывая похороны джадиды в Кагане, Айни указывает, что к могиле его несут рабочие, русские солдаты, бедняки-дехкане. На рабочем митинге в Кзылтепе, «старый рабочий», выступая с призывом оказать вооруженную помощь «молодым революционерам Бухары», подчеркивает в своей речи: «Если до Октября их обвиняли в джадидизме, то теперь их стали избивать и предавать казни как большевиков». И когда против оказания помощи выступает «хорошо одетый инженер с белым галстуком на шее» — явный классовый враг, — тот же рабочий дает реплику: «Разве уж так плохо помочь трудящимся Бухары, бухарским революционерам?». И рабочие дружно голосуют за поддержку вооруженного восстания джадидов.

Затушевывая классово-враждебную пролетарской революции сущность джадидизма, а с другой стороны, отводя ярчайшие страницы описанию мучений, кото-



рым подвергались джаиды в темницах эмира, Айни, таким образом, объективно поддерживает ложную трактовку джаидов, как революционеров. Такая трактовка не может принести реального политического вреда в настоящее время, когда национализм разбит, но познавательная ценность исторических романов Айни этим, несомненно, значительно снижается.

Бесспорно ценным и вполне оправдывающим то первенствующее положение, которое занял в литературе Айни, является изображение быта описываемой им эпохи. И если по произведению Айни нельзя создать себе правильное и полное представление о политической жизни страны, то о «бытовой» ее жизни он дает верное и яркое представление, во всю силу своих изобразительных средств.

Средства эти богаты и, что особенно ценно, в высшей мере «народны». Его проза, мастерство которой явно и неуклонно нарастает от «Палачей» к «Смерти ростовщика», прямо и ясно связано — и по технике, и по языку — с одной стороны с тем высоким искусством рассказа, которого в устном творчестве достигли народные профессионалы-рассказчики Средней Азии, с другой — превосходным знанием литературного наследства. От народных рассказчиков, работавших на базаре, у хаузов, под открытым небом, в условиях, где только неслабеющий интерес мог удержать слушателей, идет характерное для Айни стремление держать читателя в постоянном напряжении: острая сюжетность, скупость пейзажа, сводящегося обычно лишь к «обозначению места», в котором происходит действие, с кратким и сухим перечнем того, что на этом месте находится, с указанием исходной мизансцены; «описательный», а не «живописный» метод изображения; устранение всего, что может затормозить стремительность действия, перебрасываемого для «освежения» внимания читателей из дворца в степь, из степи в медресе, из медресе в горы, в зиндан, на хлопковое поле. Когда Айни нужно продвинуть экспозицию, он делает это характерным для народных рассказчиков «лобовым приемом», прямым изложением в нескольких словах, кратких, как надпись в немом кино.

Влияние литературного наследства сказалось на языке, построении образов, композиционных приемах.

О манере письма дает особо ясное пред-

ставление «Дохунда» — роман, в котором с чрезвычайной четкостью выявились характерные черты творчества Айни. Он начинает роман показом двух основных героев: пастуха Иодгора, беглого батрака Сары-Джуйского бая Азим-Шаха, и девушки Гульнор, любящих друг друга, но разлучаемых в первой же главе: Иодгора арестует есаул, присланный для его поимки, Гульнор угрожает выдача замуж за нелюбимого байского сына, или замысленный есаулом, как только он увидел девушку, увоз в гарем эмира. От этой завязки автор в следующей главе делает шаг назад на двор Сары-Джуйского бая, хозяина Иодгора, в момент, когда он просит есаула принять меры к поимке бежавшего батрака; глава эта служит для показа приемов эксплуатации баем дехкан, его грубого обращения с женами, его пресмыкания перед чиновниками эмира. Следующие главы уводят нас еще дальше назад — на 15 лет, развертывая картину постепенного разорения отца Иодгора байскими «операциями», приводящими к закабалению Иодгора. Вторая часть начинается первой встречей Иодгора и Гульнор, с первого взгляда полюбивших друг друга; идет описание их счастливой идиллической жизни в далеком и глухом горном ущельи. Идиллия нарушается сватовством байского сына — и глава заканчивается строками, возвращающими читателя к завязке первой части: «Иодгор «поздравил» Гульнор с помолвкой и был схвачен есаулом». В дальнейшем Иодгор водворен к баю и гонит из Сары-Джуя байских баранов в Бухару на продажу. Гульнор в это время сватают за Хакима (бека), которому есаул доложил о чудесной красоте девушки. Эпизод этот дает повод к подробному показу обряда сватовства.

Дальнейшее повествование перебивается вводными главами о бухарских медресе и учениках-муллах, вместо ученья занимающихся пьянством и вымогательством. Иодгор прибывает в Бухару и, чтобы избавиться от байской кабалы, поступает в нукеры (солдаты) эмира. Начинается ряд злоключений Иодгора, поскольку солдатская кабала оказывается хуже байской: Иодгор бежит, пойман, заключен в зиндан (тюрьму), организует побег заключенных, но вскоре попадает опять в руки эмирских тюремщиков. Март 1917 года застаёт Иодгора в зиндане, куда к прежним арестованным присоединили схваченных эмиром джаидов. Следует описание пыток и казней джаидов (уже в марте 1918 года), перевод Иодгора в самую страшную

из бухарских тюрем «обхана». Здесь он подружился с коммунистом Абдулла-Ходжей, который перед казнью дает завет Иодгору: присоединиться к революционерам, вступить в компартию.

Следующая глава переносит сразу в 1920 год: Иодгор, все еще заключенный в обхана, становится свидетелем бегства эмира, и, спасшийся от пожара, бушевавшего вокруг тюрьмы, получает, наконец, свободу. Он присутствует при аресте савновников Бухары, поступает на службу к «полномочному представителю» для поездки в Кухистан, в горы, где надеется найти Гульнор. Дальше автор ведет читателя по следу бежавшего эмира, рисует его разгульную жизнь в Байсуне и Дюшамбе, формирование басмаческих шаек, занятие Дюшамбе красноармейцами при содействии восставшего местного населения и окончательное бегство эмира в Афганистан. Восстание было поднято «женщиной-дивоной» (юродивой), которая оказывается Гульнор, изнасилованной есаулом. При занятии Дюшамбе красноармейцами она выступает на митинге, сорвав паранджу и «человек с бритым лицом, всмотревшись, крикнул: «О, ведь ты же Гульнор» и она бросилась в объятия к Иодгору.

Этим заканчивается третья часть. Четвертая, посвященная гражданской войне в Таджикистане, охватывает 1921—1926 годы. В пестрой смене эпизодов, рисующих главарей басмаческого движения, их зверства, перипетии заполнявшей эти годы борьбы — эпизодов, написанных пером публициста, а не художника, тонут вкрапленные среди них кое-где эпизоды жизни Иодгора и Гульнор: участие в бою с басмачами, плен, освобождение красноармейцами, которых привела бежавшая из плена Гульнор. Иодгор пробирается к Энверу-паше, доносит о его местопребывании и тем способствует его разгрому; при помощи подкопа выходит из осажденной Кулябской крепости и приводит на выручку красноармейцев из Ях-Су. На красноармейском привале в долине Сагир он неожиданно встречается с Гульнор, бродящей по Таджикистану в поисках его. Она говорит: «Больше не хочу ждать», но он отвечает: «Надо уничтожить басмачей» — и она идет с ним. По его поручению она пробирается загриммированная в Кала-и-Хумб выведать силы басмачей. Там она едва не погибает, но в последний момент ее спасает выстрел Иодгора: красноармейцы ворвались в крепость. Последняя глава начинается так: «В 1925—1926 году трудящиеся Таджикистана поднялись про-

тив басмачей. Дохунда в качестве большевика шел впереди бедняков и пел: «Катится камень за камнем, Дохунда сражается, от рук добровольцев стало туго басмачам».

Пятая часть. Дохунда и Гульнор на первом Съезде Советов Рабочих, Солдатских и Дехканских Депутатов автономного Таджикистана в декабре 1926 года; они едут потом вместе учиться в средней школе, затем, через несколько лет, приезжают в ущелье, где они встретились в первый раз, и не узнают его. К нему ведет автомобильная дорога, арыки с каменными плотинами, всюду посевы, египетский хлопок, тутовые плантации, полное культурное благоустройство: клуб, школы... Они объезжают Таджикистан на автобусе, в кишлаке Нау три месяца обучают грамоте колхозников, ведут общественную и партийную работу. Кончается роман проходами Иодгора и Гульнор на новую учебу: в конце праздника предколхоза объявляет: «15.1. Таджикистан стал седьмой союзной республикой и Дюшамбе переименован в Сталинабад. Да здравствует товарищ Сталин!».

Весь этот обильнейший материал оформлен на 270 страницах: итог столь характерного для народных рассказчиков перенесения центра тяжести на сюжетные положения при большой скупости в их непосредственном, художественном показе — события зачастую только конспектируются. Мотивировки завязки тех или иных сюжетных узлов обычно отсутствуют. Рассказ приводится только к описанию действия, без какого-либо раскрытия внутреннего мира героев.

По тому же принципу построены и «Палачи Бухары» и «Рабы». И только в последней по времени повести «Смерть ростовщика» Айни впервые по существу сосредоточивает внимание свое на внутреннем мире героев. Сюжет отступает на задний план, на первый выступают психология и быт. Эта повесть построена уже по европейскому, а не восточному образцу.

Природа в произведениях Айни, как мы сказали уже, только декорация, на фоне которой разворачивается действие. Чем более знаком этот «фон» читателю, тем скулеей он дается. И обратно, когда Айни говорит о предметах, для читателя новых, его описания чрезвычайно подробны: так, например, эмирские тюрьмы он описывает в буквальном смысле шаг за шагом, камешек за камешком. То же видим мы, когда, как в иных местах «Дохунды», он говорит о «чудесах гор», закрытых для

городского и вообще равнинного читателя. Эту особенность — чрезвычайно внимательного учета читательского восприятия в построении произведения (то, что Салтыков называл «уважительным отношением к читателю») — необходимо подчеркнуть, как характернейшую черту прозы Айни. «Обыденное» для среднеазиатца он обозначает одним словом (благодаря чему для русского читателя текст трудно доступен без комментариев: в Ташкентском издании «Дохунды» на 270 страниц текста понадобилось 665 примечаний, занимающих почти 20 страниц мелкой печати), но каждое действие описывает с большой последовательностью, движение за движением, облегчая тем самым восприятие неизощренной в книжном искусстве аудитории.

По существу, «пейзажа» в произведениях Айни нет, есть «описание» или обозначение «мест действия». Того же строго описательного метода держится он и в изображении людей. «Портретов» он не дает, он снабжает имена своих действующих людей ремарками, какие давали своим персонажам драматурги старых времен: приблизительный возраст, сложение, цвет глаз и волос, усы, борода, костюм. Исключение он делает только для центральных образов. Так, рисуя Гульнор, героиню романа «Дохунда», Айни пишет:

«Красота и прелесть Гульнор производили сильное впечатление. Ее черные огненные глаза, длинные ресницы, «охотника души», и острые изогнутые брови поражают сердце. Длинные заплетенные волосы, доходившие до колен, были искусно закручены в петлю. Растрепавшиеся волосы вокруг лица придавали ему красоту, какую не способен создать даже самый замечательный художник. Красивая фигура, прекрасное лицо, вьющиеся локоны, соединенные брови — одно другому соответствовало, одно с другим было связано и одно украшало другое. Капли слез, подобно алмазам, катились из ее блестящих глаз на лучезарное лицо» (9).

В той же манере описывает он и «героя» — Иодгор.

«Его лицо было румяно, как яблоко, глаза светились, как утренние звезды, а на губах от довольства и радости играла беспричинная улыбка. Над верхней губой его, казалось, был черный узор лука. Только хорошенько приглядевшись, можно было увидеть, что это не рисунок, это были мелкие черные точки, соединенные вместе, с первого взгляда казавшиеся рисунком. И действительно, этот рисунок или

точки были очень красивы, прекрасно выглядели над губой, ставшей похожей на лепестки красной розы от умывания холодной водой» (72).

Характеристика действующих лиц помещена в действие и диалог: и именно здесь, в диалоге, словесное искусство Айни развертывается во всем блеске.

Айни замечательный мастер речевых характеристик. Читая разговоры его действующих лиц, вплоть до самых эпизодических, отчетливо видишь в этих разговаривающих людей. С замечательной силой сказывается здесь народность Айни, глубокое знание им людей своей родины (русские совершенно не удаются Айни), их внутреннего склада. Ему не надо прибегать ни к каким «фольклорным» ухищрениям для живого их показа: лицо человека вскрывается в нескольких иногда простых, даже незначительных, как будто словах.

Люди оживают в этих диалогах, и в них оживает эпоха. И сильнее всего мы чувствуем ее не в центральных образах, являющихся носителями и выразителями авторских тенденций, которые зачастую приходится отбрасывать, а именно в той массе «рядовых», «второстепенных» участников событий, которых проводит по страницам своих романов Айни. Это момент исключительной важности, потому что подлинными героями произведений Айни являются, в конечном счете, не центральные образы — не Иодгоры, Гульноры, Одины, Иргани, играющие лишь сюжетную роль, — при их помощи Айни связывает и развязывает сюжетные узлы, «протягивает» линию действия, — а именно эти, возникающие и уходящие, едва не в каждом эпизоде обновляемые, часто безмянные, лица. Народ. Он живет на страницах романов Айни даже вопреки авторской тенденции, потому что живые народные сцены, картины города и деревни, показывающие быт, мысли, веру этих людей, сцены непосредственно из жизни взятые, говорят сами за себя, собственным языком. По ним мы иначе, чем предлагает Айни, читаем во многом самую историю событий: художник Айни заслоняет Айни-политика.

Айни по праву занимает первое место в ряду художников слова Таджикистана.

### III

Это первое место поставило Айни во главу «школы прозаиков» Таджикистана: надо особо отметить, что к росту молодого

литературного поколения он относится с чрезвычайным вниманием и едва ли найдется в Таджикистане прозаик, рукописи которого не проходили через руки Айни. Число их, впрочем, невелико: в Таджикистане (как в среднеазиатских республиках вообще) ведущее место все еще занимают поэты; молодежь медленнее осваивает прозу — труднейший из видов «мастерства слова». По существу до сих пор выделились только три «молодых» прозаика.

Из них наиболее «близким» учеником Айни является Джамал Икрами (родился в 1909 году в Бухаре). Он начал писать с ранних лет, уже со второго класса школы был в редколлегиях стенгазеты. Учебу у Айни начал в 1927 году, когда принес ему свои стихи (на узбекском языке). Айни не одобрил, посоветовал писать рассказы. Первый рассказ, заслуживший пометку мастера «подлинное», — «Ночь на Регистане» (главной площади Бухары), — был напечатан в Ташкентском журнале «Спутник знания». Переезд Икрами в Самарканд, где он поступил в Педагогический институт (после окончания педтехникума), укрепил, сделал постоянной его связь с Айни: учеба становится систематической. Айни заставлял молодого своего ученика (Икрами было в это время всего 19 лет) упорно работать над рукописями: достаточно упомянуть, что, например, повесть «Ширин» (о басмачестве в Бухаре) Айни семь раз возвращал автору для переработки по его указаниям. Лучшие удавались рассказы: постепенно в печати появилось их свыше десяти. К 1930 году Икрами настолько выдвинулся уже, что был включен в состав «литературной ударной бригады» на Таджикский лингвистический съезд, наряду с ведущими тогдашними писателями. В 1933 году он напечатал повесть «Две недели» (о басмачестве в Таджикистане) и отрывки из повести «Хильмор», посвященной землеустройству в Бухаре. В 1934 году вышел сборник его рассказов «Жизнь и победа». Вслед за тем изданы были повести «Тир Мор» и «Что я привез из Москвы»; последняя повесть — для детей, — о поездке двух мальчиков из Варзоба через Сталинабад в Москву и обратно написана под непосредственным влиянием книги Неверова: «Ташкент город хлебный».

Влияние советской русской литературы вообще сказывается заметно на творчестве Икрами: в работе над первым своим, в 1934 году начатым двухтомным романом, в котором он поставил себе задачей пока-

зать жизнь Таджикистана — в обеих его различных по экономическим условиям частях — быту населения и прочему частях — в юге и севере: с 1930 года до полной победы коллективизации, он взял себе за образец «Поднятую целину». В 1940 году вышла первая часть (на таджикском языке).

Икрами работает в данное время редактором в государственном издательстве Таджикистана. На русский язык из работ Икрами переведено только несколько небольших рассказов на оборонные темы.

Вторым «заметным» молодым прозаиком является Рахим Джалил, ленинабадский (ходженец). Он начал свою литературную деятельность в 1930 году, как автор малоудачных стихов, сухих и холодных, являвшихся, строго говоря, ритмизованной публицистикой («Волны победы», 1933). Первый роман его — исторический, охватывавший период от ходженского восстания 1916 года до последних лет гражданской войны, — был забракован Айни, не переработан автором и отредактирован третьим из представителей молодой таджикской прозы Хаким Каримом. Известность Джалил приобрел, главным образом, как новеллист (рассказы «Мать», «Мать и дочь», «Магнит», «Кумри», «Трудовая девушка» и пр.). В 1939 году вышел сборник его стихов и рассказов.

Наконец третье место (по порядку, не по качеству) занимает Хаким Карим, автор сборника рассказов на бытовые темы, незаконченного романа «Осада Куляба», из которого опубликованы были только отдельные «звенья», и пьесы о восстании 1916 года (написанной совместно с Раджабовым).

При всем различии «творческого лица» этих трех прозаиков «младшего поколения» произведения их отмечены рядом общих черт. Все они принадлежат к тому поколению, которое уже не проходило духовную школу, не училось в «мактабе», но и не получило достаточного образования в новых учебных заведениях. Хаким Карим учился на рабфаке и в Красной Армии, Икрами дошел только до второго курса педагогического института. Персидскому и арабскому языкам, дающим ключ к «классическому литературному наследию», им пришлось учиться «самоучками». Культурный уровень их не очень высок: уйдя от старого, они еще весьма слабо овладели новым. Вторая общая черта — слабое владение литературной техникой. Оно сильно сказывается, так как все трое, особенно Рахим Джалил, настойчиво ищут новых форм по русскому и европейскому

образцам,— и поскольку в этом искании единственный их учитель Айни, работающий, как мы видели, в старой традиционной манере, помочь им не может, опыты эти заканчиваются часто неудачами. В романах и повестях авторы плохо справляются с композицией, допускают длинноты и т. д. Характерно, что, неплохо давая показ внешнего действия (особенно Рахим Джалил, вообще наиболее «гибкий» из трех), молодые прозаики отступают перед внутренним миром своих героев.

Сказывается и то обстоятельство, что все они фактически работают совершенно в одиночку: Айни живет в Самарканде, Икрами — в Сталинабаде, двое остальных — в Ленинабаде. И если поэты Таджикистана не могут похвастаться наличием достаточно способствующей быстрому и уверенному росту творческой среды (хотя в Сталинабаде имеется сильная группа поэтов — Турсун-Заде, Дехсти, Рахими, Юзуфи, Сухайли, Миршакар и др.), то прозаики целиком предоставлены каждый самому себе.

Вредное, скажем прямо, действие оказала и ранняя профессионализация — зло, особо широко распространенное в национальных республиках: там редки писатели с достаточным жизненным опытом; благодаря скудости литературных — тем более квалифицированных — кадров и большой потребности в них молодежь очень быстро «профессионализируется». И так как именно проза требует наибольшей зрелости от писателя, слабость жизненно й подготовки сказывается особенно сильно именно на этом участке литературного фронта. Из трех названных нами только Хаким Карим накопил довольно широкий запас впечатлений, и то только «впечатлений».

Только настойчивость работы, усердное изучение русских классиков (Горького особенно) и лучших образцов советской литературы, характеризующие «трех молодых», дает надежду на преодоление немалых препятствий, стоящих в данное время на творческом их пути.

## РАССКАЗЫ О МАЯКОВСКОМ

Это, конечно, не рассказы в общепринятом смысле этого слова. В сборнике В. Катаняна<sup>1</sup> мы найдем статьи исследовательского характера о творчестве Маяковского («Маяковский за границей», «Сталинские лозунги»), публикацию новых или малоизвестных текстов, соответственным образом комментированных («Они — свое, а мы — свое», «За хлеб насущный», «Красный перец» и др.), историю публикаций некоторых важнейших произведений («Вокруг поэмы «Хорошо», «Первое стихотворение о Ленине») и, наконец, воспоминания («Случай с Тальниковым», «Одно незаписанное стихотворение», «Продолжение следует»).

Наибольший интерес, естественно, вызывают в сборнике В. Катаняна публикации новых и малоизвестных текстов Маяковского, а также статьи, содержащие материалы для научной биографии великого поэта нашего времени.

Как известно, черновики стихотворений и поэм Маяковского сохранилось очень мало. Совсем немного разыскано новых текстов Маяковского.

В статье «Они — свое, а мы — свое» приведено неопубликованное стихотворение Маяковского, разысканное В. Катаняном в одной из записных книжек Маяковского. Оно предназначалось для сатирического журнала «Тачка», в организации которого принимал живейшее участие В. Маяковский. Это стихотворение характеризовало программу сатирического журнала, так и не увидевшего свет. Позднее в различных вариантах оно нашло место в окнах сатиры РОСТА.

В статье «За хлеб насущный» опубликованы тексты к двум неизвестным окнам

<sup>1</sup> В. Катанян — «Рассказы о Маяковском». Государственное издательство «Художественная литература». Москва, 1940, стр. 328.

сатиры РОСТА. Одно сохранилось в виде фотокопии, другое — в записной книжке В. Маяковского. Особенный интерес представляет последнее — о смычке рабочих и крестьян:

Брось, крестьянин, петь «не дам»,  
Позабудь про ругань.  
Ни рабочему, ни вам  
друг не жить без друга.

Дай с врагом покончить, брат,  
Чтоб не лезли бары...  
И разбухнут от добра  
У крестьян амбары.

В статье «Нехарактерный случай» Катанян приводит вставку ко второй редакции «Мистерии Буфф». Она не вошла в окончательный текст, потому что Маяковский, видимо, исключил ее сам:

Дальше идет использование в таком же сатирическом плане темы об очередях, об ордерах. К сожалению, В. Катанян не говорит о том, почему эти строки не вошли в окончательный текст второй редакции «Мистерии Буфф». Нам думается, что они не вошли именно потому, что Маяковский сам нашел их политически неуместными.

Такие случаи у Маяковского бывали. Достаточно вспомнить об изъятии им концовки стихотворения «Домой». Он сам хорошо объяснил причины этого изъятия.

Да и В. Катанян в статье «Четыре поправки» приводит случай со стихотворением «Польша», опубликованным в «Рабочей Москве». В этом стихотворении автором было выброшено четверостишие, обнаруженное в бумагах Маяковского В. Катаняном.

В статье «Красный перец» В. Катанян приводит целый ряд стихотворных подписей к рисункам, принадлежащих Маяковскому. Авторство их В. Катанян устанавливает путем стилистического анализа и опроса сотрудников «Красного перца».

Несомненную ценность представляют статьи «Маяковский за границей» и «Сталинские лозунги». «За каждым стихотворением В. Маяковского, — пишет В. Катамян в предисловии к своей книге, — стоит событие реальной действительности — специальный случай», вызывавший его к жизни.

Это хорошо показал В. Катамян в большой статье «Маяковский за границей». Статья ценна и для научной биографии Маяковского, и для характеристики творческой истории многих заграничных стихов Маяковского. На основании переписки Маяковского с Л. Брик, на основании материалов заграничной прессы, документов из архива Маяковского, очерков поэта «Мое открытие Америки» и т. д. В. Катамян нарисовал картину путешествий Маяковского за границу, убедительно раскрыв при этом характер заграничной темы в его творчестве.

Чрезвычайно важен замысел статьи «Сталинские лозунги» — показать на конкретном анализе стихов 1926—1930 годов, как «Сталинская политика партии была определяющим началом всей поэтической работы Маяковского» (стр. 186). В. Катамян прослеживает, какое отражение нашли доклады и выступления товарища Сталина в поэтической работе Маяковского. Так, например, В. Катамян приводит цитату из доклада товарища Сталина на апрельском пленуме ЦК ВКП(б), характеризующую лозунги партии последних лет. Это лозунг самокритики, заострения борьбы с бюрократизмом и чистки совпартата, лозунг организации новых хозяйственных кадров и красных специалистов, лозунг усиления колхозного и совхозного движения, лозунг наступления на кулака, лозунг сужения себестоимости и коренного улучшения практики профсоюзной работы, лозунг чистки партии и т. д.

В. Катамян показывает, что на каждый из лозунгов, данных товарищем Сталиным, Маяковский откликнулся не одним, а несколькими стихотворениями. Так, например, о самокритике Маяковским написаны стихи «Критика самокритики», «Помпадур», «Подлиза», «Столи», «Легкая кавалерия», «Вонзай самокритику». Точно так же нашли свое отражение в стихах Маяковского и другие сталинские лозунги.

К сожалению, в этой части работы В. Катамян ограничивается лишь перечнем стихотворений, не подвергая их анализу. В ряде случаев В. Катамян показывает сталинские цитаты, вошедшие в стихотворный текст Маяковского. Эту важней-

шую тему нельзя считать разработанной. Она только заявлена В. Катамян. Но уже одно это достойно того, чтобы быть отмеченным.

Воспоминания Катамяна о Маяковском не лишены интереса. Мы имеем в виду такие вещи, как «Случай с Тальниковым» и «Ненаписанное стихотворение». Но глава «Продолжение следует» — незначительна.

В заключение нужно сказать следующее: на фоне всей литературы, вышедшей в 1940 году о Маяковском, книга В. Катамяна выгодно отличается от многих других работ. В то время, как большинство авторов рассказывают о жизни и работе Маяковского до революции, В. Катамян почти все свои рассказы посвятил работе Маяковского после революции.

*Н. Плиско*

\*\*\*

## ДВЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О МАЯКОВСКОМ<sup>1</sup>

Писать о великом поэте нашей советской эпохи трудно. Образ его живет в сознании самых широких масс трудящихся нашей страны. Старшему поколению, видевшему и слышавшему живого Маяковского — он особенно дорог и любим. Его огромные плечи, большие шаги, громовый и нежный голос, любовный взгляд больших карих глаз — все это наше родное, близкое.

Набатный звон стихов Маяковского слышен не только на всю советскую страну, он проник за рубежи социалистической родины. Жизнь его становится легендарной.

Вот почему важна и сложна задача рассказать правдиво о жизни великого поэта тому поколению людей, с которыми Маяковскому «не удалось ни познакомиться, ни пошутить».

Книги Н. Кальма «Большие шаги» и Л. Кассиля «Маяковский сам» первые попытки дать последовательный рассказ о

<sup>1</sup> Н. Кальма. «Большие шаги». Повесть. Под редакцией Н. Асеева. Изд. Детской Литературы. Москва. 1940. Стр. 144. Цена 5 р. 25 к.

<sup>2</sup> Лев Кассиль. «Маяковский сам». Изд. Детской Литературы. Москва. 1940. Стр. 168.

жизни лучшего талантливейшего поэта нашей советской эпохи.

Книга Н. Кальма — повесть о Маяковском, а беллетризованная биография. Н. Кальма рассказывает детям старшего возраста жизнь поэта с рождения, кончая днями, предшествовавшими его трагической гибели. Как первая попытка свести разрозненные воспоминания о различных периодах жизни Маяковского в единое целое, книга «Большие шаги» восполняет существенный пробел в литературе о нашем поэте. Н. Кальма сделала большую работу, используя не только опубликованный мемуарный материал, но и не опубликованные стенограммы воспоминаний, хранящиеся в музее Маяковского.

Первое, что бросается в глаза при самом беглом ознакомлении с работой Н. Кальма — диспропорция частей биографии Маяковского. Недостатком большинства книг о Маяковском, появившихся в свет в этом году, является то, что о дореволюционном периоде жизни Маяковского сказано в них много и подробно, а о революционном мало и бегло. И в книге Н. Кальма три четверти написанного относятся к дореволюционной жизни поэта. Такое соотношение частей не соответствует ни месту, ни значению творчества Маяковского поэтского периода.

Если все написанное Маяковским до 1917 года свободно умещается в один том, то написанное в годы великой революции, составляет 12—13 томов. Если в дореволюционный период Маяковский в своем творчестве только ищет пути к социализму, то в годы революции каждая строка его произведений утверждает социализм. Как же можно, в таком случае, в книге о жизни поэта социализма до обидного мало и бегло рассказывать детям о самом существенном и самом важном в жизни Маяковского. «Я поэт, — говорил Маяковский в автобиографии, — этим и интересен». И вот об этом самом важном и самом интересном Н. Кальма почти ничего не говорит. А ведь творчество великого поэта это и есть его жизнь, это и есть его деяния.

В книге Н. Кальма мы встречаемся с желанием представить жизнь Маяковского революционно осмысленной с детских лет.

Н. Кальма усиленно подчеркивает мысль, что Маяковский осознал себя социалистом в 10—12-летнем возрасте, 1905 года в Кутанси. Володя учится в кутанской гимназии. Он не только принимает участие в забастовочном движении гимназистов, он, по сведениям Н. Кальма, связан с социал-

демократической организацией. В доказательство этой мысли Н. Кальма приводит следующий факт. Во время обыска, производимого жандармами в доме Маяковских (кутанский период), мать вспомнила, что у них не спрятана берданка отца.

«Возле матери очутился Володя.

— Не беспокойтесь, — шепнул он едва слышно, — они уйдут с носом, — берданка нет!

Мать подняла брови.

— Это я стащил берданку, — продолжал он, торопясь и оглядываясь на спальню. — снес ее к нам в комитет...

— В какой комитет? — не помня себя выговорила мать. Что ты говоришь?

— В социал-демократический, — нетерпеливо сказал Володя, досадуя на непонятливость матери. — Разве вы не знаете, что я социал-демократ?» (стр. 66).

О том, что Володя Маяковский был социал-демократом уже в 1905 году не знала не только мать Маяковского, но и все, кто занимается изучением жизни и творчества Маяковского. Честь этого открытия принадлежит Н. Кальма.

Стремление Н. Кальма, как и некоторых других исследователей творчества Маяковского, представить его эдаким революционным вулдер-киндом искажает облик Маяковского. Он был серьезный, высоко одаренный мальчик, и в то же время ничто детское ему не было чуждо.

Печать некоторой спешки лежит на работе Н. Кальма. Пользуясь мемуарами Н. Кальма не всегда творчески осмысливает и перерабатывает мемуарный материал.

В работе Н. Кальма встречаются и фактические неточности. «Впервые, — пишет она, — Маяковский читал свою поэму «Ленин» на собрании московских большевиков». Это неверно. В Красном зале МК ВКП(б) Маяковский читал 21 октября 1924 года, а 13 октября он читал поэму редакционному коллективу сотрудников «Рабочая Москва».

Работа Л. Кассиля «Маяковский — сам» несколько отличается от книги Н. Кальма. Л. Кассиль подробнее характеризует творчество Маяковского. Но с точки зрения научной проверенности фактов Л. Кассиль еще в большей степени грешит нежели Н. Кальма. Упрек, адресованный Н. Кальма, о диспропорции частей биографии Маяковского в такой же мере может быть отнесен и к книге Л. Кассиля. Но в книге «Маяковский — сам» есть интересные по-



вые воспоминания Л. Кассиля о Маяковском, и это прежде всего определяет ценность книги.

Некоторые моменты из биографии Маяковского, относящиеся к периоду пребывания поэта в РСДРП (большевиков), уточнены в статье В. Перцова «Товарищ Константин». На основании документов из архива революции и чрезвычайно важных воспоминаний Трифонова и Поволжца-Вегера В. Перцов установил, что Маяковский в Московский комитет партии не избирался. Он был членом районного комитета горрайона. Кассиль же в своей книге пишет: «На общегородской конференции Маяковского избрали в Московский комитет партии». В книге, которая выходит почти на год позже статьи В. Перцова подобные вещи совершенно недопустимы.

Но, повторяем, значение книги Л. Кассиля в новых и интересных воспоминаниях о Маяковском. Кассиль рассказывает, как однажды, засидевшись с Маяковским до утра, они отравились в Гендриков переулок трамваем.

«Мы с Владимир Владимировичем сели в вагон трамвая «Б». Трамвай был почти безлюден и казался необыкновенно просторным. Это был вагон нового типа, не так давно пущенного по Москве. Маяковский с любопытством оглядывал трамвай. — Вагон какой-то странный, непривычный... — сказал он.

...Маяковский прошелся по вагону, увидел дощечку «Коломенский завод» 1929 год.

— Вот здорово, — восхитился Маяковский. — Значит уже не наследие какое-нибудь; сами можем уже такие трамваи выпускать. Прямо роскошный трам... А вот вам усовершенствование: скоба. Мелочь, а приятно» (стр. 113—114). Сколько дает для понимания Маяковского эта сцена. Здесь он весь с его могучей любовью к социалистической родине. Прочитав эту главу Кассиля, читатель почувствует с сердцем неизбежность появления стихов Маяковского, подобных «Вселению рабочего Козырева в новую квартиру».

Прекрасна глава «Из зева до звезд». Л. Кассиль рассказывает случай в радиостудии на Тверской. Во время исполнения Маяковским по радио своего стихотворения «Приключение на даче» загорелась матерчатая обивка радиостудии. Бросились тушить огонь и хотели выключить радио. Но Маяковский отстранил руководителей и в горящей, наполнявшейся дымом студии продолжал читать свое стихотворение. Он

думал о тех миллионах слушателей, которые не знают, что происходит в студии. И опять в этом эпизоде прекрасно характеризуется Маяковский — гражданин социалистической родины, Маяковский — поэт, входящий в любое дело, в любое «занятие всем своим раскаленным внутренним».

Наконец, очень интересны воспоминания Л. Кассиля о подготовке Маяковского к выступлению в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина.

«Буду читать в Большом, — повторяет он торжественно, — «Ленина» буду читать. Это для меня большое дело. Все-таки значит пробил кое-где стену. В Большой зовут на ленинский вечер. Буду читать как зверь. Политбюро будет. Сталин будет. Коминтерн.

— Пожалуй, это самое ответственное выступление в моей жизни».

Ценность этих воспоминаний особенно велика, потому что этот эпизод из жизни Маяковского до сих пор широкому читателю был почти не известен.

В заключение нам хотелось остановиться на вопросе, который имеет общее значение. В книгах Н. Кальма и Л. Кассиля есть ряд глав, рисующих одни и те же события, одни и те же факты из жизни Маяковского. Но сколько несовпадающего встречается в этих книгах при сопоставлении фактов, которыми оперируют оба автора. Детский читатель, самый чуткий читатель, будет реагировать на подобные несовпадения, даже когда речь идет о мелочах (например, о «шуточном юбилее»). Позаботиться об устранении такой разногласия должно было издательство, но Детиздат этого не сделал.

Н. Плиско

■ ■ ■

## КНИГА О ТРУДЕ И МУЖЕСТВЕ <sup>1</sup>

Книжка Ванды Василевской — очень полезная книга о труде и великом братстве трудящихся, об условиях труда в капиталистических странах и о положении там детей рабочих.

Это история мальчика Вицека, покинувшего деревенские вербы для краковской мостовой. Мать Вицека устраивается в городе прачкой и отдает сына в ученье к столяру.

<sup>1</sup> Ванда Василевская. Вербы и мостовая. Перевод с польского М. Живова. М.—Л., Детиздат. 1940 г.

Василевская рассказывает чудесно, как сказку, о самом ремесле столяра. В мастерской творятся «поистине дикие вещи».— «Разное бывает дерево. Дуб, ясень, сосна, липа, бук. В мастерскую поступали ровненькие доски, разрезанные круглой, как диск, пилой. На первый взгляд все они одинаковые, а вот мастер сразу безошибочно определял: бук, дуб, сосна. Определяя по древесным слоям, по волокнам, пробегающим по доске, по форме и цвету сучков».

Самое столярное мастерство Василевская показывает, как искусство, как красоту: «Вицек с восхищением глядел на проворные руки мастера. Когда тот схватывал в тиски кусок дерева, быстро просверливал отверстия или водил рубанком, каждое движение его было ровное, размеренное, безошибочное, словно каждый инструмент шел у него по заранее намеченному рисунку» и т. д.

Но все это прекрасное умение было только у хозяина, у мастера. Вицека ничему не учили. Он нянчил хозяйских детей и подметал мастерскую. Надо было три года быть слугой, прежде чем тебя допустят к инструментам.

В таком тяжелом положении ученика-подростка виноват не отдельный мастер, а весь строй капиталистического мира.

Мать Вицека слабеет, теряет работу, семья начинает голодать. У Вицека нет времени доучиваться, ему надо зарабатывать сейчас, и он уходит на стройку подручным к каменщикам.

Василевская любовно показывает и ремесло каменщика.

Вицек поливает известью кирпич. «Известь заплывает, входит во все щели, изъязны, углубления. Соединяет кирпич с кирпичем неразлучной братской связью... внимательно, добросовестно, старательно надо укладывать каждый кирпич. Лентяй и неряха обнаруживается здесь быстро — их выдает кирпич, выдает стена, которая не терпит небрежной, халатной работы» (разбивка моя.— Н. П.)

Хорошо это одухотворение извести, кирпича, стены. Таким художественным приемом Василевская показывает, что стройка это живое коллективное дело, что здесь с максимальной наглядностью проявляет себя коллективный труд. Чувство братской связи заставляет старика рабочего учить Вицека потихоньку от мастера, чтобы тот не заметил неопытности нового каменщика и не уволил его. Эта же связь заставляет

рабочих разделять поровну трудности стройки.

Василевская не скрывает от детей трудности и даже опасностей ремесла, она показывает, как разбивается каменщик, падая с плохо укрепленных лесов, ее трудности — ничто в сравнении с тем моральным удовлетворением, которое испытывает рабочий, относясь творчески к своему делу.

Всякий труд есть творчество, а в творчестве человек растет и формируется — как бы говорит детям писательница.

Деревенский мальчик Вицек делается городским рабочим «человеком, который не даст сломить себя в самой жестокой борьбе».

Однажды нарядный господин, поселившийся в новом, только что выстроенном доме, осторожно обходит Вицека, запачканного известью. И в сердце Вицека закипает гнев. Дом, где живет этот человек, вырос из тяжелого труда каменщиков, из их мозолей на руках, из их пота на лбу, из их долгих упорных усилий. Но Вицек знает, что скоро он будет строить дома для себя и для своих товарищей и «каждая забастовка, в которой он участвует, и каждая первомайская демонстрация, и каждое собрание в профессиональном союзе приближают этот день».

Вицек уже не хочет возвратиться к редным вербам, о которых он тосковал в детстве, потому что здесь, в городе, он стал участником организованной борьбы пролетариата.

Наши советские дети не знают и никогда не узнают той нужды и той суровой жизненной школы, которую пришлось узнать Вицеку, но они должны задуматься о судьбе своих зарубежных сверстников.

Есть еще важная черта, отличающая эту книгу.

Василевская показывает нам крепкую рабочую семью, где все несет свои обязанности, помогают друг другу и любят друг друга.

Мы видим мальчика, старающегося облегчить жизнь матери. Он делается ее помощником и не боится ради этого никакой трудной работы. Он не только зарабатывает, он воспитывает младших братья и сестру.

«Ну как там было сегодня в школе?— Вицек подробно расспрашивал Владека», а «тот отвечал вежливо как подобает отвечать старшему». Эта последняя фраза также останавливает внимание читателя. До сих пор у нас не было книг, где попросту, как о с а м о с о б о й р а з у м е ю

не м с я, говорилось детям о том, какими нужно быть в семье, как вести себя со старшими и друг с другом.

В этой книге показана очень бедная, трудная жизнь, но герой книги пленителен своим душевным здоровьем и серьезностью.

В Видеке есть настоящая мужественность и воля, которые делают человека полноценным, та мужественность и воля, которые должны быть воспитаны в наших детях.

*Надежда Павлович*

■ ■ ■

## БИОГРАФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ<sup>1</sup>

Название книги «Незакатное солнце» надо понимать иносказательно, ибо небесное светило здесь не при чем. Повидимому, книга должна была выразить самое светлое, незакатным светом сияющее в людях, недаром большая часть книги посвящена биографическим рассказам из жизни лучших людей нашего народа — Ленина, Кирова, Гоголя, Некрасова, Чехова, Блока, Горького.

Писатель, поставивший себе целью дать в беллетристической форме живые и правдивые образы дорогих всем политическим деятелей и писателей, должен обладать душевной многогранностью и способностью обобщения, ибо он берет не более, не менее, как за труд раскрывать нам смысл и внутреннюю связь их поступков и душевных переживаний.

«Начало истории» (рассказ о Ленине) и очерк «О Кирове» ничего нового читателю не дают. История псковского ходока, пришедшего в Смольный повидать Ленина, рассчитана на «умилительность». Здесь нет подлинной встречи читателя с Лениным, потому что не показан тот интерес и тепло, с которыми относился Ленин к каждому приходящему к нему из народа. Поэтому в рассказе нет внутреннего центра. Различные эпизоды могут быть, а могут и не быть.

Например, в Смольном случайно гаснет электричество. Ленин у Борисова сейчас же вспоминает о том, как однажды в железной больнице во время операции погас

свет и хирург сказал, что из-за этой неполадки дело могло окончиться смертью.

Сейчас, в темноте, «Ленин представил себе петроградскую советскую больницу и хирурга над вскрытыми внутренностями рабочего, матроса или крестьянина». И советского служащего — может добавить читатель, если уж идти по таким признакам «человеческих внутренностей».

Борисову нужно показать неотделимость жизни Ленина от жизни каждого из современников. Оказывается, что разрешить эту задачу можно простейшим способом. Например, Ленин «записал на бумажке, лежавшей сбоку: «Больницы. Инструменты», подчеркнул эти слова, откинулся на спинку стула, нажал кнопку звонка».

В эту именно минуту по утверждению прозорливого автора и сын красногвардейца Наумова учил играть на балалайке Лешку Гусева.

Какая внутренняя связь, кроме притянутой автором одновременности, между записью Ленина о больницах и этим уроком игры на балалайке? С таким же успехом можно было бы прибавить сюда любые эпизоды из жизни любого человека, такой-то в это время ужинал, а такой-то работал или был на свидании.

Эта замена существенной связи связью внешней и случайной один из основных недостатков рассказов Борисова, ибо в этом сказалось отсутствие художественной правды.

Рассказ о Кирове испорчен фальшивой деталью. Очень хорошо, что Киров, увидев ребенка, свесившегося из окна третьего этажа, остановил машину, позвал женщину и попросил ее позвонить в ту квартиру и предупредить родителей; но очень плохо, что женщина эта, спокойно отправившаяся исполнять кировское поручение, а потом также спокойно возвращаясь извиниться перед Кировым, оказалась матерью этого ребенка. Автору не веришь. Мать в таком случае вела бы себя иначе.

А писателям, биографии которых подвернулись Борисову под руку, пришлось еще хуже. Вся писательская «кухня» их ему ясна, он все узнал, и как Гоголь сочинил «Шинель», и как Чехов мучился темой «Черного монаха», и как Блок писал «Двенадцать». Поэтому рассказы Борисова нестроят такими мудрыми домыслами:

Чехов утром нежится в постели и приговаривает: «Вы, Антоша, прекрасно выспались. Хорошо настроены. Всю семью

<sup>1</sup> Леонид Борисов. «Незакатное солнце», Изд. «Художественная литература», Л., 1940 г.

свою собрали в кучку. Живете в собственном доме».

Мария Павловна, умная, любящая Мария Павловна Чехова смотрит на руку брата и назидательно говорит сама себе: «Эта рука пишет. Эту руку следует беречь. Необходимо особенно любить брата».

Гоголь у Борисова, приседа на корточках, подсматривает в окна. При этом деликатном занятии у него «что-то треснуло в кушаке, панталоны приспустились, штринки ослабли». К довершению возмездия из форточки плеснули помоями. «Не ожидал я этого от столицы», — сухо самому себе заметил Гоголь.

Сейчас, прочитав рассказ Борисова о себе, он мог бы повторить это сухое замечание.

А вот Блок, тот Блок, которого Борисов видел сам, о котором он печатает в «Литературном современнике» личные воспоминания. В этих воспоминаниях Борисов говорит: «Внутренне нервный, страстный, беспокойный человек, Блок внешне был предельно спокоен, изящен в подлинном смысле этого слова, сдержан — в жизни моей я не видел подобной воспитанности, дисциплинированности, деликатности... Пусть эти слова Борисова-мемуариста судят Борисова — автора «Чудесного гостя» — рассказа о Блоке в книге «Незакатное солнце», в котором говорится: «Блок задержал даму, схватив ее за локоть: «Мария Павловна! Сколько лет! Сколько зим!» И сию же минуту отпустил ее: дама закатила глаза... «Дура!» — с наслаждением прошептал Блок.

«И эта баба считала себя солью земли», — размышлял он, забывая, очевидно, что только-что по воле автора приветствовал эту Марию Павловну по-приятельски. «Эта баба была по щекам своих кухарок, читала романы и сама писала стихи».

Борисов даже не потрудился изучить материал, не справился с хронологией описываемых событий. У Борисова Блока выбирают председателем Союза поэтов в 1918 году, видимо, зимой, так как Блок приходит на собрание в белом свитере и дальше рассказывается об уличных кострах. Ожидая результатов выборов, Блок сидит полтора часа «закрыв глаза». Он стал читать про себя «Мцыри» Лермонтова.

На самом деле петроградский Союз поэтов был организован летом 1920 года по инициативе Брюсова, тогдашнего председателя Всероссийского союза поэтов. Брюсов

просил автора этих строк, как члена президиума, поехать в Петроград и предложить Блоку создать инициативную группу петроградского отделения союза поэтов, на что Александр Александрович согласился.

Блок принимал самое живое организационное участие и на первом же собрании был избран председателем.

Читать «Мцыри» ему было некогда, потому что тут же обсуждались условия приема новых членов, план работы по материальному обеспечению поэтов и организация выступлений, причем Блок настаивал на выступлениях в районах. Вместо того, чтобы два раза повторять в книге «облгчительную» остроту Блока (расшифровку фамилии «Опуп»), Борисов мог бы изучить нужные биографические материалы и осветить по-настоящему и борьбу Гумилева против Блока и положение Блока в Петроградской литературной среде, где у него были и враги и друзья. В «восьмом томе» Собрания сочинений, изд. «Советским писателям», даны черновые тексты всех выступлений Блока в Союзе поэтов, в том числе и на 1-м собрании.

Также не соответствует действительности выдумка Борисова о том, как создавались «Двенадцать». «Пишу поэму», — проговаривается Блок девице на домовом дежурстве. «Некий стихотворный размер уже овладел им, и он знал, если упустить это волнение, оно уйдет и неизвестно, когда вернется». Блок вслушивается во «взлет и затухание» (?) ветра и ловит что-то напоминающее «походку ямба». Наконец, фабричная работница говорит ему: «Ох, ветер, ветер на всем божьем свете». В эту ночь он кончил «Двенадцать».

В записке о «Двенадцати», датированной 1 апреля 1920 года и опубликованной в восьмом томе «Собрания сочинений» изд. «Советским писателем», сам Блок пишет:

«Во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физическим слухом большой шум вокруг — шум смутный, вероятно, шум от крушения старого мира».

Я полагаю, что этот шум, слышанный Блоком, несоизмерим с представлением Борисова о творческом процессе создания «Двенадцати».

Если образы Гоголя, Чехова и Некрасова дороги нам, по воспринимаются через литературу, то Блока мы помним живого, нашего современника и друга, и читать эти безответственные выдумки о нем горько и больно.

Рассказ о Горьком под названием «6 × 9» незначителен и нехарактерен. Десятилетний пионер по поручению школьной стенгазеты приходит фотографировать Горького. Долго он налаживает аппарат, усаживает Алексея Максимовича, но в последнюю минуту оказывается, что он дома забыл пластинки; он с плачем убегает.

Горький закрыл окно, спустил шторы. Вечером ему сказали что его хотят фотографировать.

— Мальчик? — спросил Горький.

— Нет, взрослый.

— Не пускайте! Я занят, но если придет маленький, немедленно проводите ко мне...

Но вот тот маленький не пришел.

Здесь автор попытался показать любовь Горького к детям, но рассказ не получился, не вышел из пределов газетного очерка. Образ Горького не имеет нужного фона, той воздушной перспективы, которая необходима в картине. Сейчас же это простая запись случайного эпизода.

Грину посчастливилось больше других. Его Борисов знал ближе и сохранил его интонации и выражения.

Книга Борисова со всей остротой ставит вопрос о том, как надо писать биографические рассказы, но ответ она дает только негативный: она показывает, как не нужно писать.

Рассказ биографический требует от автора величайшего такта и глубокого знания своего материала.

Рассказы Борисова, несвязанные с биографическим материалом, как «Снегурочка», «Сад», «Помощник Ната Пинкертона», говорят об умении автора писать, поэтому особенно грустно читать безвкусные и беспомощные измышления его о дорогих для нас людях.

*Надежда Павлович*

■ ■ ■

## «САНАТОРИЙ АРКТУР»

Герои нового романа К. Федина «Санаторий Арктур» — врачи и пациенты европейского туберкулезного санатория. Все действие разворачивается вокруг переживаний и наблюдений советского инженера Левшина: как бы его глазами автор смотрит на остальных персонажей. Среди обреченных на смерть, сознающих свою обреченность больных живет этот выздоравливающий человек, полный радости избавленья от смерти.

Но наиболее ярко написанная фигура романа — не инженер Левшин. С самого начала внимание читателя приковывается к другой судьбе — к судьбе доктора Клебе, собственника санатория «Арктур».

«Доктор Клебе стремительно прогорал, — так начинается роман, — по его делам кредиторы назначили администрацию, их бухгалтер каждую неделю являлся в санаторий проверить поступления от пациентов и отчислить, сколько можно, в покрытие долгов Клебе».

Сам большой туберкулезом, доктор Клебе затеял свое лечебное предприятие, чтобы иметь возможность жить в санаторной обстановке. Но в условиях экономического кризиса предприятие это приносит ему сплошные огорчения, доводит в конце концов до самоубийства. И писатель делает все от него зависящее, чтобы наиболее рельефно и колоритно обрисовать духовную драму этого предпринимателя-неудачника.

Доктор Клебе — мечтатель, художественная натура.

«Он включил радио, в первых тактах пойманной волны узнал Грига и стал слушать давно знакомую и пережитую музыку смертной тоски. Прошлое хлынуло на Клебе с сладкой и ужасающей невозвратностью и жалость к себе и ненависть к тому ничтожеству, какое обступало его со всех сторон и грубо пересиливало, брало верх, — все это стеснило его горло до рыданий. Но, когда потухли последние такты музыки, он не захотел расстаться с нею, он выключил радио, бросился к полке с книгами и нотами и в листах нот, отвыкших от прикосновений, принялся искать Грига».

И в то же время — это мелкий капиталистический хищник, не брезгающий ничем, чтобы поддержать свое рушащееся благосостояние.

Чтобы удержать в санатории молодого служащего, приехавшего провести здесь свой отпуск, доктор Клебе сообщает ему об обнаружении у него палочек Коха, хотя исследование дало отрицательный результат... Присутствие тяжело больной девушки Инги тяготит других больных санатория, и доктор решает избавиться от нее, отправив ее домой. А когда, в результате выписки, девушка скорострительно умирает, Клебе составляет раздутый счет расходов на ее похороны и лечение...

Он мошенничает, унижается, по больному врача-дельца всюду постигают неудачи. Его мучает совесть, он сознает глубину собственного надеяния, он устал от беспо-

щадной борьбы и кончает жизнь самоубийством...

Другая центральная фигура романа — девушка Инга, болезненно и безнадежно влюбленная в инженера Левшина. Описание мучительной смерти этой больной автор уделяет исключительное внимание.

Шаг за шагом прослеживает он течение туберкулезного процесса, с каким-то мрачным любованием живописует изменения наружности девушки под влиянием страшной болезни. Истерические, в духе персонажей Достоевского, поступки и разговоры, психологический анализ переживаний умирающей, подробное описание припадков кашля и кровохарканья — вот частности, из которых складывается этот патологический образ, вырастающий в некий мрачный символ, господствующий над всем романом.

Этим двум старательно выписанным фигурам должен противостоять положительный герой — инженер Левшин, человек из нового, советского мира. Но и Левшин, лишенный конкретных образных характеристик, представляется мне фигурой принципиально схожей с другими отрицательными героями произведения.

Как и другие действующие лица романа, он углублен в самосозерцание, живет в своем замкнутом круге интересов и настроений. Правда, в противовес пессимистическим переживаниям окружающих в переживаниях Левшина преобладает чисто физиологическая радость выздоровления. Он воспринимает окружающее с апетитом и непосредственностью человека, начинающего жить сначала, и эти настроения выздоравливающего Федина удалось изобразить с подлинным мастерством:

«Когда Левшин начал выздоравливать, он осознал это не разумением и даже не чувствами, а каким-то новым, удивившим его инстинктом. После долгих месяцев непрерывного лежания, по первому снегу его вывезли на санях... В эту короткую поездку он сделал множество открытий, которые поразили его сердце восторгом. Он открыл, что под полозьями хрустит снег, не просто, конечно, хрустит (это он знал с детства), а как-то многогтонно-певуче, какою-то ни на секунду не обрывающейся праздничной и даже ликующей песнью. Он открыл, что отработанный газ бензина пахнет ужасно смешно... Лежа на балконе, в меховом мешке, застегнутый ремнями, в неподвижности, которая уже не составляла страдания, а была наслаждением, Левшин смотрел на небо — гладко голубое, уходявшее в невесомую высоту и вдруг

падавшее сияней плитой на самые глаза. едва они начинали слезиться от мороза».

Таким восприятием окружающего характеризуются поведение Левшина на протяжении всего романа.

Внешний облик инженера Левшина не запечатлется в памяти читателя. В то время как прочих персонажей — доктора Клебе, Ингу — автор дает нам ощутимое зрительно, рисуя их наружность, их конкретные действия, — Левшина он показывает нам почти исключительно через его внутренний мир. И показ этого мира очень односторонен. Слишком доминирует лейтмотив всех переживаний Левшина — радость избавления от туберкулеза, тяжелой формой которого он был болен.

Очевидно, по замыслу автора, выздоровление это символично. Лишенным воли к победе представителям старого мира — Клебе и Инге — советский человек противопоставляется как олицетворение активного и побеждающего начала.

Инженер Левшин выздоровел потому, что у него есть для чего жить, — вот идея, которую в художественных образах хотел раскрыть автор. В одной из бесед с Ингой Левшин говорит:

«Я был уверен, что мне есть смысл выздороветь.

— Смысл?

Она помолчала недолго.

— Вас ждет кто-нибудь дома?

— Все ждут, — сказал он и удивился своему ответу: так выразилась у него эта мысль впервые».

И вот Левшин получает из СССР письма друзей и газеты:

«Левшин до усталости держал полотнище московской газеты, по которой с полосы на полосу переступали устои — титанический гребень, расчесывающий букал Днепра — и сквозь туман панорамы угадывал контуры знакомых по проекту подробностей, отдаленные воплощения чертежей. Усилия, работа инженера Левшина, его сознание разумной долькой были вложены в какую-то крупницу этих воплощений, и гордость сжимала ему сердце, и стало больно от тоски, что он не видел, как там открыли шлюзы и как низверзлась вода. И тогда опять с закаленной силой его охватило решение: выздороветь, выздороветь и вернуться туда, домой, к смыслу и цели всего будущего».

К сожалению, это единственное место романа — хотя бы отраженно, через описание газетного снимка — показывающее, что действие происходит в дни пуска

Днепротэса, в дни напряженнейшего социалистического строительства в СССР. Приходится брать на веру утверждение автора, что Левшин — советский гражданин, стремящийся к своей работе, к своей далекой родине. На протяжении романа он, этот центральный персонаж, не раскрывается перед нами, как носитель нового, советского мироощущения. Он дан в романе скорее созерцательным, внутренне пассивным и обезличенным внешне. На первом плане для него его собственные переживания.

Левшин не выявляет своих убеждений и вкусов. Он только лежит, гуляет, набирается сил, глядя сквозь пальцы на окружающие его подлости и страдания. Он легко идет навстречу случайной любовной связи и так же легко, перед отъездом, рвет эту связь. Он чем-то напоминает внешне энергичных и бодрых, а внутренне опустошенных героев Хемингуэя.

Много любви и внимания уделяет К. Федин природе, с большим мастерством рисует альпийские пейзажи, в рамке которых разворачивается действие. Но рамка остается рамкой, и от ее величественного сияния только сильней сгущаются мрачные тона самой картины.

Возникает впечатление, что автор задался целью показать гибель, умирание людей буржуазного мира, а показал умирание вообще, болезнь как таковую, вновь разработал тему уже широко использованную в таких произведениях, как «Санаторий Таракус» Гамсуна, «Волшебная гора» Томаса Манна.

*Николай Панов*

■ ■ ■

## «ВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ» ДЕНИСА ДАВЫДОВА

В статье «Сочинения Дениса Давыдова» Белинский писал: «Давыдов примечателен и как поэт и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту воепачальничества — и наконец он примечателен, как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом вышшеается над уровнем посредственности и обыкновенности».

В самом деле, многогранность дарования Дениса Давыдова поразительна. Дениса Давыдова-поэта Белинский относил к «самым ярким светилам второй величины на

небосклоне русской поэзии» первой четверти XIX столетия; давыдовской прозой восхищался Пушкин, а Белинский называл Давыдова-прозаика «отличным писателем», имеющим «право стоять на ряду с лучшими прозаиками русской литературы»; широчайшую известность не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами Денис Давыдов завоевал и как участник крупнейших сражений своего времени и как историк эпохи наполеоновских войн; наконец, в памяти народов нашей страны он живет как герой национально-освободительной борьбы русского народа против наполеоновского нашествия, как пионер партизанского движения 1812 года.

Когда Денис Давыдов вынужден был оставить военное поприще, он решил сбрить усы, лишиться себя, как он говорил, «боевой вывески». В. А. Жуковский попросил у него на память левый, ближайший к сердцу ус.

В письме Дениса Давыдова к В. А. Жуковскому от 25 ноября 1831 года читаем: «присылаю тебе ее («боевую вывеску» — *Н.З.*), она осеребрилась восемью войнами и еще пахнет порохом последней битвы в Польше». В этом же письме Давыдовым был приложен «послужной список» своего уса: «Войны: 1. В Пруссии 1806 и 1807 гг. 2. В Финляндии 1808 г. 3. В Турции 1809 и 1810 гг. 4. Отечественная 1812 г. 5. В Германии 1813 г. 6. Во Франции 1814 г. 7. В Персии 1826 г. 8. В Польше 1831 г.».

Почти обо всех этих событиях героического прошлого русского народа, о силе и могуществе русского оружия, о бравных подвигах и беззаветной доблести русских солдат Денис Давыдов рассказал в своих блестящих «Военных записках»<sup>1</sup>.

В «Воспоминаниях о сражении при Прейсиш-Эйлау» Денис Давыдов рассказал о кровопролитнейшей битве 1807 года, происшедшей между наполеоновской армией и русскими войсками.

В отличие от Бородинского сражения, где главным действующим оружием было огнестрельное, в Эйлау — силы наполеоновской и русской армий померялись в рукопашной схватке.

Число павших в сражении при Прейсиш-Эйлау было необычайно велико. «Подобному урону, — замечает Денис Давыдов, — не было примера в военных летописях со времени изобретения пороха». И

<sup>1</sup> Денис Давыдов. «Военные записки», Гослитиздат 1940 г., 480 стр., тир. 10.000, ц. 14 руб.

русские солдаты с честью вышли из этого сражения.

«Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга... Груды мертвых тел осыпались свежими грудями; люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления. Наконец, на ша в з я л а!

Но по сравнению с Прейсш-Эйлавской битвой спор оружия под Бородиным,— пишет Д. Давыдов,— был возвышеннее, величественнее... под Бородиным дело шло— быть или не быть России».

1812 год был годом, на котором Денис Давыдов, как он справедливо говорил, навсегда «зарубил свое имя». В этом году он, участник многочисленных битв и сражений, полностью развернул свое военное дарование и стяжал неувядаемую славу народного героя. Позднее он говорил о себе, что он был человеком, «рожденным единственно для рокового 1812 года».

В исторический день 2/14 сентября 1812 года Наполеон вступил в Москву и в этот же день Денис Давыдов со своим партизанским отрядом совершил при Цареве Займище первый налет на тыл наполеоновской армии. С этого дня началась «заметная жизнь партизанская» Дениса Давыдова, о которой он увлекательно рассказал в своем знаменитом «Дневнике партизанских действий 1812 года».

Офицер суворовской школы Денис Давыдов с успехом применил в 1812 году тактику своего учителя, совершавшего в молодости партизанские подвиги: быстроту в действиях, ловкость в изворотах, внезапность в нападениях, единство в натиске. В своих «партизанских поисках» он успешно нападал на растянутые коммуникационные линии противника, захватывал склады и транспорты с боевыми припасами, продовольствием и фуражем, задерживал курьеров с бумагами, нанося вражеской армии непоправимый ущерб.

Размах партизанского движения в войне 1812 года стал особенно велик во время бегства Наполеона из Москвы, когда деморализованной армии «двунадесяти языков» пришлось отступать «среди народа озлобленного, вооруженного и кипящего мщением». К этому времени партизанская война 1812 года явилась выражением всенародного патриотического подъема, самоотверженности и героизма широчайших крестьянских масс, поднявшихся на борьбу за целостность и независимость своей родины. И роль Дениса Давыдова как ини-

циатора армейского партизанского движения в войне 1812 года трудно переоценить.

Л. Н. Толстой, увековечивший Дениса Давыдова на страницах своего романа «Война и мир» в образе партизана Василия Денисова, писал о нем следующее:

«Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны». («Война и мир», кн. III, часть 3, глава 3.)

Как истинный патриот России, для которого честь и достоинство своей родины, своего народа были превыше всего, Денис Давыдов выступает в статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» против «вечных хулителей славы русского оружия», против лживых приверженцев Наполеона, стремящихся доказать, что поражение наполеоновской армии в России наступило единственно благодаря морозам и стуже. С непрерываемой убедительностью Денис Давыдов показывает в своей статье, что причина гибели французской армии в России кроется не в климатических условиях, что гибель французской армии наступила благодаря «глубоких соображений Кутузова, мужества и трудов войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы».

Кроме вышеуказанных произведений в «Военных записках» Дениса Давыдова напечатаны: замечательная автобиография Дениса Давыдова, воспоминания «Встреча с великим Суворовым», «Встреча с фельдмаршалом графом Каменским», а также страницы, посвященные Кутузову, Багратиону, Барклай-де-Толли, Раевскому, Ермолову, Кульневу и другим выдающимся представителям русского военного искусства.

Исключительный интерес представляют воспоминания Дениса Давыдова о цесаревиче Константине Павловиче и «Анекдоты о разных лицах, преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове». Эти произведения Давыдова не были напечатаны в России не только при жизни их автора, но и после его смерти. Напечатаны они были в редком зарубежном издании известного политического эмигранта князя П. Долгорукова: «Записки Дениса Васильевича Давыдова в России цензурою непропущенные».

«Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче» были перепечатаны в России лишь только в 1917 году в журнале



«Голос минувшего», а «Анекдоты» вообще не были известны русским читателям и в настоящем издании печатаются впервые.

Печальной была судьба литературного наследия Дениса Давыдова. При жизни его записки старательно «приглаживались» редактором журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковским, что не мало страданий причиняло Денису Давыдову. Сенковский коверкал своеобразный стиль Давыдова, как не отвечающий языковым и стилевым нормам того времени. В письмах Давыдова друзьям — Пушкину, Вяземскому, Языкову — мы находим постоянные жалобы Давыдова на самоуправство Сенковского. Пушкин, высоко ценявший резкие черты «неподражаемого слога» прозы Дениса Давыдова, в одном из писем к нему справедливо заметил: «Сенковскому учить тебя русскому языку — все равно, что евнуху учить Потемкина».

Но и после смерти Дениса Давыдова текст его «Военных записок» подвергся новой фальсификации. Сын Дениса Давыдова — Д. Д. Давыдов, подготовивший издание трехтомного собрания сочинений своего отца в 1860 году, которое затем было переиздано в 1893 году, с еще большим рвением, чем Сенковский, вычеркивал «родовые приметы пера Давыдова» (Белинский), «исправляя» удалую размашистость и оригинальность стиля записок. — Именно те особенности его прозы, которые так пленили в свое время Белинского.

При самом нетребовательном вкусе легко можно обнаружить в какой мере искажались записки Дениса Давыдова, если сравнить их подлинный текст с текстом «исправленным» Д. Д. Давыдовым.

Возьмем наугад маленький отрывок из «Воспоминаний о Кульневе в Финляндии».

У Дениса Давыдова было:

«Первый слух о войне с Швециею и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту, как Ментор Телемака, и я не замедлил догнать армию нашу в Шведской Финляндии на полном ходу ее».

После «правки» его сына стало:

«Первая весть о войне с Швециею и о движении наших войск за границу заставила меня отказаться от московских балов и сердечных порывов, и возвратиться, подобно Телемаку, следующему совету Ментора, к моему долгу и месту; я не замедлил догнать армию нашу, вступившую в Шведскую Финляндию».

Ценность настоящего издания «Военных записок» Дениса Давыдова чрезвычайно

велика. В нем впервые восстановлен редактором книги В. Н. Орловым по рукописным источникам их подлинный текст.

Н. Замотин

■ ■ ■

## НАСТУПЛЕНИЕ<sup>1</sup>

Книжка Матвеенко «Наступление» не открывает никаких новых литературных земель, но в ней то тут, то там встречаются та непосредственность жизнеощущения, та зоркость в отношении детали, которые говорят о зернах подлинного искусства. Гражданская война еще долго будет оставаться неисчерпаемым источником тем, вдохновляющих художников на создание образов о героях и народе-герое в годы напряжения всех его духовных и материальных сил. Небольшая повесть саратовского писателя рассказывает о том эпизоде гражданской войны, когда XI Красная Армия предприняла поход из Астрахани, через пески пустынь и степи, для освобождения Кавказа от контрреволюции.

В качестве основного образа автором задуман Киров, член Реввоенсовета XI армии.

Матвеенко хорошо видит красноармейцев времен гражданской войны, их жесты, хорошо чувствует их речь. Диалоги бойцов-казаков — пожалуй, лучшее в книжке. «Придерживая шашку, он быстро прошел в подъезд, а оставшийся с конями, соскочив с седла, беспеша направился к одному из деревьев, рассаженных вдоль тротуара.

— Здорово, станичник! — крикнул ему красноармеец.

— Здорово, — с подчеркнутой суровостью отозвался тот. — Чего-то не признаю вас.

Но красноармейца, видимо, не смутил ни суровый вид, ни сдержанное приветствие. Он неторопливо подошел к приехавшему и стал против него, ожидая, когда тот привяжет к дереву коней.

— Так не признал, говоришь?

— Нет! — хмуро и, видимо, не желая поддерживать разговор, ответил приехавший.

— Эх, Куц! Очи тебе повывкальвать! Ляха не признал.

— Да неужто Лях? — ахнул Куц. — Да ей же богу Лях! Да как же так? — От удивления Куц еще больше сбил на затылок кубанку. — Здорово!

<sup>1</sup> Александр Матвеенко — «Наступление», Саратовское обл. Гос. изд-во. 1940 г.

Красноармейцы порывисто схватились за руки и несколько мгновений молчали, пытливо разглядывая друг друга».

Неплохо сделан автором ряд эпизодов, живо воссоздающих колорит и обстановку тех лет. Таков, например, эпизод с самолетом, который красноармейцы определяют как свой, потому что он «скрипит, как намазанная арба».

Естественен и свеж трудный эпизод с пленным, захваченным красными казаками-разведчиками. Хорошо передано родственное органическое единодушие рядового бойца Куца и командира полка Жукана.

Жукан подготавливает серьезную и рискованную операцию. Обращается к адъютанту: «Вот что, товарищ Плюшов, вызови ка из второго эскадрона старшину Куца.

— Нет ничего легче! — улыбнулся адъютант. — Он уже с час возле крыльца околачивается. К вам все просился.

— Ишь как! Ну, зови.

Жукан раздвинул скамьи и стал ходить по образовавшемуся проходу, тихонько побрякивая и теребя ус, что означало его душевное равновесие. Через некоторое время скрипнула входная дверь и в сенях послышался хриповатый голос Куца.

— Разрешите зайти, товарищ командир?

— Что ж, заходи, раз пришел.

— Вызывали, товарищ командир?

— А адъютант говорил, будто ты ко мне просился?

— Так то ж одно, товарищ командир: если меня в разведку пошлете, я ли у вас в разведку отпущусь.

— Выходит так. Садись. Пойдешь в разведку. Надо только еще двоих порасторопней подобрать.

— Товарищ командир, разрешите мне с Ляхом вдвоем провернуть?

— Проверни с Ляхом. Только помни, ты за все будешь в ответе».

Эта сценка особенно выразительна в общем контексте повести. В отношениях между Куцем и командиром никакого жеманничества, демократического панибратства. Жукан командует. Куц подчиняется и чувствует превосходство командира. И тем не менее, так реально ощущается братская близость этих людей, их взаимное уважение и доверие друг к другу, единство основного в жизни обоих.

Гораздо хуже получается у Матвеевко там, где он выходит за пределы быта красноармейцев. Там, где нужно глубоко раскрыть переживания человека, создать сложный образ. Поэтому и образ Кирова оказался только едва намеченным. Автор

пытается передать радушие Кирова, его обаяние человека и вождя, пленяющее сурового и вначале несколько скептического командира кубанского полка Жукана. При первой же встрече в штабе армии Жукан почувствовал чистоту, ласковость и идейную силу большевика Кирова.

Матвеевко поставил себе очень интересную задачу, но решает ее, к сожалению, торопливо, общими словами. «Все — всякое слово, всякая черта Кирова казались ему именно такими, какими они только и должны быть у подлинного начальника, способного и умного», — пишет автор и торопится с публицистическим выводом прежде, чем успел развернуть художественный образ. Нужны не декларации, во всяком случае их недостаточно для искусства, нужно показать самый процесс того как слово Кирова стало по-новому восприниматься Жуканом.

Кстати, и слова-то вкладывает Матвеевко в уста Кирова не всегда удачно. «Мы сейчас должны наступать еще и потому», — говорил Киров, — что это нас скорее избавит от войны. Кое-где мы уже двинулись вперед. Это движение теперь ничто не может остановить потому, что вместе с ним мы несем и то огромное, что зажигает людей огнем беспощадной борьбы. Вы понимаете, что я хочу сказать? — Киров встал из-за стола и прошелся по кабинету. — То, что мы сейчас отвоевываем, навсегда уходит от врага и оборачивается против него...» Несовсем ясно о каком «огромном», что несет революционная армия вместе с движением, идет речь.

В повести недостаточна работа над углублением образа. Лагерь белых описан сначала приемом примитивного противопоставления — «дворец и крепость», «тюремные кандалы и блестящий бал». Потом автор думает спастись от этого примитива изображением невероятного спокойствия белогвардейского офицера, захваченного в плен.

К сожалению, в работе Матвеевко есть и немало небрежностей. Для описания комнаты в штабе армии он не нашел ничего другого кроме перечня вещей: столы, стулья, телефоны, папки... Это хорошо для инвентарной описи штабного завхоза, но недостаточно для художественной литературы. Матвеевко плохо управляет местоимениями. В результате, когда он пишет, например, «ему показалось» (стр. 6), то непонятно кому ему: Ляху или Куцу? Матвеевко пишет так, точно «восхищенный гул» это то же самое, что «гул восхищения».